

ISSN 0130-7673

Ж О В Ы И  
М И Р

N M O I V R Y

1

1994

||  
=||

Ж О В Ы И  
М И Р

|| 1994 ||

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(825)

Январь, 1994 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Изгнание из Эдема. Исповедь еврея	3
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Бабы песни, стихи	105
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Ласточкино гнездо, рассказ	111
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД — Длинные свечи долго горят, стихи	130
МИХАИЛ БУТОВ — Известь, рассказ	132
АЛИК РИВИН — У меня на сердце, под часами, кто-то плавает живой, стихи. Подготовка текста В. А. Каменской и О. М. Ма- левича. Предисловие Тамары Хмельницкой	156

## ПУБЛИЦИСТИКА

НОВАЯ РОССИЯ НА ПУТИ К ОБЩЕМУ ДОМУ. Западные модели развития и общегуманитарные ценности в контексте российской истории и социально-экономических преобразований в современ- ной России. Обработка и подготовка материалов к публикации С. Николаева. Вступительное слово Сергея Залыгина	162
---	-----

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ — В дороге. Послесловие Сергея Залыгина	178
---	-----

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ЖИЗНЬ... ВЫЗЫВАЕТ МЕНЯ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО». Из публицистического наследия В. И. Вернадского. Публикация, пре- дисловие и примечания И. И. Мочалова	193
---	-----

## РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

ИРИНА СУРАТ — Пушкин как религиозная проблема	207
---	-----

## ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО — Дом, где склеивают сердца	223
---	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Предварительные итоги XX века*

МАРИНА НОВИКОВА — МАРГИНАЛЫ 226

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Политика и наука* 240

**В. Мороз.** Грани утопии.

**Рэм Трофимов.** Перечитывая «Дневник» Суворина...

### КОРОТКО О КНИГАХ:

Сергей Костырко. — I. Евгений Звягин. Кладоискатель. Повести, рассказы. II. Александр Черницкий. Встреча с Папой Римским. Повесть. III. Иван Алексеев. «Мужчина на одну ночь» и другие рассказы. ♦

Андрей Василевский. — Вернон Кресс. Зекамерон XX века. Роман. ♦

М. Кораллов. — Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. ♦

А. Макаров, С. Макарова. — Картины былого Тихого Дона

247

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 254

SUMMARY 256

### *Уважаемые читатели!*

Как уже сообщалось, газета «ДЕЛОВОЙ МИР» учредила специальную премию (500 долларов) за лучшее произведение, опубликованное на страницах «НОВОГО МИРА» в 1993 году и посвященное жизни современной России.

Премия газеты «ДЕЛОВОЙ МИР» за 1993 год разделили два наших автора: **МИХАИЛ БУТОВ** за рассказ «Памяти Севы, самоубийцы» (№ 5) и **ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ** за повесть «Сашок» (№ 5).

Редакция журнала «Новый мир».

Редакция «Нового мира» приносит читателям извинения за полиграфическое исполнение журнальных книжек № 12 1993 г. и № 1 1994 г.

---

---

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

\*

## ИЗГНАНИЕ ИЗ ЭДЕМА

*Исповедь еврея*

**С**кажите, можно ли жить с фамилией Каценеленбоген? Не в тысячу ли раз сладостнее фамилия Фердыщенко? Притом Фердыщенко понимают с полуслова, не заставляют, изогнувшись дрессированным удавом к канцелярскому окошечку (прорезь полумаски государственного левиафана), скандировать «Ка-це-не...» («Ро-го-но...», «Си-фи-ли...»): ведь только самые неискушенные обитатели почтовых отделений и кассовых предбанничков способны принять последний каскад «боген» за русское «богин» (ср. «д-р Абогин», полн. собр. соч. А. П. Чехова), а остальным сразу ясно: ев... Нет, даже рука, этот вульгарный механический отросток, отказывается мне повиноваться, а прочесть это проклятое слово я просто-таки не могу — юркие глаза выскальзывают прочь: плюнуть самому себе в лицо мне даже и физически было бы проще.

В некоем блаженном младенчестве я полагал, что еврей — это просто неприличное слово, бессмысленное, как все такие слова, придуманное исключительно для того, чтобы невоспитанным людям было чем обнаруживать свою невоспитанность. А потом явился ангел с огненным мечом и сообщил, что слово это имеет вполне определенный смысл, а в довершение всего я сам оказался... нет, не могу повторить это срамное слово всуе, как правоверный... иудей (этот эвфемизм у меня все же получается) не может назвать имя Бога и громоздит: Тот, Который... Но я ведь и этого толком не знаю (Который — что?) — и все равно Эдем для меня опечатан навеки.

Сначала я цеплялся за такую соломинку, как половина русской крови в моих еврейских жилах (с точки зрения правоверных этих самых, я вообще не этот самый), но теперь-то я понимаю, что еврей (ага, проскочило: первую песенку зардевшись спеть — я злоупотребляю русскими пословицами, как японский шпион штабс-капитан Рыбников), так вот, еврей — это не национальность, а социальная роль. Роль чужака. Не удивляйтесь (да вы и не удивитесь), когда я начну сыпать такими, казалось бы, противоположными этикетками, как «еврейская забитость» и «еврейская наглость», «еврейская восторженность» и «еврейский скепсис», «еврейская законопослушность» и «еврейское смутьянство»: имеется в виду забитость чужака и наглость чужака, восторженность чужака и скепсис чужака, и пусть вас не смущает, что все эти же свойства имеются и у добрых христиан, — чужака отличает единственный универсальный признак: его не признают своим. Поэтому и храбрость, и трусость, и щедрость, и скарденность у него не простые, а еврейские.

В юности я извернулся было с широковещательной еврейской декларацией «национальность — это культура» (евреи стремятся определить национальное такими атрибутами, которые доступны каждому: они проповедуют общечеловеческие ценности, чтобы их ядовитым сиропом растворить стены своего гетто) и много лет с таким пылом отдавался русской литературе, русской музыке... Нет, я не просто знал, что положено рыдать при слове... ну, скажем, «Шалапин», — я искренне рыдал громче всех, пока однажды меня не спросили с дружелюбным недоумением: «А ты-то чего рыдаешь?» Но внутренне после этого я стал рыдать еще громче. И все же путь русской

культуры и был путем самого оголтелого еврейства (впрочем, любой путь, который избирает для себя еврей, немедленно становится еврейским путем: обдуманно и мучительно выбирая то, что должно делаться бессознательно, ты уже одним этим навеки исторгаешь себя из рядов нормальных, то есть русских людей, ибо кроме евреев у нас все русские). Да, да, путь вдохновенного овладения русской культурой (кто же станет вдохновенно овладевать собственной женой?) тоже оказался путем непоправимого еврейства: нормальному человеку незачем исследовать закоулки наследственных владений — на то есть еврей-управляющие. А уж если ты сделался каким-то особенным знатоком Толстого или Пушкина — значит, ты Эйхенбаум, Лотман или, в лучшем случае, полуэтот-самый Тынянов.

Теперь я понимаю: все незаурядное в своей жизни я совершил в погоне за заурядностью, я стремился выделиться лишь для того, чтобы стать таким, как все. А это особенно невозможно там, где десятилетиями заурядность возводилась в высшее достоинство: «простой советский человек» — нет титула возвышенной! И поныне непреклоннейшие демократы и елейнейшие монархисты лебезят перед этой глыбой: «простые люди думают так-то и так-то», — самый гибкий еврейский язык под этой чугунной стопой начинает виться и биться без слов — как гадюка, которой наступили сапогом на ее бойкую костяную головку.

Вовсе не «кровь» создает еврея: в моем проклятом Богом роде с иссяканием еврейской крови еврейская непримиримость только нарастает. Мой дед, библейский серебряный старец в ватнике и тряпочной ушанке со свесившимся ухом (ух это еврейское безразличие к внешности, стоящее на двух пустотах — на отсутствии гордости и равнодушии к красоте! Или на равнодушии к чужому мнению?), примиренно (безнадежно?) выговаривал упавшим (никогда не поднимавшимся?) голосом, из которого он даже не давал себе труда изгнать пристанывающие (кряхтящие) обертоны тысячетлетней еврейской усталости, заменить их бряцаньем гордого терпенья (гордое терпенье, сухая вода, круглый треугольник): «Мы маленький народ («малый народ»), мы должны терпеть. Что бы ни случилось, начнут с нас».

У моего отца Я к о в Абрамовича упоминание об антисемитизме (от чудовищных зверств до канцелярских либо коммунальных пакостей) вызывало еще более горькое (еврейское) выражение лица. Но только при помощи раскаленных клещей и испанского сапога удавалось из него вырвать что-нибудь вроде: «Ну негодяи, ну зачем о них говорить?..» — лишь бы все свести к отдельным (нетипичным) негодьям, лишь бы не покуситься на что-то действительно серьезное! И сам я на целые годы, десятилетия впадал в ханжество: я старался полюбить тех, кто меня ненавидел (чтобы избавиться от мук бессильной ответной ненависти), я старался сострадать тем, кто лишил меня воздуха, кто отравил мое питье, кто напичкал мою душу желчью и мнительностью, кто подглядывал в мою спальню, в мою ванную и в мою уборную неприязненным, неотступным, пронизывающим оком, под рентгеновским лучом которого я никогда не оставался один (а ведь только наедине человек ни перед кем не должен оправдываться). Чтобы избежать унижений, я старался объявить их несуществующими, оправдать их недостатком образования (как будто меня самого аристократический папа с младенчества определил в Сорбонну!), результатом каких-то бед и обид (если бы беды и обиды давали право на подлость, на земле не осталось бы ни одного приличного человека), ложно направленным чувством справедливости — и т. д., и т. д., и т. д.

Уяснили теперь происхождение еврейского христианства? Ляг, прежде чем повалят, смирись, прежде чем смирят, прости, прежде чем дадут понять, что в твоём прощении не нуждаются, и — венцом всему — полюби, прежде чем изнасилуют, — и будешь отдаваться только по любви. Все, в чем тебе отказано, объяви никчемным: что высоко перед людьми, то мерзость перед Богом.

Наделенный этой мерзостью — силой, умом, красотой — с чрезмерным (русским) размахом (по иронии судьбы — в стиле рюсс), вылитая модель Глазунова, я не поднялся до таких высот. Поскольку для меня оказалось

недоступным лишь то, что передается по наследству всем без разбора — нацпринадлежность, — только ее я и стремился уничтожить, возглашая на каждом шагу, что важны исключительно личные доблести, а национальностью не следует даже интересоваться (такой интерес ничего хорошего мне не сулил).

Словом, по сравнению с чистокровными еврейскими предками, все у меня, мулата, было (да и есть, есть!) очень сложно (и надрывно). У детей же моих, квартиронов, все проще некуда. У дочки (с русейшим именем Катя) — простое еврейское высокомерие, безразличие к постороннему мнению. У сына — простая еврейская униженность, искание расположения у первого встречного болвана. И неизвестно еще, что хуже (для русских, разумеется, хотя им и то и другое безразлично). У нее все дружки и подружки сплошные Сони, Яши, Додики, Гринбаумы, Абрамовичи, но зато ее ничто в окружающей среде не оскорбляет — она замечает одних евреев, как мы где-нибудь на птичьем дворе, прилаживаясь отлить в уголке, заметили бы только птичницу. У сына же неисповедимой волею небес все друзья — русские, правда, какие-то порченые (стандартная картина: порча, распространяющаяся вокруг еврея), но зато малейшее дуновение антиеврейского духа, даже самое подозрение о его присутствии где-нибудь на Новой Гвинее, приводит его в невыразимое бешенство (затравленное, затравленное, не беспокойтесь, господа).

Как видите, чем меньше евреев бьют, тем сильнее они оскорбляются. Полубойтесь: мой дед не имел права свободно передвигаться по просторам державы Российской, у него сожгли дом, пустили по миру, перебили половину родни, сам он тысячу раз трясся от страха в каких-то крысиных норах, но сердиться, беситься, рыдать, сжимать кулаки — таки он еще не сошел с ума. Сынок же мой, который материально не претерпел ну ровно ничего, бледнеет и заикается от единого лишь помысла, что где-нибудь на Новой Гвинее... а не в том ли разгадка, что прадеда гнали ч у ж и е, а правнука — с в о и? Да нет, какие там гоненья — ему всего лишь время от времени напоминают, что он не такой, как все, но бешенство и отчаяние его не опасны: ненависть отвергнутой любви обращается обратно в любовь при первом же ласковом жесте. Нет более бешеных антиантисемиток и — в компенсацию — более пылких патриоток (хотя одно противоречит другому), чем русские жены евреев.

Когда беспокойства вступительных экзаменов давным-давно миновали и даже жена понемногу перестала доказывать знакомым, что ее сыночек ну совсем-совсем-совсем русский (на семьдесят пять процентов) — только что не пьет и не матерится (надеюсь, она ошибается), — Костя (ну разве не русское имя?), внезапно побледнев так, что у меня екнуло сердце, ни с того ни с сего сделал страшное признание: «А знаешь, тн-тн-тн (это у него такое особое заикание специально для еврейских переживаний), знаешь, что мне было всего, тн-тн-тн, невыносимей? Что если бы меня зарезали, то сделали бы это, тн-тн-тн, ради четырехста первого», — я намеренно не исправляю на «четырехсот первого», чтобы показать, что мы с сыном относимся к своему языку по-русски, по-хозяйски, не нуждаясь в грамматике, которая пишется для каких-нибудь евреев (евреями же).

— Смотри, тн-тн-тн. Приняли, тн-тн-тн, четырехста человек. Пятьдесят отличников, сто пятьдесят, тн-тн-тн, хорошистов и двести, тн-тн-тн, троечников. Я стоял где-нибудь, тн-тн-тн, на тридцатом месте. Но если бы меня, тн-тн-тн, зарезали, то, тн-тн-тн-тн, не ради тридцать первого, тн-тн-тн, и не ради восьмидесятого, и даже не ради четырехсотого — они все и так, тн-тн-тн, поступили. А ради, тн-тн-тн, четырехста первого.

Устами младенца... Вот когда и до меня дошло: олимпы всех родов так слабо заселены, что на них хватит места и первому и восьмидесятому — не хватит только четверта первому. И, стало быть, меня всю жизнь немножко придушивали (я всегда старался отнестись к этому с пониманием) не ради русских талантов, а ради русских тупиц. И притом, я ведь все равно занял почти то же самое место, которого заслуживал (ну на пять — десять лет попозже, на ступеньку-другую пониже), — Руссский (два «эр» и четыре

«эс») Народ этого и не почувствовал, но зато он потерял во мне преданнейшего вассала, приплясывающего от нетерпения чем-нибудь таким пожертвовать ради своего сюзерена. Впрочем, Россия, как известно, без всех может обойтись, а только без нее — никто, так что отряд не заметил потери бойца, — и все же сделаю последний самоотверженный жест. В виде совета. Точнее, воззвания.

Борцы с нами, вспомните урок Макиавелли: не наноси малых обид, ибо в ответ на пощечину могут огреть ломом, — поэтому или сразу убей, или совсем не затрагивай. Придерживая евреев ступенькой ниже (но далеко не на самом дне), вы наживаете множество раздраженных соглядатаев и оценщиков ваших порядков и святынь в том самом слое, на котором порядки и должны покоиться. Поэтому или истребите евреев всех до единого — или не троньте их вовсе. Они, конечно, поднимутся ступенькой выше, но ведь их (нас) слишком мало (миллионы нас — вас тьмы, и тьмы, и тьмы), на олимпах хватит жилплощади всем, кто чего-то стоит, — не хватит только четыреста первому. Правда, он очень обидчив и могуществен — ведь государство наше и создавалось восьмидесятью для четыреста первых, так что выгоднее все же нас перебить.

Вам выгоднее. Но вот с чего я сам свою жизнь отдал четыреста первому?

### Детство, отрочество, в людях

Я был рожден для подвигов. С младенчества страшный трус и плакса, больше всего на свете я боялся все-таки насмешек, а потому, кидаясь в рев из-за любой чепухи, я так же остервенело кидался в драку с братишкой Гришкой (а он тогда был намного меня старше!) из-за самой неканонической (исподтишка показанный мизинец) дразнилки — и тут уж не чуял оплеух, без всякой боли фиксировал их ослепляющие вспышки, но вопил при этом — из-за их беззаконности — еще более иступленно.

У евреев даже и простодушие всегда срабатывает в сторону обособления, как умелая кассирша ошибается только в собственную пользу. Мое имя — Лев — папа Яков Абрамович выбрал в честь великого русского писателя, а Гришкино имя — в честь маминого брата Григория, носившего архирусскую фамилию Ковальчук (наиболее русские фамилии — это те, которые дальше всего отстоят от еврейских, а такими выглядят почему-то скорее малоросские — Перерепенко (о, мечта!), Вискряк, Бульба, Голопуцек, — чем типовые Ивановы; даже фамилии Цой, Джонсон или Чоттопад-хайя представляются мне более еврейскими). И однако же Лева и Гриша Каценеленбогены оказались щирыми жиденятами: некие антимидасы, евреи делают еврейским все, к чему прикасаются, — даже самого Илью Муромского.

Раболепнейший невольник чести в семье, насмешки и затрецины от уличных пацанов я сносил, однако, с извечной еврейской приниженностью, пока, возжелавши сделаться с в о и м, не восстал на них с извечным еврейским гонором. Натуры, готовые платить жизнью за достойное место в мнении соплеменников, называются героическими. Я был такой натурой.

Это было время, когда взрослые не делились на высоких и маленьких, на блондинов и брюнетов, на красивцев и уродов — все они были одинакового «взрослого» роста, а внешность людям была дана лишь для того, чтобы отличать их друг от друга. Тем более они не имели национальности, а были просто люди. Но откуда-то я уже знал, что «просто люди» и «русские» — это одно и то же. Меня окружали просто люди, мне светило просто солнце... или, что то же самое, мне светило русское солнце, по горячей русской земле (тогда никому и в голову не приходило считать казахстанскую землю к а з а х с к о й: русская земля — это просто земля, земля, на которой живут просто люди), — словом, по горячей русской земле озадаченно разбредались несколько ошалевшие от избытка лап русские жуки, в сарае покорно вздыхала и — жизнь есть жизнь — хрупала сеном, деликатно отрывивая, русская корова, а в загородке ворочалась и грозно рычала русская свинья...

боже, что у меня сорвалось! Виноват, это сам я еврейская свинья, а то был вовсе даже кабан, открывший мне тайну жизни и смерти.

Кабан мощно ворочался и — с неистовыми повизгивающими нотками — рокотал, неусыпный, словно океанский прибой, но даже изредка стихая, он оставался обманчивым, как наружность красавицы. Розовая плоть, просвечивающая сквозь редкие белые волосы, напоминала дедушкину лысину, но волосы эти, если осмелишься дотронуться, были жесткими, как щетина, которой, в сущности, и являлись. Пятачок, совсем уж младенчески розовый и простодушный, оказывался твердым, как резиновый каблук, — и то сказать, ведь рыло необходимо для рытья, а не для представительства! Чтобы дотронуться, нужно было полчаса собираться с духом, а потом, подвизгивая от ужаса и восторга, пулей вылетать из сарая.

Но — еще одно свидетельство моей тогдашней благонадежности — это нечистое для сионистов животное я любил как родственника, то есть: при жизни — привязанность, при утрате — боль, после смерти — умиротворенное пользование наследством. Когда подходил срок колоть моего друга, будничным, тусклым, уныло длинным нож, которым бабушка скоблила кухонный стол, внезапно озарялся беспощадной отточенностью, появлялся, опуская глаза, как бы стыдясь своей непомерно почетной роли, свинокол в резиновых сапогах, начиналась озабоченная мужская беготня, я, обмирая, бродил вокруг сарая, затем, набравшись не то храбрости, не то бесстыдства, заглядывал в черную дверь и с оборвавшимся сердцем кидался обратно, успев заметить только ужасающие в своей непонятности веревки, неизвестно с какой (но ужасной!) целью перекинутые через поперечную балку. Я бродил весь день, скитался, изнемогая от тоски и что-то клятвенно бормоча, а когда возвращался, уже весело-истошно выла паяльная лампа, женщины отскабливали черные паленые бочечные бочища, сияли тазы с многоцветной требухой, не кровь, а розовая вода стекала с... нет, это был уже не друг, а мясо — я к нему и относился как к мясу.

Вот и вся мудрость жизни: как только смерть начинает побеждать, переведи глаза на что-нибудь другое, назови потерянного друга каким-нибудь иным словом (ну хоть «покойник») — и сможешь с чистым сердцем возглашать, что жизнь все-таки торжествует.

Дедушка Ковальчук (я невольно примеряю смерть и к его розовой лысине, подернутой белым волосом), похваляясь, обходит публику со свежесеченным куском сала, поминутно прикладывая к нему ладонь — раз и два: «Восемь пальцев! А?! А в магазине сколько пальцев? Кукиш не сложить!» Он так и остался тайным частником и подкулачником.

Мой папа Яков Абрамович — он любит всех, а потому и любим всеми (сложности всплывают позднее) — без устали демонстрирует свое искусство водоноса: таскает от колодца сразу по четыре ведра — два в руках и два на уравновешенном коромысле. Тетя Зина, самая озорная из родни, протягивает бесконечную кишку сквозь стиснутый кулак, выдавливая кал (все это уже не имеет ни малейшего отношения к моему другу — еще один секрет жизни).

— Кабан так какает! — восторженно кричу я.

— А может, и Левка тоже так какает? — лукаво спрашивает тетя Зина, и я, вообще-то стеснительный, как девочка, на этом пиршестве жизни (которое всегда есть и пиршество смерти) хохочу вместе со всеми, как будто ее слова — лишь отчасти правда, а на самом деле я все-таки есть нечто другое, чем просто туша, и с каким-то щекочущим интересом вслушиваюсь в Гришкино бахвальство — он, в отличие от меня, труса-белоруса (всюду семена национальной розни!), не побоялся пробраться поближе и все видел: и как кабана веревками дернули за ноги кверху, и как свинокол сначала наметил место, пристукнул по ножу кулаком, а потом как навалится, а кровь как даст, а он как подставит кружку и как начнет глотать, а потом как сунет ее Гришке, а Гришка как не захочет, а свинорез как заорет, а тогда Гришка как глотанет — нормальная такая, — и мне уже немного завидно, что я упустил случай сделаться вампиром.



Сало я тоже буду уплетать за обе щеки, хотя меня от него не то тошнит, не то я притворяюсь, что тошнит, — по крайней мере я плююсь, упоминая о сале (таки еврейская натура свое берет!), хотя плевать мне строго воспрещается. Но когда зимой дедушка Ковальчук начинает строгать его — подмерзший завивающийся мрамор — да надраивать чесноком горбушку... А что за хлеб был при товарище Сталине! Хрустящий кирпич, упругий, как резина, резать который можно почти без единой крошки — только от корочки и рассыплется золотая пыльца, — в больших городских пекарнях сроду такого не испечь. Пузырчатый, как сыр, и каждый пузырек внутри аккуратно оплавлен, чистенький, будто изнанка целлулоидного шарика. Шапка на буханке поднимается, как шляпка на боровике (несколько набекрень), как пена на хорошем пиве, как летнее облако, а по его клубящимся краям — вулканическая лунная местность: дирани разок чесноком — и половина зубчика повисла ключьями на хрустящих зубцах. Но и обычный, столовского вида ломтик был потрясающе вкусен и пружинист — только я этого не знал. Я молниеносно обкусывал его так, чтобы получился пистолет, и целился в Гришку: уже знал, что мужчина должен убивать — и это при том, что папа не позволял держать дома даже игрушечные орудия убийства, а бабушка, обычно кроткая до несуществования, решительно запрещала баловаться с хлебом. Оставишь хоть с ноготъ — на том свете будет за тобой гоняться. «А я его тогда и съем!» — храбрился я, но не доесть хоть молекулу хлеба я не в силах и посегодня.

Я настолько непринужденно принимал форму окружающей (русской) среды, что наверняка именно обо мне сложена пословица «за компанию и жид удавился». Да и папа Яков Абрамович тоже лопал сало — только подавай (маскировался!). На этом пиршестве лишь одно блюдо выглядело подозрительным по части пятого пункта — сальтисон (пишу со слуха), набитый всякой неимоверно вкуснейшей всячиной желудок. Если его поджарить, чтоб он пустил прозрачную жирную слезу... но будет — от одного воспоминания можно упасть без чувств. С тех пор я не только не едал и не видал, но даже и не слышал о сальтисоне — он остался в опечатанном Эдеме, в котором не было ни высоких, ни низких, ни красивых, ни уродливых — все были просто люди, да и вся жизнь была просто жизнью — единственно возможной. В Эдеме не было ни счастья, ни несчастья, ни довольства, ни недовольства, потому что не существовало раздумий по этому поводу. Ощущение миновавшего счастья возникло только задним числом — когда я узнал, что жизнь может быть разной.

Сальтисон, где ты?.. Загляни к Каценеленбогену!..

Учился я у людей, но ближе всех — на первых проблесках зрения — мне были жуки. Неспешные, огнетушительного цвета, терпеливо расписанные черными камуфляжными фиордами, они подходили мне близостью к горяченькой земле (почве) и задумчивым темпом жизни. Пока люди во мне не смонтировали душу — стремление занять достойное место среди них, — я тоже был задумывающимся рохлей, больше всего любившим подолгу следить за какой-нибудь малюсенькой дрянью — непременно за дрянью! Склонен я был и внезапно истечь слезами от сколько-нибудь нелюбезного слова (а каков ты был до пробуждения души, то и есть подлинное твое «я»). Гришка дразнил меня ревой-коровой, но добивался лишь того, что я иступленно кидался — даже не бить его, а рвать когтями, которых, по счастью, был лишен.

Часами, переползая на четвереньках, следить за путями жуков, как души высокие следят за полетом птиц, — глубже этих проблесков не забраться моей памяти. Медленная Лета поглотила жуков почему-то лишь в два приема: в Каратау они еще попадались под именем пожарников, хотя у нас в Степногорске их звали божьими коровками (за что меня, чужака, в Каратау сразу подняли на смех).

Жуки эти сегодня уже заграничные, и я тщетно зову божьими коровками общепринятых красных в яблоках черепашек...

Поднявшись чуть выше, я заинтересовался пауками, сонно стынувшими либо проворно снующими по паутине собственного производства, не обра-

шая внимания на мушиные мумии. Мне были известны все уголки, обжитые нашими усидчивыми спутниками, где они спокойно обнимают всеми какие есть лапами наших легкокрылых спутниц и, подрагивающих, степенно выпивают их до капельки, чтобы затем уже не замечать, с достоинствомнося свое налитое гноем брюшко.

Я, содрогаясь, шекотал паутину травинкой — отвратительный ее владелец торопился по снастям с проворством марсового-уродца, но однажды убедившись в обмане, он на целый день, а то и больше, переставал обращать на меня внимание, распознав во мне нахального чужака из другой игры. Отвращение к паукам у меня распространялось даже на невинных косикосинок, острые локти которых торчали выше головы, — я всегда раздавливал их с содроганием, в то время как другие пацаны давили их чисто дружески — посмотреть, как ритмически дергаются их лапы — «косят». Мое пожизненное омерзение к паукам закрепили бродячие байки о коварстве и смертоносности т а р а н г у л е й: всякий народ велик лишь до тех пор, пока довольствуется собственной брехней, с презрением отменяя жалкую мельтешню научных проверок, доступных любому чужаку (еврею).

Обнаружив в земле аккуратную дырку тарангуля, полагалось выливать его, таская воду банку за банкой, покуда она не станет ему поперек горла. Именно за выливанием тарангуля впервые обнаружилась — как всегда, в коллективе — моя склонность к подвигам: тарангуль — огромный, суетливый — выскочил так внезапно (как из-под земли), что все обомлели, и только я, самый жалкий клоп, нашелся накрыть его пол-литровой банкой и, почти обезумев, трахнуть по ней кирпичом с такой силой, что только чудом обошлось без жертв (они были впереди).

Я и посейчас больше трепещу перед отвратительным, чем перед опасным: крыса для меня страшнее овчарки.

К животным я относился в точности как к людям («К нам Васька Знаменский приходил», — рассказывал я про соседского кота) — чужаками (евреями) я их считал лишь в одном (главном): я ничего у них не перенимал, не стремился занять достойное место среди них. А в остальном животный мир и посейчас для меня — воплощенное торжество жизни: как же — проходят годы, века, а котята все такие же игривые, кошки грациозные, телята простодушные, а коровы кроткие и дойные, не нужно только вспоминать, что это д р у г и е телята и д р у г и е коровы. Это еврейский индивидуализм уничтожает ощущение бессмертия, свойственное роевому народному сознанию, взирающему выше индивидуальностей.

Каждый год весной в кухне появлялся крошечный теленок — в сарае он мог замерзнуть, но я этого не знал и не интересовался (в Эдеме не задумываются о причинах — это евреи любят доискиваться, отчего восходит солнце). Ему веревкой отгораживали угол, он развезжался на каких-то хрящах, которые нужно было обрезать (телят тоже о б р е з а ю т). Очень скоро он начинал бойко постукивать копытцами, до невероятности простодушно оглядывая выпавший ему Эдемчик. Иногда он застывал и начинал струиться на пол из слипшейся волосяной висюльки на шелковом животике. «Писает, писает!» — радостно кричал я, дежурный по теленку, в то время еще добросовестно относившийся к своим обязанностям, и гордо прихлопывал его по шелковой спинке. Он мигом подбирался, и бабушка успевала — «Надо ж, скоко напрудил!» — подставить ему извлеченный из небытия специально для теленка зеленый горшок с ржавыми болячками на дне. В новоявленном горшке я, к восторгу своему, узнаю свой собственный, канувший в мою персональную Лету, еще совсем коротенькую, но уже поглотившую довольно много лиц и вещей (только животные оставались бессмертными из-за неразличения их личностей). Однажды, когда горшок зимой доставили с улицы, я обнаружил на его дне острый ледяной сталагмитик, истаявший под первыми же каплями безо всякого протеста, как делается все в мудрой и гармоничной природе. В своем же загробном существовании горшок совсем одичал — изоржавел, погнулся... Нет, Эдему не нужны выходцы из иных миров: спящий в гробе чужак, мирно спи — жизнью пользуйся живущий.

Время от времени теленок начинал ляпать задорно шлепавшиеся плюхи — разбрызгивающиеся солнца, парадоксальным образом вкусновато попахивающие, — их тоже надо было поймать горшком. Как-то теленок расскакался и одновременно раскакался, взбрыкивая задиком с задранном хвостом и ляпая сразу во все стороны света, и бабушка, причитая, тщетно кидалась с горшком во все стороны, как энтомолог (Набоков?) с сачком, — я со смеху чуть не отдал концы.

Теленок подрастал, мы с ним сживались, потом он куда-то исчезал, потом на полу возникала новая шкура, коричневенькая с белыми пятнами, твердая, как фанера: ее можно было поднять за край, и она почти не сгибалась. Это и есть исконное кругообращение патриархального космоса — гармоничное, ибо моей душе фанерная шкура ни о чем не напоминала, только иногда ночью наслушавшись рассказов о бродячих мертвецах, я начинал с тревогой вглядываться в светящиеся белые пятна: пугали рассказы только о с в о и х покойниках (это к вопросу о том, способны ли испытывать раскаяние участники всевозможных погромов, набегов и раскулачиваний).

Отщепенцы (евреи) глут, что при Сталине народ страдал, — лично я жил преотлично (да и Лев Толстой указывал, что всенародный стон выдумал Некрасов). Право на жилище, например, я осуществлял с такой полнотой, что даже не догадывался, что такое теснота: на восьмиметровой кухне сквозь чугунные трещины дышала вулканическим огнем плита, сосредоточенно клокотало белье в баке, царственными облаками расходился пар, впятеро утолщая и искривляя стекла (все в арках и арочках замазки на трещинах и надставленностях) и стекая с подоконников по старому чулку в чекушку; болсе деловой, сытный пар от неочищенной горошистой картошки для свиньи рождает уют и аппетит (папа Яков Абрамович после воркутинских лагерей никак не мог поделиться таким сокровищем с нечистым животным, не выхватив и себе пару серых яблочек в лопнувших мундирах); кадка с водой, снаружи тоже как бы в сером мундире, да еще и трижды туго подпоясанная, внутри маняще и пугающе краснела («Лиственница», — полагалось уважительно отзывать об этой красноте) сквозь толщу воды — в такой же кадучке захлебнулся вверх ногами соседский мальчишка, мой ровесник (но лишь чужая смерть дает настоящую цену нашей жизни); скакал и жалобно звал не виданную им маму теленок; жалась к полу кованая дедушкина койка, на которой дед Ковальчук тоже роскошествовал, как Богдыхан, подперши ноги специальным деревянным ящиком (койка была коротковата), перегораживая им выход в с е н ц ы. Он задумчиво, словно пробуя некие воздушные аккорды, перебирал пальцами особенно белой, в сравнении с его чугунными руками, пухлой ноги, покрытой трофическими язвами и спиральными ожогов (зудящие ноги он прижигал электрической плиткой), и ногой же старался (иногда очень удачно) ухватить тебя за бок («Попался, который кусался?»), так что, протискиваясь мимо, ты уже заранее состраивал плаксивую рожу, чтобы взвыть «ну дедушка!» уже в полной боевой готовности.

В комнате — три на пять — всем тоже хватало места: вечером начинали раскладывать на полу матрацы, мы с Гришкой немедленно бросались кувиркаться, а когда появилась тугая, как барабан, защитная, как плащ-палатка, раскладушка (изголовье поднимать р о в н о на два зубца!), мы с Гришкой до драки сражались за право спать на ней (со с в о и м и я не боялся драк самых безнадежных), и попробуйте мне сказать, что это убогость — спать на раскладушке или на полу! Богатство и бедность — какая это рационалистическая (еврейская) чепуха: вещи — только символы успеха, боремся мы не за комфорт, а за место в строю, за чувство правоты — «делаю, как все н а ш и», — и только когда в единстве со с в о и м и тебе отказано, комфорт выдвигается на первое место: мели становятся горами, когда иссякает океан.

В том утраченном Эдеме (а эдемы бывают только утраченные: чтобы дать им название, нужен взгляд со стороны) я каждое утро забегал проведать и корову, грустно, кротко и неустанно жующую и деликатно отгрыги-

вающую (когда она выдыхала на тебя сеном и молоком, тепло еще долго пробиралось под рубашкой, успев шекотнуть аж в самых штанах), и мне не приходило в голову, что исчезнувший теленок был для нее таким же сыночком, как я для моей мамы. Только так и можно создать Рай! На Земле — держать чужаков на положении скотины, чтобы они не могли напомнить о своих бедах или о каком-то ином мире за райскими стенами. Папуасы до появления Миклухо-Маклая считали себя не просто лучшими, как мы когда-то, а е д и н с т в е н н ы м и (так надежней всего) людьми на земле — и среди них не было недовольных, хотя никто там не имел ни ванн, ни парламентов, ни круизов вокруг Европы. Правда, там было людоедство... Но что вам больше по душе: когда вас — всего раз в жизни! — съедят другие или когда вы всю жизнь едите себя сами?

В мире без чужаков не бывает несчастных. И счастливых.

Наша корова — это была просто корова, как просто люди — это были русские (кто же чужаки для меня сейчас? китайцы? мусульмане?...). А чужие коровы были страшные. Когда стадо с мугучим быком, мотая тяжкими выменами, между косыми, прямыми заборами, плетнями разбрелось по домам, я тоже летел домой со всех ног. Много лет меня преследовал сон: высоченные коровы на задних полусогнутых ногах вышагивают переулком мимо, мимо, а я стыну от ужаса, что они меня заметят, — возможно, след диковатой картины: одна корова взгромождается на другую, предваритель-но на нее же опершись мордой, чтобы высвободить передние ноги. «Мама, корова на корове ходит!» — заорал я, но мама на этот раз не разделала моего восторга.

И вдруг в этом черно-буром ледоходе — родное лицо (только любящий глаз и отделяет нас от роя — делает индивидуальностью). «Зойка, Зойка!» — прыгая от радости (а собственно, чему было радоваться?), ору я и трясу дедушку за штаны... «Тю т-ты, штаны стащил, скаженный!..» — сердится дедушка, поспешно упрятывая выглянувшие подштанники. Зойкин портрет с лазурными глазами — да еще и с бородой — был даже помещен в папиной книге «Древний Восток». Что шумеры и вавилоняне со своими коровами жили тыщу лет назад — это мне и в голову не приходило: в Эдеме время стоит на месте. В этой же книге длинноносые египтяне, неизменно развернувшись в профиль, чопорно жали пшеницу, надменно погоняли неведомо куда такую же танцующе-надменную скотину — и лишь через двадцать лет я заметил, что одна из балетных компаний называется «Евреи в походе»: н а ш а корова была мне роднее каких-то египетских жидишск. И так у меня сжимается сердце, когда я изредка вижу беззащитно распростершуюся в пыли коровью лелепу цвета хаки: что может быть прекраснее — нечаянно вляпаться, а после озабоченно вытирать башмак о пыль... Сбоку, сбоку особенно трудно его оттереть.

В ту пору мысль моя не заглядывала глубже червяков (за сараем под пластами навоза крепко и упрямо спал особенно жирный, белый, тугой, как стручок, сегментированный тугими кольцами, свернувшийся человеческим ухом) и не поднималась выше голубей: мир кончался там, где кончались н а ш и. В нашем Эдеме глаза, не замечающие ни солнца, ни облаков, устремлялись ввысь только для того, чтобы констатировать завистливо или презрительно: «Чумак выпустил. Домашние. Вертят, сволочи...» Или: «Бай-тишкановы. Одни дикашпоты».

Я тоже произносил эти магические слова, понятия не имея, что они означают (на то она и магия). Лишь с большим опозданием я впервые увидел, как среди солидно кружащих голубей один внезапно провалился вниз, перевернувшись через голову, и тут же поправился, вернулся в ряды. Правда, отличить заурядного носатого д и к а р я («дикашпота») от д о м а ш н о г о ничего не стоило: у домашних носик был изящно-коротенький, как у вымечтанных красавиц из тетради шестиклассницы. Но этот коротконосый «малый народ» навязал свои эталоны носатому «большому народу» (у людей обстояло как раз наоборот).

За голубей отдавали целые состояния, их подманивали специально обученными (Мата Хари) коварными голубками, крали, дрались — это

называлось **д р а т ь с я д о с м е р т и**. Когда оплетенные коротконосыми чарами носатые простакки начинали спускаться в чужой двор, их хозяин с дружиной бежал во вражеском направлении, стараясь с леденящими кровью проклятиями угадать, чья же закулисная рука держит главную нить интриги. Не раз страшные ноги в сапогах с кавалерийским топотом пробегали над моей головой, ушедшей в земных жуков...

И никому не приходил в голову низкий вопрос: а на какого черта они мне сдались, эти голуби? Забота о презренной пользе могла закрасться только в сердце отверженца...

У меня было не меньше друзей среди животных, чем у какого-нибудь патриотического литератора — еврейских приятелей, которых он выкладывает в доказательство того, что он вовсе не антисемит, как будто в звании антисемита есть что-то постыдное! Антисемиты защищают народ от главной опасности — от чужаков, от способности видеть себя глазами постороннего. Самодовлеющий (цельный) народ создается е д и н с т в е н н ы м стремлением — стремлением к единству. И людям-фагоцитам, чья единственная функция заключается в том, чтобы уничтожать всякое проникшее в организм инородное тело, — им вовсе не нужно знать, из осины или из красного дерева та или иная заноза: ее в любом случае необходимо окружить гноем и исторгнуть хотя бы и ценой гангрены (гетто — локализованный очаг воспаления). Фагоцитам не важны ни знания, ни богатство — важно только единство всех со всеми. И пусть чужаки (евреи) будут трижды полезны для приобретения знаний или ремонта зубов — провались они и с книгами и с бормашинами, ибо народный организм не растворяется в окружающей среде лишь до тех пор, пока тверда граница, отделяющая своих от чужих, «наших» от «не наших».

По какому признаку «наши» отличают друг друга среди чужаков! — вопрос особый. Но судя по тому, что в «наши» попадают и трудяги, и лодыри, и трезвенники, и алкаши, и интеллектуалы, и невежды, и храбрцы, и трусы, признаки эти не имеют отношения ни к труду, ни к культуре, ни к мужеству, ни к доброте и ни к каким другим доблестям, которые может разглядеть и приобрести каждый. Антисемитам приходится так много лгать о доблестях «наших» и мерзостях «не наших» только потому, что они вынуждены отторгать чужаков, основываясь как раз на тех «общечеловеческих ценностях», которые и делают такое отторжение невозможным. А вот если бы они гордо и открыто провозгласили: мы хранители границ, мы погранвойска Народа!..

Так что простите меня ради распятого мною Христа: я был не прав со своими выкриками насчет того, что не стоит из-за одной ступеньки в угоду четыреста первому наживать желчных соглядатаев и скептиков в интеллектуальном центре общественного организма, — дело не в дележке материальных благ, а в нарушении единства: чужаки должны быть либо растворены до полной неразличимости — либо истреблены.

Растворены... Но ведь они не растворятся! Даже мой папа Яков Абрамович, чья доброта и услужливость граничили с юродством, все равно остался чужаком: разделяя с русским людом корку хлеба и тюремные нары, варясь с ним в тесном провинциальном котле, он так и не начал б у х á т ь , з а г и б а т ь и позволять детям болтаться до полуночи. А быть в единстве означает п е р е н и м а т ь н р а в ы. Даже я, самоистребительно стремившийся и действительно далеко переплонувший подавляющее большинство русских людей в тех доблестях, на которые они без видимых оснований претендуют — в широте души, удали, винопийстве и богатстве, — даже я в конце концов превратился в канонического, себе на уме, еврея, и, следовательно, правы были фагоциты, оттеснившие меня обратно в проклятое русским Богом лоно, из которого я выполз.

Поэтому вас, кто меня уничтожит, приветствую радостным гимном.

И пусть четыреста первый поднимется ступенькой выше. Правда, народ тем самым спустится ступенькой ниже. Ну так и что?

Эдем — это мир, где чужаки не претендуют на равноправие (во вкусах и мнениях). Общества, состоящие из каст, не помышляющих о единстве друг с другом, наслаждаются неведомым нам покоем.

Нигде, кроме Эдема, я не встречал такого черного паслена, который от переспелости было почти невозможно сорвать, не раздавивши (в нашем райском огорожке он рос с а м с о б о й, по Божьей воле — и все будущие винограды и ананасы были только неумелыми потугами уподобиться ему, Божественному), — Эдем и вообще был переполнен плодами и злаками, нигде более не произрастающими либо считающимися (и поде-лом!) несъедобными. Взять хотя бы к а л а ч и к и: неспешно, как делается все в Эдеме, разворачиваешь ажурную зеленую упаковку самого умелого в мире приказчика — Господа Бога, и достаешь действительно калачик величиной с таблетку, уже нарезанный на дольки, как мандарин, и — можно ли так выразиться? — бананисто-скользящий на вкус.

А с л а д к и й к о р е н ь? Надрываясь, выдирать его из земли, кромсая ее в причудливых направлениях — и никогда не выдрать до конца (в Эдеме ничто не имеет конца, равно как и начала), — а потом жевать пополам с песочком до сладостного головокружения — на обычном человеческом языке ни вкус этот, ни сами растения не имеют названий. Если из покорного кружева морковной грядки выдернуть одного поросеночка — оранжевого, в белом волосе, как альбинос в Крыму, — и, ополоснувши в кадке с дождевой водой (Эдем не знает никакой заразы: там болеют без причин, а потому никаких причин не боятся), схрупать пополам опять же с песочком, то на грядке для вечности останется ровно столько же, сколько было.

Даже уборная в Эдеме источала излишне, может быть, самостоятельный, но несомненно приятный запах. Сладостен (в Эдеме все равно все кончится хорошо) был самый ужас, с которым по вечерам вглядываешься в черную бездну, где безвозвратно исчезает, посверкивая, отвергнутая здешним миром горячая струйка жизни, вглядываешься до невыносимости, чтобы, невпопад обронив последние капли, лететь через кладовку (грохнув коленом о ларь с мукой), через сенцы — в свет, в э т о т свет. После фильма «Садко» я вглядывался во тьму с особым трепетом, ожидая, что оттуда вот-вот вынырнет обвешанный водорослями (о прочих украшениях я не думал) морской царь (в Эдеме не ищут побуждений, а стало быть, почему бы владыке морских глубин и не окунуться в дерьмо).

Кстати, к свежей бумаге, сунутой в тряпочный карман, я приглядывался очень бдительно и если угадывал в ней к н и г у, то, невзирая на самую неотложную надобность, бежал обратно и устраивал скандал (однако против подобного же использования газет я ничего не имел — чуял истинную их ценность). А однажды, потрясенный святотатством, я выволок на кухню обложку, с которой сияли скромным благородством прячущиеся друг за друга, как бы не замечая нас, Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин. Но тут уж все прикусили языки, водрузивши священные профили на самое торжественное место (но Гришка еще долго дразнил меня, что вот только что употребил сакральную бумагу по неподобающему назначению, — и я всякий раз кидался проверять).

Правда, в положенное время года дедушка Ковальчук отводил от ручья, служившего, подобно античному Океану, границей человеческого мира, небольшой, но неукротимый рукав к дощатой будочке, выступающей из потрепанной бревенчатой стенки нашего дома, и накопленные за год сокровища расплывались по буйному картофельному участку, а в доме на несколько дней устанавливалась самая серьезная вонь. «Не трожь — оно вонять не будет», все хорошо на своем месте, не нужно перемешивать народы и обычаи.

Постепенно граница мира отодвинулась до с а ш е, как у нас звалось шоссе, я уже выбирался посмотреть, как с в о и мальчишки (затрещину от с в о и х я уже воспринимал без метафизического ужаса) лупасят п л и т к а м и — застывшие лужицы чугуна — по б а б к а м, напоминающим головастые дощатые башни, возносящиеся над нашими золотоносными шахтами. Для чего они нужны? А для чего нужна луна?

Обнаружив однажды священные бабки в кастрюле с настаивающимся холодцом, я был потрясен (кощунство утилитарности!), как добрый католик, вынувший из супа чашу Святого Грааля.

Про священные плитки, правда, пацаны рассказывали, будто на Мехзаводе их сказочные россыпи, чистое эльдорадо. И я пустился в путь... Но увидев, что за с а ш е снова открываются сплясавшие россыпи таких же точно, но ч у ж и х хибар, я остановился и заплакал от тоскливого предчувствия, что мир так и не будет иметь границ.

— Ты чего плачешь, заблудился? — склонился ко мне чужой, а потому тоже страшноватый мужчина. — Твоя как фамилия?

— Каценеленбоген, — сквозь слезы ответил я, впервые познавая те катастрофические неудобства, которые всю жизнь обрушиваются на носителя чужого имени. И в имени твоём звук чуждый невзлюбя...

— Как? Любовин?

— Любовин, — согласился я (большим видней).

— Это же Яков Абрамовича пацан, — узнал меня какой-то доброхот.

— Чего ж ты говоришь, что ты Любовин? — сердито спросил мужчина, и я не нашелся, что ответить.

Я и теперь со всех ног обратился бы в Любовина — только бы принять форму окружающей среды. Как раз перед моей вылазкой за границу мира один из н а ш и х же пацанов, не разобравши моей богомерзкой фамилии, насмешливо обрадовался: «Ты что, немой? Гляди, ребя, немой, немой», — и я пресерьезно размышлял: а что, может, я и правда немой?

За одной из границ моего первоначального мира начинался огород Айдарбековых (на пограничном столбе часто слезилась на солнце диковинная, темного мяса, колбасина; дедушка Ковальчук насмешливо подмигивал в ее сторону: «Сейчас заржет», — есть конину, а тем более вывешивать ее на солнце нам представлялось делом бесспорно дурацким), и однажды мы с Гришкой и еще одним пацаном постарше собрались оттырить айдарбековского сына Айдарбека (за что? — раз н а ш и решили, значит, надо!). Айдарбек слыл человеком опасным, знатоки советовали одному кинуться под ноги, но... Драка уже начала вырождаться в препирательства. И тут я, самый маленький, зажмурившись (это что-то не русская храбрость!), кинулся Айдарбеку в ноги и, клоп, впился в них пивявкой, не чувствуя ударов, а только фиксируя вспышки в голове. И Айдарбека таки отдули!

Я могу (и очень хочу!) тянуть повествование бесконечно, как с л а д к и й к о р е н ь, хотя прекрасно сознаю, что воспоминания о босоногом детстве — один из самых несносных жанров советского казенного народничества. Но только так и удаётся хоть на полчаса вкусить иллюзию, будто не все проходит безвозвратно, что кое-что можно извлечь из загробного существования — пусть кривым и облезлым, как мой вечно зелёный, казалось бы, горшок. То, что нам по глупости кажется победой жизни, это на самом деле только мимолетный перевес памяти, на мгновение выдравшей у тьмы какой-нибудь драгоценный ключок, чтобы в следующий миг кануть во тьму вместе с нами. Но лишь ради этой вспышки я, неутомимый, как археолог, складываю из исцарапанных стеклышек и истлевших лоскутьев увечный абрис (загадочная картинка: кто изображен этой дружелюбной соломенной шляпой и оптимистическими очками?) моего папы Яков Абрамовича, самой бодрой в городке походкой спешащего домой по ослепительному переулку среди растрескавшихся заборов, иссохших плетней и гораздо более степенных в сравнении с ним кур, юмористически посверкивая совершенно круглыми окулярами, уменьшительными для зла и чудовищно увеличительными для добра. В пыли раскиданы ржавые разнокалиберные гири: парни, кто похуже, кто получше, корячатся под двухтудовкой. «А ну вы, Яков Абрамович?» — подзуживает какая-то язва, и папа без всякого видимого усилия возносит ржавую каплищу над своей бритой (Котовский) головой в в е р х д н о м, что умеет только силач Халит (ингуш, но ингуши пока подождут). «Да...» — выдыхают посрамленные, а папа, на ходу покрываясь шляпой, торопится к обеду, чтобы скорей бежать дальше по добрым делам:

он должен был творить их непрерывно, как крысы должны непрерывно что-то грызть, иначе зубы прорастают им в мозг.

В редкие выходные папа сидит с нами за столом в безмятежно голубой майке, а я совершенно серьезно обращаюсь к его бицепсам: «Мускулы, мускулы, походите», — и живые бугры начинают мощные перекачивания, как два гиппопотама под атласным ковром. Помню первую баню (до того меня купали в жестяной ванне) — полутемный бетонный застенок и папу с жестяной опять-таки шайкой, — только на микеланджеловских фресках я встречал такую вздутую округлую мощь, — правда, папа был еще и мохнат, как обезьяна. (Вот они, евреи, с виду-то безобидный очкарик... «Почему у тебя волосы на груди?» — «Потому что человек произошел от обезьяны». — «Не от обезьяны, а из мяса».) Именно микеланджеловского Адама из провинциального Эдема тщится удержать на плаву моя пускающая пузыри память, а не беспомощного старичка, покрытого болячками, словно доньшко моего покойного друга, и не стандартную мраморную плитку, косо сидящую в цементной ванночке и объявляющую всем интересующимся: Янкель Аврумович Каценеленбоген, год рождения — год смерти; всю-то жизнь, оказывается, для удобства окружающих он проживал не под своим именем — вот и верьте после этого евреям! (При этом мой бедный несчастный папочка и законспирироваться толком не сумел: мы с Гришкой все равно засели в Я н к е л е в и ч а х. И уж сколько папина родня меня журила: да кто же смотрит в паспорт, да ты же (общий восторг) ну совсем не похож на еврея! Смотри, а то подумают, что ты нарочно выпячиваешь отчество, что ты гордишься, что ты гидра сионизма... И все же постоянный страх разоблачения при любой проверке документов для меня несравненно мучительнее непрерывных мелких ударов током при каждом произнесении моего отчества вслух.)

И дедушку Ковальчука я тужусь удержать в своем мире уверенным пузатым мастеровым с молотком или паяльной лампой — да пусть и нализовавшимся дебоширом, лишь бы не парализованной тушей, которой изредка удаются исключительно матерные слова, бессильной тушей, в которой исправно трудятся одни только фагоциты, вполне успешно раздувающие нарыв на ступне: мертвую ногу еще живой рукой неукротимый дед время от времени за штанину кальсон подтягивал поближе и, убедившись в ее бесчувственной никчемности, изо всех оставшихся сил швырял обратно, каждый раз заново расшибая о спинку уже вполне приличной деревянной кровати.

Ну и что такого? Нечто в этом роде ждет всех нас. А я вот все равно вижу, как дедушка после обеда (на первое борщ — «хозяин дома», на второе каша — пицца наша, да, да, каша наша, щи поповы, галушки хохловы), — после обеда, значит, озорничая, хватает меня за пузо очугунелой от полувекового братания с железом набрякшей ручищей. «Ты ж его изуродуешь лапищами своими железными!» — кричит бабушка, а дедушка вопрошает меня юмористически-грозно: «Ну, понял? Понял, отчего Антон Антоныч помер? Его, брат, бочкой задавило!» (я уже давно, но тщетно пытаюсь дознаться, как случилось это несчастье). «Наелся? Брюхо тугое? Клопа можно раздавить?» — но клопов, когда надо, вечно не найдешь.

Моя память одерживает одну иллюзию за другой, подцепляя к утопшим все новые и новые поплавки, надутые моей любовью. И детям своим в каждую размягченную минутку я впрыскиваю все новые и новые сведения об исчезнувшем Эдеме, и даже моя дочь-вертихвостка слушает с любопытством... И папа тоже был из породы спасателей и тоже готов был, куда кровь не хлынет из ушей, погружаться в Лету, чтобы, вынырнув, взмахнуть перед потомками на миг вырванным у бездны ржавым горшком или клоком пейзаж какого-то неведомого Рувима, мой отец тоже, как баллон аквалангиста, был разрываем спрессованной любовью, а потому тоже стремился надувать все новые и новые поплавки для утопленников, но — он не мог себе этого позволить. Я могу, и вы можете, и он, она, оно — а мой бедный папочка не мог.



Вернее, этого не позволял ему я: я яростно (яяростно) сопротивлялся — усмешечками, злой демонстративной скукой, — когда уяснил, что малейшая прикосновенность ко всем этим хедерам, цимесам, Рувимам и ханукам необратимо превращает меня в зачумленного — в чужака, в отверженца, в изгоя, — словом, в е в р е я, хотя я в точности еще не знал, что это такое, а справедливо полагал, что еврей — это тот, кого считают евреем.

С незапамятных времен я отличался музыкальностью, и пацаны постарше пересмеивались на завалинке (сизая зола в дощатой опалубке), пока я, размахивая руками, исполнял во все горло: «Удар короткий — и мяч...» «Еврей в воротах», — перебивал меня кто-то из публики. «Не надо», — просил его я. «Это не я, это он» — большой палец отсылал меня к первому попавшемуся. «Не надо», — просил я первого попавшегося, и новый большой палец отсылал меня ко второму попавшемуся: «Это не я, это он». Не надо, не надо, не на... Это не я, это он, это он, это не я, это он, это не... Ладно, давай сначала: удар короткий — еврей в воротах.

В совсем еще невменяемой невинности я бежал искать защиты от оскорблений у папы с мамой — ты не урод, не козел, не дурак, авторитетно опровергали они злостную клевету, — а тут вдруг постный поджатый вид: «Все люди одинаковы». Да при чем тут люди, я не про людей спрашиваю, я хочу, чтоб вы мне сказали, что я не еврей (не дурак, не козел, не урод), я не знаю, что это такое, но раз этим дразнятся, то скажите мне, что я не это. И снова честненькое-скромненькое (покорненькое): «Все люди одинаковы».

И я понял, что перед этим неведомым заклятьем бессильны даже папа и мама.

Правда, до меня дошло далеко не сразу, что все эти папины странные родственники — то хедер, то Мойше — тоже несомненные стигматы еврейскости: ну что, спрашивается, такого — рассказать, что какой-то там папин дядя Мойше в одиночку мог поднять какой-то там воз с какими-то там ихними еврейскими бибехами, — ведь у каждого есть свой богатырский дядя Вася. Но когда во взаимном козырянии могучей родней с двоюродным (по маминой линии) братом Юркой я покрыл его дядю Васю папиным братом Мойше, он даже хвастаться забыл от восторга: «Мойше?.. Он что, всех моет?!» — и я прикусил язык.

И все же суть, что нельзя не только рассказывать, но даже д у м а т ь, даже з н а т ь, если не хочешь сделаться отверженцем, — суть эта открылась мне гораздо позже. С еврейской проницательностью я выучился читать необыкновенно рано — вдруг прочел в газете «хэ хэ век» («XX век»), — а никто даже не помнил, чтобы меня специально учили (евреи даже не помнят, на чьей культуре паразитируют). И сразу же обнаружилось, что я рожден идеологом: общенациональные абстрактные символы (русские, русские!) немедленно становились для меня предметом самых интимных и пламенных переживаний. Не зная цифр, я безошибочно находил в коричневом тысячетомнике Ушинского том с пересказами русских летописей и, шевеля губами, вчитывался с наивеличайшей серьезностью...

Все было точь-в-точь как у наших пацанов. Два войска петушатся друг перед другом, а ударить каждый трусит — и тут пошла обзываловка: «У вас князь хромой». «Что-о?...» — и готово: удалая русская сеча. На другой год опять стоят, и опять все решается обзываловкой: «Проткнем шепкой брюхо твое толстое», — и толстый мужчина, почитавшийся умным, к тому же еще и аристократ, начинает рвать на себе рубаху: «Да я, падлы, сейчас один на их пойду!» — и вся дружина, гомоня, кидается в битву. А что такого — слово важней шкуры: кому нужно еще что-то, кроме достойного места в м н е н и я х, тот чужак. А мне еще была чужда еврейская пословица «хоть горшком назови — только в печку не ставь».

Мир, в котором жили предки, был тоже немногим обширней моего: они садились на город, как на стул, и бегали из страны в страну, будто из комнаты в комнату, — Святослав так даже и погиб оттого, что печенег заступили п о р о г и. Окаянный Святополк п р о б е ж а л в с ю

Польшу и погиб «где-то в пустыне» между польской и чешской землей.

Что ж, отчего бы и там не найтись еще одной сахарной Сахаре, раз она есть в фыркающей Африке, чей изглоданный череп я подолгу разглядывал на папиной настенной карте: в Африке были особенно приятные границы — прямые, с уголками — и какой-то, в зеленую полосочку, очень завлекательный англо-египетский Судан. Но самым прекрасным на обоих полушариях был добрый красный зверь с тяжелым бесформенным пузом и некрасивой, но умной мордой — Камчаткой, через всю тушу которого размахнулась гордая надпись: Сэ! Сэ! Сэ! Рэ! А однажды под картой на беленой стене открылся еще один черный материк, немедленно начавший распадаться на разбегающиеся черные пятнышки (парад суверенитетов?). «Клопы, клопы! — тоже разбежались взрослые, выкрикивая краткое заклинание. — Дуст, дуст!..»

Я был национально благонадежен на тысячу процентов. клич «наших бьют!» заменял для меня и расследование и приговор. Игорь, дважды грабивший каких-то уже тогда древних древлян, был н а ш, а древляне, подлю убившие нашего князя за повторный грабеж, были н е н а ш и, поэтому их и следовало закапывать вместе с ладьей, сжигать в бане (а им так и полагалось тупо идти на все новую и новую гибель как немцам в кино: разделение «наши» — «американцы» пришло поздней) У чужаков сами имена были какие-то потешные: печеные печенеги, сбрендившие берендеи, куда-то вторкнутые торки, оттесненная нашими начудившая чудь, — а у современных врагов так и кличек таких отвратительных не выдумаешь. Гитлер, Черчилль! Неприятные «хитрые греки» начинали хлюздить, когда наш честный Святослав пошел на они, — скользкий народец... Правда, у греков оказалась самая лучшая вера, но, прежде чем ее перенять, следовало задать «коварным грекам» хорошую вздрючку, чтоб не задавались, — ну точно как у нас!

А потом — темный ужас: все летит в тартарары татары «Добрые воины» — оценил их старый воевода и ударил по ним — а что, если бы они были еще и злые?.. Хотя какое там «добрые» — глаза узкие, носы приплюснутые, я просто изнемогал от вожделения, чтобы они с е й ч а с на нас напали: мы бы танками их, «ястребками» бабах, др-др-др — и пр и пр.

Иго... Иго-го-го-го... Конское издевательское ржание несется над беззащитной Русью...

Но зато потом...

Александр Невский!

Возвышение Москвы!!

Куликовская битва!!!

Сталинградская битва!!!!

И наконец — то, ради чего и варилась вся эта каша нескончаемо счастливый день, в непрерывно разрастающейся славе, могуществе, покое, изобилии. Нам, правда, грозили какие-то иссохшие американцы в полосатых рейтузах с н а ш и м и (ах гады!) звездами, но кто принимал их всерьез. «Поджигатель бомбой машет и грозит Отчизне нашей С нами он не справится — бомбою подавится!» Это было подлинное ощущение, а никакая не пропаганда, как нам сегодня пытаются внушить евреи Это было неподдельное единство пятилетнего карапуза и облысевшего в инструктажах агитатора-пропагандиста. Сталин, конечно, не дал ни колбасы, ни квартир, но — истинно народный вождь — он воплотил главнейшую мечту всякого народа, мечту, которая только и делает его Народом, не растворимым в окружающей среде: мечту о единстве, о жизни без чужаков, для которой еврей был неизмеримо более опасен, чем скромный убийца, ни на что серьезное не покушавшийся. Но я — я не был евреем. Помню, папа с мамой ведут меня за вздетые к небу руки из клуба, где только что затонул крейсер «Варяг», и я реву так отчаянно, что знакомые тревожно спрашивают через улицу: «Что случилось?» «„Варяг“ утонул», — отвечают папа с мамой. Речка Мышкова, на которой советские войска остановили группу Гота, рвавшуюся на прорыв сталинградского кольца, навеки соединилась

для меня с тем пологим каменистым бутром, через который мы с папой шли на базар, и папа, временами даже пуская петуха от волнения, рассказывал, рассказывал о подвиге, решившем судьбу человечества, подвиге, чье величие было навеки закреплено — уже на базаре — сходящимися где-то в вышине, как телебашня, коленастыми ногами надменного верблюда, не желавшего дать себе труда смахнуть с подбородка нажеванную зеленую пену. Потом мой личный дядя Гриша Ковальчук пал смертью храбрых собственной персоной, еще один дядя, Сергей, имел целую глазунью медалей и совсем недавно умер от ран. «От Сережи!» — всплеснула руками бабушка на телеграмму — он ей как раз снился в ту ночь, до самой смерти рассказывала она, — а дедушка Ковальчук злобно шваркнул ее на стол: «Скончался». Я не знал, что такое «скончался», я знал только «умер». «Родненький мой сыночек!» — заголосила бабушка (перепуганный, я не мог понять, откуда у бабушки мог взяться сыночек), а дедушка бешено шагал взад-вперед (четыре шага туда, четыре обратно) и матерился: «Что ж она, сука, что ж она, паскуда!» — с большим трудом я догадался, что речь идет о дяди-Гришиной жене, милой тете Маше, которая почему-то не вызвала их заранее. Это было по-ковальчуковски — встретить смерть бранью. Со своими. Я не шушу: переключение из ледяной, неуязвимой вечности на отношения с теплыми и уязвимыми ближними — единственный источник мужества.

Из папиного неведомо где колыхающегося неясного роя я тоже сжился с одним не виданным мною двоюродным братом Зямой, павшим, вернее, медленно погрузившимся в ил где-то под Днестром. И когда пацаны, перекрикивая друг друга, в очередной раз начали хлестаться: «А мой дядь Женя взял немцев за шкирятник и как треснет лбами», «А мой дядь Павлик — фрицы по нему лупасят, а он вот так вот от пуля отклоняется» (изображался некий сладострастный танец живота), — однажды решился вступить и я: «А мой дядь Зяма...» Полная буквализация метафоры, вернее, двух: все по к а т и л и с ь со смеху, а один так даже л о п н у л.

И тогда-то я все понял до конца. И навеки (если бы!) освободился от висевших на мне чугунными гроздьями Мойш и Зям, насколько возможно не помнить того, что знаешь. Папа растерянно и расстроено моргал (за уменьшительными стеклами моргающий глаз был совсем детский), но я был непреклонен: речь шла о вещи более великой, чем жизнь, — о единении, — и он смирился, как смирился со всеми странностями и гадостями близких, странностями, вероятно, казавшимися ему чем-то вроде болезней. И с Зямой было покончено во второй, и последний, раз. Я проколол все надутые папой поплавки и к Зяминим шиколоткам в размотавшихся, колеблемых днестровской водой обмотках надежно прикрутил проволокой по ржавой двухпудовке. Теперь у облупленной ночной посуды оставалось куда больше шансов всплыть из Леты, чем у подводного еврейского героя, а уж о том, чтобы сравниться с дядь Женями и дядь Павликами, дядь Зяме нечего было и помышлять. Конечно, он тоже пал на дно смертью храбрых и всю жизнь только и готовился встретить эту смерть во всеоружии (обтирался холодной водой, привыкая к будущим подледным зимовкам, спал на полу под каким-то суворовским лапсердаком; будучи, как у них водится, первым учеником, пролез в чемпионы Украины среди юношей по стрельбе из мелкашки), но — ему ничто не могло помочь, ибо если бы я позволил ему хоть раз всплыть на поверхность — на дно пришлось бы отправляться мне.

Папа до самой смерти хранил Зямину фотографию в самых ближайших бумагах, но я лишь недавно решился наконец взглянуть своей жертве в лицо — мечтательный, интеллигентный в понимании тридцатых еврейчик, похожий на знаменитого теорфизика Мотю Бронштейна, безвременно расстрелянного по формально ложному, а по сути справедливому навету: за чуждость. Зяма, видно, тоже очень хотел оторваться от местечкового корня портных и раввинов, слиться с шагающими в ногу, если, еврейчик и вундеркинд, такое над собой выделывал, — но ничего не помогло: я бестрепетной рукой пригвоздил его ко дну, и уже н и к т о н и к о г д а и н а м г н о в е н и е не извлечет на свет ни петлички, ни лычки

с гимнастерки его... Но ничего, пусть отвечает за шинкарей и ростовщиков, за революционеров и контрреволюционеров — роевое сознание не опускается до индивидуальностей. И фагоциты все равно не верят ассимилированным чужакам — нельзя доверять тем, кого ты оскорбил... Так что я совершенно зря по самый пуп отхватил и втоптал в помойку одну из двух своих пуповин. Государству, заметьте, при этом вовсе не пришлось тратиться ни единым сребренником — я все сделал сам.

Никакому особенному угнетению в нашем городке национальные меньшинства — и большинства тоже — не подвергались: дослуживайся, до чего сумеешь, зарабатывай, сколько ухитришься, строй, из чего достанешь, — ты должен только стесняться. Ну, скажем, стоит компания, болтают, пересмеиваются, все равны, как братья, и вдруг у кого-то срывается: «Казах» (слово «еврей» не могло сорваться случайно — оно было слишком тяжким оскорблением) — и все бросают молниеносный взгляд на какого-нибудь Айдарбека. А тот на миг потупливается и чуточку краснеет.

Защитники русского народа сами не знают, в чем настоящая народная сила. Они надрываются, подсчитывая, сколько пархатых и косорылых занимают солидные должности, имеют ученые степени, торгуют, воруют, — но вся эта труха не имеет отношения к сути: слаб тот народ, который должен краснеть. Или делать усилие, чтобы не покраснеть. Или агрессивно напирать: я казах, я еврей, я папуас. А силен тот, кто об этом не помнит, как здоровый человек не знает, где у него печень. Но судя по тому напору, с каким патристические литераторы в последнее время возглашают: «Я ррусский» (три лишних «эс» и лишнее «эр» как раз и составляли СССР), они, пожалуй, уже не лгут, жалуясь на свою обиженность: возможно, они уже стесняются. И когда я слышу, что национальную рознь можно уничтожить, сунув всем по должности и по конвертируемому доллару, я прячу язвительную еврейскую усмешечку: ни чин, ни червонец, ни набитое брюхо не освобождают ни от желания быть единым с кем-то (а значит, и кому-то противостоять), ни от желания быть правым (а значит, быть мерой всех вещей и центром вселенной: начинается земля, как известно, у Кремля), ни, самое простое и самое главное, от необходимости стесняться. От необходимости стесняться можно освободиться только через отчуждение от людей, а еще надежней — через презрение к ним. Только в этих норах и может найти успокоение еврей — во вражде или гордыне. Но если душа влечет его к единению — тогда прощай спокойствие: еврей может стать героем, святым, всемирным благодетелем — он не может сделаться лишь простым человеком. Простым и хорошим без надрывов.

Простые, цельные эдемчане презирали американцев по-настоящему, свысока, а не из зависти, как теперь: они и воевали-то как бабы: любую деревуху в три дома бомбили по два часа, прежде чем сунуть нос. «Один американец засунул в ... палец и думает, что он заводит патефон» — вот кем он был для нас. Дедушка Ковальчук рассказывал, что в Америке это чудачье не штопает носков — прямо в бане берут и выбрасывают. «Так все будут ходить и собирать», — уличал его я. «А у всех новые есть», — сам дивился дедушка.

В анекдотах типа «русский, немец и поляк танцевали краковьяк» молодецким выходил всегда русский — даже безалаберность делала его удальцом и симпатягой. «Где твой бог?» — спрашивал его турок. Русский показывал на крапиву. «Ну и бог, ха-ха! Вот мой бог — роза». Русский справлял нужду и подтирался розой, а когда оскорбленный турок пытался проделать то же самое с крапивой... Впрочем, иллюстрации излишни, интересно только, что ни одного турка никто из нас отродясь не видел, но образ его жил там, где живет главная (единственная) сила народа, — Народа, а не частных лиц: в его коллективном мнении. Из евреев у нас тоже водился практически один лишь всеобщий любимец Яков Абрамович, но образ Еврея совершенно независимо и отдельно проживал в умах. Правда, слово «жид» означало всего лишь «жадный». Тебе не дают чего-то, а ты за это — «жид на веревочке дрожит». Однако я всегда говорил: «Отпилил по-армянски» — там, где все нормальные люди говорили: «Отпилил по-еврейски».

И когда я стал с о и м, я сделаюсь смелым и умелым — для этого требовалось только во второй раз утопить Зяму и вбить предохранительный (герметичный) клапан в глотку отцу, обратить его в человека без детских игр и дружков, без братьев и сестер, без первых драгоценных игр и воспоминаний. И теперь я тщетно шарю руками в подводной мгле, где я утопил все, чем так хотел поделиться со мной мой папочка (теперь, когда он уже не компрометирует меня, я люблю его в тысячу раз сильнее, — может быть, исчезнув, и все евреи могли бы обрести прощение?), но натываюсь лишь на бессмысленные обломки, которые не знаю куда и приткнуть, — какие-то цимесы, лекахи, пуримы... Но ведь и выбросить невозможно, а вдруг именно их стремился показать мне мой бедный папочка, может быть, именно на лекахе он скакал верхом, а горяченькими пуримами, перебрасывая из ладони в ладонь, баловала его раскрасневшаяся у какой-то их еврейской печки мама Двойра? Или, наоборот, он скакал на пуриме, а лакомился меламедом?

Я пытаюсь сложить тысячеверстное панно, прилаживая друг к другу десяток обломков размером в ладонь, но складываются картины все такие разные... То возникает мертвенный мир — м е с т е ч к о (этот эвфемизм у нас в семействе заменял более общепринятый «мягкое место»): ряды халуп без единого дерева и без единой собаки, полутемный хедер, куда детей отводят не то с пяти, не то с двух лет, обучая исключительно правилам Талмуда (семилетний мальчишка учит наизусть суждения семидесяти х о х о м о в о тонкостях бракоразводного процесса), а козлородый ребе, угадываемый мною лишь через парижские грезы Шагала, бьет провинившихся пятихвосткой по ладошкам, пока в еще более полутемной, пропахшей чем-то нищенски-еврейским кухне его невообразимая жена раскатывает тесто, которое положено выбросить и, трижды поплевав налево и направо, закопать в землю на освященном месте, если пропустить хоть один из шестисот шестидесяти шести ритуальных выкрутасов: может быть, ей запрещено заплетать волосы (или только в пятницу до заката) или запрещено притрагиваться к мылу (в нем есть что-то кошерное — или там трэфное, никак не упомяну), а дозволяется только скрестись песчаником, добытым в семи шагах к востоку от трехлетней сосны, которую после пяти веков неторопливых прений между наимудрейшими старцами решено считать эквивалентом ливанского кедра, — а может быть, ей, наоборот, положено мыть руки с мылом после каждого соприкосновения с миской, которая... Моя фантазия, как вода в пустыне, всасывается, растекается между миллиардами пустыяков, которые при желании можно обратить в еврейские святыни.

Мой дед Аврум дотемна кроит и шьет суконные пиджаки и порты, а утром встает не то в пять, не то в три, не то вовсе не ложится и на телеге, вытряхивая душу, тарыхтит на ярмарку, целый день торгуется, а к вечеру дребезжит обратно. Даже самый богатый человек в местечке Лейзер Мейер (Мейер Лейзер) тоже не пересаживался из дрожек в фаэтон: в фаэтон пересесть легко, а вот как обратно будешь пересаживаться? Это считалось верхом житейской мудрости — жить, постоянно готовясь к будущему черному дню, а оттого и среди дней нынешних не иметь ни одного светлого. (И то сказать, нищета была трудновообразимая, но евреи, как и все люди, растворенные в каком-то «мы», искали единственно чести, а не денег, и потому оборванный торговец — воздухом — ценился выше сытого ремесленника, а уж голодный раввин терялся в недостижимой высоте.)

Только в субботу наступает еще более тягостный — п р е д п и с а н н ы й — отдых: нужно не веселиться, а именно н и ч е г о н е д е л а т ь — недельная каторга сменяется однодневной тюрьмой среди самодельной мебели. Древние греки так представляли загробный мир: вечно бродить в безмолвии (а если дети расшались, на них строго прикрикивают: «Ша!» — канонизированным, как сибирское «однако»). За пределами дома нельзя даже носить в кармане деньги — это слишком ответственное занятие (даже носовой платок повязывают на шею — чтобы только не в кармане), — но в целом выходят из положения тем, что протягивают между крайними

домами проволоку (на такой высоте, чтоб не мешала ездить) и объявляют ее символической стеной общестечкового дома — как будто Исгова не отличит проволоку от стены!

Но эта хитрость внезапно высвечивает совсем другую комбинацию обломков: хитрость — победа жизни. Халупы можно смело назвать и хатками — белены, они вполне способны сверкать на интернациональном солнце, бездумно расточающем свет и на эллинов и на иудеев. В этом мире водились и какие-то богатыри, всякие Мойше и Рувимы воздымали тяжкие возы. Даже и еврейская мама — она и в Африке мама — всегда самая добрая в мире и притом лучшая кулинарка: в Эдеме любая стряпня навеки становится райским блюдом. Папа Яков Абрамович, уже пенсионером (седина в бороду, а бес в ребро) столкнувшись в гостях (на старости лет обзавелся-таки еврейскими знакомствами) с какой-то холодной рыбой-фиш, уж до того восторженно ахал: «Ну прямо как у мамы!» — неужели было так же невкусно, как у нее? Сколько волка, то бишь еврея, ни корми... Бывали у них и праздники — такое впечатление, что все связанные с какими-то божьими карами либо с ожиданием оных. Нет, припоминается и какой-то радостный праздник — все пляшут в синагоге (даже на столе, евреи ни в чем не знают меры), насколько это умеют люди, весь год живущие одной озабоченностью. Да нет, даже евреям не под силу полностью извести жизнь: старшие братья как-то подучили моего маленького отца во время галдежа каких-то взаимных ритуальных поздравлений пожелать раввину весь год прожить «с ногой под пахой» (под мышкой), а тот благочестиво кивнул. Да! был еще какой-то праздник, когда все целый вечер тянут одну еврейскую рюмочку и желают друг другу: «На будущий год — в Иерусалиме!» Ну сионисты...

Жизнь, похоже, не прекращалась даже в хедере: именно там отец научился ловить мух с невероятной искусностью — вывинчивал их прямо из воздуха, что могло быть достигнуто лишь чрезвычайно продолжительной тренировкой. Брезжит в памяти, что его еврейский папа частенько дирил его за драчливость, — не знаю, кому из них больше удивляться. Невероятно... Лупил его дед Аврум и за то, что он дразнил собак у соседей-хохлов уже с идеологической целью: евреям приписывался особый страх перед собаками. Это вместо того чтобы ежесекундно кланяться и благодарить тот великодушный народ, по чьей земле он ступал, чей хлеб ел, чьим салом ему мазали губы... Зажиточные мужики охотно выделяли сало на подобные богоугодные цели его хохлацким друзьям, которые, угрожая поганой пищей, с гиком гнались за ним до перекрестка, а за углом съедали сало без еврейского участия. Отец впервые отведал сала лишь лет в тринадцать, уже трудясь в литейном цеху и приобщаясь к святыням пролетарского государства. Но — это при его-то всеядности! — был уверен, что его вот-вот вырвет.

В городок его отправили ввиду полного разорения семейства в гражданскую войну, от которой, как известно, выиграли одни только евреи. Евреям и вправду было очень весело: внезапно куда-то мчаться, забираться то в подвал, то в угол за шкаф, косо отодвинутый от стенки, чтоб возникла щель. Однажды он заигрался на улице, и соседка-хохлушка (в ту пору они все называли себя «руськими») выскочила из дому на глазах у бандитов и, награждая шлепками, как своего сынишку, потащила его к себе. Отца столько раз выручали русские люди, что признать хоть тень антисемитизма в н а р о д е отец был решительно не в силах; он готов был надрываться под любой ношей, но соломинка обиды, нелюбви к п р о с т ы м л ю д я м враз ломала ему хребет. Потому-то эту соломинку нам так и не удалось на него взвалить. Он заботливо коллекционировал (а в экспонатах недостатка не было) всех евреев-подлецов, конъюнктурщиков, чекистов, диалектических философов, верноподданных поэтов, а также заурядных жуликов и хамов, чтобы только не допустить, что простые люди — не слишком справедливые существа. Он очень любил с глубоким сочувствием пересказывать, как два мужика во время Великого перелома делились с его отцом: «Локти кусаемо, Аврумка, що нэ дали вас усих пээризать». — «За

шо ж такэ?» — «А ось побачь, шо ваши творять». Папа с гордостью подчеркивал, что и «Аврумка» был настолько великодушен, что принял сожаления о недорезанности себя и своих близких как нечто вполне законное.

И то сказать: что бы ни совершил еврей, это все равно когда-нибудь выйдет боком. Один папин брат спрятался в соломе — его там и сожгли: Другой вооружился наганом, сколотил отряд самообороны, шуганул целую банду, по инерции влился в ряды Красной Армии, получил орден, в тридцать седьмом был расстрелян, и, как все теперь понимают, за дело. Но ведь поди угадай, что бандиты на самом деле народные мстители. Жизнь может доброту или храбрость сделать орудием зла с такой же легкостью, как и злобу или трусость орудием добра, так что брату-орденоносцу таки следовало сидеть в соломе — не всех же, в конце концов, там жгут. Вот дед Аврум спокойно вытряхнул соломенную труху из укромных местечек и явился в разоренный дом, откуда было вывезено решительно все, чего не удалось разбить: пятидесятилетнее ожидание черного дня наконец достигло своей цели — нищета не составила большого контраста с процветанием. Папа невероятно гордился историческим спокойствием (чисто еврейская спесь — гордиться терпением) своего папы: «Мы работаем — у нас будет, они грабят — у них не будет». Насчет них дед не ошибся — ошибся лишь насчет себя, в следующий раз обнаружив на месте дома уже одни только дымящиеся головешки. После этого он до конца дней сшибал гроши на каких-то полуподсобных работах, сохраняя повадку умудренного патриарха, столь же уместную, как онегинский цилиндр на голове крючника. При этом дед всегда пользовался всеобщей любовью: на Руси любят юридивых.

После семейного разорения мой папа Яков Абрамович какое-то время болтался по родне. «Жидкы своёму пропасты нэ дадутъ», — розмовляли мужики, тогда еще с одобрением: в пятницу каждый мало-мальски зажиточный человек под страхом беспощадного осуждения (отчуждения) обязан был захватить в синагоге бедняка — накормить ужином и субботним обедом. Отец еще пятилетним пузанчиком собирал по местечку плетеные булочки (халы?) для бедных, а с тринадцати лет, выправив фальшивую справку (что значит еврей: когда еще задумал годом раньше выйти на пенсию), отправился мантулить в какой-то промышленный сарай, именованный литейным цехом. Даже в передовой пролетарской среде он еще держался за еврейские обряды: поднимаясь раньше всех, тринадцатилетний глазастый кучерявый (вас уже тошнит?) мальчуган торжественно и троекратно обматывал руку ремнем (или двумя?), надевал на голову повязку со всплывшими из бог весть какой колдовской древности кубиками, накрывался какой-то хламидой (талесом?) и забирался на подоконник, поближе к свету. Рабочий народ, поспешая на трудовую вахту, подтрунивал над ним, а он в ту пору еще гордился, что принимает страдание за верность своему еврейскому Богу.

Но — он не умел не привязываться к людям, среди которых жил, и, сделавшись с в о и м, скоро уже вышагивал вместе со всеми в непрерывных шествиях протеста против всех мыслимых соперников наших земных владык и, выбрасывая к небу копченый кулачок, сливался в противостоянии: «Долой, долой раввинов, монахов и попов! Полезем мы на небо, разгоним всех богов!» Богов было не жалко — с него всегда было довольно единства с людьми. Он и стал бы совсем-совсем-совсем своим, но — увы: Аврум Каценеленбоген, всю жизнь кроивший мужицкие пиджаки и порты, которые потребитель примерял на растяг, принимая намекающую позу распятого Христа, — так вот, этот незатейливый портняжка больше всего на свете уважал м у д р о с т ь. То есть образование. То есть книгу. А какие книги предоставляла жизнь полудикому мальчишке, жаждавшему сливаться и служить, сегодня знает каждый болван.

После Талмуда изучение марксистской премудрости казалось особенно естественным: все тоже было известно раз и навсегда — оставалось только запомнить. На его несчастье, память очень быстро вывела его в первые ученики — единственный в б р и г а д е, он имел пятерки даже по русскому

и украинскому языкам (паразитировал сразу на двух культурах). Блистал он и в математике, но властители дум, перед которыми он благоговел, презирали все, что уводило от ихней бучи, боевой-кипучей, а он имел несчастную склонность искренне воспламеняться там, где люди, более занятые собственной шкурой, только притворялись. Своим ораторским даром и вдохновляющей шевелюрой (вкуче с очками, с очками, еврейский вырожденец!) он со временем снискал гордую кличку Троцкий. Чтобы такие, как мы, не воодушевлялись самыми массовыми, а следовательно, и самыми безумными движениями эпохи, для этого есть лишь одно средство: дуст (горящая солома или газовая камера — это уже технические оттенки).

Насколько я понимаю, отец был одним из грядущих гуннов, спущенных народными вождями на все, в чем хоть мало-мальски просвечивала некая сложность, индивидуальность. Только в город(к)е отец узнал, что сапоги имеют размер, — до этого он всегда донашивал чьи-то чужие. Подгонять сапог к ноге — это было такой же нелепой прихотью, как подбирать яблоко к размеру рта. Тоже вышедший из Эдема, отец ничуть не сомневался, что всепоглощающая забота, чего бы пожрать, грабежи и стрельба — это единственно возможная форма жизни, и книги, перед которыми он преклонялся, утверждали примерно то же самое. Книги не обещали ничего несбыточного: через четыре года вполне мог быть построен и коммунизм — на земле останутся только свои ребята, и каждый будет иметь горбушку к гороховой похлебке и койку в общежитии, нужно только тряхнуть империалистов, которые мешают трудящимся Запада получить то же самое. Жертвы нисколько не страшили: каждый был настолько растворен в «наших ребятах», что слабо ощущал собственную индивидуальность — ничего, других нарожают.

Боюсь, при своей честности и страсти шагать в ногу отец не натворил особых злодеяний только потому, что досрочно попал в воркутинские лагеря. Возможно, в его диссертации и в самом деле присутствовал троцкистский душок — мутит взглядываться в эти секты и подсекты. Следовательно Бриллиант упрекал деда Аврума и бабушку Двойру (которые как истинные жители Эдема ничуть не удивились, когда после блистательного взлета их отпрыск угодил в тюрьму), что их сын не только отказывается помогать следствию (прямое вредительство), но еще и ходит на руках во время прогулок.

И в самом деле, при первом же серьезном испытании у отца сразу же всплыло единство не с пролетарским строем, а с местечковым еврейством: умудренные профессора и доценты с его кафедры р а з о р у ж и л и с ь и признали все, что полезно пролетарскому делу, давно уже привыкнув оставаться с пользой, а не с истиной, — в обмен им была обещана снисходительная высылка в Алма-Ату (троцкистская Мекка?), — лишь аспирант Каценеленбоген, невзирая на увещевания и угрозы, уперся, как беспартийный. Ну а показать на кого-то другого — в местечке не было более страшного слова, чем «мусер», доносчик: сказалось извечное противостояние еврейства приютившей его Российской державе. (Как говорится в одном еврейском анекдоте, вы будете смеяться, но его разоружившихся коллег расстреляли.)

В лагере для него оказалась внове лишь необходимость зимой спать в шапке, а летом справлять нужду в толще мошки с неуловимостью иллюзиониста. Голод же и ломовой труд были делом привычным. Выяснилось, что в коммунистическом движении ему было дорого единение с людьми, а не с государством, — в любой бригаде он становился преданнейшим другом всем монархистам, эсерам, коллегам-троцкистам, а также буржуазным националистам всех мастей — в друзьях ходили и гордый внук славян, и финн, и раскулаченный друг степей калмык, и даже китаец. Ладил он и с блатными, действительно оказавшимися социально близкими вождям — стандартной угрозой у них было: «Жалко, не попался ты мне в семнадцатом году!»

Стремясь, как обычно, прежде всего занять достойное место во мнениях окружающих, отец, похоже, не заметил краха блестяще разворачивав-



шейся карьеры, тут же взявшись за новую, таская на горбу сразу по два шестипудовых мешка. И все-таки еврейская закваска никогда не растворяется до конца. Во время выпадавших просветов отец хватался опять-таки не за карты, не за стакан, а за книги, доведшие его от суммы до тюрьмы, и даже ухитрился прилично изучить французский язык. С кем он намеревался говорить по-французски? А ведь он пытался выучить французскому еще и меня — только я не дался, сделавшись с в о и м уже в другом Эдеме. Сила народа не в том, что он имеет, а в том, чего он хочет: в конце концов, люди не добиваются лишь того, чего недостаточно хотят. Конечно, справедливость требует отнять у еврея предмет его страстных вожделений, чтобы передать четыреста первому, если даже тому не так уж и хочется (чего ему хочется т а к у ж, добивается и он). Это, повторяю, только справедливо. Но беда в том, что в следующем поколении всю работу приходится начинать заново, потому что дети еврея опять берутся за свое, опять принимают любовь то, что любит отец: добиться того, чтобы они не и м е л и, сравнительно легко, но сделать так, чтобы они не ж е л а л и, можно единственным способом — сами знаете каким.

Ведь даже мне, своему в доску, не удается вспомнить себя без книги (стою перед ней на коленях и шевелю губами). Не помню случая, чтобы я куда-нибудь шел с папой и он при этом мне что-нибудь не рассказывал, не подбадривал отмототить наизусть стишок или пересчитать ворон (потом-то, сделавшись с в о и м, я с этим покончил, но было уже поздно). Как было заставить его не делать этого? (Гришка, правда, ухватился за паяльник, а не за книгу, но это ему не помогло.)

Отцовский отец, дед Аврум, сам едва грамотный, конечно, не мог дать сыну никаких познаний — но у в а ж е н и я к ним, благоговения перед мудрецами он, подлец, вполне сумел добиться. Уже стариком он любил сесть в сторонке и п р о с т о с м о т р е т ь, как отец занимается: зрелище сына с книгой само по себе доставляло ему радость. А ведь все на свете интеллектуальные победы только этой радостью и о д е р ж а н ы! Ну как, как добиться, чтобы он ее не испытывал?! Дуст, дуст!

Отец, уже полуслепой, не мог пропустить ни одной книги. По математике, по биологии (что он там понимает, раздражался я) — непременно возьмет и, ложась щекой на страницу, страдальчески просмотрит до конца и, с гордостью за меня, заключит: «Ничего не понимаю». Картинка на внутренней стороне век: папа бодро ведет корову, что-то читая на ходу. Он до отказа набивал книгами самодельные полки, а самодельными полками — комнату. Но, может быть, только благодаря им наш потолок не просел окончательно. Из этого наследства — единственного — у меня не поднимается рука выбросить целые тучи прогрессивных авторов на всех европейских языках (Драйзер — вершиннейший из них). Всякий раз меня так и пронзает, что отец до конца дней оттачивал свои иностранные языки и что-то серьезнейшим образом изучал — все готовил себя еще к каким-то связям с иностранцами, евр. морда, хотя жизнь-то давным-давно была уже *кончена*... Только совсем недавно до меня дошло, что ни к чему он не готовился, а д е л а л т о, ч т о н р а в и т с я. Он не кокетничал и не прятал голову в песок, уверяя, что он счастливый человек: единственное, чего он по-настоящему хотел — место в людском мнении, — он всегда имел, как каждый имеет то, чего он хочет по-настоящему. Он был не только счастливым, но еще и везучим человеком: он всегда с радостным облегчением вспоминал, до чего вовремя его посадили, освободив, таким образом, от множества подлых соблазнов.

Уже в стольном граде Каратау у отца наконец появился младший еврейский друг, носивший говорящую фамилию Могилевский, бородастый и красивый, как карточный восточный король, и почти такой же маленький. Когда ему было лет пяток, его еврейского папу арестовали, а маму вместе с ним и старшей сестренкой отправили в какой-то не то кишлак, не то аул, где только председатель и парторг с грехом пополам понимали по-русски. Там уже маму досадили окончательно (дети, как в сказке, три дня и три

ночи просидели на крыльце районного НКВД, пока их во избежание соблазна какой-то добрый человек не турнул от детдома подальше). Так, с чисто еврейской изворотливостью ускользнув от детприемника, ловкие малыши вернулись обратно в чужой Эдем, где непонятные люди говорили на непонятном языке. Их начали кормить по очереди (паразитический этнос), передавая из сакли в сак... — или это называлось юртой? Нет, это был чум, то есть йглу, не важно, — главное, сестра, десятилетняя девочка, разнюхала на расстоянии двух верблюжьих переходов русскую школу и как клещ присосалась к русской культуре, а потом принялась еще и протаскивать туда же еврейскую родню — через несколько лет они с братом уже пробрались на Доску почета, захватив проценты, причитающиеся коренному населению, а в день получения чужой золотой медали юный карьерист Могилевский увидел на школьном крыльце изнуренного оборванца — это был его еврейский папа, который приехал умереть у него на руках (сестра уже пролезла в институт), чтобы сэкономить на собственных похоронах: хоронили его за колхозный счет. Правда, без гроба, но евреи к этому привыкли.

Я познакомился с Могилевским, когда он, обладатель красного диплома, преподавал в пединституте, жил с семьей в студенческом общежитии и каждый день ездил на велосипеде за пятнадцать верст на экспериментальную делянку — дальше завкаф не нашел. Я, в ту пору подающий большие надежды счастливчик, снисходительно пожал руку этому усердному кроту, искоса оценившему мою завидную внешность в стиле русс. Он же выглядел понуро: как раз вчера у его дочки обнаружилась скарлатина, за что преподаватель физры, живший в том же общежитии, тряс его за грудки и орал: «Ну если Женька заболит, жидовская морда!..» — дочурка физрука имела несчастье поиграть с маленькой евреечкой. Мой отец тоже сидел поскучневший (главное, сам-то физрук был всего только немцем!), хотя подробности гибели академика Вавилова, которую они с Могилевским обсасывали (очерняли русскую историю), могли бы взбодрить и не такого энтузиаста, как мой папа.

Стоит ли добавлять, что в конце концов Могилевский защитил диссертацию, без мыла пролез в доценты (в Каратау доцент был немалым человеком) и урвал себе двухкомнатную квартиру, так что, подсчитывая процент евреев с учеными степенями и квартирами (в одном ряду), не забудьте вписать туда и Могилевского. Впрочем, можете вычеркнуть: в тридцатисемилетнем возрасте (лорд Байрон) Могилевский скончался от инфаркта — человек с такой фамилией был обречен. Но не спешите радоваться — с его детьми всю канитель придется начинать сызнова.

Но каков: даже на вершине довольства он не кидался благодарно целовать руки каждому встречному. Он даже улыбался очень редко, однажды только признался моему папе, что считает его вторым отцом — еще один еврейский братец выискался...

Выпустили отца аккурат перед войной — еврей и сесть сумеет вовремя: остальных придержали до выяснения обстановки (она лишь чуточку прояснилась году где-то в сорок шестом). Оторвавшись от масс, отец снова сделался неспособным на убийство. Частным образом. Но на войне с фашизмом — дело другое. Он подал заявление в ряды и получил предписание отбыть, правда тоже к немцам — в Н е м п о в о л ж ь е. Правительство берегло мою будущую жизнь: отец с его нарастающей близорукостью на передовой долго не протянул бы. Хотя подслеповатый еврей Казакевич, говорят, творил чудеса: главное — растворенность в «своих ребятах», а этого ингредиента храбрости у отца было хоть отбавляй. Правда, чувство слияния с государством он утратил, а, как ни крути, общепринятые границы и общепонятные символы единства создаются и поддерживаются все-таки казной: нельзя сохранить единство с Народом, оторвавшись от его скрепляющего остова, сказать «я люблю народ и ненавижу правительство» — все равно что сказать «я люблю свою жену и ненавижу ее скелет». Так что, господа отщепенцы (евреи), оставьте ваши патетические возгласы, что вы всей душой с народом, а ненавидите только антинародную верхушку —

верхушка не бывает антинародной. То пустяковое обстоятельство, что она морит народ голодом и истребляет в войнах и других великих свершениях, не имеет ровно никакого значения. Главное — верхушка всегда стоит за Единство и отбраковывает чужаков.

Ад военных железных дорог, которые и в мирное-то время отдают чистилищем... Но после лагерных нар и лапника на таежных «командировках» место под лавкой — это была царская кровать с балдахином. Гражданина, следующего к месту ссылки, обилечивали и с милицией погружали в вагон в первую очередь как стратегический груз, которым он и являлся: когда требуется угысячеренное единство, изоляция чужаков становится делом стратегическим.

Переправленный в конце концов в русское село, отец, хотя и любивший всякую работу, выполняемую собща, вдруг по какому-то озарению взялся за учительство — чтобы уже не расставаться с ним до конца дней: для этого он и был предназначен — по своему образу мыслей он был гораздо ближе к детям, чем к нам с вами. Идеологически ответственную историю ему не доверили, но преподавать в немецком окружении немецкий язык взяли охотно (евреи всегда торгуют чужим).

И все-таки он, пришелец, оказался более своим, чем немецкие туземцы: директиву переселиться в Северный Казахстан немцы получили на несколько месяцев раньше, чем он. Более того, тайно готовясь к операции, партийная г о л о в к а нашла возможным включить и его в группу догляда за оставленным имуществом. В ушах засел тоскливый кошачий мяв в пустом селе, а в глазах — валяющиеся повсюду бараньи головы: едой запасались срочно, по-военному.

Несмотря ни на что, отец все еще оставался эдемчанином, поскольку не увидел ничего странного в том, что сотни тысяч людей, без даже попытки установить хоть чью-то личную вину, роевым образом лишались своего добра и в теплушках, где слабым полагалось вымереть, переправлялись в такие места, где могли вымереть уже и не очень слабые. Удивительным ему показался только порядок в опустелых домах: все лежит где положено (в двух-трех графин был пробит аккуратным ударом сбоку), в погребе очень чистая картошка и квашеная капуста, в лучшей комнате на видном месте «Краткий курс ВКП(б)» и Библия — обе священные книги на немецком языке, — Лютер, Гёте, иногда Лессинг. В школе порядок был тоже невероятный: все перевязано не бечевками, а ремешками. Это не помешало отцу вместе с остальными доверенными лицами свезти к себе соседские дрова — не пропадать же добру (отец несколько даже мистически не понимал, как это можно взять чужое, но слившись с великим «мы»...). И вновь с прежним самодарением продолжал учить вселенных в пустые дома уже орловских ребятишек. Орловские, наверно, тоже были благодарны советской власти за то, что в комнатах есть мебель и посуда, а в огородах картошка.

Славное было время. Враг народа и еврей был более своим, чем друг народа, но немец: отцу еще только выписывали предписание на высылку в Северный Казахстан (к моей будущей маме: советская власть дала мне все, особенно жизнь), а немцев уже гнали в баню на дезинфекцию по улицам моего будущего Эдема, и мой будущий двоюродный братишка прибежал с разинутым ртом: «Так а немцы, оказывается, люди!» Он был, заметьте, уже не полный младенец и вдобавок сын расстрелянного врага народа, а это ускоряет созревание — гнилого, правда, плода. (Про врагов народа даже младенцу не пришло бы в голову, что они не люди. Правда, враги составляли примерно три четверти народа — ведь врагами Единства могут быть и девятьсот девяносто девять тысячных населения. Иногда для сохранения мозга и хотя бы части скелета требуется ампутировать все подряд, только не фагоцитов.)

Отец догнал своих предшественников по п е р е м е щ е н и ю только лет через тридцать. Немецкие села снова были самыми чистыми и зажиточными в области: я уже говорил, по-моему, что богатство каждого народа в том, что он любит, а не в том, что он имеет. Придержаться того, кто чего-то хочет, и пустить вперед того, кто не хочет, — этим, конечно, справедли-

вость восстанавливается, но, к сожалению, только на время. Поэтому если желаешь вечной справедливости — убивай каждого, кто слишком сильно что-то любит.

Пересылаемый от коменданта к коменданту во все более и более ничтожные населенные пункты, отец задержался на моей милой малой родине скорее всего только потому, что ниже не было уже и комендатур. Или нет — где-то у финиша везенье приняло размеры сказочные даже для еврея: некий бдительный патруль из-за нехватки какого-то диагонального штемпеля конфисковал его неблагонадежное предписание, тем самым лишив его права на милицейский эскорт и, собственно говоря, поставив вне закона. Но — вот оно, еврейское умение втираться в доверие! — отец на каком-то перегоне многократно перетаскивал гору барахла некой дамы с девочкой и: «Я тебе еще пригожусь», — пообещала вырученная дама, ударилась оземь и обернулась женой крупного гебиста из Москвы. Раздавленный этим родством раззява канцелярист выдал отцу новое предписание, в ошеломлении вписав туда невинное «вокуируется». Я пытаюсь увидеть мой маленький Степногорск глазами моего папочки, въезжающего в рай на чужой полуторке (от железной дороги сорок км), но ничего не получается — слишком у него заledenели ноги в брезентовых тапочках (баретках?) среди западносибирской зимы. Впрочем, если бы даже вокруг кишели сплошные орхидеи... В доме деда Аврума считалось несерьезным и, пожалуй, даже греховным делом л ю б о в а т ь с я чем бы то ни было — здешний мир не место для забав (не храм, а мастерская. Либо киоск.). Ну а марксистская эстетика рабфаков — это тем более была польза, польза и польза: все, что нельзя съесть и из чего нельзя выстрелить, подлежало презрению. Отец начал замечать «природу» только с приходом первой седины. Да и то потреблял ее как лекарство — в определенные часы, в определенных дозах... Так что величайший певец русской природы Изя Левитан явно обокрал русский народ, из него же и насосавшись этой пронзительной, щемящей, давящей, колющей, режущей любовью: расплачься при виде инея на стеклах мог только вампир.

Вспомнил: отца поразили плоские насыпные крыши наших халуп — у жидохохлов любой голоштанник имел все же двускатную, пускай соломенную, крышу. И все-таки целых три двухэтажных здания обнадёживали. А главное — добыча золота обещала прокорм.

А у меня, пяти-шестилетнего пацаненка, захватывало дух, как на качелях, когда после летнего отпуска передо мной разворачивалась эта божественная панорама: почерневшие копры, раскиданные среди сопок (равнина была настолько громадна, что, невзирая на все старания холмов ее взволновать, все равно оставалась р а в н и н о й), словно пирамидки на беспутном великанском погосте, — только с тех времен я и помню, как можно любить з е м л ю. Потом открываются три величественных двухэтажных здания: райком-горсовет, школа им. И. В. Сталина и высшая моя гордость — Клуб (бетонная лестница, возносящаяся в недостижимую пятиметровую высь — что пред нею лестница Иакова! — а там фонари, колонны с завитушками, — Клуб был сверхъестественно прекрасен, неоспоримый шедевр сталинского ампира, самого всенародного стиля нашего века. Гришка, одинаково склонный к патриотизму и мошенничеству, насчитывал у Клуба аж пять этажей, включая подвал, чердак и чуть ли не сцену).

После достопримечательностей можно уже было разглядеть и как попало рассыпанные домишки. Дедушка Ковальчук однажды фыркнул пренебрежительно: «У нас Ворошилова, девятнадцать, а Ворошилова, двадцать один где-нибудь там» — и широко махнул рукой в неизвестность. «Где тут Ворошилова, двадцать один?» — спросила меня заблудшая старушка, и я с той же хозяйской досадой повторил: «У нас Ворошилова, девятнадцать, а Ворошилова, двадцать один где-нибудь там», широким пренебрежительным жестом отправляя старушку в безвестные края — и больше с тех пор никто никогда ее не видел.

Сопками (триста метров по кривой) разделялись созвездия домишек на изолированные а часто враждующие микроэлементы — к о а я (через

двадцать лет я не успевал прийти в изумление, пронзая городок из края в край, из степи в степь за четверть часа). Каждая сопка, словно пограничным знаком, была увенчана скворечником сортира, открытого всем ветрам (председатель горсовета, тем и вошедший в историю, возвел их на самых видных местах, чтобы наблюдать с балкона, кто и как часто туда направляется, направляется не кто попало, а аристократия, проживавшая в казенных домах, народ же попроще имел скворечнички у себя в огороде). А меж сопками, вокруг копров — горы, горы, горы битого камня, днем и ночью тащимого бадьями из шахт и влекомого по каменной насыпи в вагонетках на обогатительную фабрику: вечно склоненные над нашими головами, понуро кивающие в такт шагам конские силуэты. Туда же, на фабрику, закачивалась жесткая вода из шахт — над головами тянулись, волновались и прыскали на стыках (Петергоф, фонтан «Солнышко») ржавые трубы (я, бывало, хаживал по ним, балансируя между жизнью и смертью, от истока до устья).

Когда через двадцать лет я глянул на свой рай глазами чужака — первая мысль была: «Неужели и здесь люди живут?..» Отовсюду прет — живого места нет — рыжий слоеный камень, кое-где прихваченный польню, решительно все усыпано щебенкой (шлепнешься с разбега — снимешь кожу до мяса, и снимал-таки, снимал...). Раскаленная степь повсюду сквозит между домишками, тоже щедро поперченная щебенкой и приправленная сизой, одуряющей польню (зато сиреневый горизонт беспрепятственно струится, как воздух над костром, и прозрачно синее невесомая драгоценная инкрустация — гора Синюха). Вода в колодцах соленая, годится только на стирку; вымоешь голову в бане — волосы торчат индейскими перьями, питьевую же воду развозит на кляче водовоз (зимой, вместе с лошастью упрятанный в иней, на матово-стеклянной бочке он выглядит призраком). Ни в одной из столь вознесенных на вершину уборных нет ни единого крючка — хорошо, если висит проволока: только держись покрепче (эдемчанин все любит делать рывком), если найдешь местечко, где пристроиться: полн усеян грудами крупного артиллерийского пороха — перекаленными экскрементами. Это летом. Зимой же — нагроможденное многоцветье обледенелых бугров (переход Суворова через Альпы), а если засидишься (хотя мороз не даст: под тридцать градусов — это норма), рискуешь засесть до весны: снег все заносит на глазах, за малейшим бугорком наматывает длиннющую снеговую... словно бы тень, пытающуюся подняться с земли. К каждому столбику она уже поднимается перепонкой, превращая его в солнечные часы из снега. Хибары занесены до крыш — вогнутые гиперболы взмывают к их краям, как на монументе покорителям космоса.

Но в Эдеме все становится источником счастья: прорубленные фанерными лопатами многослойные снеговые коридоры, сквозь которые нужно было шествовать к с а ш е, муравьиные лабиринты, которыми мы, пацаны, истачивали толщу слежавшегося снега (а в центре — зальчик с коптилкой), обледенелая, словно бы отлитая из матового стекла крышка у водовоза. Весной — обезумевшие ручьи с сопки, и нужно было с маниакальной торопливостью возводить запруды за запрудой, пускать кораблики и уноситься с ними воображением в лакированные туннели и гроты, которые затмили бы своей грозной красотой все чудеса природы, будь мы раз в пятьсот меньше ростом. Весною всеми овладевал поджигательский зуд — ходили палить старую траву в степи бог знает зачем, как делается все в Эдеме, только потому, что это делают все: даже какая-нибудь тихоня, отличница и звеньевая, видишь, присела на корточки и чиркает стаченными у папы спичками, — и добивались-таки своего: разворачивались ночами зарева вполнеба.

Клянусь, я не знаю места прекраснее! И когда я, изгнанник и отщепенец, безнадежно перебираю и осыпаю поцелуями камешек за камешком, льдинку за льдинкой, порошок за порошок в горделивых, открытых на все четыре стороны света сортирах, мне хочется плакать от счастья и боли, но — слезы иссякли во мне, любой мало-мальски чувствительный кот сумел бы наплакать щедрей...

Отец, взлетая и плюхаясь обратно на сплющенное сиденье в провонявшей дрянным бензином полуторке, был склонен плакать еще меньше. По дороге (железной, беспощадной дороге) он подрабатывал грузчиком, давая такой класс, что ему немедленно предлагали койку и пайку, но государственный перст вел его к моей маме: советская власть готовила мне сомнительный дар — жизнь.

Отец вынашивал хитроумный еврейский умысел устроиться грузчиком в Потребсоюз, но всякий раз на его пути становилось, о н о — облоно, районо, гороно, — и он краснел перед укоризненной вывеской, хотя, увиденный из школы под конвоем на глазах учеников, он уже почитал себя свободным от химеры, именуемой совестью. Однако после первой же искательной просьбы затюканной педагогической полуначальницы: «А вы нам не поможете?» — он немедленно вернулся в прежнее обличье, вновь сделавшись тем, кем он и был, — человеком, рожденным п о м о г а т ь.

Престарелые учительки и через двадцать лет не могли вспоминать без слез его нескончаемые благодеяния (и сверхчеловеческую культурность — в нашем Эдеме грядущие гунны были уже светочами культуры). Он и спину себе свернул на ниве благотворительности, разгружая дрова для одной из бесчисленных ученических матерей-вдов: бескорыстие противопоказано евреям, — с тех пор у нас не выводилась вонь экзотических растирок (вечная же благодарность вдов и сирот помогала, как мертвому припарка). Возрожденный Василий Васильевич Розанов, чье величие не дано постигнуть чужакам, совершенно справедливо указывал, что евреи наиболее опасны тем, что и с к р е н н е услужливы и привязчивы — оттого каждый из них находит покровителей (изменников) среди русских.

Поправлюсь насчет гуннов: если лет пятнадцать подряд хватать и глотать любую подвернувшуюся книгу — чего-то все же наберешься: отец был принят как свой в круг захоластной сибирской интеллигенции, среди которой благодаря ссыльно-тюремной политике советской власти попадались личности нетривиальные: тот окончил Льежский университет, другой играл в шахматы с самим Ласкером, третья с такой прямой спиной садилась на стул, что прочие женщины предпочитали в ее присутствии вовсе не садиться... Правда, более давнишние ее знакомые где-то сидели очень прочно, по многу лет, зато среди детей этих отверженцев теперь полно известных литераторов, крупных инженеров, а просто почтенные люди — так все без исключения. Главное свое богатство — стремления — эти гниды унесли с собой в ссылку и передали детям без уплаты налогов на наследство.

Отца пристроили на жительство к местному профсоюзному боссику Дерюченке, из-за его однорукости считавшемуся героем гражданской войны. Отец взвозил для супругов Дерюченко воду в бочке на обледенелую гору, задавал корму коровам и свиньям, у которых ему позволялось почерпнуть несколько мелких картошек в мундире, таскал дрова и затапливал печь — не в своей комнате, разумеется, — за это ему была предоставлена дверь, уложенная на два ящика и укрытая двумя мешками с соломой с наброшенным сверху кожухом, который воспрещалось выносить из помещения. Одноразовые же услуги — перевезти, скажем, из степи под покровом ночи (от завистливых глаз подальше) стог сена и едва при этом не замерзнуть — специально не оговаривались. О каком же антисемитизме в народе может идти речь, если в скором времени заведующая районо Валентина Николаевна Корзун, приглядевшись, выдала отцу талон на носки — до этого он обматывал ноги в брезентовых тапочках каким-то тряпьем. (Более того, через какое-то время из трех человек, знавших немецкий язык, райком доверил именно ему перевести для а к т и в а засланные ради ознакомления с идеями врага фашистские пропагандистские брошюры. Все, что касалось евреев, встречало у актива полное одобрение. Содержание этих же брошюр отцу было приятно снова встретить — воспоминание молодости! — почти без изменений в перестроечных публикациях некоторых журналов.

Дерюченки тоже давали ему возможность своеобразно блюсти день субботний: вечером, вместе с заведующим Продснабом усаживаясь за стол

с водкой, с неопикуемой и неупикуемой жратвой, они заодно приглашали и трудолюбивого квартиранта. Пока он церемонно отщипывал того-сего, хозяева жизни жрали, пили, а затем пускались в безумный пляс — словно лед старались проколотить то одним, то другим каблуком, — а затем валились и засыпали где попало. И тут начиналась большая жратва! Обьедков для свиней отец оставлял ровно столько же, сколько в будние дни они оставляли ему. Даже в понедельник он еще похвально в учительской набитым животом. Все хохотали, и только юная преподавательница физики, математики и астрономии с невыразимой гадливостью взывала к его достоинству: «Ну как, как вы можете такое рассказывать?!»

Это была моя мама. Когда, забравшись на стремянку, она поправляла портрет Вождя, ему бросились в глаза ее забинтованные из-за голодных чирьев лодыжки. «Как у лошади Ворошилова», — подумал он. Зато у колхозе на шефском — «Все для фронта!» — сенокосы она лучше всех управлялась с вилами, а он вообще творил геркулесовы подвиги, именно там заложив фундамент своей педагогической славы.

Лучшими работниками для фронта, для победы оказались дети раскулаченных — джюкояков, переселенных к нам откуда-то из Центральной России. Слово «джюкояк» означало как будто «деревянная нога» — в наших краях до тех пор не видели лаптей. Начавши с землянок — крытых жердями ям (за это их к р а й именовался Копаем), — джюкояки через десять лет жили уже в хороших домах и учили детей в институтах: главного богатства — стремлений — их тоже лишить не смогли: вечная справедливость достижима только через убийство. (Каждый ученик, поступивший в институт, был для моих родителей предметом неиссякаемой гордости: их память была заселена десятками выпусков, и они до последних дней горячо спорили, кто был способней — Петруша Ванюшин или Ванюша Петрушин.)

Мне казалось, что отец вечно и неизменно (в Эдеме все вечно и неизменно) был общим любимцем и только успевал раскланиваться на радостные крики со всех сторон: «Здрасьте, Яков Абрамович!» — лишь совершенно случайно через много лет я узнал, что какой-то переросток (а среди них тогда попадались жужайшие типы) крикнул ему в спину: «Жид!» — языки просвещения уже заглядывали и в такие закоулки. Отец тряхнул его за грудки так, что затылок ударился о лопатки, и, опомнившись, отшвырнул от себя, едва не раскроив ему череп о батарею, — и это вместо того, чтобы смиренно попросить прощения у несчастного юноши за те обиды, которые наверняка нанесли ему какие-то другие евреи.

(«Ага, — подумал я, — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь». Отец все-таки тоже был тайным сионистом, ибо ни из-за какого л и ч н о г о оскорбления никогда никого не схватил бы за лацканы. Правда, от меня уже никаких эксцессов не ждите, поскольку и я от вас не жду ничего хорошего.)

Подружившиеся в трудовых свершениях родители каждый вечер уходили гулять в степь. Понемногу отец проникся к маме таким доверием, что решил поделиться с нею самым заветным своим прозрением: что Сталин позаимствовал план индустриализации у Троцкого. Сильного впечатления эта новость не произвела. В любую минуту ожидая нового ареста, отец не смел и думать о женитьбе, но ведь рядом с каждым из нас всегда найдутся хлопотуньи, которые похлопочут об этом вместо тебя. Не знаю, как отец устроил это технически; после лагеря дед Аврум спросил его, почему он не женится, и он чуть не сгорел от стыда: с родным отцом да о таких неприличностях (образчик еврейского ханжества). Для мамы же было непосильным умственным усилием осознать, что она связывает свою жизнь и со ссыльным и с евреем одновременно: в человеке ей всегда с трудом удавалось видеть, кроме человека, еще что-то — национальность, чин... Зато во время венчания в загсе она не сумела выговорить свою новую адскую фамилию.

По части выпивки отец сильно разочаровал дедушку Ковальчука, но зато так отличился на кизяке (им у нас топили — кирпичами сушеного навоза, предварительно перемешенного босыми ногами), так скользил от

колодца с четырьмя ведрами разом (солистка ансамбля «Березка»), так играючи припер с базара пятипудовый мешок муки — две версты как не то... Впрочем, бабушку он скорее всего купил именно тем, чем разочаровал дедушку.

Ледяная комнатенка в бараке, где помещалась только кровать, — на мой взгляд, идеальное помещение для новобрачных (и это когда русский народ истекал кровью на полях сражений — ни один еврей не имеет права спать с женой, пока страдает хоть один русский, пусть благоденствуют только Дерюченки!). До самого рождения Гришки мама продолжала звать отца на вы и Яковом Абрамовичем.

Уже с Гришкой на руках (война успела кончиться) родители совершили исход в Воронежскую область — каким-то чудом подвернулась работа в пединституте, ближе к обожаемой науке. Там отец на недолгое время воссоединился с папой Аврумом и мамой Двойрой. Только там же моя мама наконец поняла, что слово «еврей», которым ее предостерегали понимающие люди, и в самом деле что-то означает: какие-то странноватые старички обращаются к ее мужу: каля-баля, каля-баля (так у нас в Эдеме изображали казахский язык), — а он, к ее изумлению, внезапно в ответ тоже: каля-баля, каля-баля...

Мое появление на свет, ночные бдения над новой диссертацией, конспиративные поездки в московские библиотеки (отец не имел права задерживаться в крупных городах), непрекращающийся лекторский триумф (прочитав в книжке что-то интересное, отец едва мог дотерпеть до утра, чтобы рассказать ученикам), студенты-орденоносцы в кубанках (когда они склонялись над тетрадами, медали, позванивая, ложились на бумагу, восхищенно вспоминал отец). Бдительный доносчик (отец в лекции упомянул, что Волго-Донской канал какие-то космополитические турки выдумали раньше Сталина), ректор, бывший командир партизанского отряда, заткнувший подлую доносчикову пасть, объявив, что Каценеленбоген давно реабилитирован, — наглость была настолько рискованной, что никому не пришлось в голову проверять (а отцу не пришлось в голову считать доносчика таким же русским человеком, как и спасителя: он остался в уверенности, что русские его всегда только спасали). Аресты повторников, начальник госбезопасности — отцовский студент-заочник, продержавший его всю ночь, а наутро, тоже рискуя шкурой, собственноручно доставший ему билет обратно в Акмолинскую область спасти дебилов от двоек и хулиганов от тюрьмы (у нас дома вечно толклись какие-то уголовные рожи — но для меня это были очень заманчивые знакомства).

Унесши ноги за месяц до защиты новой диссертации, отец уже не мечтал о большем, кроме как сдать маму с детьми в мозолистые руки дедушки Ковальчука, а самому податься куда-нибудь в старатели или лесорубы, но его снова звали в школу — сначала на гибельную Ирмовку, а потом и в центральный состав: еврею дай только палец. В пятидесятом, что ли, году побывавший в столице партийный активист Разоренов выразил возмущение в райкоме, что повсюду сажают евреев — одни мы остались в стороне от прогресса. У нас было два еврея. Директора Мехзавода Гольдина таки посадили за то, что он распорядился развозить рабочим воду на заводской лошади. Отца же всего только отстранили от преподавания партийной науки логики и партийной науки географии, — н а я з ы к а х же можно было оставить и чужака.

Но как мог отец сердиться на такие мелочи, если студенты-орденоносцы всю ночь прождали его у здания ГБ в темноте под деревьями. Ради этих верных фронтовых друзей отец, тоже роевым образом, не принимал всерьез и Разоренова: фагоциты, эти закономернейшие порождения и необходимые ограждения любого народа, представлялись ему кучкой нетипичных негодяев. По-настоящему они достали его только через детей, то есть через нас с Гришкой. Слово «карьера» вызывало у него недоуменно-брезгливое выражение, но тот факт, что его чистых, одаренных сыновей государство при практически полном одобрении либо равнодушии коллег твердо отказывается признать с в о и м и, был, возможно, самым сильным



потрясением в его бурной жизни. И где-то в семидесятые годы он взбунтовался. принял ся со множеством предосторожностей (умысел-то был крамольнейший!) собирать доказательства того, что евреи суть не что иное, как люди Лет за десять, ложась щекой на страницу и мученически куролеса пером у себя под глазом, отец собрал громаднейшую картотеку, неопровержимо свидетельствующую о том, что евреи тоже плачут, теряя родных и близких, что бывают случаи, когда они проявляют храбрость и великодушные, что иногда они погибают на войне, а то и совершают легкомысленные поступки, что среди них попадаются не только большевики, но и меньшевики и даже кадеты, не только чекисты, но и борцы с оными — и т. д., и т. д. Он изводил нас, зачитывая все новые и новые доказательства того, что мы тоже люди. Он так выискивал и высматривал всюду все, что касалось евреев, что это начинало злить меня. как будто, кроме его драгоценных евреев, и интересоваться больше нечем, — я не понимал, что именно меня он и пытался защитить. Какая разница, закипал я, сколько среди евреев Героев Советского Союза, физиков и поэтов и сколько палачей и аферистов, — я не желаю ни лавра Кафки, ни тавра Ягоды, каждый должен отвечать только за себя: я покушался опять-таки на Единство, важнейшей опорой которого является принцип «один за всех — все за одного» И теперь у меня опять-таки не поднимается рука снести в макулатуру самую полную в мире, подвижнически, по муравьино-пчелиному собранную коллекцию улик, перед лицом которых ни один суд не сможет отрицать, что в мороз еврею холодно, а в жару жарко.

Но и к евреям отец сделался необыкновенно строг за то, что они таки действительно дают аргументы антисемитам: неустанно доказывая, что евреи тоже люди, он желал, чтобы они при этом были ангелами. Он осуждал государство Израиль за его арапскую политику — он был уверен, что великодушием и попустительством можно обезоружить любого террориста: вот у них в лагере был убийца-калмык, а отец с ним в конце концов все-таки сдружился! (Они без мыла влезут...) Отец осуждал еврейских диссидентов за высокомерное поведение на судах и следствиях — им полагалось возбуждать в судьях и следователях не раздражение, а симпатию и раскаяние Проявления всевозможных национальных исключительностей у самых разных народов вызывали у отца насмешливую улыбку, национальные исключительности русских делали эту насмешку горькой, но от еврейских исключительностей он просто заболел. «Я ей говорю: какой у вас умный мальчик, — а она: что вы хотите, это же еврейский ребенок! Надо же такое сказать!..»

Я был твердо уверен, что социализму, как и всякому господству лжи и жлобства, не будет конца, — отец же был убежден, что все построенное на лжи недолговечно, так ему когда-то растолковал его еврейский папа дед Аврум (освободившись от еврейского марксизма, отец вновь впал во власть местечковых предрассудков), так что из нас двоих «перестройка» удивила только меня Но национальные движения повергли в изумление уже его — их м а с с о в о с т ь, часто обнаруживающаяся самым неприятным образом Чтобы оставить чистым Народ, отец всюду искал происки кучки образованных национал-карьеристов, всегда задаваясь чисто учительским вопросом «Кто научил?» «Но ведь их же всю жизнь учили не красть, не лодырничать, не трескать водку, не... Зато как что-нибудь громить, сразу тысячи выучились!» — но отец не позволял себе д а ж е у с л ы ш а т ь, что миллионы самых что ни на есть п р о с т ы х людей обретают вдохновение в притивостоянии чужакам, — он со слезами на глазах, не оставляя ни малейшей щелочки для словечка правды, начинал безостановочно причитать дрожащим голосом, что его дед Аврум никогда не делал разницы между русскими и евреями, что простые женщины не только прятали его во время погромов (кто устраивал эти погромы, он обходил молчанием), но еще и спрашивали, «что ему можно йисты», что дед Ковальчук охотно водил дружбу с казаками, что студенты ждали его под дверями органов, что Иногда он возвышался до убеждений собственного внука нет никаких народов — есть только отдельные люди, плохие и хорошие (никакого леса нет — есть отдельные деревья). Святые слова

«наша земля» повергали его в скорбь: земля принадлежит всем, и язык хорош тот, который уже знают все, и если из-за этого предстоит раствориться и исчезнуть еврейскому народу — туда ему и дорога, лишь бы отдельные люди жили в мире.

Отец, случалось, даже забывал о священной скромности и ссылаясь на всеобщую любовь к себе всех народов мира, с которыми он имел дело. Это была почти правда, хотя в почти всеобщей любви к нему часто проскальзывала снисходительность, с которой умудренные взрослые поглядывают на прелестного ребенка. В старости, сделавшись окончательным красавцем, он продолжал стричь свои пророческие седины под полубокс — младенчески торчали наивные голые уши. Его международной славе все равно было далеко до местечкового авторитета его отца: деду Авруму доверяли даже вручать уряднику общественную взятку, которая, как известно, передается без расписки. Однажды урядник попался катастрофически не берущий, а следовательно, умеющий разглядеть, кто чем торгует, всколькером шьет и сколько платит налогов. Так дед усовещевал его до тех пор, пока тот не распахнул мундир: «Видите, у меня даже рубашки нет!» Дед немедленно притаранил отрез мадаполаму на рубашку и подштанники — и экономика местечка была спасена, а экономика державы Российской подорвана. Уже в шестидесятые годы я внезапно увидел деда среди других старцев, восседающих вдоль синагогальной стены, в документальном фильме о гидре сионизма.

Однако, несмотря на преступное прошлое, дед Аврум ничуть не сомневался, что попадет в рай. На месте еврейского Бога я все-таки пропустил бы туда и отца, всю жизнь прослужившего гоям. Когда, уже явно залетной птицей в фирменных джинсах — мои статьи стали переводить в Англии и Штатах, — я посетил опечатанный Ангелом Смерти Эдем, немолодой алкаш, узнавший, что я родом из Степногорска, первым делом полубопытивствовал, помню ли я Яков Абрамовича — «во был мужик!». Я разбил последнюю его иллюзию, не скрыв, что сын такого человека сделался откровенным чужаком, — а ведь яблоко от яблони... В еврейском раю отцу будет очень не хватать гоев — вдов-уборщиц и сирот-хулиганов, — хотя (еврей есть еврей) собственных жены и детей ему будет недоставать все-таки сильнее. Поэтому у меня есть убедительная просьба к великому Ягве пренебречь формальностями пятого пункта и пропустить к отцу мою русскую маму — пусть тоже вечно угощается рыбой-фиш, именуемой левиафан, хотя мама никогда не была в восторге от еврейской кухни.

Насчет себя я не имею претензий — я не заслужил места рядом с отцом.

Рожденный для подвигов, я был склонен претворять в жизнь то, чем другие только хвастаются. Пацаны на улице много и горячо толковали о страшно забавной штуке — упасть под ноги, когда кто-то, эйфорически размякнув, катит с горы на коньках. Я и проделал эту штуку с пацаном хоть и постарше меня, но все равно очень маленьким. Он запоролся носом и заплакал. Его старший брат — если бы он дал мне, скажем, пенделя, я бы этим, может, еще и хвастался, но он начал оскорбленно допытываться, зачем я это сделал, — и я не мог выговорить ни слова от стыда и недоумения: а и правда — зачем? И вместе с тем я чувствовал: «зачем», «для чего» — эти корыстные вопросы важны только чужакам.

Становясь все более и более с в о и м, я крепнул духом не по дням, а по часам, хотя начал подниматься из очень низкой точки. Когда, например, два недосыгаемо больших пацана — сейчас я такими взрослыми ощущаю разве что бухгалтеров и прокуроров — убивали щенка-подростка, я на некоторое время просто перестал существовать. Вот только что я с тревогой поглядывал на приближающихся больших пацанов и с интересом на «собачонка», бежавшего вприпрыжку, как бы легкомысленно болтая лапами и после каждого прыжка приземляясь поперек предыдущему приземлению, — а вот я уже не существую, а только вижу, как один пацан берет собачонка за задние лапы и «со всех сил» ляпает им по спекшейся, а сейчас еще и промерзшей глиняной стене осевшей шахты, превратившейся в обширную

яму. Хряска и визга не помню — вероятно, Всевышний из частично присущего ему милосердия на время приглушил звук. Они выхлопывали собачонка о глину, как половик, по очереди прыгали на нем, а он все дышал и дышал. Наконец они закидали его снегом и снова прыгали, но утопанный бугорок продолжал пружинить.

Не помню, что и как я сумел объяснить маме, — вопреки своей обычной манере я даже не ревел, а только трясся и лепетал. После некоего расследования мама (не помню кому — как будто в пустоту) говорила тихим серьезным голосом: «Он сначала зашел к Тихонову: давай убьем твою собаку. Тихонов не захотел, тогда он пошел к Смирнову. Смирнов согласился». Зачем один захотел убить и зачем другой согласился — об этом в Эдеме не спрашивают.

Зато когда я стал с в о и м... Школьному конюху Урузбаю на недолгое время попала в руки м е л к а ш к а, и ее надо было срочно использовать. Урузбай, честный человек, повел в степь на поводке уже не чужую, а собственную собаку, а мы толпой повалили за ним. На шишковатом бережке степного болотца он привязал собаку к козьему столбику и, по-прежнему нас не замечая, со сдержанным воодушевлением, словно уточненный ценитель дуэльного кодекса, отсчитал ровно тридцать шагов, а затем начал прицельную стрельбу с колена. После каждого хлопка собака начинала визжать и метаться. Наконец Урузбаю не то надоело, не то он почувствовал конфуз за ее бессмертность, а может, вышли патроны: не замечая нас, суровым шагом он подошел к уже без перерыва визжавшей псине, приставил дуло к ее ясному девичьему лобику и хлопнул в последний раз. Собака наконец унялась.

Заледенелость в груди и в животе держалась у меня всю дорогу — но и я держался безупречно.

Но вообще-то я только в гомосапиенсы и годился: всему я должен был учиться по-человечески — через слово, показ, упражнение. Вот мой родной братец Гришка и двоюродный Юрка все ухватывали без слов: сел на велосипед — и покатил (да не верхом, а под рамой, вплетаясь в конструкцию, избочась, как поворотливый уродец), махнул топором — сук заподлицо, навалился пузом на шило — фанера насквозь, а заодно и палец, чтобы через каких-нибудь полчаса похвалиться уже почерневшим бинтом: «Если бы Левка так просадил — полгода бы плакал!» — и до обретения мною человеческого облика так оно и было бы.

Гришка и Юрка были одарены примерно одинаковыми доблестями, благодаря которым Гришка сделался первоклассным конструктором и настоящим мужчиной хемингуэистого разлива, а Юрка дважды отсидел и если не находится в лечебно-трудовом профилактории и по сей день, то лишь потому, что это противоречит международным соглашениям о правах человека.

Судьба вообще поставила меня между двумя семейными кланами, словно желая испытать на прочность (а чего испытывать — слабая, никудышная прочность). Ковальчуки и теперь кажутся мне более одаренными — с ними всегда было интересно: шум, гам, слезы, брань, хохот — все вперемешку и все такое же яркое, как винегреты на их праздничном столе, сияющие, словно рубиновые звезды Кремля, и лица от выпивки светятся рубинами.

«Мама, вы ж про холодец забыли!» — у них на хохлацкий манер звали родителей на вы. «Ах ты ж господа! Да на порог его поставь — шо, вже застыл?!» И для каждого нового гостя тарелка переворачивается вверх ногами, то есть дном: застыл как штык! У Каценеленбогенов не станут хохотать, восхищенно демонстрируя ажурно проеденную молью шаль, купленную с рук: «Ведь в шесть же глаз глядели — ну жулье, ну оторвы!» — для Каценеленбогенов мир не то место, где можно позволить себе легкомыслие, их пароль — серьезность: очень вдумчиво пройтись по рынку и магазинам, а потом озабоченно и всесторонне обсудить, удачно ли куплено, неудачно ли, полезно ли, вредно ли, — Ковальчукам же было все полезно, что в рот полезло.

Ковальчуки были счастливее, но за счастье — за беззаботность — надо платить. И они не жались. Ранняя смерть, увечье, два-три развода, жизнь

кувырком — это у Ковальчуков было делом самым простым. Половина моих кузенов по русской ветви оттянула разные сроки, другая половина — включая меня — не раз бывала от тюрьмы в двух шагах, и уж тем более от нее не зарекалась. Еврейские кузены были куда безрадостней, зато среди них не выявилось ни одного разведенного, ни одного «тюремщика», ни одного закладушника — это были все как один заботливые отцы и мужья, квалифицированные и добросовестные инженеры, врачи, учителя. Я попытался соединить ковальчукскую бесшабашность с каценеленбогенской серьезностью — и больше никому не советую.

Но как они пели, Ковальчуки, — на два-три голоса, подпершись, забыв про все дела (у них это мигом), дедушка Ковальчук обливался самыми настоящими слезами, выводя: «А молодисть нэ вирнэцца», — у Каценеленбогенов не припомню подобных неумеренностей. Так что все еврейские музыканты явно украли свои таланты (правоверный раешник).

Папа Яков Абрамович, не зная слов, с беззаветной самоотдачей подхватывал затяжные гласные, но сколько волка... — лет через тридцать он мне признался, что ему всегда казалось, будто на наших (нашенских!) русских праздниках слишком много, видите ли, пьют и переедают. Пригрели... Он признался еще и в гораздо худшем: что его несколько коробит обычаем поминать умерших коллективной выпивкой и закуской, — у них, у жидов, положено восемь, что ли, дней никого не видеть, безвылазно сидеть дома, и притом чуть ли даже не на полу. Чужак всегда остается согладатаем.

После пения, на время поглотившего все души, соединившего их в одну, в возбужденных голосах и звоне посуды часто начинало слышаться что-то настораживающее: ага, угадываешь по визгу, это тетя Зина, а это стул упал, а вот и затопотали, на ком-то висят — не понять только, на дяде Феде или на дяде Андрее, — но тут раздетаяся вдребезги чашка заставляет тебя вздрогнуть. Однажды маме наложили два шва на угол рта — дедушке Ковальчуку показалось, что она недостаточно почтительно ему ответила. Папа Яков Абрамович в тот раз выступил в настолько непривычной для меня роли дяди Андрея или дяди Феде, что дня за два, за три этот мимолетный образ полностью выдохся, как улечиваются из памяти сны, как в Эдеме забывается все, что не совпадает с общепринятым мнением, а потому и мамин саркастический шрамчик скоро сделался существовавшим от начала времен, а дедушка Ковальчук всегда отводил душу исключительно на неодушевленных предметах — простукивает, оглаживает паяльником какую-то жестяную каракатицу, и вдруг — звон, гром, все сооружение грохается в угол, а следом, как томагавк, вонзается и паяльник: «Сабб-бачья отравля!!» Нет, ремнем-то он мог перетянуть — широким, черным, вышитым, обоюдоострым и, казалось, еще более опасным оттого, что дедушка, натянув, частенько с размахом оглаживал его сверкающей бритвой. Но чтобы дети и жена разбежались, когда, в каком-то сказочном прошлом, он пьяный возвращался домой, — это была такая же легенда, как маленький Ленин, честно признавшийся в разбииении графина.

«Ох, дед Ковальчук», — говорили обо мне с восхищенным осуждением после какой-нибудь моей бешеной выходки — всегда из-за чести, а не из-за чего-то вещественного. Картинка под веками: тетя Зина склоняется ко мне, чтобы якобы доверительно шепнуть что-то такое, из-за чего я должен был забыть о только что нанесенном мне оскорблении. Оскорбления не помню, но именно доверительность привела меня в окончательное неистовство: меня еще держат за дурака! — и я вцепился в доверительно свесившиеся волосы. Был, разумеется, отлуплен и орал уже с полным правом, честно заслужив его выстраданными побоями.

Как-то в знак протеста (это называлось капризом) я отказался есть молочный суп с лапшой, а Гришка, как назло... впрочем, почему «как»? — причмокивая, заглотал свою тарелку, да еще попробовал добавки. «Отдайте ему и мой пай», — любуясь его аппетитом, распорядился дедушка. Гришка пожрал еще половник. «Отдайте ему и его пай», — довольно указал дедушка на мою тарелку, от которой я отказался. Я стерпел, но когда Гришка, облизуясь, занес ложку, я тигриным прыжком кинулся к нему и

с х в а т и л с у п р у к о й, как бы желая вырвать его из тарелки, словно какой-нибудь куст, и орал я, когда меня лупили, больше от бессильного бешенства. С в о и м никогда не удавалось сломить мой дух — жажду быть уважаемым своими палачами: а мне не больно — курица довольна. А потом я отправился на улицу и запер всех снаружи (поджечь не догадался), засунув в пробой длинную железяку от кроватной спинки. «Разражу демона!» — замахнулся ею на меня дедушка, через четверть часа выпущенный из-под домашнего ареста, но — железяка не ремень, тут уж надо было убивать, и он грохнул ею об забор, а я стоял, по-блатному изломавшись и по-блатному же кривя губки купидона.

Да, да, это был я, тот самый, которого нынче все считают образцом выдержанности и уравновешенности. И я действительно образец выдержанности и уравновешенности. Но лишь потому, что сегодня меня окружают не свои. По крайней мере я их в этом подозреваю. Спасибо фагоцитам: из истеричного баловня они сделали меня мужчиной. Но пока я был н а ш... Разворачиваем разноцветную ширмочку рекламного буклета — мелькают звездные мгновенья: я, продавливая в груди вмятинки, волоку домой выигранные бабки — для археолога месячный улов костей, — оброненные щедро поддаю ногой: налетай, братва, подешевело; я нагребая чугунных плиток, зарывшись в самое эльдорадо — в рыжую формовочную землю у литейного сарая при Мехзаводе (врезкой дать остальных пацанов, согбенно высматривающих в пыли за оградой случайно оброненные Всевышним чугунные оладышки), — жанр комикса позволил бы воспроизвести и мой диалог с желчным копченным работягой: у нас обоих растут изо рта два лопуха, на которых уложилось меленькими буквами: «Ты чего тут делаешь?» — это у него, и у меня: «Мне дядя Сережа разрешил!» — голос мой вздрагивает от признательности мифическому дяде Сереже; я, взлетев над седлом, парю на велосипеде (снимок сделан снизу) на фоне облака (в кадр также попадает силуэт птицы), рискнув со всего разгона влететь с горы на в о л н ы — спекшиеся глиняные бугры, которые и на половинной скорости позволяют от екнувшего пуза вкусить невесомости (на цветной сноске крупным планом дать мои освежаванные бока и угольное рдение предплечий с траурной (похороны комиссара) каймой пыли, а рядом белозубую улыбку (я по сию пору не осквернен стоматологом), с которой я разглядываю свои боевые раны, причудливо алеющие, как Советский Союз на папиной карте); я на умопомрачительной высоте иду под крышей приходящей в упадок обогатительной фабрики по швеллерной балке (вид сверху) над нагромождением ржавого железа и деревянными чанами, похожими на ушаты из страны великанов; я враскорячку пробираюсь по зацвешшим плесенью и тленными грибами боковинам колыхающихся зигзагообразных лестниц, в которых не осталось ни единой ступеньки, все глубже и глубже во тьму заброшенной шахты (вокруг тьмы можно венцом расположить встревоженные затылки глядящих мне вслед струсивших спутников); я, склонив к гармошке куст аржаных волос (на заднем плане видны простые растроганные женские лица), влагая всю душу, вывожу по заказу поклонниц русскую народную песню на слова и музыку Марка Фрадкина (со спины в кадр попадает еще какая-то мужского пола тростевская крыса в велюровой шляпе; ее текст опускаем: «Вот видите, он еврей, а лучше вас русскую гармошку усвоил»); я буквально за спиной шофера свинчиваю абсолютно не нужную мне лампочку из стоп-сигнала (нажать — она спружинит — и повернуть); железным крюком ухватив за цепь собаку сторожи-хи, я выдерживаю ее на весу, чтобы она не лаяла, пока дружки тырят с чердака совершенно необходимые нам манометры; я съезжаю по ржавому тросу сквозь двадцатиметровый колодец копра, с эшафотной грубостью сколоченный из скрепленных балок. Содранные руки и мое презрение к ним дать крупным планом, а обожженную, ярко-оранжевую от ржавчины промежность, пожалуй, тоже опустим — как дегероизирующую мой облик.

Впрочем, последний подвиг уже не был бескорыстным подвигом истинного эдемчанина — он уже отдавал чесночным еврейским душком: с риском для жизни я спасался от милиции — этим кошмаром нам грозили застиг-

нувшие нас в башне толстые дядьки в руководящих плащах. Все заголосили, как евреи перед зондеркомандой: милиция, тюрьма, безбрежное одиночество волчьего билета, — мы все твердо знали о своей полной незащитности перед государством, но я — я страшился прежде всего за репутацию в мире приличных людей («Как?! Сын Яков Абрамовича?!»), а потому совершенно не годился в настоящие герои — хулиганы, которые боялись бесславия только среди с о и х, хулиганов же.

Однако прежде чем сделаться героем, нужно было довольно долгий испытательный срок проходить в дураках. «Не давайте, выманят!» — кричала бабушка, когда я пытался что-нибудь вынести на улицу. Но это пока еще была только щедрость: влюбляясь в каждого встречного, я до того обожал дарить (заманивал жертвы к себе домой, чтобы всучить хоть что-нибудь), что даже сейчас, давно превратившись в расчетливого прижимистого жидка, не могу до конца избавиться от недорезанных рудиментов — вечно, до навязчивости, норовлю заплатить за всю компанию где-нибудь в трамвае или в кабаке (так домашняя утка осенью начинает перелеты через двор). Но вот когда я верил, что украденные у меня игрушки вовсе не мои (абсолютно неповторимые — ломаные приборчики из маминого физкабинета), — это была уже неподдельная глупость. Подруга моих дочеловеческих игр соседская Лидка, длинноносая, как Горгона Медуза из «Легенд и мифов Древней Греции», поигрывая каким-нибудь соблазнительным тумблерчиком или трансформаторчиком, отрезывала: «Кресная принесла» — и я в е р и л, что дубликаты всех исчезнувших у меня вещей на другой же день являются у таинственной к р е с н о й. В совсем еще беспамятном возрасте Лидка использовала меня в некоем предосудительном ритуале, начинавшемся с наших трусиков (брежит нечто сатиновое в горошек и выношенно-трикотажное). Ритуал требовал что-то там поцеловать, а потом пальчиком поводить. Судя по всему, я свою роль исполнял добросовестно (никакого впечатления — лишь отдаленное напоминание о моем же вымытом горшке, только лет через шесть-семь я кусал локти — «во дурак был!»), — пытаюсь припомнить, что же я там видел, в этом трикотажном саду сладостных тайн нечто голенькое, беззащитное, как складочка между средним и указательным пальцами на моем еще пухлом кулачке, и я подолгу разглядывал ее, дивясь, до чего она неинтересна: всякая вещь — и еврей в том числе — хороша на своем месте). Лидка же, по-видимому, халтурила — я вроде бы ныл: «Ты еще не поцеловала». «Поцеловала, поцеловала», — только что не прибавив: «Вас много — я одна». «А-а... Ты еще пальчиком не поводила...» — еще безнадежней ныл я. «Поводила, поводила», — и я в е р и л, что она действительно и поцеловала и поводила, только я каким-то образом этого не заметил.

Помню очередной бескорыстный психоз: весь Эдем ринулся собирать почтовые марки. И я променял две бесценные и н о с т р а н к и (одну с Гитлером — усики, всё!) на две больших и ярких (одна посветлей) Спасских башни с рубиновыми звездами и славянской вязью «800 лет Москвы», причем более светлые «800 лет» были те же самые, что и темные, только вываренные — прием, известный решительно каждому младенцу, кроме такого идиота, как я. «Ох, дед Ковальчук», — уже сожалеюще вздыхала бабушка: дедушка во время своих непоседливых поездок по стране (его прославленное мастерство требовало слишком разнообразных применений) постоянно допивался с кем-то до вечной дружбы, а потом просыпался без денег и шмоток, а однажды даже и босиком — так и домой прищлепал.

Но я в доверчивости заходил гораздо дальше — я верил устному народному творчеству.

Единство, единство и единство! Этой единственной цели служило и наше искусство. Вы понимаете, о чем я говорю: из всех искусств для нас важнейшим являются сплетни. Искусство этого рода уходит корнями в самую толщу народных масс, оно любимо и понято ими и создается роевым (хоровым) образом. Сплетнями мы наставляем и контролируем друг друга,

на сплетнях наши дети выучиваются отличать добро от зла, — сплетни воистину поучают развлекаая. Но вот только зачем мы так отчаянно брехали? А затем, чтобы достучаться до последнего остолопа (единство выше правды!). На Троицу утонул парень — через неделю услышишь, что его мать сошла с ума. Пьяный солдатик кого-то задавил — непременно окажется, что он до того водки в рот не брал. Лелею в памяти: мать просит сыночка принести ножницы, малютка весело топочет, спотыкается и напарывается на ножницы обоими глазами разом. Мать — еще бы! — падает и умирает от разрыва сердца. Вообразите: вы приходите с работы, а дома — мертвая супруга и ползающий у ее трупa ваш любимый малыш с глазницами, истекающими кровью и слизью... Разумеется, вы тоже взяли бы двустволку и застрелили сначала его, а потом себя.

Мамаша послала сына за молоком, тот завернул деньги вот сюда, в резинку трусов, — дьявол подсунул ему сто рублей старыми, а потом сам же и вытряс где-то по дороге. Пацан от ужаса спрятался под кровать, а мать давай выгонять его оттуда кочергой, как кошку: сунула раз, сунула другой — и убила! Эта история была послабей: уж очень громадна была и вина.

Ворот того и гляди выпрыгнет из пазов, его рукоятка мерцает в воздухе прозрачным круглым маревом: сунься — башку снесет. Ведро, гремя о стенки сруба (верхний венец исполосован полированными желобками), уносится в бездну, веревка, бешено треплясь, мчится следом, будто цепь за сорвавшейся с цепи псиной. Давно пора быть всплеску, а его все нет, нет, и когда окончательно уверяешься, что колодец все-таки сквозной, раздается могучее «плюх-х!». Хозяйка, повода веревкой со внимательностью старика Сантьяго, тщится зачерпнуть непригодной для питья воды, а байки, ни на миг не отпуская, все стискивают и стискивают дух: никогда больше я ничего не слушал с такой святой верой. Парни гоняют чугунный мяч из кирзы, страшно лупят по нему кирзовыми же сапожищами. Мяч, ухая, взлетает до поднебесья. Парни ругаются страшными голосами — из-за низких, полезных предметов так никогда не кричат. Для постороннего глаза все они оборванцы, хотя они все до единого щеголи: загнутые голенища, козырек ровно в два пальца, кепочка-восьмиклинка с пуговкой, отцовские солдатские штаны с заплатами.

В стороне пацаны (тоже щеголи для своих и оборванцы для чужака) травят байки про высланных в тутошние края ингушей — угнетенных в государственной пирамидище и господ в повседневности. Ингушей боятся все, а потому каждому не терпится сбрехать еще что-нибудь в том же роде: к вокзальному буфету вразвалочку подходит морячок и повелительно просит: «Дайте мне стакан вина», — а рядом стоят трое ингушей. Только он раскрылся навстречу жаркому напитку, один ингуш у него прямо перед носом хватъ — и заглотал. Морячок спокойно отслоил бывалые, как он сам, рублевки и заказал еще стакан. Только он... А второй ингуш снова «буль-буль-буль» — и выпил. Морячок снова отслоил, и снова... А когда третий ингуш, забывший, что самое главное всегда случается на третий раз, нагло двигая кадыком, приканчивал третий стакан, морячок ка-ак врежет (у всех сладкий выдох) — и вбил стакан ему в глотку, только донышко торчит. Милиционер все это видел, отдал честь и говорит: «Товарищ морячок, ваш поезд, проходите, пожалуйста».

Наш великий эдемский народ можно принять за скопище врунов и доверчивых идиотов (в одном и том же лице), если забыть, что наша цель — Единство, а не торгашеская (еврейская) п р а в д а. Зять явился под мухой, загрохотал в темноте табуретом и разбудил ребенка. Гад? Как сказать... «Баре нашлись — выпить им нельзя. Нечего табурет на дороге ставить». Вот если зять выкинул ребенка из колыбели и гонял по комнате, к а к ф у т б о л, — тут мы все разом содрогнемся. И как хорошо, что никто из нас на такое не способен! Разве слились бы мы в единое МЫ всего-то из-за того, что невестка сама ест что получше, а мужу ввинчивает что похуже, — да половина ахальщиц так делали, если не сами, так дочки ихние не то сестры... Не жди Единства без мелодрамы: «Ему холодных макарон накладет да еще плюнет туда, а себе наварит сисек...»

Единство требовало романтической манеры: все воплотить в одной циклопической фигуре, в одном ослепительном Случае — ведь и у нас все заметное имелось в единственном экземпляре. Один завод (просто Мехзавод), один просто Гастроном, одна просто Милиция, один «Голубой Дунай» (кабак); Директор — это был озабоченный Гольдин («Сходи к Гольдину»), Мясник — дебелый Володин («У Володина брали?»), Милиционер — это был Вирьясов, усатый и пузатый, как киногородовой. Распевали даже песенку:

Когда меня мать рожала,  
 Вся милиция дрожала.  
 А Вирьяс сказал сердито:  
 «Родила опять бандита».

Слагали о нем и компенсаторные легенды: ребятам завтра в армию — они взяли и отобрали на танцах у Вирьяса наган, им чего — в армию же! Вирьяс ныл, ныл, они пожалели и закинули пушку в кусты — целый час на карачках лазил с пузом, весь мундир ободрал. Мне плохо запомнилось, как Вирьясов, сурово откинувшись на подушку (младенчески игривая память подкладывает туда же милицейский свисток), в гробу кумачовом, как пионерский галстук, величаво отплывал в Лету, — духовой оркестр всегда отшибал у меня память.

У нас был один ассенизатор — Г...чист (в том, что я умалчиваю всем понятные буквы, тоже сказывается моя чуждость: у нас в Эдеме почитались неприличными лишь половые отправления, а кишечные — и их продукты — именовались как есть), дребезжавший в телеге по нашим кочкам, расплескивая зловоние. Его даже не дразнили — настолько он был чужак. Говорили, что он и ест, не слезая со своего вонючего облучка, чуть ли не горбушку в бочку свою обмакивает, — даже эту жалчайшую фигуру мы шлифовали до совершенства (Гегель!).

Учитель — это, конечно, был Яков Абрамович. Я сам слышал, молодая мамаша заходила над сосунком: «А вот как Андрюшенька вырастет большой да пойдет в школу, скажет: Яков Абрамович, возьмите меня в школу». Яков Абрамович был не директор — но символ.

У нас был даже Педераст (точнее, Пидарас) — Жаров, обладатель личного фольклора типа: «Жаров ему в «Голубом Дунае» при народе заделал». Для педиков даже и других слов не осталось: «ты что, Жаров?» или «под Жарова захотел?» — и со значением похлопывали правой ладонью по тыльной стороне левой. Как-то поздно вечером я оказался в нашей бане-застенке вдвоем с Жаровым. Я приглядывался к нему из угла со вполне понятным обеспокоенным интересом — старался найти в его органах зла и порока некие тайные признаки... иначе с чего он такой дурью увлекается? Кое-что я углядел, но пусть это останется тайной нас двоих — Жаров тоже имеет право на интимность. В предбаннике Жаров заговорил со мной по-хорошему, а у меня поганый язык чесался рассказать ему анекдот про двух педиков в бане: «„Вы чего не моетесь?“ — „Мыло упало“», — каждый, понимаете ли, боялся нагнуться. Я был истинным эдемцем: н е н а ш и вкусы — спасибо, если только потешные. Так и стоит перед глазами его доброе, нездоровое, раскрасневшееся, пожилое, расстроенное лицо...

Да и был ли он этим самым? Мы ведь не доискивались, как оно там на самом деле, — «самое дело» интересно только чужакам, для которых существует какой-то еще мир вне единства с народом, а н а ш и м достаточно ляпнуть что пожелается, чтобы объяснить что угодно, — ведь единомыслие-то все равно достигалось!

Помню, за нашим огородом два казаха (один в милицейской форме, но вряд ли при исполнении обязанностей) страшно избивали старика — тоже казаха. В каком-то беззвучном кошмаре они по очереди разбегались и изо всех сил, как по футбольному мячу (пенальти), лупасили старика в макушку (мы стыли в отдалении). Когда они утомились и ушли, юноша-казах в белой рубашке (он все время был рядом, но я сумел разглядеть его, только когда кошмар стал походить на что-то реальное) начал поднимать своего деда



(скорее всего) — типичного старого казаха с редкой седой бородашкой, в вельветовом чапане, что ли, в мягких сапогах с остроносими галошами (все эти человеческие пустяки немедленно сделались ужасающе пронзительными), — и старик, тоже будто во сне, медленно поднялся (невозможно было поверить, что он живой, и крови вытекло на диво мало — будто из прищемленного пальца) и, поддерживаемый внуком, опираясь на кнут, медленно двинулся... и тут кто-то из пацанов жалостно поднял и подал юноше оберточный конус-кулек с серым сухим киселем — и тот с благодарностью принял. Этот кисель меня и доконал...

Всем уже до того хотелось придать хоть какой-то смысл этому безумию (не тем, чтобы найти причину зла, а, наоборот, сделать его побеспричиннее — совсем уж нечеловеческим), что тут же выяснилось: старик всего-то и поднял какую-то бумажку (документ!), которую у милиционера (представитель власти!) ветром вырвало, и с невероятной кротостью спросил л е г а в о г о: «Простите, пожалуйста, это не вы обронили?» — а в ответ началось избиение. В Эдеме все как в сказке: налево пойдешь — коня потеряешь, направо — голову, а с чего, почему — с того, потому. Мы создавали богов по своему образу и подобию — мы тоже любили так подшутить: помочиться на подсолнух и бросить на дороге — пусть кто-нибудь полужует.

Б о л ь ш о е и с к у с с т в о тоже естественнейшим образом вживлялось в нашу жизнь — одни и те же фильмы, по пальцам счесть, разом смотрела вся страна: «Свадьба с приданым», «Кубанские казаки» вливались в наше единство песнями на гулянках («Каким ты был...») и такими народными героями, как Курочкин и Похлебкина. Дети от пяти до восьмидесяти лет обсуждали фильм «Бродяга» с одинаковым захлебом. Бабушка ругала водовоза Джагой, а меня, когда я ленился вставать, — Обломовым.

Пушкин и Лермонтов — это были страшно находчивые ребята, хоть сейчас к нам на танцы. Особенно Пушкин — он и в одиночку не терялся, по любому поводу тут же сочинял стишок. Как-то захотелось ему отлить на берегу Дуная. Он залез на дерево и, прячась в роскошной кроне... И надобно ж такой беде случиться, что в это же самое время под деревом проходил император Николай (заметьте: и Дунай и Николай являлись в наш мир под своими подлинными именами!). Взбешенный неожиданным поэтическим душем, самодержец вытащил пистолет и наставил его на Пушкина: «Сочиняй стихи — или застрелю!» Пожалуйста: «Как у берега Дуная Пушкин ... на Николая».

Однажды светские дамы и господа сговорились: чего он все время про нас стихи сочиняет — давайте, он придет на бал, а мы его не будем замечать. Пушкин к одному, к другому — никто его не замечает. Ах так? Пушкин залез на стол, наворотил вот такую кучу и ушел. Опять, стало быть, его верх вышел. Светские дамы и господа посовещались вокруг кучи и решили послать к Пушкину парламентаря, чтобы он отплатил Пушкину той же валютой. Пушкин выслушал — ладно: «Вот мой стол — клади. Но имей в виду: тебя послали ср..., а не сс... Если нас...шь хоть каплю — сразу сажаю тебе пулю в лоб» — и показывает ему пистолет (пистолеты там у всех под рукой). Парламентар повертелся-повертелся — а что делать? Справить большую нужду без участия малой умел только один парень с Ирмовки по имени Молдахан, а светская чернь обратиться к Молдахану не догадалась. Так парламентар с чем пришел, с тем и ушел.

Все многоточия мои, отщепенца, но никак не пушкинские.

Вот она, его народность! Раз играли в прятки, а он с девушкой Бусей спрячется под столом. Его ищут: где Пушкин, где Пушкин? — а он отвечает: «Я и Буся под столом». До Пушкина по Эдему гуляла куда более тяжеловесная конструкция. У одной бабы было две дочери — Уся и Руся — и два сына: Жид (не ищите антисемитизма — здесь все для поэзии) и Ким. Как-то баба зовет их с улицы нараспев: Уся — Руся — Жид — Ким...

Самые близкие политические потрясения входили в нашу жизнь столь же достоверными, как Пушкин и Николай. Когда дал дуба тов. Сталин, я

напыщенно возгласил: «Лучше бы я умер!» — это тоже было очень большое (массовое) искусство. Ух как бабушка заплевалась и замахала руками — откуда ей было знать, что всякое искусство условно.

Когда Берия был разоблачен как английский шпион — только жалкому отщепенцу могли потребоваться доказательства. «Берия, Берия, потерял доверие, а товарищ Маленков насажал ему пинков», — мы и Маленкова полюбили в ту же секунду, когда впервые про него услышали: Эдем — единство мяса и скелета. Один знаток политических тайн Кремля разъяснял: «Молотов, Ворошилов и Маленков сидят на совещании. Вдруг смотрят — Берия с автоматом ползет...» Недавно в электричке два седовласых избирателя решали ближневосточные проблемы: «Чего арабы смотрят? Евреев пять миллионов — арабов сто миллионов. Они бы ночью подползли с ножами — что, вдвадцатером с одним евреем не справиться?» — и таким родным, райским духом на меня повеяло...

Когда народ в очереди старается перекричать друг друга, а кто-то один помалкивает, как змея: от крика, мол, ничего не изменится, — знайте: это чужак. Тот, кто заботится не о мнениях соплеменников, а о результате, должен быть отторгнут от здорового тела народного. Я долго гордился своей любовью к знанию, к истине, пока не открыл, что это возведенная в добродетель нужда отщепенца. Истые эдемчане ничего не знали об окружающем мире — и знать не хотели: им (нам) по горло хватало взаимной брехни. Подозреваю, и вся наука создается отщепенцами, кто начинает доискиваться, с чего и какие бывают бураны и вообще куда ветер дует, вместо того чтобы с радостным трепетом воспринять и передать дальше, как некто во время бурана замерз в собственном сортире: намертво запечатало снегом, покуда расстегивал штаны. Или еще лучше: степь, буран, шофер поднял кузов, чтоб меньше дуло, наутро решил опустить — ан нет, масло застыло. Он полез шуровать, вдруг бабах! — кузов сорвался и прям по руке. Он давай дергаться, рука расплющена в котлету, но на мясе крепко держится. А мороз. Он давай перегрызать себе руку — но кость оказалась ему не по зубам. Так и истек кровью.

Вокруг нас кишели всевозможные звери и гады, но мы упивались только собственными байками о ядовитости тарангулей (укушенное место нужно немедленно вырезать в виде воронки), о коварстве змей (цапнет за руку непременно в твоём же собственном кармане, во сне заберется в живот и отложит там яйца), о хитроумии и мстительности волков, о несмываемости верблюжьего харчка и бородавках, рожденных дружбой с лягушками. Если такова вся исконная народная мудрость, не советую употреблять ее без назначения врача: она создавалась для Единства, а не для пользы.

Алька Катков (и Катков у нас был свой собственный) однажды вернулся из больницы (это страшно обогащало) и, с горьким благоговением кривя рот, поведал, над какой загадкой Сфинкса они всей палатой тщетно ломали головы. Встречаются два пастуха, и один говорит другому: «Отдай мне две овцы — тогда у нас будет поровну». Но другой еще хитрее: «Лучше ты отдай мне две овцы — тогда у меня будет ровно в два раза больше, чем у тебя» (вполне резонная причина: главное — чтоб было р о в н о). Сколько же было овец у обоих хитрецов? Ответ нашел, разумеется, только с а м ы й с т а р ы й с т а р и к.

У меня чуть голова не лопнула от напряжения: я же еще не знал иксов и игреков, науки «аль джебр», или «аль гебр», то есть «еврейской науки». Но я догадался начертить в пыли длинную полоску — большое стадо — и полоску покороче, и... В общем, жалко, что я не знал слова «эврика», — пришлось вопить: «Четырнадцать, четырнадцать!!!» И Алька возненавидел меня раз и навсегда: я испортил легенду; я целые годы ощущал излучаемую им ненависть, разъедавшую мой организм, как радиация, заставлявшую меня выслуживаться и заискивать перед ним, но он был неумолим.

Аж перед моим отъездом в Каратау, когда все пацаны сделались со мной почти нежными... Мы с фонариком искали в темноте шикарнейшую желтополосатую, как оса, авторучку Пашки Киселева: в ту пору символами престижа отчего-то сделались авторучки — их выменивали, выпрашивали,

из-за них грабили и убивали. Я с чего-то вздумал пострадать Пашку: а вдруг кто найдет и не отдаст? «Разве еврей отдаст?» — вдруг откликнулся Алька, и я внутренне застыл без движения, пока мой труп продолжал перебирать траву — как вшей искал. Поднять скандал, дать в морду — расписаться в получении оплеухи: лучше уж поспешно, как чирей — и с тем же успехом! — выдать «еврея» из памяти. Но потом я долго (по нынешний день) припоминал, сколько раз я что-нибудь находил и возвращал — с полчемодана бы набралось! Ладно, закончим...

Наше кладбище — это был грандиозный и страшный Город Мертвых на краю света: сваренные из стальных полос кресты, идейно выдержанные сварные же пирамидки с красными звездочками (до последней черты растиражированные звезды Кремля), крашенные оградки, похожие на спинки железных коек, и — несколько литых оград с факелами по углам, подавляющих красотой и величию. Это были усыпальницы великих людей — Начальника Треста, Директора Шахты... Такие имена — Нечипоренко! Сапогов!

Через двадцать лет я добрался до этого пятачка за пяток минут: повалившиеся, распавшиеся на заржавелые тяжеленные линейки кресты, облупленные скворечники пирамидок с ржавыми, как бы окровавленными шестереночными зубьями звездочек и — боже, до чего убогая, провинциальная фантазия осыпающихся слоями ржавчины усыпальниц, эти завитушки пламени на факелах, похожих на розочки уличного мягкого мороженого. Вдобавок все они были с о в е р ш е н н о о д и н а к о в ы е — модельщик в литейке Мехзавода, видать, хранил формочку от одной исторической даты до другой, от Нечипоренки до Сапогова, от Сапогова до Гольдина... Не позволяйте взгляду чужаков касаться ваших святынь!

Я разыскивал обратившиеся в ничтожество пирамидки (не думайте, что участь египетских пирамид — зрелища для праздных чужаков — более возвышенна) Вирьясова, Володина — и до того сделалось горько, что среди них не было пирамидки Яков Абрамовича: пусть бы уж он погружался в Вечность вместе с той Вселенной, где он был Учителем, а не заурядным, никому не ведомым евреем.

Пирамидки Жарова я тоже не нашел. Неужто его бросили без погребения? В могиле за моей спиной кто-то заворочался, загремел листовым железом. Я похолодел и не вмиг решил обернуться. Это была коза — заурядная наружность дьявола из семинаристов.

Могилки кто-то все же посещал: едва ли не из-под каждой мне казалась кукиш свернувшаяся фигой кучка кала. Иные кучки были совсем свежие. Когда я овладевал гармошкой, гармонист дядя Паша от щедрот своих обучил меня еще и такой частушке:

Моя милка, как бутылка,  
На могилки ходит ср...  
А покойник отвечает:  
«Уходи, ... мать».

Мне покойники ничего не ответили. Да и что мне было им сказать? Оставить еще одну фигу, как дяди-Пашина милка?

Обратный путь я проделал еще быстрее, страхась оглянуться и чувствуя, что сзади все натягивается и натягивается какая-то... я не мог понять, что. Один матрос (самые отчаянные головы) поспорил, что в двенадцать часов ночи вобьет гвоздь в могильный крест. Вбил, повернулся уходить, а его сзади кто-то как рванет за шинель — он упал и, естественно, умер от разрыва сердца. Утром смотрят — лежит мертвый матрос, а пола шинели прибита к кресту. Теперь я понял, в каком месте вбит гвоздь, прихвативший меня к этой земле такой бесконечно растяжимой и не разрываемой — чем же? Резинкой от моей рогатки или подтяжками, которых я не ношу? Раз поспорили русский и американец, чья резина крепче. Американец говорит: у нас человек упал с сотого этажа, зацепился подтяжками на пятидесятом, они растянулись до земли и забросили его обратно на сотый. А русский

отвечает: у нас упал человек с сотого этажа, сам разбился, а галоши целые остались. Но невидимая резина, которую я тяну всю жизнь, выматывая из своей души, подобно шелковичному червю, будет почище американской. Когда-нибудь она внезапно зашвырнет меня из Французской Ривьеры или Тивериадского озера в мой незабвенный, безвозвратно утонувший, загрязненный Эдем — я чувствую, как она с каждым днем натягивается все сильнее...

Мне кажется, так называемая массовая культура рождена страхом перед неисчерпаемой многообразностью мира, тягой к утраченному раю, где Зло так Зло, а Добро так Добро, Красота так Красота, а Победа так Победа, где ничто не вызывает сомнений и все воплощается в единственном экземпляре: Самый Лучший Поэт, Самый Великий Ученый, Самая Красивая Женщина. Но канувшему раю не подняться со дна: дорогие призраки тают под холодным скептическим оком соглядатаев-чужаков, от которых сегодня уже нет спасения.

Безостановочно, как пескоразбрасывательная машина, швыряться камнями, готовя себя к бабкам, отбивать зад на велосипеде, готовя себя к велику, — в начале всегда было слово. Слово рождало мечту, мечта рождала усердие, которое, как известно, все преодолевает: я обратился в велокентавра — гонял без рук, без ног, без глаз, но я во всем выкладывался лишь до тех пор, пока не становился уважаемым, но не первым человеком: ведь первенство — это опять одиночество. Как-то я влетел передним колесом в яму от бывшего столба. Собираю себя из частей, а на пороге совершенно неподвижно стоит и смотрит девочка-татарка. «У, татарка», — сказал я ей, а она, не шелохнувшись и ни секунды не промедлив, возразила: «Русский — глаза узки». Я потом долго размышлял: ведь это, наоборот, у нее глаза узки — почему же она говорит, что у меня? А! Наверно, из-за того, что я яму не разглядел.

У нас не было никакой национальной дискриминации — просто говорили: здесь живут Барановы, а там татары. Да еще ругались национальностями: казахов называли казаками, а обзывали киргизами, это хуже к а л б и т а («вшивый», что ли). Раз работали вместе китаец и казах, китаец сбрасывал сверху бревна, а казах оттаскивал. Китаец кричит (обхохочешься!): «Быргыс!» (берегись), а казаху слышится: «Кыргыз!» Он психанул и орет: «Китай!» (тоже ругательство). Китаец слышит «кидай!» — бросил и зашиб до смерти.

Но гармошка — нет, кажется, это все-таки было по-настоящему мое. Я сросся с ней, когда еще не знал, что это престижно, — что меня и сгубило.

Еще в нечеловеческом статусе меня ослепляла неунывающая и нержавеющая улыбка дураковатого, а тогда блистательного дяди Паши и оглушала змеившаяся в его руках гармошка, раскинувшаяся, как море, широко. Хотя дядя Паша чаще заводил «Раскинулись ляжки у Машки», все-таки именно море, раскинувшееся широко, как гармошка, слилось для меня — «раззудись плечо» — с жестом безоглядной российской распахнутости. Другой производитель музыки, солидный Шура — не толстый, не жирный, а именно полный, только не знаю чем, — вызывал больше почтительности, чем восхищения, что губительно для искусства. Шура степенно разводил мехи, раскрывая целый гардероб граненых брючек, сверху и снизу зашпигнутых блестящими чемоданными уголками, и заводил баском (у нас ценились именно б а с к и): «Снова замерло все до рассвета...» Я от всякой музыки вытягивался, как висельник, и впадал в забытие не хуже кобры перед дудочкой факира, — Гришка же заводился вполне по-деловому, по-еврейски (он был страшно заводной, пока не сделался отщепенцем: здоровые мысли — последнее утешение тех, кому отказано в единстве), и в нашем доме тоже появилась гармошка: ради духовных ценностей папа Яков Абрамович не щадил ни денег, ни трудов, — гармошку прислал нам Посылторг, пахнущую яблоками (то есть почтовым ящиком), черную, словно маленькое пианино. Выпуклые кнопки поблескивали, как чрезвычайно спелые арбузные семечки.

Это потом, когда я стал человеком и главной моей заботой сделалась забота о престиже, мне уже не нравилось, что звук у нее не мявкаяющий, как у дяди Паши, а многоголосый и одинокий, словно гудок электровоза, который я однажды слышал на станции и который своей благородной печалью среди истошных паровозов ввергнул меня в слезы. А тогда я нажимал на макушку самого из траурных траурного негритенка, долго вслушивался, прижавшись ухом к полированной черной груди, и отрывался от мучительного наслаждения, только когда снова закипали слезы.

Уже дня через два Гришка с непривычной покорностью следил, каких макушек (ведущих прямо к струнам души) касается надменный маэстро, умеющий исполнять без басов первую строчку песни «Горят костры далекие». И вот уже сам Гришка вытягивает шею над черными макушками, робко тычет пальцем, и в муках, по изувеченным частям рождается мелодия — что-то в таком роде, если передавать литературными средствами: Го...рят... кост...ро — «Зарразаа!...». Гы...рят... — «Черт бы!...». Гу...рют... — «Блин, блин, блин!!!». Го...рят... куст...ры.....

Но строчку «Луна в реке купается», начиная с «пается», нужно было продолжить уже самому:

Луна в реке купи...  
Луна в реке купо...  
Луна в реке купы...  
Луна в реке купррр...

Я едва успел подхватить инструмент, неподъемный, как сундук. Гармошка перешла ко мне, как нервная девушка из хорошей семьи, истерзанная и брошенная лихим гусаром, достается робкому, мечтательному писателю, располагающему только любовью и терпением.

Мне еще не хватало шеи — приходилось косить на кнопки будто из-за угла: луна в реке купббб... луна в реке куке... луна в реке купа... Ура! Купа, купа, купа, купа! Неистово жиреющий кабан рычал за жердями, а у меня, в одном с ним сарае, луна в реке все купается, и купается, и купается. На земляном полу уже давно светится какое-то удивительное пятнышко — я не выдерживаю и, выпутавшись из ремней, подбитых алым, как галоша, прихлопываю пятнышко сандаликом. А оно — юрк! — уже сидит на сандалике. Я нацелился, как на муху, — р-раз! А оно опять преспокойненько сидит сверху. Я нагреб навоза, сухого, словно махорка, и натрусил на него — а оно на навозе. Я, надрываясь, притаранил деревянное корыто — оно на корыте, только чуточку перекоосилось. Лишь тут по какому-то наитию я поднял голову и связал дырочку в крыше со светлым пятнышком на земле. Вот так и приходят к Богу...

А луна все купается и купается, а парень с милой девушкой все прощается и прощается. Глаза у парня ясные — «как у барана, красные», допел Гришка, просунув в дверь кудлатую, именно что как у барана... нет, барбоса, башку, но я лишь сомнамбулически глянул на него и снова погрузился в мир расчлененной музыки. И Гришка притих, скромненько приблизился и присел на корточки (дикие звери, внимающие Орфею). Впоследствии Гришка с гордостью составлял список моих песен — нам надоело припоминать только где-то в конце восьмого десятка. Любую песню я ухватывал с первого прослушивания и после одной-двух поправок играл уже без промаха. Даже если я напевал про себя, пальцы сами собой нажимали на воображаемые кнопки: они срослись со мной, а через меня и басы срослись с голосами, хотя сначала все хотели самостоятельности, особенно басы — они больше нуждались в суверенитете, оттого что были примитивнее: «тум-ба-па, тум-ба-па» — это для вальсов, и «ту-ба, ту-ба, ту-ба, ту-ба» — для частушек: «Эх, Подгорна ты Подгорна...»

Мною уже вовсю восхищались взрослые — что я такой маленький. Дедушка Ковальчук, тоже любящая мною, подпевал: «Как у нашего гармониста чрез гармонь сопля повисла».

— Другие играют пальцами, а он душой! — восклицала Едвиг (так мне слышалось) Францевна. Ее подбородок, слегка волнуясь, струился за ворот-

ничок... Нет, «блузка» — это у мамы, а для одеяний Едвиги Францевны эдемский язык не имел названий: все, что соприкасалось с ней, обращалось в н е н а ш е. Рост? — и это было слишком мелко, чтобы создать ее величие, рожденное... чем же? Ощущением нездешности? Декламацией? Тем, что она не касалась спиной спинки стула, гораздо менее распрямленной, чем ее спина?

«Я видел березку — сломилась она», — надрывал я душу рыданием гармонии. Этому надрыву, от трагического восторга покрываясь гусиной кожей, я выучился у безногого нищего, на несколько дней возникшего со своей гармошкой на цементных ступенях Гастронома.

Едвиги Францевна и не подозревала, из какого сора вырастали мои гармонические рыдания. Я кидался к каждому гудящему столбу с хрипящим репродуктором, чтобы ухватить хоть словцо из потрясающих, как падение с крыши на спину, грандиозных музыкальных творений — «Амурские волны» (как наполненно звучит!), «Дунайские волны», я доискивался «слов» у всех подряд, — зато «Березка» досталась мне в виде дара. Загорелый босаявка с ободранными коленками, я был м у з ы к а н т — и Едвиги Францевна элегически делилась со мной воспоминаниями о каком-то канувшем мире, который, как дядю Зяму, удерживали на дне такие ненашенские слова, как «веранда», «влюблен», «гимназист», «бокал»... В том мире даже слово «инженер» означало совсем не то, что у нас на Мехзаводе, — там оно сопрягалось с «устрицами» и «лимонным соком».

Меня всегда удивляло, как это дворяне — всякие графы и князья — не считали западно ходить по улице, когда рядом шныряют какие-то чумазые разносчики и лошади роняют свои конские яблоки. Но когда я вспоминаю фигуру Едвиги Францевны, удаляющуюся в перспективе жердей и плетней над голозадыми пыльными пацанятами и степенными курами, чопорно роняющими плевочки помета, я сразу понимаю: в Эдеме ни в чем не бывает ничего зазорного — только п о л о ж е н н о е.

Меня, как и папу Яков Абрамовича, больше всего любили женщины. Хоть они и хохотали от умиления, когда я пел про любовь — «Встретишь вечерочком милую в садочке — сразу жизнь становится иной», — но кое-кто (прежде всего я сам) иной раз смахивал и непрошеную слезу. И подпевали всерьез — не то что пацаны: «Выйди на крылечко ты, мое сердечко, я тебя огрею кирпичом». Да и взрослые парни в самый трогательный миг («Руку жала, провожала») могли вдруг заорать: «Руку стиснула, чемодан свистнула, убежа-ала, убежа-лааа!» (а то и: «Руку жала, хер держала»).

На меня обратилась вся женская любовь, предназначенная Дунаевскому, Мокроусову, Фрадкину и Соловьеву-Седому. Но меня самого творения этих человеческих, слишком человеческих гениев трогали гусиной кожей лишь в отдельных местах. Меня влекло к более величественным шедеврам, от которых подшерсток вставал дыбом. Наш облезло-полированный гроб (я имею в виду приемник) передавал только треск, писк и завывания — именно их почему-то обожал папа (получал инструкции от своих заокеанских хозяев, угнездившихся на острове Окинава). Поэтому я пассаю вокруг хрипчатых и гундосых уличных репродукторов, пытаюсь, как кот в пузырек с валерьянкой, с головой втереться в вибрирующий от ветра столб. Подобно археологу или палеонтологу, я восстанавливал из черепков и раздробленных косточек те великие песни, от одной капли которых на ведро хрипа и треска я занимался гусиной кожей от макушки до ногтей. Оставшись дома один или забравшись в сарай к кабану, такому же неистовому, как я, я распевал их, эти песни богов и титанов, срывающимся от жертвенного восторга голосом, рождающим в моих ушах целый симфонический оркестр.

Но — искусство должно принадлежать народу. Мне становились все тесней и тесней мои одинокие восторги... И вот наконец меня, будто большого, пригласили с гармошкой на гулянку. Встретили умильным ревом. Хохочущие добродушные рожи, багровые, как взрытые в мисках винегреты. «Скажи: кукуруза!» — дружелюбно выкрикнул кто-то. «Кочаны», — в детстве отвечал папа Яков Абрамович, но я не хотел хитрить. «Кукуруза», — для

поддержки дружелюбия ответил я: я уже знал, что такой ответ приводит людей в прекрасное расположение духа, и не ошибся. После громового хохота мной уже не умилялись, а сердечно любили. Усадили едва ли не на трон, но из-за гармошки выглядывала почти что одна моя златокудрая макушка. Я задохнулся от восторга и любви к единоверцам, готовясь накачать их своей страстью. Даже срывающийся голос сумел врубить мой внутренний оркестр:

Слушай, рабочий!  
Война началась!  
Бросай свое дело!  
В поход собирайся!

Рабочий слушал мои задыхающиеся выкрики в полном безмолвии: «И как! Один умрем! В борьбе! За это!» Не убавляя напора, на плечах бегущих прочь земных шуточек и страстишек я завладевал все новыми и новыми пространствами открывшихся мне душ: в бой роковой мы вступили с врагами — вперед заре навстречу по долинам и по взгорьям, — и к нам не смела приблизиться паясничаящая скверна: «Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой. И всех врагов побьем столовой ложкой» или «По долинам и по взгорьям шла коза, задравши хвост. И на Тихом океане на козу напал понос». Нет, прочь, гнусные призраки, — шел отряд по берегу, а вышел к Херсону, в живых я остался один...

Санитары со смиренной рубашкой действовали с удивительной деликатностью: я и не заметил, когда и откуда возник дядя Паша — его сочувственная выщербленная улыбка заслонила мир совсем неожиданно: «Дай-кось я спробую». И развернулся с ррусской удалью: «Степногорские вы дефти, куда, дефти, вас девать? Скоро лошади подохнуть — будем девок запрягать». И облегченный вздох, как порыв весеннего ветра, прозвенел стаканами, затрепетал холодцами... А тут уже заюлила, заподмигивала барыня, барыня, сударыня-барыня — обрушившийся топот с подвизгом окончательно указал мне мое место — за дверь. Но я, выходя с того света (отщепенцем), еще долго цепенел рядом с дядь Пашей, стараясь показать, что я завсегда с народом, вот и гармошка моя, сами видите, не против, вон как разливается, — но боль одиночества была уже вполне зрелой.

Дома, все еще охватываясь гусиной кожей, я не оставил вдохновенных распеваний: «На них чудовища стальные ползли, качаясь, сорок штук. Мы защитим страну родную, сказал гвардейцам политрук». Чудовища стальные — это (хоть я и не знал таких слов) потрясало именно поэтической силой образа. Надо же так найти: «чудовища стальные!» Да еще «качаясь» — зримо до ужаса. Но выносить святыни большого Эдема в отторгнувший их малый я уже не решался. Одинокая гармонь, сирень-черемуха в саду, калина в поле у ручья — это, конечно, осталось для общего употребления. Но — женская любовь не может заменить Родину. Я начал подменять страсть кокетливой техникой, разрушая мелодию финтифлюшистыми проигрышами, и когда в наш Эдем стали проникать чуждые фокстроты и танго, я уже сознательно капризничал, повторяя искренние дяди-Пашины слова: «Не знаю я ваших танков».

В ту пору я был одержим еще более возвышенной, а потому еще более отщепенческой мечтой. Мама пришла со смотра худсамодеятельности (Клуб) просветленная и успокоенная и мечтательно (не я ли ей представился?) произнесла: «Сегодня Валик Синицкий (сын Начальника Треста — скромник и отличник) исполнял полонесс (так я услышал) Огинского... И мне до того захотелось... Да, чтобы и про меня кто-нибудь тоже такое сказал — этого, конечно, тоже. Но главное — до ужаса захотелось тех небесных наслаждений, которые обещал таинственный п о л о н е с с. Так, вероятно, задыхается и стискивает себя в объятиях девственная институтка, поглощая неистовый любовный роман, в котором наиболее детальным описанием неземных наслаждений оказывается что-то вроде «комната закружилась».

Я кидался на все неземные звуки — но который из них полон е с с? Я восстановил из хрипа и дребезга «Танец маленьких лебедей», оба концерта для ф-но с оркестром — Грига и Чайковского, «Вальс-фантазию» Глинки и его увертюру к «Руслану и Людмиле», «Турецкий марш», «К Элизе» и довольно много других мнимых полонессов. На гармошке не хватало полутонов — я заменял их фальшивыми аккордами, не хватало диапазона — я, с налету натыкаясь на лакированную деревяшку, бросался октавой выше или ниже, стараясь поменьше слышать реальные звуки, а побольше — воспоминание о них! Тем не менее вся культурная часть родительских знакомых наперебой требовала учить меня всерьез.

Наконец папа Яков Абрамович, обожающий всяческую духовность, захватил меня с собой в Акмолинск на экспертизу. Настораживающе вежливая женщина, чем-то (не внешностью) напоминающая Едвигу Францевну, заставляла меня повторять какие-то распевы и вычурные, похожие на чечетку прихлопы ладошками. Пока она разговаривала с папой (в котором вдруг тоже ощутилось что-то чуждое, соучастническое — только лет через двадцать до меня дошло, что она тоже была еврейка: у нас же в Эдеме ихнего брата не водилось), я подобрался к раскрытому роялю и начал потихоньку потрогивать хрустальные звуки. Я быстро нащупал сходство (до-ре-ми-фа-соль-ля-си, хлеба нету — ... соси, как учили меня мои наставники) между американскими, в ниточку выровненными сверкающими зубами рояля и негритянскими, уже в белесых лишаях макушечками моей гармошечки — и уже через две-три минуты практически без ошибок выбренькивал одним пальцем «Горят костры далекие», «Ой, дивчина, шумить гай», «Вихри враждебные веют над нами», а потом, впадая в транс, «Танец маленьких лебедей», «Марш Черномора», «Песню Сольвейг» — от хрустальных звуков гусиная кожа прокатывалась по мне байкальской рябью. Экзаменаторша принялась наигрывать мне невероятно прекрасные куски неведомо чего (может, это и есть полонесс, каждый раз замирало мое сердце) — я, как сомнамбула, безошибочно повторял. Настораживающие (не наши) слова «удивительно», «непременно» и даже «было бы непростительно» до меня доходили плохо: я не мог оторваться от рояля, как уже упоминавшийся кот от озера с валерьянкой. Ты хочешь учиться музыке? — спрашивали меня, и я кивал, понимая одно: полонесс будет мой.

И однажды (мы жили уже возле Столовой, в доме для чистой публики — евреи рано или поздно в нее пролезут, — спровадив русских дедабабу вслед за Троцким в А л м а т у) к нашему дому подъехал «г а з о н», в кузове которого, как на возу, рядом с ящиком величиной с поваленный ларек сидела мама, от холодного ветра умотанная в шаль, словно в скафандр. Как этот ящичище сгрузили, не помню скорее всего именно потому, что впоследствии это казалось невозможным. Комната отражалась в «Красном Октябре» (надпись пыльным золотом) глянцево-черной и таинственной (одновременно лакировка и очернительство), но задняя, непарадная стенка еще хранила исконный красный цвет Октября: сочетание наружного черного глянца и алой изнанки, присущее галоше, было выдержано и здесь. Что-то меня тянуло время от времени заглядывать за заднюю стенку, каждый раз вспоминая загадку, которую у нас на пионерском часе задал Петров по легкомысленному предложению самой же пионервожатой: «Сверху черно, внутри красно — как засунешь, так прекрасно». «Так галоша же это, галоша!» — упорствовал он в грехе, когда его стыдили. Так вот, на задней стенке были закреплены две огромных руки, то бишь рукоятки (сгодились бы для великанского напильника), странные, как если бы крепились к паровозу либо дому — предметам явно неподъемным.

Я уже всюю разыгрывал, теперь без искажений, весь свой репертуар, приладив к нему и левую руку с ее «тум-ба-па, тум-ба-па» и «ту-ба, ту-ба, ту-ба», когда появилась Луиза Карловна, робкая немочка, не до конца разделившая участь своего народа: ее придержали в столице нашего Енбекшильдерского (она никак не могла выговорить) р-на обучать детей начальства музыкальным азам в пределах приличий. По недоразвитой завивке, плечистому женскому пиджаку вместо ватника, ботам вместо сапог она



относилась тоже к культурной публике и даже кое в чем нездешней: отдаленно веяло Едвигой Францевной — даже имена перекликались; слова «окончила консерваторию» тоже звучали не по-нашенски. Луиза Карловна, как и все, начала с привычных (но не приевшихся) восторгов насчет моих дарований, однако очень скоро ремесло поставила подножием искусству. Причем, укладывая этот фундамент, запрещалось поднимать голову, воображая будущий храм и уклоняясь, таким образом, от текущих обязанностей. Когда же я перестал скрывать, что отношусь без благоговения к искусству скрючивать пальцы подобно ведьминым когтям, приговаривая «и раз-два-три», мои мечты о полонессах начали представляться ей прямо-таки чем-то развратным, словно я в пятом классе пытался начать регулярную половую жизнь. Но я не сделался ремесленник, перстам придав послушную сухую беглость, — они и так бегали будь здоров, перепрыгивая через соседей, что было запрещено до нервных вскрикиваний. А я ведь еще норовил нажимать подушечками, как на гармошке, хотя Луиза Карловна, едва сдерживая свое немецкое «пфуй!», не велела даже прикасаться к этому вульгарному инструменту. Но я только на нем и отводил душу... Сама-то она... Как ни крючила по-ведьмински пальцы с торчащими костлявыми косточками (это не плеоназм) — постылые э т ю д ы и гаммы съедобней не становились. До-ре-ми-фа- соль-ля-си, хлеба нет — этюд соси... В школе тоже тлела какая-то специально школьная музыкальная культура — кроме уроков пения и смотров, этих песен нельзя было услышать нигде и никогда.

Я уже намертво усвоил, что искусство должно принадлежать народу — или уж, на худой конец, доставлять одинокие восторги. О восторгах см. выше, а народ... Народ мои занятия презирал: почвенник Катков, когда я от самой клевой игры плелся долбить клавиши, всегда с недоумением сплевывал: фашистке платить — что значит деньги хоть ж... ешь. Богатство у нас в Эдеме было позором из позоров. Правда, шахтеры замолчали побольше моих папы-мамы, вместе взятых, но если пропиваешь, это можно.

Я наотрез возненавидел бы пианино гораздо (года на два) раньше, если бы Луиза Карловна не совершила одной педагогической ошибки: еще не предвидя всей глубины моей развращенности, она сыграла несколько фраз из полонеза Огинского, оборвав на самом лакомом месте — всему, мол, свое время. Алчность охотника (а может, и непомерные ожидания) притупила мою чувствительность и память — гусиная кожа дотянулась лишь до самых нежных моих эrogenных зон, и запомнил я лишь самый общий абрис проглянувшего Бога. Однако теперь сквозь хрип репродуктора и завывания вьюги я безошибочно распознавал п о л о н е с с и кидался на него, как кот на мышь, выхватывая из раструба звукомсорубки то один, то другой почти не задетый кусочек прекрасного принца Полонесса. Недостающие члены я заменял протезами, подгоняя, шлифуя и подкрашивая их до, как мне казалось, почти полной неотличимости. Хотя, конечно, этот киборг был только слабым, искаженным эхом по-настоящему божественных мелодий, которые вскипали во мне, но никак не могли хлынуть через край.

Тем не менее, общаясь с богами, я играл все более и более жалкую роль среди людей. Слава гармониста от меня уплыла, а Луиза Карловна, уже не сдерживаясь, вскрикивала, когда у меня проскакивали ухватки гармониста. Я тоже тайно ненавидел ее, только вскрикивать не решался.

И тут вошла мама. Приятным светским тоном спросила, как идут мои дела, — и вдруг Луиза Карловна с жалкой (приятной) улыбкой начала меня расхваливать. Правда, о моей приверженности к гармошке все же не смогла умолчать, но чуть ли не с умильностью. И я, испепеляемый стыдом, вспомнил, что мы ей п л а т и м (хотя сам этот мерзостный акт всегда был скрываем от моих глаз). И когда Луиза Карловна в вымученно-шутливой манере попросила одолжить ей слой гриба-медузы, источавшего полезную для печени кислотность в трехлитровую банку со сладкой водой, я развил бешеную активность и уже через полчаса на крыльях искупления летел к Луизе Карловне над каменистой сопкой, держа на отлете бидончик с плещущимся там отслоившимся медузиным отпрыском.

В палисадничке Луизы Карловны вольный ветер надувал сдвоенные розовые баллоны-панталоны. Я молниеносно отвел глаза, но они — нет органа бесстыднее! — успели засечь, что самое высветленное местечко снова оказалось именно там. Загаженная память немедленно извергла наш эдемский анекдот. Учительница: «Иванов, ты почему три дня не был в школе?!» «В первый день мамка трусы стирала», — угрюмо бубнит Иванов. «А во второй?!» — «Во второй шел мимо вашего дома, а у вас тоже трусы висели, я думал, вы тоже не придете». — «Ну а в третий, в третий?!» — «Корову к бугаю водил». — «Что, отец не мог, что ли?!» — «Отец-то мог, да бугай лучше».

Домик Луизы Карловны был не хуже нашего, но ей там принадлежали только сенцы. Или, если хотите, кухня: плита с копчеными кастрюльками, кадушка со скользящим по воде невесомым ковшиком — все как полагается. Однако можете назвать этот объем шести пианин и спальней — за кроватью скромно пряталась сложенная раскладушка, а на кровати спал (даже во сне с пьяной рожей) сын Луизы Карловны, сумевший обрусеть до полной неотличимости от коренного эдемчанина, еще и приблатненного (недавно на танцах его слегка порезали финариком). Говорили, что он ее и поколачивает, когда Луиза Карловна пытается увести его с пути мужества и славы. («Такой высокий, красивый парень», — жалобно описывала она своего арийца не помню кому.)

До отказа улыбающиеся, мы с Луизой Карловной, словно не видя кричащего со всех сторон безобразия, угнездили отпрыска медузы на новое местожительство. Под ногами перекатывалась по-бараньи завитая, круглая, как сосиска, собачонка, едва проглядывающая сквозь блатную челку, — надо же догадаться держать собаку в доме! «Это болонка», — ответила моим несложным мыслям Луиза Карловна (где и достала-то!). «Он очень ласковый», — с горькой нежностью пояснила она (несладко было обнажать свое исподнее). Стало быть, это был болон. Словно в подтверждение болон вскарабкался по ее ноге на задние лапы и принялся непристойно тереться, работая тазом самым недвусмысленным образом. «Ну, ну... Ну перестань», — тем же светским тоном, что и ко мне, обращалась к нему Луиза Карловна, шутливо грозя пальцем и пытаясь незаметно отпихнуть его ногой, но болон лишь входил в раж. В том месте, которым он втирался в ее ногу с особым усердием, вырос довольно порядочный мохнатый грибок. «Ну хватит, хватит», — уже с недоумевающим тревожным раздражением пыталась вразумить его Луиза Карловна, а грибок все рос да рос. «Я пошел», — я двинулся к двери (не кинулся — а то сразу было бы видно, что я все вижу). «Хорошо, хорошо, передай маме спасибо», — с напряженным оскалом еще продолжала лобезничать Луиза Карловна, одновременно в отчаянии отбросив бола ногой с такой силой, что он опрокинулся на спину, раскрывши все свои красоты, и горестно завизжал.

Я мчался все быстрее и быстрее, и не знаю, чем бы это кончилось, если бы, на счастье, я не споткнулся и не проехался по щебенке на локтях. Это меня успокоило. Я с небывалой тщательностью задолбил к следующему уроку все выморочные этюды и потом еще долго просидел над клавишами, трогая то одну, то другую струну своей души, подшриффовывая и подгоняя друг к другу все новые и новые части полонесса Огинского — Каценеленбогена. Я не давал никаких клятв — я и без этого знал, что больше никогда не буду огорчать мою милую, бедную Луизу Карловну.

Мой полонесс (симбиоз Огинский — Каценеленбоген) я рисковал показывать только маме, да и то лишь самые бесспорные из отреставрированных органов. Мамина растроганность меня ободряла. Но злой рок именно в тот злосчастный день воспользовался моей просветленностью и подбил обнаруживать свое творение в гостях у нового начальника Продснаба (еврейский шуг, принятый у мецената). Преемник Нечипоренки Бубырь уже твердо сидел в культурном слое, держал в доме пианино (плоды просвещения), а потому (издержки просвещения) поощрял знакомство своего наследника с развитым еврейчиком. Несмотря на культурность, Бубырь был так чудовищно толст, что наводил на популистские подозрения, будто один

человек может стать причиной продовольственных неполадок. У Бубырей я в первый и, вероятно, в последний раз ел настоящие сосиски — они действительно от легчайшего прикосновения зубов (я наслаждался, чувствуя себя акулой) прыскали соком и вспучивались нежной плотью, как дырка в чулке толстухи. Папа Бубырь (он, был такой перенадутый, что производил впечатление легкости, а не тяжести) даже налил нам наливки (что с ней еще делать!), вероятно сладкой и душистой (подайте ему чашу с глинтвейном, вспомнил я «Уленшпигеля»: глинтвейн был таким же таинственным и манящим, как полонесс). Может быть, легкокрылый градус глинтвейна и вдохновил (спиритус) меня ответить на шутивно-зазывные рукоплескания раскрасневшихся гостей не мертвенными этюдами или полькой Глинки, но самыми глубокими и нежными — нет, не корнями души, а волосками, бегущими от корней.

Нетрезвым восторгом не было конца. И кто бы мог подумать, что злой дух посадил за стенкой (благодатная для своих и истребительная для отщепенцев эдемская теснота!) Луизу Карловну приглядывать за пальцами дочери главбуха. Злому духу и этого показалось мало. Назавтра он еще и погрузил меня в меланхолическую отрешенность с гармошкой в руках перед самым уроком этюдодолбления, хотя я все утро готовился встретить Луизу Карловну с какой-то особенной проникновенностью. Однако Луиза Карловна с порога объявила мне, что еще в роковой день моего дебюта она побывала у Бубырей и раскрыла им глаза (уши) на истинные достоинства моей музы(ки): коммивояжер, торгующий поддельным товаром от лица прославленной фирмы, был выведен на чистую воду и опущен на дно. Но гнев Луизы Карловны был вызван не мошенничеством, но святотатством: теперь-то я понимаю, что ой как не случайно именно Сальери, а не Моцарт вознегодовал на пиликанье слепого скрыпача.

— Ну-ка исполни что-нибудь, — презрительно (от забитости не осталось и следа — орудия Высших Сил не знают ни робости, ни сомнений) распорядилась она. Мне тоже не пришло в голову послушаться.

Никогда еще гармошка так не пела и не рыдала в моих руках.

— И это искусство?! (Он был велик в эту минуту, воскликнул бы я, если бы Луиза Карловна была мужчиной.) Вот искусство! — Полонесс Огинского заполнил комнату, словно играли человек восемь. Его было невероятно много — и он был уж до того густо нашпигован подробностями, до которых мне было и за сто лет не доскрестись... — Вот искусство! — Целый полк грянул «Прелюдию» Рахманинова — страстный человеческий голос, все пытающийся сквозь что-то пробиться, да так и падающий в изнеможении. Но человеческие голоса никогда не бывают так недосыгаемо прекрасны... «Алпассионата» окончательно стерла меня в пыль. Луиза Карловна призвала к себе в союзники моих богов, и боги были с нею заодно.

Это было даже не отчаяние, но предельно ясное понимание, что мне нет места на этом свете. Когда появилась мама, я кратко и недвусмысленно объявил, что больше учиться музыке не буду. Но она так расстроилась — мои дарования, их упования... Однако для моей еврейской души более сокрушительным оказалось другое: купили пианино, везли, столько денег, хлопот — все правда. Я вышел на крыльцо. Было невозможно ни сбежать, ни остаться. В разможенную колоду, на которой рубили дрова, а иногда и казнили кур, был вогнан топор. Он на глазах рывками вырос выше сарая, заслонив уборную на верхушке сопки. Я двинулся к нему, понимая только одно: после этого уже никто не вспомнит ни о моем позорном концерте, ни о понесенных расходах. Смыть кровью — люди всегда видели в этом глубочайший смысл. Петька Сопатый нечаянно отрубил кончик указательного пальца, а потом пошел искать и не нашел: «Наверно, куры склевали». Я внимательно посмотрел на кур. Они хранили полную безмятежность, не догадываясь, какое редкое лакомство их ждет. Я не сразу догадался положить палец на край колоды, а то все было никак не прижать плашмя — мешали остальные пальцы, а если их разогнуть, можно было тяпнуть и по ним. Потом до меня вдруг дошло, что это необязательно должен быть указательный палец — хватит и мизинца. Тем более на гармошке он не

нужен. Потом вдруг показалось, что прямо по незащищенной кости будет страшной, и я перевернул мизинец подушечками кверху. Никакого страха я не чувствовал — я тоже был орудием высшей воли, как топор — моим орудием, как Луиза Карловна — орудием богов. Необыкновенно музыкальный, как гудок тепловоза, женский крик заставил меня вскинуть голову. На крыльце стояла мама со стеариновым лицом. Руководившая мною воля от крика вздрогнула, и удар пришелся в ладонь, в мясистую часть, которую так любят каратисты.

Прорубить ее насквозь я не сумел. Еще и колода спружинила: древесные волокна были размолочены и махрились, как на изношенной зубной щетке.

Невозможно было представить, что кость прячется на такой глубине.

Обострения отщепенческих болей я и сейчас лечу теми же домашними средствами — научился только обходиться без необратимых увечий: берется сырая свиная кожа, в которую, по возможности тесно, зашивается нога. Зашитую ногу в стягивающемся от жара сапожке следует держать над огнем до полной готовности. Соль и перец добавляются по вкусу. Рекомендуются евреям и непризнанным гениям.

Впрочем, левая кисть, несмотря на дилетантский метод душевного обезболивания, все равно работает у меня дай бог всякому — динамометр почти не улавливает разницу. Разбалливается, если только передержишься за носилки. Или за топор.

По оплошности сталкиваясь с Луизой Карловной, я срочно принимал припрыгивающий вид: чуял, что жизнерадостность — единственный козырь ничтожеств. За гармошку я тоже больше не брался. Правда, года через два в поезде Семипалатинск — Алма-Ата не выдержал: какой-то пацан, примерно мой ровесник и все еще вундеркинд, дивил народ Мокроусовым и Дунаевским. «Сколько лет?» — ревниво спросил его папаша, когда я сыграл пару-тройку вещей «для подлых», как выражались в простодушные петровские времена. «На полгода старше», — обрадовался он, и потом, когда мы с вундеркиндом обменивались гармошкой, вступив в борьбу за народную любовь, ревнивый папаша каждому новому слушателю сообщал: «На полгода старше». Успех несколько меня не окрылил. Все это была суета.

И еще лет через десять, подающим кому надежды, а кому опасения молодым ученым подрабатывая (евреям всегда мало денег) на Белом море погрузкой леса (распродавая отечество), я, как лунатик по крыше, пошел по палубе лихтера к гармоническому мявканью. На дяди-Пашиной гармошке играла девчонка (на полгода старше), очень неохотно уступившая мне, ветерану, свой облезлый чемоданчик. Какие деревянные и в то же время распясавшиеся оказались у меня пальцы, чему девчонка несколько не удивилась: ей постоянно докучали всякие охломоны, полагающие, что умеют играть.

И какой бедный, короткий оказался у гармошки звук... Клянусь, в Эдеме, без чужаков она звучала как виолончель: миллиончик-другой евреев — совсем недорого, чтобы вернуть ей прежнее божественное звучание.

Слияние с народом (русским, разумеется, — прочие народы были только подвидами неполноценности) — ни о чем другом я не мечтал с такой пожирательной страстью. Я пытался разорвать изнутри невидимую черту, тысячекратно бросаясь на нее грудью, как спринтер на финишную ленточку, и она, случалось, растягивалась до почти полной неощутимости, позволяя мне забираться в самые глубины народных толщ, — но в конце концов, как сказочные американские подтяжки, все равно отбрасывала меня обратно. Из гетто ты вышел...

Гришка вполне подготовил меня к школе: я пламенно презирал ябед и отличниц и не менее страстно обожал учительницу Зину Ярославну. Но я едва сумел выдержать взбесившийся броуновский мир школьного двора и непостижимым образом зависший на невероятной высоте гомон коридора, очень скоро, однако, сделавшись одной из неисчислимых капелек ртути, оттого-то и округло-юрких, что они не сливаются с окружающей средой —

зато друг с другом сливаясь в металлическую лужицу до полной неразличимости. Я слился до такой степени, что уже через неделю совершил свой первый школьный подвиг, мотанул прямо на лопатки хулиганистого третьеклассника П а р ш у. Слава победителя Парши долго шла по моим следам, и сам Парша перерос меня, только поднявшись на ступень, недостижимую для трясущихся за свой социальный статус евреев, — уголовную.

Второй результат слияния — я совсем перестал трустить пьяных: охотно вступал в степенную беседу. Все люди — это люди, открылся мне главный принцип роевого всеприятия, столь похожего на неразборчивость, и моего доверия к пьяным не подорвал даже такой эпизод. Мы с пацанами, уместившись на штакетнике, как куры на насесте, болтали и пересмеивались, а проходивший мимо пьяный в сравнительно белой рубашке, распущенной на принятый среди пьяных манер, отнес наш смех на свой счет. У эдемчан нет ничего, кроме чести: за углом он перевалился через забор и кинулся на нас с тыла. Все градом посыпалось со штакетника, а у меня, как назло, застрял каблук. Уже почти в руках мстителя, я, положась на судьбу, кинулся вниз головой. Каблук вырвался из предательских тисков, но пьяный уже нависал надо мной расхристанной Пизанской башней. В последний миг я успел выюркнуть из-под него и не ломая себя пропетлял среди загородок минут пять, пока выбрался обратно. И тут выяснилось, что когда пьяный навис надо мной и все брызнули в разные стороны, Гришка ухватил булдыган и кинулся сзади на мнительного забулдыгу, и еще бы немного... Будущий в е р н ы й д р у г ремарковского разлива (или хемингуэевского?), Гришка уже в ту пору сразу переставал дразниться, если о т в е ч а л за тебя.

Тем временем настала осень, пришла пора копать картошку и прыгать в кучи ботвы — тем счастливым, у кого огород примыкал к дому. Разумеется, я притащил всех своих друзей (то есть просто всех) на крышу нашего сарая, а отъявленных храбрецов — аж на уборную. Дедушка Ковальчук, к моему позору, вскоре положил конец этому безобразию (скотов на крыше сарая все-таки не должно быть больше, чем под крышей), но кто-то из гостей, отступивших перед уборной (да уж не фундаменталист ли Катков это был?), решил нивелировать заслуги храбрецов, поведав нам повесть о некоем герое (не то Зигфрид, не то Илья), который сигал аж с самого конька.

Мой прыжок — его точнее было бы назвать полетом... или падением? — не видел никто, значит, я совершил его из чистой любви к идеалу. То есть в угоду четыреста первому: четыреста первые очень часто оказываются самыми пламенными певцами идеалов, поскольку перед их недостижимой высотой и карлик и баскетбольная звезда выглядят о д и н а к о в ы м и коротышками. Падение и мелькание длились целую вечность, а потом — удар такой силы, что сердце, вставшее поперек горла, вылетело — нет, только не в пятки, там бы я его точно отшиб насмерть. Бормоча: «Я еще только раз, и все», оправдываясь перед каким-то строгим взрослым (образ Отца, Господь Бог?), я снова полез ввысь, чувствуя, что мне этого так не спустят. Удар еще более сокрушительный. «Третий раз, и все, Бог любит троицу», — бормотал я, понимая, что к непослушанию присовокупляю еще и клятвoprеступление. Третий удар вышиб у меня остатки мозгов — хватило их лишь на безумные оправдания: Бог любит троицу, а четверту Богородицу (когда мною овладевал четыреста первый, я на целые годы превращался в сомнамбулу).

Удар короток — еврей в воротах. Какой-то особенной боли не помню, не очень даже понимаю, чья воля заставила меня отвернуть носок и с безумной внимательностью впериться в рубчатую от носка же синюю прогнувшуюся щиколотку. Не знаю, что неведомая воля там разглядела, но она же приказала мне заорать.

«Что такое?!» — возник дедушка Ковальчук. «Упал с крыши», — без запинки отчитался я: прежде всего нужно было скрыть главное — непослушание. Дедушка попытался прогнать тревогу рассерженностью. «Вставай». «Не могу-у...» — не знаю, с чего я это взял. «Ремнем подыму!» Я с ревом

поднялся, сделал несколько шагов и завалился набок — до сих пор не знаю, кто мне это подсказал, ведь четыреста первый, запустив механизм безумия, как обычно, оставил меня в одиночестве.

Потерянный папа, собранная мама, «москвичок» главных инженеров Фабрики Воложенкиных, проклятый Богом белый барак Ирмовки. Страшно давят на ногу. «Железом!» — догадываюсь я, обнаруживая в себе дар причитать и обличать своих палачей — медперсонал собиравшийся под дверью: «Во пацан дает!»

Ногу уматывают в бесконечный, зачем-то раскисший в мокрой извешке бинт. Безбрежная тьма, нахлынувшая из-за окон, наполовину поглотила даже маму — только моя нога в коченеющих бинтах нестерпимо сияет, охваченная страшным испепеляющим светом выпученных лампоч. Ногу ломит, она только что не потрескивает от термоядерного жара. «Читай, читай!» — требую я излюбленного наркотика, и мама снова принимается вымученно-будничным голосом читать «Леньку Пантелеева», с которым я потом не расставался целый год. Все такое знакомое: Ленка проснулся среди ночи от грохота, от пьяных выкриков и маминых слез, что-то со звоном упало и рассыпалось, — все и полупонятно, и страшно («пролил кровь е д и н о у т р о б н о г о б р а т а» — какие-то там и братья особенные, утробные), и — безумно интересно, глаз не оторвать. И к Ленкиному отцу — он был уже и моим отцом — то страх и тайная ненависть, то вдруг жалость до слез, хотя все по-прежнему непонятно и жутко: он ведет меня на кладбище, но не к сварным крестам и пирамидкам, а к какой-то л а б р а д о р и т о в о й глыбе с надписью «Няне от Вани» — и вдруг по лицу отца, этого страшного человека, катятся слезы... Я цепенею от ужаса и жалости, забывая про ломоту в запекаемой ноге. «Мерзавец, ш п а к!» — кричит на отца какой-то офицер, а отец поднимает над головой тяжелый пакет с к е г л я м и — да где же его револьвер в кожаной кобуре и кривые казацкие шашки из казачьего сундука?! Отец обнимал меня и плакал, и от него пахло перегаром и г и а ц и н т о м — наверно, это были раздавленные б р о к а р о в с к и е д у х и...

Эти неведомые кегли и бессмысленно погибшие брокаровские духи докончили меня, как бумажный конус с серым сухим киселем. Я так рыдал, что прибежала дежурная сестра. Она никак не могла разобрать, что за слова по частям пробиваются из моего пузырящегося ротика. «Брокаровские духи», — тоже сквозь слезы разъяснила мама. «Господи, как же ты будешь жить...» — мама смотрела на меня с такой болью, что я понял: речь идет о чем-то посерьезнее ноги, — и прекратил рыдания, а только тихонько икал.

Я несколько не удивился, когда беспредельная тьма выпустила к нам Гришку — таким серьезным и вглядывающимся я его еще не видел. Среди ночи махнуть на велике в Ирмовку — москвичу было бы приятней переночевать на Ваганькове. (Я и сегодня не знаю человека более верного, чем Гришка: верность его замешена на очень надежном цементе — на брезгливости к неверным.)

— Видишь, Гришка... — от стиснувшей горло горечи еле сумел выговорить я, и слезы снова зашекетали мои уши.

Тревожные глаза поэта на юном Гришкином личике и сейчас распахнуто глядят на меня из тьмы. Вы тоже можете увидеть эти глаза, если сумеете продержаться месяц-другой, не предавая его.

Словно сочтя долг перед народом временно исполненным, я — тоже на время — впал в детство: капризничал и не делился передачами в палате. Не от жадности, до нее я никогда не мог по-настоящему возвыситься (а ведь деньги, комфорт, жратва — последнее утешение тех, кому отказано в любви), а оттого, что это большим полагается угощать маленьких, а не наоборот.

Дома русская смекалка дедушки Ковальчука, обстругав для меня две палки, на две трети распилила их вдоль, растянула пропиленные крокодилы пасти и вставила в них по чурбачку, подкрепив еще и перекладинкой посредине, — и эти два уютных костыля, звонких, будто ксилофоны,

сделались такой же частью моего организма, как гармошка (наши души тоже могли бы вживить в себя кого угодно, только им приятнее отторгать). Гипс тоже сросся со мною, и я забирался туда вязальной спицей точно так же, как если бы старался почесать любой другой укромный уголок. Оставшейся вольной ногой я беспрерывно дрыгал — возмещал недостаток движения, что ли? — но что я возмещал, целыми часами надрывая душу над гармошкой, втираясь в нее щекою поглубже, как в любимую мою кошечку Мусечку?

Когда я освоился с гипсом и костылями, вернулся в норму и Гришка — снова начал дразниться. А я выжидал, не коснется ли он чего с в я щ е н н о г о — типа пап-маи, национальностей, уродств... Хорошая штука — святыни: без них бы не узаконить простую житейскую злобу!

Наконец я дождался. За каким-то рожном мне понадобилось самому переташить к и с у ш к у (пиалку) с чаем.

— Он прольет, — всунулся Гришка. — Начнет шкиндылять...

Милиционер нашелся! Я ковыльнул раз, другой — чай плеснулся через край.

— Шкиндыль — пролил, — прокомментировал Гришка, и тут до меня дошло, что «шкиндылять», «шкиндыль» — это все равно что «хромой». «Леньку спасала ярость», — стучал в мое сердце «Ленька Пантелеев». Сокрушительные костыли делали меня похожим на разгулявшегося инвалида у винного ларька: я и м е л п р а в о на безумство.

Оскорбленность в национальных чувствах имеет все преимущества священного гнева. «Ты кем себя чувствуешь — русским или евреем?» — спросил я своего сына-квартирона. «С евреями русским, с русскими евреем», — ни секунды не промедлив, оттарабанил он и вдруг чуть ли не со злобой объявил, что ненавистью к антисемитам — мучительной, как любая ненависть, — его напители в нашем культурнейшем, веротерпимейшем семействе: конечно, тебя еще в детском садике всегда дразнит какой-нибудь фагоцитик, — но ведь почти каждого за что-нибудь да дразнят, частную антиеврейскую струйку вполне можно было бы до неразличимости растворить в полноводнейшей реке общечеловеческих мерзостей, если бы... если бы не слышать каждый день, что эти антисемитские чудовища, которых ты в глаза не видел, папе сделали то, дедушке се, дяде Грише третье — «ну как же, тн-тн-тн, не чудовища, если против самых главных людей на свете все время что-то затевают...».

Вот так фокус: неприязни, нажитые личным опытом, неуверенны и переменчивы, как все личные чувства. Но, переданные по наследству, они становятся Заветами Отцов. А идеология любую муху способна превратить в слона и любого нееврея — в антисемита. Я и сам антисемит: сначала евреи самим существованием своим напоминали о моем изъяне, о котором, если бы не они, может, понемногу и забыли бы; потом, они слишком, на мой взгляд, заикливались на своих обидах, тем самым напоминая мне о моих; теперь они придают чрезмерное значение своему уму и личным правам — стараются выдвинуть на первое место приобретаемое в ущерб наследуемому. Словом, евреям не могут угодить даже они сами.

Впрочем, если их (нас) вдруг начинают любить... Лучше не любите нас как-то особенно, чтобы после не возненавидеть еще сильнее: ведь любви стоят лишь очень немногие из нас. Равно как и из вас.

Во благовремени меня снова доставили в полюбившуюся больничную вонь, и Хирург Бычков страшными — с меня ростом — сверкающими кусачками, бесцеремонно надавливая на кость, раскроил гипс. Отчужденный, он немедленно стал страшен, как отрезанная и кем-то выеденная до пустоты забинтованная нога. Исконная, глубинная моя нога выпорхнула из перезрелой оболочки, как бабочка из куколки, — правда, несколько подсохшая и пожелтевшая. Мне, однако, было велено побереечь ее, на переходный период не расставаясь с костылями, но — душой я уже стал на ноги, и костыли только придавали мне бойкости, как копытца юному козлику.

Мысленно я снова был «одним из», а потому терять мне было особенно нечего — «одного из» всегда можно заменить «другим из»

Странно сказать, я вновь обрел истинную почву под четырьмя ногами благодаря самой бесполезной для эдема вещи — школе начавши выполнять приносимые мамой задания, я мысленно воссоединился с народом — сильная страсть все обращает в напоминающий символ. Я отдавался суррогату единства до того, что с т а р а л с я, выполняя уроки, хотя вообще-то эдемским народом учеба не ценилась, а потому впоследствии несколько не интересовала и меня — нравилось только слышать, что вот если бы я с моей головой да еще хоть чуточку старался... Папа, местечковый хранитель дворянских традиций, пытался учить меня языкам, но я не дался. Ради хвастовства, я ловил с лёта и английский, и немецкий, и французский — а потом с адским хохотом отшвыривал в бездну.

Зато мой теперешний сынуля мусолит английские книжки чуть не с пятого класса, мечтая заговорить, как настоящий американец. синдром отщепенца, похожий на желание переменить фамилию. Но наконец и до него дошло: «Когда я изучаю математику, археологию, что угодно — я вырастаю над другими. А когда изошряюсь над языком — я всего лишь стремлюсь сравняться с любым жлобом, который только и ухитрился родиться где надо».

Понял наконец, что самого главного не заработаешь — его можно только получить по наследству.

Стараться мне пришлось исключительно в чистописании — может, надо было писать по-еврейски, справа налево? Спасибо дедушка Ковальчук покрикивал за спиной: «Смотри, бабка, — от написал так написал! А это не он, не он, а эту обратно он! Ковальчуковская порода!» Представляю, до чего бы я был изумлен, если бы папа Яков Абрамович с гордостью произнес: «Каценеленбогенская порода!» Эти Абрамовичи... Однажды чистописательное вдохновение коснулось моего пера и чернильницы-непроливашки. Буквы выплывали, как лебеди, с мускулистым нажимом и тающей в о л о с я н о й, пока я выписывал входившее в задание мамино имя: «Любовь Егоровна». А папа — Яков... Абрамович или Обрамович? Я уже знал, что если кажется «а», то на самом деле надо писать «о», — и написал отчетство отца своего на волжский лад.

Боже, как я рыдал! Зато, явившись в школу живьем, очень скоро перестал огорчаться по поводу никому не нужных учебных дел. Я только беспрерывно совершал подвиги и делился, делился, делился, как амеба. Даже атакуя или защищая снежную горку, я не щадил живота. А из горячечных мечтаний своих я вообще никогда не выходил живым — непременно погибал, красиво раскинув руки. Какие-то предатели просили у меня прощения, но я сквозь стон посылал им проклятья и, страдальчески смеживши веки, отходил в лучший мир. Там мне становилось жалко этих иуд, я возвращался обратно, отпускал им вину, сквозь стоны же, и снова отправлялся, откуда пришел. «Ты чего валяешься?» — обеспокоенно спрашивал кто-нибудь из больших, и я быстренько вскакивал, чтобы они окончательно не испохабили высокую минуту. Минуту Жертвы.

Лишь когда мою жертву отвергли, я сделался умным и несчастным, всех понимающим и слабым. Что такое счастье? Соучастничество, подчинение, растворенность — оттого-то самая что ни на есть средняя школа им. Сталина мерещится мне каким-то эдемом в Эдеме, где никто не способен возмутиться п о л о ж е н н ы м, возмутиться тем, что зимой идет снег. Не спорю. меня немножко вырвало от увесистого постукивания зубила о кадку с фикусом — Козелок в дружеской компании готовился в третий раз ...здить Витьку Клушина. Ну так и что с того? Я изо всех сил (запищало в ушах) напряг надувшийся щеки и п р о г л о т и л блевотину. Вот что такое честь и красота — это умение глотать блевотину и не помнить о ней, — ее помнят и разглядывают только отверженцы.

Короткий под дых, чтобы ты повис на кулаке, ледяной в морду вместо снежка, вывернутые то руки, то карманы, подж...пники (утаил хоть букву, подколотный отщепенец!), плухи, тычки, щелбаны, щелбаны, щелбаны



выбивают дробь на барабане моей отщепенской памяти, стоит мне склонить к ней потерявшее патриотическую бдительность ухо, — и все равно: Эдем, Эдем и Эдем, тысячу раз Эдем! В средней школе им. Сталина я был та кой, как все, — единственное счастье, отпущенное человеку на этой земле. Я не ведал сомнений в нашем неписаном (писаное нужно одним чужакам) кодексе — я сам был этим кодексом.

Пролетаяя броуновским мельтешением, свой среди своих, молекула среди молекул, только их и себя ощущающая, а потому безошибочная, — одних ты сшибаешь, от других отлетаешь, а перед какой-то еще не опознанной спиной ухитряешься сделать невероятный прыжок в сторону — директриса так и не узнает, какой опасности чудом избегла. На все — единственно возможная, а потому безошибочная реакция — внезапно вспыхнувшая улыбка во всю рожу: «Здравствуйте, Мария Зиновьевна!» — и тут же вместо бодрой припрыжки дерзкая развалочка: «Здрасс...» — сквозь едва скрытую ухмылку внезапно развесившихся губ (и про себя: «Вась-Вась...»), — и сразу же дураковатая молодцеватость: «Здравь ж-лаю, т-варищ военрук!» — «Военрук... А руки из кармана не надо вытаскивать? Не наигрался в бильярд?» — «Гы-гы!» — «Ну, вольно — кругом — арш!»

Сатиновые каскады низвергаются с вышины нечеловеческого роста — физрук-баскетболист читает стенгазету «За учебу», а учащиеся, пробегая мимо, каждый, вокруг его сатинового зада, на уровне своей головы делают резкий оборот, как будто заводят машину, и ты тоже делаешь целых два оборота и — дрын-дрын-дрын-дрын...

В буфете вылетит рой, стремясь к бессменным от начала и до конца времен п е с о ч н и к а м под ф р у к т о в к у: в Эдеме каждая пища — самая вкусная на каком-то своем месте. И всегда кто-то кричит: «Левчик, жми сюда!» Кого-то ты не глядя, как вещь, отодвигаешь в сторону, а кто-то не глядя, как вещь, отодвигает тебя. Взьерошенно оглядываешься — восьмиклассник, ему можно. А это кто? Шестой «бэ»? Подождешь. И что, что на год старше и застиранная гимнастерка обтягивает широкую грудь — все равно за эту ступеньку еще м о ж н о побороться. Взаимная примерка — и брешь проделывается в более слабом месте.

Это справедливость по-эдемски: не утопическое равенство, а довольство положенным.

В Эдеме вечно зеленеет одно Настоящее, когда из класса, где ты переживал вполне приемлемую, оттого что положенную, скуку (настоящей скуки в Эдеме не бывает, ибо там ты непрестанно производишь впечатление и подвергаешься оному), вылетаешь в коридор, взлетаешь на обструганный брус перил, краценный краской половой, но отнюдь не эротической (наоборот, она, слой за слоем, старается утопить глубоко вошедший в дерево и все пытающийся родиться заново афоризм: «Х..., п... — с одного гнезда»), и мчишься вниз так, что штаны дымятся, а глубокий афоризм оказывается еще на микрон ближе к свету. Перед тормозной колодкой, набитой на перила, в стотысячный раз пытаешься подпрыгнуть сидя — ну что, кажется, стоит: скрючиться, и резко выпрямиться, и — но опять не оторвался и, потирая зашибленный синяк на бедре, прихрамывая, поспешаешь мимо статуи Отца народов в два физруковых роста.

Весь двор заполнила огромная спина, красная, сходящаяся к ушам шея безо всяких проволочных растяжек возносится выше коленчатой железной трубы за школьной кочегаркой. «Фоменко», — сами собой восторженно шепчут губы, а рядом с божеством другие полубоги: Парамон, Чуня, Хазар — сейчас влепит шелбан. Готово, влепил. «У, Хазарина!..» — бормочешь зло, но б е з н е г о д о в а н и я: Хазару так и положено быть гадом. А что такое боль без негодования!

И в сортире — просторном, просторней школы (рубленном из остатков сказочного леса, которым некогда были обросши наши сопки — потом вода ушла в шахты, сосны пересохли и ушли на крепь) — над просторнейшей ямой (плеск слышался чуть не через минуту после пуска) ты сразу же находишь свое место в ряду друзей, охваченных хорошей спортивной злостью: кто выше достанет струей на стену — Эдем предпочитал высоту

глубине. Забыты даже терпеливые устьяца в соседнее отделение, сквозь которые просачивалась наша страсть (мужчины, как известно, любят глазами). Обрезанным гяурам здесь делать нечего: вершин (стропил) достигнет лишь тот, кто стиснет крепче, чем злейшая из прищепок, самый краешек своей крайней плоти, покуда нежная кожица не раздуется, как те детские соски, в которые мы закачивали воду, превращая их в литровые светящиеся дыньки. И только когда шкурка — единственное, чего нет у евреев, — вот-вот готова лопнуть, надо было приоткрыть рвущейся на волю струе невозможнейше узенькое тоже устьяце — и гиперболоид инженера Гарина успевал вычертить на стропилах арабскую загогулину.

Еврей тоже черпают силу в сдавленности.

Сделав лишь один шаг обратно к солнцу, нужно было молниеносно срываться с места и лупить со всех ног под слоеную горку — оттого что все с чего-то лупят в ту сторону. В безумном галопе смекаешь, что неразумный Хазар запустил в небеса перемигивающийся с солнцем диск туго свернутой телеграфной ленты, и вот она понеслась, понеслась, понеслась, разворачивая за собой длинный вьющийся локон — хвост фортуны. Я только теперь понимаю, почему, домчавшись первым, я лишь лапнул вождьеленный приз и тут же выпустил, чтобы оказаться в одном шаге от победы: я — второй.

Я еще не знал, что четыреста первые не прощают и этого. И правильно делают. Свой среди своих, из своих свой, дома я изменял товариществу с книгами, укрывался в них как отъявленнейший из чужаков. И мне открывалось, что маленький мой, миленький Эдемчик выдан мне не навеки — где-то есть мир неизмеримо больше, выше, шире, восхитительней...

Тех, кто способен этакое чувствовать, щадить нельзя: всюду находилось два-три-четыре потенциальных отщепенца, которых пленяли мои рассказы о чем-то нездешнем. Они даже ссорились, кому со мной сидеть, а я, бывало, великодушно предлагал им бросить жребий. Те, кто тянулся к моим отравленным песням Сирены, могли быть умными ребятами или лоботрясами из балбесов, но они находились всегда и всюду. И всегда в них было что-то неординарное — интерес к какому-то иному миру за пределами Единства. В эту-то крохотную расщелинку я и вгонял свой змеиный язык, отслаивая от монолита новых отщепенцев.

Этносов у нас было три: ингуши, казахи и д е т д о м ц ы — они тоже (и еще как!) обладали главным (единственным) признаком этноса — Единством.

Немцы были разрозненные Шваны и Краузе. Корейцы тоже были шгучные: завуч Цай, зубодер Цой, учительница Пак — про них знали только, что корейцы едят собак. Русские были просто люди: надо было отмочить что-то вовсе несусветное, чтобы тебя одернули: «Ты русский или кто?»

Единственный наш еврей Яков Абрамович ни с кем не мог образовать еврейского Единства (не с небожителем же Гольдиным, а до превращения меня в еврея фагоцитам предстояло трудиться еще лет двадцать — тридцать). Да и о том, что он еврей, ему напоминали всего раза два-три. От силы четыре. Но уж никак не больше пяти. Хорошо — десять и ни разом больше. Ладно, двадцать, двадцать — и закончим на этом.

Правда, еще один Еврей у нас в Эдеме жил безысходно, но в виде символа, принимавшего на себя все тухлые яйца и гнилые кочаны, как заслуженные, так и неза... Нет, нет, все заслужено: нет судьи превыше мнения народного! Но живым евреям у нас жилось бы, как у распятого ими Христа за пазухой, если бы жажда Единства не была такой чувствительной к слову, как свежеснятая мозоль к песчинке. Вот если бы жить по еврейской пословице «хоть горшком назови — только в печку не ставь»... В сущности, еврея на моих глазах травили всего один-единственный разочек.

Новый парикмахер, фраеристый красавчик с подбритыми в черную шпагатинку усиками, вполне сошел бы за а р м я н а, если бы фагоциты не разнесли, что он е в р е й ч и к, создав вокруг него очаг воспаления,

в котором его синяя кепка, мохнатая, как кот, окунувшийся в таз с синькой, и прогулки по улице Ленина с девушками из «малого трестовского народа» не могли кончиться добром — тем более прогулки в синих же узковатых брючатах, когда «большой народ» откладывает трудовые гроши на черные клеши из флотского сукна и черную кепку из его же обрезков. Однажды Гришка прибежал взбудораженный: парни гоняют еврея! В полном соответствии с эдемским каноном, враг народа вновь совершил злодейство безо всяких причин (понимание чужих мотивов неизбежно подтачивает внутреннее единство): Толька Бедняков засмеялся, а еврейчик как вдруг прыгнет — думал ли Гришка, что ему самому предстоит обращение в еврея.

— Через наш огород побежал, — вдруг указал в окно дедушка Ковальчук, и сквозь многослойную стекольную мозаику я увидел, как взъерошенный синий кот, волнуемый кривыми осколками, витражно нарезанный завитками промазки, перепрыгивает через волнистую от природы серую жердь. Двумя ягодками паслена блеснули его горестные, как бы не верящие чему-то глазки над чернявой шпагатинкой усиков — и тут же накатила волна рева, свиста, уллюлюканья («Сцена под Кромами», Модест Петрович Мусоргский. «Я разумею народ как единую великую личность»). Народным мстителям не требовалось фантазии — оскорбительнее слова «еврей» все равно ничего не выдумаешь. «А чего он Тольку Беднякова?..» — попытался вдохнуть в нас (и в себя) справедливость Гришка, но лица у взрослых были такие серьезные, что он смолк на полдороге.

После этого красавчик под синим котом исчез — перебрался подбривать шею (лично я ему бритву не доверил бы) не то в Акмолинск, не то в Кокчетав, а то и в Темиртау, — и Якову Абрамовичу снова стало не с кем заплести паутину сионистского единства где-нибудь в темном уголке нашего светлого Эдема.

Зато на единство ингушей наши эдемчане только облизывались: «Вот чечены за своих стоят» (ингушей у нас называли то ингушами, то чеченами).

Воля отцов, вера отцов (уж, конечно, не либеральный киселек моего биологического папы Якова Абрамовича) — сквозь эти священные бельма едва удавалось распознавать: ага, игнуш — и все. Этот силуэт, обобщенный, как на мишени, заслонял индивидуальную дребедень: помню только, старики любили класть на плечи лопату, свесивши с нее руки, а то подпирали этой реей поясницу, пропустивши ее за спиной под локтями же. Почему лопату? Из-за наших снежных заносов? Хотя у них в горах... В каких горах — я же понятия не имею, с гор они были или там из долин. Или из лощин. Ну не правоверный ли я был эдемчанин?!

Позор и срам на мою еврейскую голову: я-то думал, в ней хранится весь мой доисторический рай от жуков до голубей, что мне в этом космосе подвластно все от последней коровьей лепешки до первого пионерского галстука, — и вдруг целый край, населенный ингушами, оказался погруженным в курящуюся бреднями тьму. Рассказни вытравили все живое из моей памяти — осталась одна Вера Отцова (чудное имя-фамилия для звеньева), образ Ингуша, мощно и без затей возведенный мнением, да, мнению народным: там ингуши кого-то порезали, там зарезали, а там и вовсе убили — как водится, безо всякого повода. А у одного ихнего обидчика разобрали крышу в сарае и полностью съели корову — только требуха с копытами осталась. И притом собака не лаяла!

Национальности — хоть они и были кличками, но все-таки они были еще и национальности: клички не попадали в книги. «Фрицы» не попадали, а немцы попадали, «калбиты» не попадались в книгах, а казахи попадались. Чеченцы тоже: злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. А вот «ингушами» только пугали детей. И вдруг в «Тихом Доне» (уже понимая что к чему выискивая матершинные сцены) я наткнулся на «мягко сказал и г-н у ш». Как, как?. Да это же... Я бросился к дружку Сашке Каблукову: «В книжке написано: игнуш!» — так и он тоже не поверил и тоже прочитал лишь с третьего раза, а то все было: игнуш и игнуш.

Символ всегда грандиозней предмета, и потому Ингуш с большой буквы отбрасывал кровавый отсвет на земные лица самых рядовых ингушей и мешал разглядеть... нет, земные ингуши, конечно же, не были овечками — иначе бы их презирали, а не боялись: где-то наверняка хранился и возобновлялся тот золотой запас душегубств, без которого черты Ингуша скоро выветрились бы до неразборчивости египетского Сфинкса, но сам я (да и никто из моих дружков) своими глазами не видал этих запекшихся слитков — но нам ли, эдемцам, подвергать сомнению Веру Отцову! Мордобоищ я, правда, нагляделся, но не более свирепых, чем между нами, тем более что ингушам старались уступить раньше, чем придется отступить: мы на ингушей злились, но не обижались — а что такое злость без негодования! Чужаков, говоря без хитростей, не считали за людей, а потому и женщины роптали только для порядка, когда кучка ингушей сквозь толпу прорубала путь к прилавку. Мужчины при этом погружались в глубокую сосредоточенность, и даже необузданный дедушка Ковальчук не стал серьезно возникать, когда сосед Бирсанов из своего сарая отвел навозный ручей прямо к нашему порогу: Бирсанов, скромный завхоз где-то на шахте им. Первомай, только зыркнул — и буйный дедушка позволил бабушке утащить себя в дом, а потом (вот она, русская смекалка!) перевести насыщенный ценными органическими удобрениями поток вокруг дома да в наш огород. Когда Бирсанов сваливал дрова поперек проулка (испытательное иго), народ покорно перебирался по бревнышкам («Верхом помчался на завалы, кто не успел прыгнуть с коня!») и, покорив этот березовый Кавказ, попрыгивал вниз с видом весьма умудренным: «По-ихнему он совершенно прав».

Я водил дружбу с соседским Хомберткой, а потому бывал принят в бирсановском сарае, заваленном натасканными с шахты предметами, которым в мирной жизни было почти невозможно найти применение: ржавые карбидные лампы, метровые столпы вложенных друг в друга резиновых сомбреро, — но мешок с лопатами-граблями Бирсанов почему-то однажды подбросил в наш сарай: обыска, что ли, ждал? Но преступно-угловатый мешок этот обходили даже в разговорах, куда грозный завхоз его не востребовал. Что ж, по-ихнему...

Да что мирные слюнтяи Каценельчуки — самые крутые короли танцплощадки становились очень улыбчивыми; когда под звуки лезгинки (по-эдемски — кабардинки: «Папа, купи мне ботинки, я станцую танец кабардинки, мама, купи мне галоши, я станцую танец хороший» — слова народные) на арену выступали ингуши. И наш надменный Чуня или сволочной Хазар первыми смеялись над дружеской шуткой, когда какой-нибудь Иса или Муса выливал им в оттопыренный карман стакан фруктовки. В ту пору я был еще человеком чести, а потому не сомневался: угнетен тот, кто должен краснеть или подхихикивать. Что-что? Ингуши — угнетенная нация? Да вы сдурели! Силач Халит отсидел трое суток за то, что сгонял на мотоцикле на станцию за сорок километров, — ну так, стало быть, мир устроен: нам можно, а им нельзя. «Комендатура, комендатура», — почтительно повторяли мы вслед за большими. И Халит не обижался: тех, кто его сажал, он тоже не держал за людей.

Мы, люди, такие существа, что среди нас не выживешь, если будешь считать нас за людей.

Халит был полупобедитель силача Бедила, чей огромный призрак бродил в ту пору в умах эдемчан от Урала до Иртыша: Бедила появлялся неведомо откуда, разбивал свой шатер и вызывал из публики охотников помять кому-нибудь (и себе в том числе) богатырские косточки. Бедила заламывал всех подряд, продувая (эдемский канон: Давид и Голиаф) только слабакам — то студенту в очках, то какой-то тетке-пиявке: она впила Бедиле в мочку уха да так и повисла, пока не оторвала напрочь — и тем Бедилу победила. У нас с ним схватился Халит и боролся три вечера: в первый победил Бедила, во второй Халит, а в третий погас свет. Народ-творец, как всегда, бил в десятку: ничья не портила Единства (Халит на время тоже превращался в нашего).

Но сколько я ни протираю глаза, Халита мне все равно не разглядеть сквозь Веру Отцову. Проглянуло только сквозь туман: я в восторге любопытства сижу справа от Халита на корточках перед его могучим мотоциклом (ребристые цилиндры, аппетитно круглые резиновые крышечки), и весь мой левый бок охвачен ощущением чего-то очень безопасного и большого — даже улыбка у Халита была большая, хотя взрослые в ту пору все были одинакового в з р о с л о г о роста. Я ругаюсь вкусным шоферским словом «врот!» и спрашиваю Халита: «А что такое врот?» «И в рот бывает, и в нос, и в печенку», — разъясняет Халит настолько туманно, что даже непонятно, про что переспрашивать. Хотя Халита про все можно спросить, и он никогда не отвечает вопросом на вопрос: «Дурак, что ли?» или «Глаз нету?».

Я был еще очень пугливым зверьком и если подолгу торчал у Бирсановых, опоясав их саклю кругом вторым моего рая, значит, это и был рай. И однако на месте бирсановской комнаты в просторах моей головы, как раскутанный ковер на ветру, колышется и дрожит лишь что-то смутноцветастое: какие-то смеющиеся женщины в разноцветном, приветливые, прямо как мои тетки, сидя на корточках, что-то мелют в маленьких ручных мельницах, суют горячую лепешку, отдирая ее прямо с плиты, а я им что-то рассказываю, пою — и все в восторге хлопают в ладоши. И никаких «удар короток — еврей в воротах».

Пока я жил зверьком, мир то медленно скользил мимо, то надолго (каждый раз навеки) застывал, то, мелькая, летел стрелой, а я, неотрывно припав изнутри к глазам, как к вагонным стеклам, все равно успевал схватывать и навеки впечатывать в душу — и каждый был нов и неповторим! — то дяденьку в красно-белой (лягнули сметаны на винегрет) фуражке, навеки разинувшего рот на теленка, приладившегося к кустикам с плоско остриженным, как у Максима Горького, ежиком, то девчонку с навеки высунутым специально для меня языком, то богатырских теток, закованных в атласные лифчики, вздымающих богатырские кувалды. Но Вера Отцова истертой кистью из мочала все забеливала и забеливала мои окна, превращая их в непроницаемые бельма вагонного клозета, твердым, единым для всех знанием забивала мне уши, словно унитаза подшивкой «Правды», а потом обмакнула туда палец, имеющий форму дорожного указателя с надписью «Так надо!», и этим Почвенным золотом, не слишком усердствуя, обрисовала на бельмах изнутри по одному абрису Ингуша, Немца, Еврея, Американца: все чужаки слились в десяток-другой пригодных только для мишени силуэтов, перед которыми было уже н и ч е г о н е с т ы д н о.

Вот так я и стал с в о и м, вместо того чтобы сделаться живым сосудиком между двумя Эдемами, чуждыми друг другу, подобно всем Эдемам, как разные галактики. Я предаю и ингушей, подаривших мне первые улыбки и рукоплескания, и уже с чисто технологической любознательностью внимал степенному рассказу а л м а т и н с к о г о дяди Андрюши о перемещении ингушей и породненных с ними лиц. У всех Ковальчуков головы были на месте и руки росли откуда надо — дядя Андрюша был мобилизован на связь в самые что ни на есть внутренние органы войск. У него и рассказ был чисто технологический («Поршень двигается от верхней стенки к нижней, одновременно с чем происходит заполнение цилиндра через впускной клапан»), с кулинарным, пожалуй даже, аппетитом («Горячее тесто снимается с огня, после чего, не переставая помешивать, в него вводят яйца»): мужиков собрали на площади для какого-то якобы оповещения, взяли в оцепление с автоматами-пулеметами (полностью назывались все марки), баб-стариков с пацанами, не переставая помешивать, провезли мимо на открытых грузовиках, чтобы джигиты видели, что держаться больше не за что, а потом поршень начал заполнение следующего цилиндра.

Я слушал, Ковальчук Ковальчуком, ничуть не воображая Хомбертку в военном «г а з о н е» орудим младенцем на руках у его цветастой мамы, угощавшей меня горячими лепешками. Души моей коснулась лишь легкая

ть торжества за масштабность и продуманность нашей операции. Видно, на роже у меня промелькнуло некое легкомысленное отступление от технологичности, ибо умудренная беседа толковых мастеровых вдруг запрыгала по суетным ухабам: не вздумай болтать никогда, никому — прирежут, сожгут, корову съедят вместе со свиньей... Хотя свиней они не едят. А если три дня не евши? Молодые-то точно съедят, а старики — не-ет, они лучше папаху свою жевать будут. Да-а, старики... Стариков у них слушаются... Если бы мы так своих стариков слушались, мы бы — о!..

Разговор соскользнул в новую умиротворенность: как бы хорошо, мол, было жить, не отступая от Веры Отцовой, — и я больше не задумывался, с чего это ингуши свалились на нашу голову в наши русские степи Казахстана. Только недавно взрыв русофобии вывернул на мои алчные до клеветы еврейские зенки всякие газетные рассказы про вагоны для скота, в которых везли с п е ц п е р е с е л е н ц е в (а что делать — пассажирских самим не хватало), про всех этих вечно мрущих детостариков (руссофобы любят жать на слезу), про расстрелы с последующим сожжением в сараях разных убогих, кто сам не мог спуститься с гор (не на себе же их было везти!), — и только теперь на мои глаза наворачиваются крокодиловы слезы, и мне хочется от всего моего лживого сердца воззвать к тем, кто понятия не имеет о моем существовании: «Во имя Аллаха, простите меня!»

Но в затянута паутиной уголке, где я коротаю свои остатние годы, пафос неуместен — здесь уместно звучит только одно: разбирайтесь без меня. Лично я их не выселял, не высылал и не расстреливал. Даже не ударил ни разу. Хотя в главных стихиях, где живет народный дух — в мечтах и сплетнях, — мы непрерывно разили ингушей десницами наших богов и героев: в Сталинске их били морячки, в Жолымбете — геологи (всегда какое-то «Мы!»), а у нас в Степногорске — правда, до нашего рождения — солдаты и матросы, сержанты и старшины, и особенно целинники, прокатившиеся через нас девятью валами и с песней «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная» осевшие в бескрайних степях совхозами «Изобильный», «Восточный», «Киевский», «Ленинградский». А в Заураловке бывшие фронтовики, перезваниваясь кольчугами медалей, осаждали ингушей почему-то в парткабинете (может быть, они искали убежища в храме?). Ингуши забаррикадировались подшивками «Правды» и отстреливались из двустолок, но старые боевые волки по всем правилам осадного искусства подвели под парткабинет сапы и взорвали ингушское гнездо, не пощадив и собственной святыни.

Не знаю, что ингуши ввали про нас, — мне посчастливилось побывать в наперсниках только у одного хранителя ингушской славы. Разве что своего национального (тогда еще русского) первородства я не отдал бы за его гордое имя — Хазрет. Мы с Хазретом были клеточками хоть и небольшенького, но все-таки Единства (сидели в одном классе), а потому сквозь силуэт Ингуша я мог бы выискать в нем кое-какие и персональные штришки — только не стоило: первый же взгляд нашлепывал на них новую этикетку — Сморчок (не со зла — само нашлепывалось). Мне было поручено (братство народов) натаскивать Хазрета в математике, но вместо «а плюс бэ сидели на трубэ» он воодушевлял меня подвигами его компартиотов: там Иса сломал кому-то нос, здесь Алихан сломал кому-то таз — мы сами про них ввали примерно то же. Правда, Хазрет был еще и поэтом травматологии: наше типовое сказание завершалось в звездный миг: потерпевший (проигравший) вылетел, скажем, в окно — Хазрет же следовал за ним вплоть до операционной, скрупулезно протоколируя все переломанные ребра, вышибленные зубы, отбитые у их природных вместилищ печенки-селезенки, хотя, на мой взгляд, вся эта трюха была ненужной уступкой мелкому реализму: дух народа не должен опускаться до столь частных и неопрятных деталей.

Увечные чаще всего оказывались русскими только потому, что их было больше под рукой, а так Хазрет не отказывал ни эллину, ни иудею, ни казаху — их он даже предпочитал и с большим уважением к русскому

народу подчеркивал, что именно русские устроили овацию великому Джафару, когда он, задав костоправам работы на полгода, садился в автобус в Жолымбете. «Джафар, Джафар!» — кричали они... нет, поправлялся Хазрет, они его по-русски звали: «Жора, Жора!» — в «Жоре» заключался оттенок особой любовности. Джафар-Жора (ба, святой Георгий!), подобно некоему Ланселоту, странствовал от Петропавловска до Караганды, разя не плотву, кишащую в клубах и горсадах, а всегда какие-то Единства: солдат и матросов, целинников и геологов — взял он геолога за ноги, стал он геологом помахивати: держись, геолог, крепись, геолог!

Хазрету была чужда не только русофобия, но и антисоветчина. Дикая дивизия, доблестно служившая российской короне, — это была сила. «Дикая дивизия — о, бля!» — сверкал из девичьих персиянских прорезей гипнотическими зрачками стремительно возносившийся в гору хулиган Алихан. Но в бродивших по рукам, истертых до замшевой нежности листочках (выданных из книг, а то и переданных откуда-то) не было ни слова неуважения к советской власти — наоборот, перечислялись заслуги ингушей перед нашей строгой матерью: революция, коллективизация и др. и пр. Я ни разу не слышал от Хазрета ни о брошенном добре, ни о скотских вагонах, ни о навязших в зубах (советской власти) стариках-женщинах-детях, нет — только о доблестях, о подвигах, о славе! Там, где искусство опускается до отнятых очагов, украденных шинелей и прочих прав человека, — там величие погибает. О покинутых горах не то долинах Хазрет рассказывал только одно: на Кавказе есть пещера, в которой есть в с е — только мака нет. «Тапки, пулеметы есть, а мака нет?» — пытался уличить его Гришка (по отношению к чужой — чуждой — брехне он всегда был евреем), но Хазрет стоял на своем: «Мака нет».

Зато двоюродный брат Хазрета — в миру Сергей, а дома то Самуил, то Самайл — совсем никогда не врал и не поддерживал даже мужских бесед, кто кому навешал, а ходил себе в пиджачке и — тезка еврейского пророка — хорошо, но без легкомысленного блеска учился (он и лицом был очень правилен, но без красоты). Его вполне можно было потормозить: «Самуил коров доил, титьки рвал, домой таскал», — но если нечаянно заденешь в нем что-то Ингушское — неизвестно, какую пипочку, — такое в нем вдруг просверкнет!.. Хи-хи, ха-ха, тра-ля-ля — надо было срочно заминать, заигрывать.

В Каратау до моего слуха донесся слух, что ингушам разрешено (еще прежде евреев) вернуться в их родные палестины, что они вместо благодарности расширительно истолковали указ правительства и вместе с багажом упаковали в контейнеры кости предков, что кости в дороге завонялись, что... Дальше не знаю. Правда, уже в Ленинграде на меня наскочил несущийся куда-то Хазрет, но ему, барду, всякий бытовой бардак по-прежнему был пофиг — он успел только на бегу сообщить, что Муслим Магомаев тоже ингуш.

После университета, стремительно превращаясь в еврея, я стороной прослышал, что Хазрет осилл пединститут по исторической части (у него всегда был гуманитарный склад ума) и директорствует где-то в горах Кавказа, а Самуил — тезка еврейского пророка — проторенной дорожкой выслан, откуда приехал, за национализм. Хрен их (нас) знает, что у них (у нас) считалось национализмом: в Сережкином (Фрейд: я совершенно автоматически перескочил с Самуила на Серегу) семействе национализму и поместиться было негде, все там было самое советское, от вороненого репродуктора до никелированных шаров, усевшихся на спинке кровати, — в них самая нацменская физиономия обретала обширное эдемское простодушие: они и Дикую дивизию превратили бы в Кантемировскую. В общем, все там было обыкновенно, кроме одного — послушания. Отец, старший брат, какая-то седьмая родня на киселе: ну-ка сходи туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, — самое бы дело пуститься в препирательства, а Самайл (ну вроде бы совсем такой же, как я) вдруг совершенно серьезно вскакивает и, не скорчив даже самой беглой рожи, бежит выполнять. И продолжает бежать, даже когда на него не смотрят.

Вот где таился национализм — в повиновении старшим! Глянцевая, будто только что из-под лака, картинка в глазах — из дочеловеческой поры: можно разглядеть каждую жилку и каждую морщинку. Фотографируется ингушское семейство и — откуда что вынулось (вот откуда: женщины паковались без мужского догляда): черкески, ичиги, наборные пояса с кинжалами. Кинжалы деревянные, но ножны-то настоящие! Внимание, предостерегает фотограф, берясь за клизму, — и парни приподнимаются на носки, словно перед кабардинкой, а лица их вспыхивают веселой смелостью. Стойте, стойте, выныривает из-под своего одеялка фотограф и начинает заглядывать в выпученный глазище, откуда почему-то не хочет вылетать птичка, — а джигиты по команде враз опускаются с носков на землю, и смелость с лиц тоже как корова языком. Так, приготовиться — подтянутость и смелость. Мне был дан знак: смелость — дочь повиновения (о такой редкости, как волчья смелость одиночек, не стоит упоминать), — но тут я, опомнившись, кинулся прочь. На раскисающем снегу Гришка водружал торс на таз снежной бабы. «Гришечка, миленький», — лепетал я, пытаюсь укрыться за бабу и путаясь в резинках, но их было столько, что... Ноге сделалось горячо-горячо.

Потом меня мыли, сушили, я отсиживался за печкой с моей единственной Мусенькой — провидческий знак был окончательно смыт и засушен. И я всего только года два как не писаю от восторга при виде чужого единства, постигнув, что как нет свободы без одиночества, так нет смелости без послушания.

Еще картинка из альбома отверженца: трое парней (лица закрыты Ингушским) и Ингушонок с ним. А поодаль — тоже лет шестисеми — играет Казаченок. Один из парней отдает распоряжение: «Поди дай ему» — Ингушонок, ни мгновенья не колеблясь, с разбегу сшибает Казачонку с ног. «Ты чё, ты чё?..» — ошалело бормочет тот, а ему раз в зубы. И еще раз. И еще много, много раз. У Казачонка уже кровь на губах и слезы на раскосеньких глазках, он тоже — «ах так?!» — пытается расстервениться, но разве расстервенишься в одиночку, предоставленный самому себе, защищая только самого себя...

Парни ждут, пока тренировочная груша разревется и прикроет голову руками. Когда цель достигнута, они отзывают юного бойца.

Еще страничка. Те же парни (индивидуальности по-прежнему смыты Ингушским) постаивают у школы. В воротах появляется Жунус — он рожден для черкески. Рядом старается держаться как ни в чем не бывало Витька Чернов, на днях сточивший здоровый зуб, чтобы напаять на него золотую фиксу.

— Смотрите, Чернавка с Жунусом! — притворно хватается кто-то за живот: Витьке не по чину появляться в столь высоком обществе. Все издают презрительный смешок: снобизм здесь не пройдет.

На Жунусе его знаменитые брючата, отглаженные до кинжальной обоюдоострости: Жунус никогда не садится, храня выстраданные стрелки, — ему за это в любой тесноте предлагают стул.

Жунус, подобно тополю, устремленный ввысь, поднимается еще тремя пальцами выше — на деревянную решетку, о которую вытирают или по крайней мере положено вытирать ноги. Его зеленые брючины нежнее апрельской травки и стройнее, чем побеги бамбука. Сзади тихо подходит Ингуш постарше, берется за решетку, вскидывает ее вверх и резко рвет в сторону — Жунус с метровой высоты нелепо грохается на спину. Он вскакивает, его прекрасное лицо пылает бешенством, он... видит шутника и под общий смех начинает смущенно обтряхивать изумрудные грани своих порток.

Щегольство у них было наше — кепки, штаны, чубы, москвички и к и (короткое пальто с меховым воротником), но москвички единству не помеха: сила народа не в штанах, а в отчуждении. Помню затяжное побоище у «Голубого Дуная» — Ингуши против какого-то многонационального Единства (заезжего — местным против Ингушей не сплотиться бы). «Джафар, Джафар», — пронеслась молва: за ним послали на автостанцию —



Ланселот, по своему обыкновению, вдевал ногу в стремя, отправляясь по нового дракона. И мы увидели его! Рослый, но не огромный, с серьезным, почти трагическим лицом Фазиля Искандера, хорошо одетый, он спешил по важному делу, на ходу сбрасывая с себя москвичку (сбрасывать на ходу москвичку было до того престижно, что многие ради этого жеста жертвовали не только жизнью, но и москвичкой). Джафар не дрался, а работал — я навеки усвоил, что серьезные, хорошо одетые люди рано или поздно одолевают раздухарившихся удальцов. Выполнив основные наметки, Джафар поспешил дальше, оставляя доделки подмастерьям.

Казах в светлом плаще, разом обратившемся в брезентовую плащ-палатку, восстал из пучины океаноподобной весенней лужи, как морской царь из Ильмень-озера. Он хотел сказать что-то проникновенное Алихану, но тот, поколебавшись, дважды, тщательно целясь, ударил его в залитое грязью и очень чистенькими струйками крови лицо, и тот упал сначала на колени, а потом еще и на разбитое лицо, словно раб перед восточным деспотом. Алихан, снова поколебавшись, несколько раз изо всей силы ударил его каблуком в затылок — так продалбливают дырку во льду — и поспешил вослед собратям по оружию, оглядываясь, обо что бы оттереть кулаки. Казах в залубеневшем плаще долго лежал не двигаясь, потом приподнялся на локте и снова надолго застыл, словно вглядываясь в стынущую перед ним лужицу крови, по которой неспешно барабанила грязно-кровавая капель.

— Все видели?! Его Досаев бил!.. — начала кричать, обращаясь к народу, откуда-то взявшаяся бесстрашная толстуха.

Народ безмолвствовал: против ингушей мы сами были евреи.

Все народы, отмечал Шопенгауэр, кроют друг друга последними словами, и, самое удивительное, все правы. Я тоже отошел от протоеврейских штук своего папы (все народы святы, пока их не оболванит кучка мерзавцев) и не дошел до архиеврейских штук своего сынули: Народа вообще нет — есть отдельные люди (нет леса — есть отдельные деревья). Я верю у Народ. И знаю, что его может оболванить лишь тот, кто нашепчет ему у него же подслушанные заветные мечты. Я наполовину ваш, дорогие мои фагоциты, ибо сколько моя еврейская половина ни талдычит мне, что как-никак все-таки это мы загоняли ингушей в скотские вагоны и жгли их в сараях, а не они нас, что это мы, а не они занимались «рубкой леса» и «набегами», круша сакли и фруктовые сады, сжигая пчельники и загаживая фонтаны (см. «Хаджи-Мурата»), — негодующий глас Народа, исходящий из моей лучшей половины, мигом разясняет мне, что все эти гнусности творил царизм, тоталитаризм, кто хотите, но только не Народ, ибо лишь все хорошее проистекает из Народа, а все плохое — откуда вам больше нравится, то есть от тех, кто вам не нравится. И уж во всяком случае, ингуши бандиты, а мы — мы вполне приличные люди.

К казахам — пока они знали свое место — у нас относились вполне снисходительно: с ними водились, их в ы д в и г а л и, а в благодарность от них требовалось одно — краснеть при слове «казах».

Глянцевая лента очищенного от кожицы мяса — это Алеша Байтишканов наклеил на губу обертку конфеты с именем «Радий», которое хочется еще раз произнести про себя и прислушаться.

Алешка! Ты обратил глаза мне прямо в душу — и в ней я вижу только неисчерпаемость: в сундуке утка, в утке яйцо, в яйце... На человеке голова, на голове лицо, на лице глаза, в глазах... и все разное, все разное, ничто не повторится в тех звериных перенасыщенных бескрайних зарослях моей души, где бродит моя дочеловеческая память: жуки, кабаны, на кабанах щетина, на щетине дедушка, на дедушке паяльник. И казахи там люди, люди, люди — в ватных штанах, в бархатных штанах, в кителях, в халатах, и все разные, разные, разные, с именами, с фамилиями, с кличками, с характерами, то плосколицые — «судьи», что ли, то остролицые — «воины».

Казашки уже не такие разные: старухи в мягких сапогах и галошах с загнутыми (подбородок колдуньи) носами, женщины и даже девочки в цветастых платьях, расшитых монетами (при самом беглом взгляде: сколько копеек? советская или дореволюционная? о, гадство, дореволюционная, увесистый трояк... как только дырочки пробивают... вот бы срезать — смелые люди в очередях срезают...).

Бледный Аскер, горбоносый, прямо араб, а не казах, — каратауский Печорин, трагический двоечник, настораживавший меня тем, что был одареннее меня — красавца и гения: при чудовищной запущенности схватывал мои объяснения с путающей быстротой, внезапно писал безграмотные сочинения, наводившие на меня оторопь *п о д л и н н о с т ь ю*. Вижу: горбатый профиль, чуть тронутые раскосостью глаза, горящие отраженным экранным светом: на экране аксеновский ищущий мальчик цинично спорит с благородным простоватым отцом о смысле человеческой жизни. Я проникательно посмеиваюсь, а Аскер трясет меня за руку: «Неужели он победит?!»

Аскер, лишний человек, болел за отца!

Но когда я перехожу из дочеловеческих прерий в человеческие коридоры, — носы, клички, глаза, гомон — всю эту суетную дребедень разом отсекает вздутая под дерматином дверь, за которой каталоги, каталоги, каталоги, — здесь царит Вера Отцова, ее царство — царство исчерпаемости. Выдвигаем ящичек с этикеткой «ингуши» и — фрр! — выпускаем из-под ногтя порхающие крылышки пружинящих карточек, — из-под пальца так и прыскают исчерпывающие ключевые слова; «убили», «зарезали», «финка», «папах», «расквасили». Казахи числятся *к а з а к а м и*, ключевые слова к их разделу — «харкнул», «кумыс», «вши», «айран», «бешбармак», «баурсаки», «той», «бай», «кисушка», «каля-баля, каля-баля», «моя твоя не понимай», «бала» (мальчик) и «кызымка» — девочка. А еще промелькнули «чапан» и «чабан» с прицепившимися к ним «жаксы» и «жаман» («хорошо» и «плохо»):

Не носи, милый, чапан,  
От чапана сен жаман,  
А носи, милый, часы, —  
От часов сен жаксы.

«Сен» — это, видимо, «ты»: «Мен сен сигирим» («Я тебя...»), — кричали вслед кызымкам наши русские балалар. «Ой бала, бала, бала, сколько лет работала?» — такие стилизации сочинял эдемский народ для Младшего Брата, по ним мы и изучали казахский язык. Да еще иногда матерились: «Аин цигин», гораздо более щедро отдарив казахов русским матом. Смотришь, бывало, два казаха между собой: каля-баля, каля-баля, — и вдруг родное: так и раззадок его мать, — и опять: каля-баля, каля-баля. «По-казахски материться — это у них считается как грех, — разъясняли знающие люди. — А по-русски — не грех».

Да, еще «бар» — «есть» и «джёк» — «нету». Ах ты ж, чуть не забыл самое главное слово — «кутак» («кутагым бар?»). Значение поймете из контекста:

Трынди-брынди, балалайка,  
На печи лежит хозяйка,  
А с хозяйкой мужичок  
Поправляет кутачок.

Фольклорные казахи до поры до времени были безобидные дурачки. «Кем твой муж работает?» — громко, будто глухую, спрашивают *к а з а ч к у*. «Не знай. Вечером нож точит — утром деньги считает. Слесарь, наверно». Добродушный смех. Будучи евреем, я не способен поверить, что это был любовный смех Старшего Брата. Из образов фольклорного ингуша и фольклорного казаха напрашивается другая формула народной мудрости: опасных бояться, безвредных презирают.

Картинка из моего дочеловеческого внутреннего космоса: ковальчуковская орава, сваленная в подводу (во все стороны торчат руки-ноги-головы),

ползет от станции к Степногорску в поисках лучшей доли (почему такое уныние в самую гордую пору звонкой коллективизации, я не сопоставлял: «коллективизация» хранилась в коридорах человеческой вселенной в ящичке с праздничной алой этикеткой), а по всей степи валяются казахи, казахи, казахи...

Зато в обиталище духа народного — в сплетнях — казахи вечно сидели, ноги каральками, на кошме за бешбармаком и враз сжирали по барану, после чего, правда, для них возникли уже две возможности: 1) приняться за казахскую борьбу «казақша куреш» (одна рука за плечо, другая за пояс), шмякнуться оземь или о колено и лопнуть — взорваться, все кругом обрызгав требуюю; 2) по дороге домой распевать — после барана-то! — песни во все горло (называй, что попалося на глаза, — и вся песня: один палка, два струна — вот вся музыка моя), пока лошадь не угодит ногой в яму, а там опять-таки взорваться.

В нашем безусловно интернациональном доме плюнешь, бывало, или, простите, рыгнешь, — не то что бабушка, даже мама укорит: «Ты что, жолдас?» Жолдас — это товарищ. Друг, товарищ и брат.

Только у папы Яков Абрамовича ни разу на этот счет ничего не сорвалось, я тоже из своего еврейского стеклянного домика не брошу камнем ни в черножо..., ни в желтопу...

Я тоже люблю казахов и Казахстан — люблю как декорацию, мимо которой протекла моя юность. Я продолжал любить казахов, даже когда они начали забывать свое место. Правда, для этого мне пришлось навеки удалиться в Н е в о г р а д. В ту пору я был до того силен, умен, красив и удачлив, что от жизни мне требовалось одно — причудливость (остальное я обеспечу себе сам). Казахи были колоритны и в чингисханских треухах, и в пиджаках с депутатскими флажками — на каратауском асфальте попадались уже и такие (в Степногорске их потолком была шляпа). Они были достойны составлять мой фон, когда я с борта воздушного лайнера сходил на каленую каратаускую землю, когда в ноздри (и насквозь — в голову) ударяла полынь, в уши — обезумевшее, до небес стрекотанье на последней отчаянной ноте (но не может же быть, чтобы это были скромные кузнечики?), а в глаза — алое полотнище: «Каратаусцы! Сдадим государству бл-бл-бл-бл (нулей враз не охватить) пудов зерна!» И чем нелепей, тем вернее...

Казах из новотворимой легенды вполне годился в угловые химеры этого причудливого колониального собора: теперешний Казах — это был уже начальник, ни бельмеса не смыслящий. Тощий, он прозывался чабаном, жирный — баем. Русский работал — бай бешбармачил. В больнице Иванов распарывал животы — Молдабаев подписывал бумаги. А взялся раз за операцию, так распорол не с того конца да запихал обратно как попало. На заводе инженер — Петров, слесарь — Сидоров, а ордена и премии получает Абуталипов. В школе, в институте учит Потапов, а выговоры дает и взятки берет Телемтаев.

У н и х феодальное мышление, разъясняли умные люди. О н и видят в должности не долг, а право — на определенные поборы. Вот н а ш одиннадцатый секретарь хоть и самодур и лихоимец, но не приходит же открыто всем семейством в столовую покушать нахалюву, распечь да еще прихватить с собой никелированный трилистник «соль, перец, горчица»! «Тебя набьют, да тебя же и посадят», — доходчиво разъяснял ночной сторож дядя Гена. «Нашли на кого о п и р а т ь с я — на казахов», — брезгливо брюжжал персональный пенсионер Василий Митрофанович. Идеиные работорства с Казахом восхитительной росписью ложились на колониальное барокко. «Он мне говорит: если бы не русские, у меня было бы три жены и триста кобыл... Триста вшей у тебя было бы, а не триста кобыл!» «Я спрашиваю: зародыш развивается по стадиям? Да, говорит, по стадиям. А если он какую-то стадию пропустит, значит, он будет недоразвитый? Да, говорит, недоразвитый. Тогда смотри: казахи шагнули в социализм, минуя стадию капитализма, — значит?..»

Полюбовавшись ткущимся на моих глазах экзотическим ковром, я отправлялся на базар пропустить кисушечку кумыса. Кумыс с каждым

годом жижел и дорожал. Но если воспринимать чисто эстетически — и эта деталь чудесно вписывалась в общий узор. Лишь когда я окончил университет и был стремительно обращаем в еврея... Впрочем, кому нужна привешаясь, как слезная исповедь благородного побирушки, стандартная история еврейского предательства: одаренный еврейчик, круглый пятерочник, блестящая дипломная работа, переведенная впоследствии на три не наших языка, временная безработность, накапливающаяся обида на Народ, которому он обязан своими круглыми пятерками... Неправда, на Народ я не обижался — я не считал Народом партийно-канцелярских крыс (я о б и д е л с я н а п а р т и ю).

Свой для Народа, я с живейшим любопытством наблюдал за собственными хождениями по присутственным местам, а в свободное время разгружал арбузы-дыни-персики и страдал исключительно от поноса. Но когда меня чудом взяли в одно средственное местечко, я с ужасом понял, что я чужак не для каких-то мертвенных презренных канцелярий, а для самых настоящих, живущих, жующих, теплокровных и простых людей. Это было еще одно чудо: ведь я немедленно становился своим и среди салехардских бичей, и среди мурманских рыбацков, и среди кашкадарьинских хлопкоробов. Но оказалось, что даже они были недостаточно просты — в наш отдел никого бы из них не пропустили. Не только еврейское всезнайство (и в самом деле нестерпимое) — ковальчукское зубоскальство здесь тоже сделалось бы подозрительным. Но все-таки именно слово «еврей» запускает механизм дозволенного Единства, оно та песчинка, вокруг которой можно наращивать жемчужину административного отчуждения.

Сослуживцы — семидесятые и восьмидесятые, оберегающие свои места вторых и третьих, — изменили мое видение мира из-за моей несчастной склонности верить своим глазам. Конечно, я говорил себе, что они не настоящие русские, а настоящие — только те, кто мне нравится, а особенно те, кого я в глаза не видел, — Толстой какой-нибудь, Чехов Антон Палыч... Мои коллеги смеялись шуткам исключительно друг друга. Тамошние дамы посеяли во мне сомнение не только в моем остроумии («Может, я немой?»), но даже и в общедоступной («а-ля Глазунофф») красоте — она, казалось, их только оскорбляла: и это захапал!

Я обрушивал на тамошний народ горы щедрости и бескорыстия (пока про меня не стали говорить, что у меня денег куры не клюют), не отказывался ни от какой работы (пока не выяснилось, что я стараюсь пролезть в каждую тему). Когда меня начали печатать в Москве, это означало связь с академическими еврейскими кругами (заграничные переводы — это была уже связь с международным сионизмом). И все-таки, случись в нашем отделе пожар, я с радостью бы отдал жизнь, спасая из огня ведомости партийной кассы. Работать за десятерых, ничего не требуя в уплату, кидаться на помощь первому нуждающемуся — для этого мне было достаточно спустить с цепи свою неутолимую жажду делиться и сливаться. Я не понимал, что, пренебрегая жадностью, завистью, ленью, я выказывал презрение к жизненным ценностям моего микроэтноса и этим оскорблял его еще невыносимее.

Теперь я понимаю, что всю жизнь оскорблял не только четыреста первого, но даже и восьмидесятого. Оскорблял, когда ковбойской походкой шагал напрямиком к экзаменационному столу и, не отходя от кассы, как коллега от коллеги, принимал причитавшиеся пять шаров и выходил в коридор, откуда еще даже не успели украсть мою куртку, которую я не достаивал ради десяти минут сдавать в гардероб, — а ведь кто-то в это время забивался в укромный угол для съезженного сдува, а кто-то жался у дверей, дожидаясь какой-то благоприятной погоды... Я оскорблял их, когда перед контрольной или экзаменом до трех часов ночи отплясывал твист, а потом еще часа два тискался на лестнице с потной партнершей, каждый раз новой. Слава богу еще, никто не знал, что я мечтаю отдать жизнь за какой-то угнетенный народ — за негритянский, испанский, чилийский, — только евреям я никогда не сочувствовал, а тем более русским: евреи должны были стать выше своих мелких обид, а вообразить угнетенными русских не мог бы и безумец: угнетен тот, кто должен краснеть.

Бытовое-то дружелюбие било из меня во все стороны сверкающими фаянсовыми улыбками: поделиться последней копеечкой, потратить три часа на объяснение... Однако благодетельствуемые вполне могли заметить, что дружбу я вожу только с умниками и забулдыгами, только с блестящими или бесшабашными, воспринимая остальных как фон, которому нужно улыбнуться, помочь и забыть.

Только проварившись как следуют в котле семидесятых и восьмидесятых, которые сделались первыми и вторыми, я догадался, что фон — это и есть настоящая жизнь.

В ту же самую пору мой папа Яков Абрамович сделался общим любимцем и в Каратау с быстротой, неправдоподобной даже для еврея. Родительская комнатенка, словно гостиная знатного спортсмена, была сверху донизу уставлена кубками и вазами с прочувствованными надписями от благодарных студентов. Меж кубков проглядывали бюсты и барельефы Владимира Ильича Ленина (даренному Ленину...) — единственному сопернику Яков Абрамовича по части скромности и человечности.

«Здравствуйте, Яков Абрамович!» — радостно кричал ему чуть не каждый встречный — то учитель («мугалим»), то администратор Дома пионеров («Пионерлер уй»), то инструктор обкома, то сексот, то сапожник, то нищий. И с каждым он останавливался для краткой — оживленной или проникновенной — беседы и, двинувшись дальше по подплывающему от жара асфальту, пояснял: «Мой студент». Или студентка. Очки и заочки. Лица студентов тянулись на цыпочки от уважения, студентки светились обожанием, граничащим с набожностью. Наводивший ужас хулиган Пендя, которого после армии занесло на истфак нашего педа, сияя, тряс мне, ничтожеству, не обгавленную кровью руку (я невольно высматривал, не выпирает ли откуда его фонарь): «Приходи на лекцию к твоему батю. Гад буду, не пожалеешь!» Вместо меня к «батю» пришла Пендина мать, вдова Героя Советского Союза, которого сумел добить только алкоголь. «Вы первые к нему отнеслись по-человечески», — плакала она, не подозревая, что продает русский народ мировому еврейству.

Чем дальше от Книги ты начинал, тем ярче сиял Яков Абрамович при каждом твоём успехе — ни о ком он не говорил с такой нежностью, как о Тамаре Аспановой и Динаре Арслановой. Я первое время ушам своим не верил, когда и он начал робко ворчать по поводу ленинской национальной политики. Заходил он всегда очень издалека, но я уже понимал: если началось растроганное перечисление сотен и тысяч удивительных, ни с чем не сравнимых казахов, жди антитезиса. Получалось так, что кроме этих — истинных, природных, так сказать, казахов — есть еще как бы искусственные, инкубаторские. Природные казахи были просто люди среди просто людей (замечательные люди среди замечательных людей), а инкубаторских специально в ы р а щ и в а л и в качестве именно Казахов, именуя их н а ц к а д р а м и, — вот от них-то и шло все зло.

О н и (нацкадры) не заботятся о своем народе, сам подавленный своим цинизмом, высказывал папа ужасающую догадку: как можно принять диплом доктора философии, а тем более — просто доктора, если рядом есть более знающие, более умеющие, пусть хотя бы и русские? — робко недоумевал папа, чувствуя, что посягает на что-то святое. «Казахи обращаются с русскими, — криво усмехался я, — так же, как сами русские с евреями: умный ты или идиот, праведник или прохвост — мы все равно выберем н а ш е г о. Кто из русских отказался от чина, от аспирантуры — вон, дескать, Каценеленбоген умнее меня? Или какой-нибудь рабочекрестьянин протестовал, что надо, мол, выдвигать не по происхождению, а по личным заслугам? А когда Единство обернется против них, все сразу вспоминают про личные достоинства...»

Не казахи обращаются с русскими, не русские с евреями, нет-нет-нет-нетнетнетнет, это кучка негодяев, а настоящие казахи, настоящие русские — это Пушкин-Фуюшкин, Баянжанов-Биробиджанов, — водопад благороднейших имен не умолкал ни на миг, чтобы как-нибудь не пропустить

хоть словечко правды. Но прямо злой рок: в аспирантуру, в горком, в хренком обязательно в ы д в и г а ю т кто похуже. Вот-вот-вот-вот-вот, любые привилегии — это обязательно победа худших. Помочь человеку взобраться на нужный уровень — это одно, а опустить уровень до его возможностей — это совсем, совсем другое, а именно это делают для нацкадров!

Пригрели змею: он помнил даже, что в казахской школе (мектеп) им. Абая, в которую ни один казах, хоть раз примеривший пиджак и шляпу, уже не отдавал своего ребенка (папа давал уроки английского тем, кто едва говорил по-русски), учительская после шестого урока всегда оказывалась пустой. «Так вы же ж один даёшь шестой урок, — наконец разъяснила ему т е х н и ч к а. — Остальные так отпускають». На селе (ауле) и того проще. «Ребята, почему школа закрыта?» — «Ха, так директорша еще в магазин не ходил».

Папа катал доклады и газетные усыпстатьи (рука сионизма) для всех близлежащих начальников, но эти благороднейшие люди для очистки совести всегда предлагали поделиться гонораром — и только Касымханов и Валиахметов клали бабки в карман безо всяких ужимок. Даже начальник обл. КГБ Тер-Акопян, просивший поставить зачет его приятелю-заочнику, напирал на благородные мотивы (пошатнувшееся здоровье, безвременно — и не вовремя — скончавшаяся старушка мать, и притом его друг обязательно все-все выучит, как только здоровье поправится, а мать оживет) — и только Омаров из Сельхозуправления явился прямо с бешбармаком. А когда мы жили на одной площадке с судьей Джумаевым, к нему все время являлись с громоздкими подношениями какие-то страховидные личности — в полосатой пижамной куртке поверх ватника, например, — мимо пройти было страшно.

Не знаю, как папа вынес бы тяжесть этих знаний, если бы все это делали настоящие, а не инкубаторские казахи. Но, к счастью, настоящие казахи были святы вдвойне, поскольку они оказывались жертвами еще и нацкадров.

Я не заметил, когда казахи перестали краснеть при слове «казах».

Зато начало перестройки Казаха из рядового жолдаса в партийного Бая я запомнил: эту перестройку начала партия. Калбитня вшивая, трахомная, им что по голове, что по этому столу (раздастся «каля-балья, каля-балья»), а их тащат в руководство — этот припев впервые и надолго я услышал в доме секретаря райкома по сельскому хозяйству И. С. Казачкова.

Хлопнув дверцей «виллиса», И. С. Казачков, широкий и осанистый, как товарищ Киров, в обычное время благословлявший аллею в Горсаду, всходил на крыльцо походкой Гипсового Гостя, а трезвый, положительный шофер, собирая мощные складки на шее, выгружал то седой курящийся мешок с мукой, то успевавший дохнуть головокружительной копчатиной кабаний окорок, то флягу медлительного меда. «Из совхоза привезли», — разъяснял Вовка. В совхозах жили люди сказочной щедрости, но если шофер, обтряхиваясь, приговаривал с юмористической сокрушенностью: «Хоть бы вшей не набраться!» — значит, закусывали где-то у казахов. На этот счет существовал целый секретарский цикл: один секретарь угощался кумысом из бурдюка, ан в бурдюке-то возьми и окажись — ч е р в и («Броненосец „Потемкин’’»). Другой секретарь, от души, то есть от пуза, покусав пельменей, вздумал поудивляться, откуда, дескать, фарш: «У тебя ж и мясорубки нет». «Ничего, начальник, мой всю ночь не спал — тебе мяс жевал». Третий секретарь... но это уже не для дам.

Пока казахи знали свое место (исправно краснели), у нас в школе склонны были дразнить скорее джукояков («Пашанцо, пашанцо»), иной раз и забывавших о скромности. Но Вовка Казачков уже тогда выходил из стандартов: обрезки, обкуски, калбитня... Вот он в одиночку кидается на пятерых казахских пацанов — и пошла сеча: в зубы, в ухо, в рыло, в харю — только Чувство Правоты, только Вера Отцова может даровать такое бесстрашие. А противники — всего лишь частные лица, без Веры Отцовой они рассыпаются прыгучим сушеным горохом.

Вовкина морда раздувается в багрец, в пурпур, в фиолетовую синь — но двухпудовка, которую выжмет еще и не всякий мужик, по миллиметру, зато безостановочно, как минутная стрелка, ползет и ползет все выше и выше. Добавьте примесь яростной черноты — и увидите, как вздулась Вовкина физия, когда подгулявший казах в рокошущем, будто крыша под ногой, брезентовом плаще тащил его с подоконника в Клубе. Мужик в кураже шуганул пацанов — тут без обиды, но Вовку бесчестье (уступить к а з а х у!) налило свинцом. И еще неизвестно, чем бы Вовка его навернул, если бы я не дал ему возможность сделать вид, что его у г о в о р и л и.

Неукротимый белый человек, с громовым хохотом сокрушающий череп — или хоть челюсти — всяким черножо и желтопу макакам, — Казаку, словно влитая, пришласть впору эта дивная картина, зажженная в Главкосмосе нашего воображения пламенным «Ундервудом» Джека Лондона, чьи лиловые кардинальские томики (приложение к «Огоньку») поставлял Вовке все-таки я. Зато сегодня я с лживой наивностью люблю задавать вопрос: был ли в истории о д и н случай, когда охваченные Единством массы двинулись не убивать, а сажать деревья или утирать слезы тем самым вдовам и сиротам, коими они вечно попрекают друг друга (враг врага)? Евреи ехидно хихикают, полуевреи задумываются, и лишь немногие честные патриоты гордо плюют мне в лицо.

Меня, былого эдемчанина, ничуть не изумляет, что окружающие не вспыхивают от негодования из-за моих оскорбленных чувств: меня, что ли, сильно волновали оскорбленные чувства казахов? По-настоящему стыдно мне всего только за один случай.

Клуб, кумачовый плакат:

*Из всех искусств для нас  
важнейшим является кино,*

смотр художественной самодеятельности. Усердно танцуют «Яблочко», выбрасывая ноги, как прогрессивные паралитики с двадцатилетним стажем, ответственно выводят хором «Партия наш рулевой» — и это никому не кажется смешным. И тут под звуки домбры (один палка — два струна) выпорхнула на сцену прелестная узкоглазая девочка в расшитой бархатной тюбетеечке и таком же бархатном (бордовом?) платьице. Стреляя пасленовыми глазками, сверкая улыбкой, она закружилась по эшафоту, поочередно вертя перед нами и перебрасывая из руки в руку невидимое, но все равно живое яблочко. И тут зал как захохочет, засвистит, заулюлюкает... Она расплакалась и навеки скрылась за тяжкими складками раздвинутого занавеса — бархат растворился в бархате. Всего и делов. Правда, меня и тогда чуточку покоробливало, но ту девчущку мне было жалко больше за ее наивность — зачем уж так выставлять себя на смех? Что бы ей подобрать к расшитой тюбетеечке булыжник по размеру, завернуть в бархатное платьице, хорошенько перетянуть дедовским арканом из конского волоса, подыскать колодец поглубже и ночью, когда все добрые люди спят заслуженным сном, спустить все это к дяде Зяме!.. Нет, я не сознавал, насколько то улюлюканье было не только гнусным, но и смертельно опасным (не наноси малых обид!), — я с горечью ощущал его чуть ли не наполовину заслуженным. А что — вон на районных соревнованиях наши девчонки бежали в баллонных сатиновых трусах, а юная физкультурница из совхоза Сауле в бабских нижних штанах (тоже по колену): она не видела разницы между черным сатином и ядовито-зеленым трикотажем, зато народ просто валился со скамеек. Мое роевое сознание ощущало некую ответственность бархатной тюбетейки за трикотажные панталоны.

Но почему же сейчас (и уже много лет) мне так нестерпимо стыдно? Неужто ничего более мерзкого я в жизни не совершал? Обижаете — делывал я штуки и похуже. Просто на моем счету нет жертв до такой степени безвинных — ибо девчущка эта была только «одной из»; и сам я никогда больше не бывал до такой степени могуч и неуязвим — ибо в тот раз я был только «одним из».

Одно утешение — со мною тоже не очень церемонились. Этим-то и опасны обиженные — им кажется, что они за все уже расплатились. Только

сейчас заметил: я целые годы мусолю пустяковую личную вину и не ощущаю ни миллиграмма из тысячетонной общей вины за безбрежные россыпи мертвых казахов — вот что значит отщепенец! Но куда я оставался плотью от плоти народной, я не знал вообще никаких вин. Всякий Народ всегда прав и безупречен. У частных лиц это параноя, у Народов — залог чести и величия.

Идут Детдомцы — вот где было идеальное слияние в едином Мы, когда они валили в банку по саше, переходящем в ул. Ленина, — серый поток, в который кто-то вывалил два-три самосвала помятых арбузов, облупленных до того, что лишь кое-где на них еще сохранились нашлепки изумрудной, вернее, бриллиантовой зелени. Про Детдомцев даже не сочиняли сплетен — это была высшая степень отчуждения: Единство Детдомцев было совершенным и сплошным, как бильярдный шар.

У них не было даже мод, своей переменчивостью разрушающих Единство с предками, — их гордый мундир был раз и навсегда завещан Верой Отцовой: летом — лоснящаяся атласной чернотой майка со свернувшимися в черные жгуты лямками на плечах (одна могла быть оборванной, это допускалось), осенью, весной — серая туалетная рубашка или вельветка с продранной подмышкой (обязательно левой): получивши новую вельветку, требовалось наступить на нее и как следует рвануть за рукав.

В Клубе Детдомцы словно пеплом покрывали в зале особый квадрат, к которому чужак не помышлял даже приблизиться: тронь одного — как воронье подымутся, дивидась молва, но самоблично этого никто не видал, ибо те, кто видел, уже не могли рассказать. «Почему все друг за друга стоят — одни мы не стоим?» — сокрушались эдемчане по поводу обретающихся среди них (нас) малых племен, и только теперь я могу ответить: «Потому что тех, кто не стоял, вы (мы) уничтожили».

Сколько извели гусей на перья и березок на монографии, чтобы уяснить наконец, что такое народность поэта — описание она сарафана, или способ чувствования (поэт, чувствующий как все, заведомо никуда не годится), или еще что-то. Ответ знаю только я, отверженец: народно то, чем укрепляется Единство. То есть Отчуждение. Народен тот поэт, во имя которого готовы убивать те, кто не способен понять ни единой его строки. Интересоваться же, читают ли его массы... да разумеется нет, как и никого никогда они не читали (по доброй воле). Не зря мудрые фагоциты обеспокоены прежде всего неприкосновенностью объединяюще-отторгающих символов: знамен и названий.

Падение великого Народа началось с того, что он переименовал название — Детдомцы стали зваться Интернатцами. Ну, конечно, помог и приток чужаков, имеющих родственников за границей, за пределами реорганизованного интерната. В довершение несколько наиболее именитых граждан заняли подобающее им место на тюремных нарах, а сердце великой безымянности составляют все же люди с именем. Разврат дошел до того, что кое-кто там позволил себе иметь прореху под правой подмышкой, а то и обходиться без оной — погибшее Единство сменилось растленным разнообразием.

Мы с Вовкой зашли в клубный предбанничек за час до сеанса. Там стояли трое Интернатцев (поменьше нас, но три на два — это было нормально) — однако к Детдомцам нам и в голову бы не пришло примериваться. А эти были к тому же с чистенькими рожицами — один, максимум два лишая на троих, — да еще и в пионерских галстуках, да еще и отглаженных, воспаряющих невесомыми крылами. Самый веселый интернадец накрыл алым крылом забиячливую физиономию, приоткрывая то один, то другой смеющийся глаз.

Вовка дернул дверь в кассу. «Закрыто», — сказал он мне скованным голосом. «Закрыто», — повторил веселый, накрываясь галстуком с головой и раздувая его, как алый парус. «Зайдем через полчаса», — угрожающе сказал мне Вовка. «Зайдем через полчаса», — упавшим голосом повторил озорник, чувствуя, что совершает непоправимое.



Ляп! Ладонь у Вовки была твердая, как у плотника. Галстук прилип к щеке. «Ты чё-о?..» Ляп снова! Алое крыло отклеилось и начало планировать книзу. «Да чё т-ты?!» Ляп! Голова мотнулась, как воздушный шарик от щелбана. «Еще слово скажешь — еще получишь!» И все это не имело никаких последствий!

Дальше: урок труда — советского, бессмысленного. То есть нужный для жизни, правильный урок. Мы с пацанами на школьном косогоре долбим ломами каменный «наполеон» для ежегодной братской могилы заранее иссохших тополевых саженцев, а за забором куда-то бредет ватага разрозненных Интернатцев. Я не помню, кто начал и с чего, — главное, в какой-то миг нас охватило негодование. «А ну, ребята!..» Чувство Правоты можно ощутить только в Единстве с кем-то — это виноватым чаще всего бываешь в одиночку. Мы ринулись вниз, но когда первый из нас занес ногу через штaketник, Интернатцы кинулись врассыпную, теряя остатки Единства: наше Мы оказалось прочнее. Интернатцам уже сделалось опасно появляться в Эдеме числом меньше десяти, а в одиночку они почти наверняка подвергались справедливому возмездию.

Концентрация нашего Мы в Казаке достигала вулканического напряжения, ударяя гейзером в слабых местах. Он входил в туземный поселок на сваях, сдвинув на затылок пробковый шлем и положила руку на верный кольт — и группка Интернатцев, рассредоточиваясь (раз-Мы-каясь), угрюмо отступала, когда он крадучись приближался к ней и успевал последнему (самому гордому, а потому опасному) засадить пяткой в поясницу (по парам), а если тот, акробатически прогнувшись, на свое несчастье, все же удерживался на ногах, то получал та-ах-какой крюк по скуле...

«Люди с темной кожей во всем мире хорошо знают кулак белого человека», — с беспощадностью, даруемой лишь причастностью к великому Мы, напутствовал себя Вовка словом Джека Лондона. А я... я все же был начинающим еврейчиком: хотя я прекрасно знал о зверствах Интернатцев, абсолютно не продиктованных военной необходимостью — о выколотых глазах, о вырезанных на спине буквах «В. И.» («Враг Интернатцев»), о сожженных заживо беспомощных старцах, о младенцах, вырезанных из чрева матерей в родильном доме, — несмотря на это, я не мог двинуть хотя бы ногой под зад тому, кто на моих (лично!) глазах ничего такого не сделал.

Но наконец Интернатцы подарили и мне индульгенцию, дающую право разговеться их кровью. Как-то, входя в вестибюльчик Бани, я углубился в размышление, отчего на трансформаторной будке «Не влезай — убьет!» написано через твердый знак — так страшной, что ли? И буквы метровые, черные, мохнатые — как дегтем не то смолой по воротам писано... и тут я чуть не впилился головой в застекленный скворечник кассы: меня двинули под зад — не ногой и даже не копытом — автомобильным буфером — все нутро стряхнулось, как оброненные часы. На скамье, уходящей во тьму, сидели зловеще ухмылявшиеся Интернатцы, светясь багровыми физиями. На каждом из них были не декадентские кеты, а нашеньские чугунные «Скоророды». Я извернулся, как в нашей излюбленной игре «ж... к стенке», но и сзади стеной стояли Интернатцы — пока еще с немытыми серыми лицами...

Буц! Буц! «Чё вы к нему пристали!» — невыразительно закричала кассирша. Буц! Буц! В недосыгаемой дали я увидел приоткрывающуюся дверь в мужское мыльное отделение, где неторопливо, как в аквариуме, передвигались полуодетые багровые люди. Окаатило запахом пресной мочалы — сколь прекрасна и недосыгаема может быть мирная жизнь...

И тут во мне взыграло наше Мы. Превращая постыдное издевательство в прекрасную гибель, я развернулся и со всей силы залепил по зубам в первом попавшемся. И пошло: епшышки в глазах слились в пульсирующее желтое пламя, а я лупасил во все стороны и нет-нет да попадал. Правый кулак потом был в слюнях и немного в крови. Теперь верещал весь женский персонал, из дверей лезли голые и даже один намыленный (голых женщин не видал, врать не стану). Интересно, что никто во мне не опознал сына Яков Абрамовича, хотя и про гораздо

меньшие мои подвиги обязательно кто-нибудь стучал. Видно, за делом меня захватили настолько не еврейским, что не смогли опознать.

Именно чужие не поленятся разъяснить чирикающему приверженцу «общечеловеческих ценностей», для чего нужны свои. Н а ш и.

С деревянным лицом, стянутым засыхающей кровью, замирая от восторга, я вбежал в середину народного собрания. Все поле охнуло. Пахнуло пафосом, которого Вовка не переносил. опережая вопль ужаса и гнева, он произнес тоном разочарованного знатока: «Ни хрена не умеют делать. Я его сразу узнал. — И, приглядевшись к моему заплывшему глазу, прибавил со вкусом: — Калбита сделали. Обрезка».

Еще мгновение — и хохот был бы наградой моему подвигу и моим страданиям. Но Алька сумел натянуть звенящий струной, провисший было от насмешки трагический пафос.

— Соотечественники! — воззвал он снисшедшим на него с небес баритоном, прекрасным и трагическим, как гудок электровоза. — Братья и сестры! Доколе! Кровь наших братьев! Седины отцов! Горе матерей! Поруганная невинность сестер и невест!

Черты его незапоминающегося (и назавтра снова забытого) лица распрямлялись, словно его подкачивали насосом. Вопреки законам сохранения с каждой исторгаемой святыней он рос и твердел, как некое фаллическое воплощение нашего крепнущего Единства. Вне себя от счастья, что пролитая мною кровь сделала нас братьями, я пытался заглянуть ему в глаза, стараясь выразить, что я больше ни за что не стану давать ответы на вопросы, созданные для легенд, — но по его бронзовеющим чертам лишь пробегала рябь раздражения, когда он отводил от меня глаза, чтобы не осквернить высокую минуту созерцанием изгоя.

Мы вонзились в багровых и серых Интернатцев стальным клином, победитовым острием которого были Казак и Еврей. Вовка не выносил пафоса, но любил драки. Я не любил драк, но обожал пафос. Результат оказался примерно одинаковый. Багровый и серый был отброшен и скомкан. С этого дня я сделался окончательным героем, умеющим сражаться не с жалкими силами природы, а с главными врагами человека — с людьми. Оказалось, что до полного геройства мне не хватало только Красоты и Правоты. Правда, после каждого моего зубодробительного подвига фагоцит Катков начинал обращаться со мной все строже и строже, чтобы я не вообразил, что при помощи таких формальных уловок чужак может проникнуть в пушечное ядро Единства. В бою Алька ничего не стоил — его, кроме меня, вообще никто не замечал. Но я, которого замечали все, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: своими громкими подвигами я обязан незаметному Альке.

В конце концов, важнее не чей кулак, а чье Мы окажется крепче. В Эдеме снова объявился Степка Кирза, один из героев бывшего Детдома. Среди августовского пекла в темно-синем, невиданном у нас плаще с клетчатой изнанкой (явно с чужого, более могучего плеча), запустив по локоть руки в мрачные глубины карманов, сутулясь, как питекантроп, выставив перед собой широкое лицо с еще более широкой нижней челюстью (таким лицом очень идет небритость), Степка устрашающе продавливал толпу в направлении клубной кассы, а после, помягчев, окруженный почтительным вниманием, вел суровую, но прекрасную повесть: «Ребята постарше взяли его за руки, за ноги, подкинули и посадили на бетон. Жить, конечно, будет, — как бы сам с собой рассуждал Степка. — Но это уже не человек. Кровью будет дростать...»

В эти же дни Марс ниспослал нам очередную удачу: мы застучали Интернатцев врасплох, когда они выходили опять-таки из Бани. Теперь они и в Баню захватывали с собой больше бульжников, чем мочалок, но мы сумели грянуть таким единодушным залпом, что они в беспомоществе кинулись обратно, открыв нам беззащитный тыл. Мы в едином порыве... Но тут я с изумлением увидел среди кишения давивших друг друга трусов Степку, потрясенного этим падением своего великого Народа, — Степку, остервенело рвущегося из забитого слипшимися телами дверного проема. Раскру-

тив над головой солдатскую пряжку, Степка ринулся на нас в о д и н о ч к у. И мы — мы, а не Мы — бросились кто куда пред мощной властью Правоты. Степкина пряжка сама по себе весила не так уж много — у нас у половины были такие же, еще и утяжеленные свинцовой подливкой, — но... драпануть перед Детдомцем не позор, не то что перед Интернатцем. Улепетывая, я посмел оглянуться и увидел, как Кирзуха в мотавшемся самостоятельно, словно вытряхиваемая простыня, плаще рубил в капусту оставших, не замечая нашего Казака, который не убежал, а с посторонним видом, руки в брюки, уходил прочь, недобро кося на неистовствующего Степку. И Степка его т а к и н е з а м е т и л! И в моей голове начинающего еврея прошелестел и надолго притих кощунственный вопрос: может быть, это еще одна черта истинного героя — с полувзгляда распознать, с кем из покоренного племени лучше заключить негласное перемирие?

А сейчас над моей еврейской головой, как змея над чашей, изогнулся вопрос еще более кощунственный: а нужны ли герои вообще? Нам, маленьким людям, которые все до последнего евреи, покуда их (нас) не охватит (не прохватит) Единством и Величием? Не спорю, иногда герои спасают нас от таких, как они, — а еще?

Надеюсь, стимулирующий душ очередного Единства, оттарабанивший по моей макушке примерно год назад, окажется последним. «Военный переворот», — выдохнуло мне в лицо что-то огромное (это супруга придвинулась слишком близко), и бессмысленный ужас полусна мигом сменился дневной ясностью: «Все погибло». Дстойно встретить гибель — я уже много лет не считаю свою жизнь подготовкой к этой главной цели, но прежний тренинг сказался: семейство впоследствии признало, что я держался лучше всех.

«Гэ Ка Че Пэ», — с удовольствием выговорил по телевизору сладчайший женский голос, и экран погас, не выдержав политического накала. Дальше голос умильно наводил ужас из серой мглы, словно Господь из облака на горе Синайской. Уши вспрыгивали торчком от одного только обращения «Соотечественники!».

«Детей не успели выпихнуть, — первое, о чем спохватилась моя кустодиевская обожательница нестеровской Руси. — Доживать в этой тюрьме... Неужели Запад допустит?..» Я по себе знаю, насколько меня волнуют проблемы Востока, так что я ничуть не удивлялся заявлениям европейских лидеров насчет того, что они за всем внимательно следят и надеются, что мы останемся верны своим международным обязательствам.

То, что для частного лица считается последней низостью, для Народа вполне может оказаться верхом государственной мудрости. И слава Богу! Если бы Народы, эти твердокаменные ядра, всерьез дорожили своей честью, они бы давно размолоти друг друга в пыль.

Все на улице просилось в зловещее истолкование: светящиеся жилистой солдатской белизной отколовшиеся от тополя полствола, журнально-кровавая раздавленность коробки «Мальборо», пук березовых веток (березовой каши), неряшливо прущих из раскрытого люка (вымачивают в дерьме)... Каждая мусоровозка норовила предстать бэтээром. Люди представлялись хмурыми, как мы, — но это не было Единством.

У каждой уличной газеты склонялись в полупоклоне заслоняющие друг другу слово правды мрачные соотечественники (даже такого дерьма не добыть без очереди). «По состоянию здоровья... — злобно хмыкнул какой-то монголоид. — Наверно, где-нибудь в клетке сидит!» Он все время мелькал рядом, японский резидент.

Мы двинулись к презираемому Ленсовету — хоть какому-то центру — оттого-то властям так необходимы опасности.

Вдоль фасада дворца маленькие человечки со всей положенной суетливой bestолковщиной монтировали динамики, чтобы обращаться с призывами к нам, горстке человеческого мусора.

Я ни на миг не забывал, что участвую в чем-то запрещенном — не то в митинге, не то в уличном шествии. Запрет на подстрекательские слухи тоже

не помогал — начинали срабатывать законы общения больших масс: девять слухов из десяти были брехней — но какие именно? Я вместе с другими стаскивал в кучи всякий хлам, чтоб было что назвать баррикадой. Хотя какие-то распорядители иногда приказывали разобрать их. Поразительную энергию развивал огромный толстяк в джинсовой жилетке (каждая рука — пухлая бабья ляжка). К моему удивлению, от него мало отставал мой сын — с той разницей, что толстяк командовал, а Костя кидался всем прислуживать и впутывался во все разговоры с младенческим простодушием, убежденный, что отныне мы все братья. А мне было неловко, что он видит меня за таким дурацким, а может быть, и вредным занятием. Меня не радовало и оптимистическое вранье (где-то, мол, какие-то н а ш и тоже дают и х н и м по мозгам): кто бы ни победил, люди еще лет тридцать способны обожать только героев и различать на слух только калибры пушек.

Мы получали и раздавали ельцинские ксероксные листовки. Ждали мэра Собчака. Передавали, что его задержали, застрелили, посадили — не то в тюрьму, не то на Рижский аэродром. Вы помните, как наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался... Серьезно, во мне толкнулось что-то живое, когда своим знаменитым тенором (ария Собчака: «Ах, если бы я был избран...») он перетитуловал всех мятежных министров «б ы в ш и м и министрами»: до меня не сразу дошло, что это он их тут же и разжаловал. Медведя поймал...

Толпа, собравшаяся на Собчака, перевалила за победителя декабристов Николая Палкина, и мне снова захотелось стать вторым. Но на завтрашний митинг я побрел только формы ради (опять соберется сотня прапорщиков...) и в метро все время с бессознательной досадой чувствовал, что мне никак не оторваться от какой-то толпы, словно вместе со мной некий турпоезд направляется на экскурсию в Эрмитаж. Лишь на платформе у Невского я начал замечать что-то необычное: нет злых локотков, перебранок, не видать детей, старух, алкашей, а самое поразительное — совсем нет рож, рыл, харь... Я никак не думал, что не только в Ленинграде, но и во всем мире можно сыскать столько ясных, хороших лиц, чтобы заполнить Невский от Лиговки до Дворцовой. А с Дворцового моста волна за волной спускались все новые и новые славные люди — и я был равный среди равных. А тут крепкий мужичок, взмахивая крепким кулачком, ведет колонну Кировского завода — и опять ни одного мурла, нормальные хорошие мужики. Любое дело, на которое плюют работяги, всегда представляется мне каким-то еврейским, а потому — бесплодным. А тут еще курсанты за Зимней канавкой выбросили плакат «Авиация с вами!» И я понял — только не смейтесь, пожалуйста! — что я действительно готов отдать ж и з н ь. Ну, то есть не прямо взять и отдать, а пойти на такое дело, где этот вопрос будут решать без меня.

Возле моей полуокраинной конторы, выгороженной из пустыря вульгарным бетонным забором с претензией на государственную тайну, на автобусной остановке нас встретил успевший сформироваться тип озабоченного и осведомленного молодого человека. Примерно в километре отсюда требовалось задержать хоть на полчаса четыре бэтэера, куда знающие люди не разольют на подъеме мазут — пускай буксуют, реакционеры чертовы. Я даже не поинтересовался, где они возьмут мазут, а тем более — подъем: знающим людям видней.

Я быстро двинулся пустырем, сначала шел, потом побежал. Помню, меня поразило — не равнодушие лопухов и всяческого бурьяна, если бы: нет, поражала их торжествующая пышность, почти величие... Но еще более дико было, что и я сам в з а п р а в д а ш н и й. Тем не менее рев моторов рос и крепнул с каждым задыхающимся шагом...

Как вы, конечно, догадались, это был бульдозер. В вестибюле института экспрессионистски (то есть мочалой) размалеванный ватман (еврейская фамилия) призывал нас на борьбу в конференц-зал.

— На митинг ездил? — предупредительно спросил меня коллега и з м ы с л я щ и х. — Что ж, вам, евреям, сейчас действительно есть за что

боротся. — Он всячески старался подчеркнуть, что умеет уважать чужие интересы.

В дверях я едва не отпрянул, словно вход был затянут невидимой паутиной: на застойных бархатах конференц-зала в историко-революционных позах расположились о д н и е в р е и. В основном, конечно, по социальной функции — умники, из века в век принимающие средства за цели, частное и преходящее за вечное и универсальное: Рынок как мерило красоты, истины и добра (открытые только одиночкам, перед которыми остальные обезьянничают), Разделение Властей (их должно быть ровно три, а четвертой не бывать)... Бросавшаяся в глаза пятерка евреев по анкете довершала впечатление, что в зале о д н и е в р е и.

Я повернулся и зашагал прочь. Я был холоден, как лед, и ясен, как зеркало, приложенное к губам недельного покойника. Заклокотал желчью я только дома, когда увидел, что Костя снова собирается в ночное (мне мешало только передразнивавший меня жирно kloкочущий гуляш на плите).

— Пока хоть один русский сидит дома — евреям там нечего делать!

— А что — там одни евреи? (Сколько презрения!..)

— И одного много! Опять еврейский авангард русского народа...

И вообще: коммунистов я всегда не любил исключительно за поругание истины, за то, что они заставляли меня прятать глаза на ихних политзанятиях, а в остальном мои интересы были неизменно и неразрывно связаны с Коммунистической партией: если бы не она, Народ никогда не позволил бы нам сидеть по институтам да кабэ, пускай и на вторых ролях, он бы всех гнал добывать ему мясо с картошкой. Нет кабэ без кагэбэ! Мы должны быть благодарны партии за то, что она силой штыков охраняет нас от народного гнева!

Старый вояка потопал сапожищами, потом так же не спеша пошевелил прокуренными усами:

— Стыдно слушать это юродство.

А жена лихорадочно принялась доказывать Косте и мне, а особенно себе, что руководит мною не что иное, как оскорбленный патриотизм. И вы знаете что? Я почувствовал сильнейшее облегчение.

Я думал, супруга повиснет на Косте кулем, но: в бой провожая их, русская женщина — и т. д. Катюша отправлялась к подруге, от которой все видно, что делается под хвостом Николая Палкина, и слышно, что передают по «Свободе». Если что — авось и Костя к ним туда заберется. Балбеска была уверена, что жизнь — это невзаправду.

Признаюсь: та ночь была самой страшной в моей жизни. Сначала я ощущал только зависть ко всеобщему братанию, которое, казалось, кипело во мраке за окном. Конечно, кто-то каждый раз мягко клал мне холодный компресс на поддых, когда я вспоминал про Костю, но вообще-то я был уверен, что все будет решаться в Москве. Я не позволял накапливаться пафосу, напевая: «Я на подвиг тебя провожала». В конце концов супруга, в подспудной тяге к вулканической деятельности, сменила на огне бурлящий гуляш на бак с бельем. Будем лить путчистам на головы.

Чтобы поменьше походить на еврея, я не держал дома приемник — теперь приходилось довольствоваться Катюшиными телефонными реляциями. Не помню уж, в котором часу наша золотистая дуреха наконец догадалась разрыдаться — дошло, на каком свете живет: в Москве началась атака Белого дома, уже прошли... В общем, что надо, то и прошли. А раз решились — значит, победят. Словами — до крайности стерто — мое чувство можно было бы выразить так: «Нет. В мире. Правды». «Да какой же дурак этого не знает?» Но какой же дурак не знает, что когда-нибудь умрет?

«А Костик, Костик где?.. Греется?.. Скажи ему, чтобы ни в коем случае... Теперь это уже совершенно... Костик, вспомни, ты больной, у тебя повышенная кислотность... Пойми, надо прежде всего выжить, потом будем думать, как с этим бороться... Мы нужны Родине в тылу!» — последние слова выкрикнул в трубку уже я.

«В ту войну евреи ехали в Ташкент — а теперь куда?» — горестно спросил я жену, и она так прижалась ко мне, словно хотела в меня

укрыться. Или укрыть меня в себе? «Только бы вместе, только бы вместе...» — «Да провались оно все!.. Э т о г о - т о нам не запретят?!» — «Ты что — с ума...» Но я уже раздвигал величавые портьеры ее халата — брызнуло солнце. «У тебя всегда одно...» — но я уже забрался в любимую беседку, увитую плющом и хмелем (только в пальцы постреливал болью неразрядившийся аккумулятор). Ништо — одна живем! «Выключи хотя бы свет — устроил разгул порнографии!..»

А мы пу-русски, пу-прустому, пу-путриархальному, бормотал я, стараюсь освоить вулугодский говорок, который теперь делается литературной нормой. Я нащепал лучины из книжных полок (заметались страшные тени) и пу-хузайски, пу-хузайски наладил бабу поддать жару (от моей напутственной пятерни разбежались волны сметаны). Раскипятившийся бак скрыл Пруста и Кафку на стеллаже в облаках пара. Я степенно разоблачился до нательного креста (тяжкое чрево скрывало срам) и, кряхтя, забрался на полк, а русская Венера принялась с застенчивым повизгиванием охаживать меня березовым венником из канализационного люка. Ухх, ухх, издавал я оргиастические стоны, шибче! шибче! «Поддай, однако, на каменку!» — и типятком со всего маху на раскаленные кирпичи Толстого и Герцена, — уххххорошо!.. А таперича квасом — охх, духовит! А таперя брагой, уксусом, желчью, кровью!.. Запекается, ястри тя... Ништо! волокни скребок! От моей напутственной пятерни разбегаются волны малинового сиропа. А теперя будем, однако, блуда гонять! А ну-к, раздуй лучину полутче — эва ножищи, однако, колоды колодами, а титечки быдто репки чищенные... Ты, однако, не стыдись, касатка, в еттом греха нетути — токо что икону, однако, не забыть завесить...

Но тут пропел петух. Неужели мы так всю ночь и простояли, каменно стиснув друг друга?

Назавтра я снова всем сердцем любил тех простых славных людей, которые на полном серьезе рассказывали, что мятежные министры улетели во Фрунзе, чтобы оттуда пробраться к Саддаму Хусейну, — если бы только Единство в Победе не требовалось покупать кровью и ненавистью...

Да, еще: в день путча я случайно услышал по радио гармошку — «На сопках Маньчжурии» — и вместо ностальгического умиления испытал самый настоящий у ж а с: мне показалось, что Эдем вот-вот снова накроет меня своей волной.

Впрочем, вооружась микроскопом, даже еврей способен разглядеть каждодневные проявления Единства без заметной примеси злости, когда незнакомые люди, широко распахнув дверь, раскрывают тебе широкие объятия. Отчего бы всем так не жить, вновь, вновь (как моча) ударяет в голову мечта идиота: если людей способно так преобразить некрасивое слово «родня»... И ты тоже становишься улыбчив, услужлив и говорлив: уровень еврейскости (грубее — жид-кости) в твоей крови падает почти до нуля.

А потом опять взлетает до вершин мирового сионизма, когда обнаруживаешь, что в который раз ради Единства пожертвовал чем-то еврейски-реальным — и снова ничего (никого) не купил. Предпоследнее обострение было, когда п о с т у п а л мой еврейский сынуля — да, да, все равно еврейский, хотя по таблицам Эйхмана ему оставался бы всего один шаг до полного арийца. Но кровь может обмануть — прикосновенность никогда. Поэтому и внуки моих внуков будут точно такими же п о л н ы м и евреями, каковы мои дети-квартироны. И все же иметь детей-евреев неизмеримо мучительнее, чем быть евреем самому.

С еврейской скрупулезностью я старался подготовить сына ко всяким неожиданностям, прекрасно понимая, что к главной неожиданности — как к смерти или чуду — подготовиться невозможно. Вообразите: вы скользите над пустотой, с каждым шагом совершенствуясь в мастерстве канатоходца, — и вдруг замечаете, как один из членов жюри как бы в рассеянности попиливает ваш канат перочинным ножичком. И ваша воля, ваше внимание с собственного, только что идеально послушного тела устремляются к дяденьке с ножичком...

Нет, я выучился бы скользить и по перепиливаемому канату, если бы с самого начала видел этого дяденьку, ошибочно думал я, забыв, что лишь единство с другими наполняло меня ловкостью и удалейю. Своим ножичком дяденька не сумел перепилить ничего, кроме Единства. «Воспитывая в правде» своих квартиронов, я перекрывал этот кран. Вообразите... ну, хотя бы огоньковскую репродукцию с картины «Счастлиное детство» (Сталинская премия 1951 года) — что-нибудь поприторнее: сноп солнечного света, в озарении которого влетают в зал еще более ослепительно сияющие детки, мальчик и девочка. Второпях зовут отца — а я на них: пфф! Расходящиеся клубы безжалостной серьезности: «А вы уроки выучили?!» Да... нет... как раз сейчас собирались, угасая лепечут квартирончики, ты лучше взгляни, какая гильза, обезьяна, солнышко, — и в ужасе обнаруживают, что от солнца осталось лишь черное пятно. Как в «Тихом Доне».

Ну ладно, что у вас там, наконец смягчаюсь я, но черный туман еврейской озабоченности на всем осел серой пылью. «Вы евреи, вы не можете быть беспечными!» — пыльным силикозным удушьем твердил я, стараясь, будто ванек-встанек, налить их свинцом предусмотрительности. Я «готовил их к жизни», отнимая у них единственную ее прелесть, ради которой стоит жить, — беспечность. И дочурка Катенька предпочла жизнь. Ее орава Мариков и стая Соф — скопище самых настоящих эдемских обормотов. Притом с почитыванием еврея Пруста и еврея Манделштама, и даже не без понимания. Собственно; моя охломонка, покуда не принялась спастись от еврейской серьезности, всюду была первой ученицей, включая фигурное катание. Беспечный Каценеленбоген... Горячий снег, сухая вода, круглый треугольник... Костя пытался совместить еврейскую серьезность и единство с друзьями, всю и всяческую серьезность презирающими. Стараясь повязать их с собою общим грехом (поделиться преимуществом), он заманивал друзей в мои еврейские когти: «Папа, Вася-Шмасья тоже хочет позаниматься алгеброй (шмалгеброй-фуялгеброй)», — еще без консервной банки «тн-тн-тн».

Сын Яков Абрамовича, я тоже готов был делиться знаниями до бесконечности, я даже слегка трещал по швам от их избытка, но — когда п о с т у п л е н и е (или ужасы д е д о в щ и н ы) замаячило совсем близко и моя кустодиевская супруга начала приносить все новые и новые сводки с театра военных действий, уровень ж и д к о с т и в моей крови взлетел до небывалых высот. В позапрошлом году не взяли н и о д н о г о, приходила она в помертвении. Зато в прошлом — целых полтора, немножко светлела она, и я едва не стонал от унижения, когда ловил себя на хлопотливом интересе к этим цифрам. И когда Костя приводил очередного Ваню-Леню-Фуеню, из глубины моей души продавливалось: «Твой Леня-Фуеня наскребет на троечку и получит х о р, а тебя за ничтожную оплошность отправят петь соло». Единству невозможно устоять без веры в Общую Судьбу. Но стыд все равно опалил меня изнутри, и я начинал так стелиться перед смущенным Васей-Шмасей, что потом из меня всплывал новый роковой вопрос: «А имею ли я право тратить время на чужих детей, когда судьба моего собственного ребенка...» — жена была твердо уверена, что из армии ему живым не выбраться.

Теперь, когда его таланты подернулись пеплом, я могу признаться: таких одаренных детей я еще не видел. Но сейчас он уступает мне. Он не горит, а без горения ничего не испечь. Мои успехи пеклись не на озабоченности, а на восторге — и сразу же прекратились, как только восторг угас. Ну, печется что-то по инерции, как в русской печи, хорошо натопленной с утра... Когда я увидел, что мои успехи уже не радуют, а огорчают...

Но нет, я был не до конца искренен в своем стремлении никого не огорчать. Истинная скромность способна лишь на скромные успехи, а я на любом новом попреще, куда меня переобрасывали, чуть только намечался успех на предыдущем, уже через два-три месяца выдавал классные работы, публикуя их непременно в престижных изданиях, куда из всего института имели доступ лишь два-три умника. Однако когда меня перебрасывали еще куда-то, я без жалости оставлял зарастать бурьяном чаметившиеся фунда-

менты, хотя потом, случилось, через десять лет, получал запросы из Москвы, Харькова, Владивостока, Нью-Йорка и — увы мне! — Иерусалима. Своей спортивной походкой, своими гуманитарными увлечениями, своим неизменным дружелюбием я изо дня в день твердил сослуживцам: видите, видите, насколько мне наплевать на все, что вы стараетесь отгородить от меня! Под личиной скромности пряталась сатанинская (еврейская) гордыня: а я буду счастлив вам назло (а мне не больно — курица довольна). А ведь если бы я выглядел несчастным, может быть, кое-кто меня бы и простил...

Вместо этого я сделался особенно опасен тем, что приобрел кучу почитателей в том самом Единстве, которое и стремились уберечь от меня. А фагоциты прекрасно понимали, что своей деланной открытостью и полнокровной (см. «дело Бейлиса») жизнью я заманиваю эдемчан в некое Единство Для Всех, где не будет ни эллина, ни иудея, и тем самым разрушаю уже существующие Единства Для Своих. Евреи вечно заывают в какой-то будущий хрустальный дворец Всечеловечества — в обмен вы должны всего лишь разрушить ваши сегодняшние дома.

Из-за того, что меня вечно перебрисывали на неопробованную тематику, получилось, что я, по мнению моих поклонников, знаю в с е, они убеждены, что я исключительно из скромности не делаю попыток защитить докторскую (их у меня как минимум три). На самом же деле я просто не хочу платить дань унижением, которую, кстати, и принимают не очень-то охотно, — спросите Сеньку Равиковича с нашего курса, звезду номер три. С удовольствием добавляю, что звездой номер один у нас был Тарас Дрозд — щирый хохол. О его первенстве я всегда старался объявлять почаще и погромче (для меня быть справедливым — что для другого богатым), хотя мои болельщики твердили, что если бы я столько упирался... «У Дрозда дома ведро пота стоит!» Но я-то знаю, что я рожден быть вторым, хотя гордо (смирненно) согласился жить и восьмидесятым. Но для четверста первого и это оскорбительно.

Теперь я понимаю, что каждой своей выдумкой, услугой, улыбкой, шуткой я разрушал Единство и Равенство. Тем не менее, волку в овечьей шкуре, мне показалось несусветной обидой, когда мне объявили, что я первый кандидат на улицу: я «так старался», «стольким пожертвовал» — мы уже видели цену моим стараниям и жертвам. На какое-то время я сделался полным евреем — я утратил способность обижаться и капризничать. Я сделался терпеливым и неумолимым, как стопроцентный Абрам (Аврум). Поглощенный бездонной серьезностью, я не сумел даже почерпнуть хотя бы минутных утешений в детских мечтах как-нибудь заглядаться мировому сионизму, который по-прежнему не обнаруживал никаких признаков существования. Этот ужас — оказаться извергнутым за пределы еще и Макроэдема, в края, где уже никто и спросить не сможет: «Ты чей? Любовин?»... Предпринять что угодно на собственный страх и риск для меня означало в одиночку бежать от одиночества.

Пока я не стал евреем до дна, я, случилось, серьезно подумывал о самоубийстве. Но обратившись в полного еврея, ясно понимающего, что и смертью своей он никому не испортит аппетита, я сделался беспредельно неприязнательным. Я не обижался, когда, продержавши два часа в передней, мне отказывали в приеме, — ничего, я приду и завтра и послепослепосле..., еще на вахте опущусь на четвереньки, приторочу по бокам два обойных рулона — два экземпляра списка моих научных трудов, длинных, как отчет КПСС об успехах периода стагнации, — повиляю хвостом собаке дворника, чтоб ласкова была...

От самостоятельной тематики меня всегда отодвигали, чему я великодушно не противился, всячески демонстрируя, что от этого мне живется только еще припеваучей, — поэтому так называемых с в я з е й я не приобрел. Но в качестве безработного, забыв о гоноре, я принялся названивать всем, на кого когда-либо производил впечатление, и — мне лишь бы польза — без малейшего удовольствия прослушивал легкое потрясение в их голосе: они-то думали, что я второе лицо, после директора.



Сначала меня совсем не утешало, что у них тоже все сыплется, валится, рушится, что народ сокращают косяками, а если кого и не увольняют, так только потому, что нечем выплатить последнюю зарплату. Но однажды я вдруг почувствовал, что на кону стоит не моя личная судьба (это мелочи!), а — Судьба Русской Интеллигенции! И что мое низвержение в ничтожество произвел не дяденька с ножичком, а Общая Судьба (ОС). И тогда у меня даже прекратились сердечные боли, а то несколько месяцев подряд ломило под ключицей, тугой сердечный мешок беспорядочно трепетал, будто спидометр полуторки «Урал-дрова», рывками торопящейся из совхоза «Изобильный» в столичный град Степногорск поскорее разузнать, чем закончился футбольный матч «Динамо» (Кокчетав) — «Грудовые резервы» (Темиртау). Не то что боль для меня, еврея, что-то значила — я опасался, что не здоровье помешает мне с неутомимостью вечно озабоченного ежика сновать из конторы в контору в поисках приюта, и впервые осквернил свою глотку фальшивым холодком валидола, хотя прежде я регулярно баловался с двухпудовкой не в еврейской заботе о здоровье, а в бесконечном отвращении к навязанному мне телу, когда оно начинает становиться мне в тягость и посрамление.

На респектабельность мне уже было плевать с седьмого неба: если ты не отшвырнут на дно чим-то щелчком в порядке «защиты от еврея», а препровожден туда ОС, — это, как говорят у нас в Тель-Авиве, две большие разницы. Я вообще не боюсь работы — я боюсь только вони. Для меня и крыса страшнее овчарки — не полированным частоколычиком зубов, а длинным голым хвостом: даже тень мысли о крысе повергает меня во власть единственного стремления: с визгом вспрыгнуть на стол, подбирая кружевные юбки.

Папа Яков Абрамович, я уверен, растроганно кивал мне из еврейского отделения обители блаженных — первую людскую добродетель он видел в том, чтобы не бояться бычачьей работы: я чувствую, он и сейчас не может удержаться, чтобы не прихвастнуть перед соседями по райскому табльдоту, что его ученый сын может орудовать кайлом не хуже поддатого голя. На днях папа протянул мне о т т у д а руку поддержки (провокации). За каким-то рожном мне понадобилось на антресоли, и я опять с нераскаянной досадой (невозможность раскаяться мучит меня, как запор) увидел там единственное отцовское наследие — полкубометра папиных папок, каждая толщиной и весом в его надгробную плиту. Потратив на прочтение каких-нибудь полгода, вы убедитесь в том, что довольно многие евреи (они перечислены все до единого с указанием источников) обладают довольно многими человеческими качествами. Но я так и не одолел этих перечней...

Терзаясь от стыда, я грубо ворочал замогильные папки — и вдруг откуда-то выскользнул листок размером в трудовую квадратную ладошку с отрубленными пальцами и, вальсируя, как бы повторяя невидимые, спускающиеся все ниже дирижерские взмахи, проскользнул под диван и с деланным смирением прилег там на тенистый линолеум. На истончившейся в бумагу, сплошь пораженной прессованными занозами беспалой ладошке прежде жутким, а теперь до боли милым папиным почерком (с еврейским левым уклоном) была выведена шпаргалка. Это была заявка на книгу «Еврейск...» — глаз невольно метнулся в сторону, чтобы вернуться собранным и непреклонным. Папа Яков Абрамович из небесного далека просил меня прочесть вместо него какую-то каверзную книжонку о еврейских погромах 1918 — 1921 гг. На обороте заявки был небрежно ляпнут бледный штампель: «...ебуется специа... ешение». Сколько беззаветного мужества потребовал у папочки этот подвиг — он наверняка ждал, что его тут же и загребут в гэбэ.

И за дело. Евреями можно интересоваться только с какими-то каверзными целями. Один мой университетский приятель — увы, тоже еврей, но клянусь, я его не выбирал, он сам ко мне подкатился — начал с того, что вздумал изучать «еврейскую культуру» — а кончил отказником и диссидентом: додумался, что культура только выиграет, если евреи соберутся в собственное государство, где не будет антисемитизма. Правда, тогда и я еще

не догадывался, что евреям придет конец, когда они сделаются нормальным Народом — со своей запирающейся на три замка жидплощадью, со своей кладовкой, кухней и сортиром: они очень скоро перестанут поставлять миру Прустов, Кафок и Фрейдов, ибо начало всякого творчества — в отрыве от Народа. Живительные соки, которые евреи отсасывают из других народов, — это соки отверженности.

У этого же лопоухого, облысевшего люцифера, стремившегося хоть где-нибудь да стать своим, я с презрением проглядывал контрабандные сионистские книжонки открыточного формата (на папиросной бумаге), учившие вроде бы просто истории евреев, с которыми всегда случалась одна и та же история: в таком-то царстве, в сяком-то государстве евреи жили-поживали, добра наживали, выдвигались в науке, в коммерции, в администрации, а потом вдруг — уй-баяй! Азохенвэй!.. Резня, изгнание, разоренье!.. И так будет вечно, покуда евреи не обзаведутся собственным государством, рассчитывать вам не на кого, подводил черту еврейский Агитпроп, — и вы знаете что? Это таки да, звучало убедительно. Но в ту пору я даже на повышенный интерес моего папы Яков Абрамовича ко всяким Зямам старался плюнуть поядовитее — чтоб не заразиться отщепенчеством. Вернее, не осознать его.

Но весточка из царства усопших меня уже почти не покорила — в тот миг я не чувствовал себя изгнанным из гоев: в свете белого метеоритного пламени наконец-то надвинувшейся на нас кометы — Общей Судьбы — я почувствовал готовность пренебречь кавернами в литом ядре Единства. Я все это время был с народом, там, где мой Народ, по счастью, был. Я разгружал вагоны в пованивающих чревах Петербурга, мыл машины в троллейбусном парке, плотничал и бетонничал на стройках распадающегося социализма, покуда Народ не переманил меня на стройки зарождающегося капиталистического завтра. Дачи нуворишей росли словно по фрунтовой команде «стрройся!!!». Волшебная н а л и ч к а! Подобно вакуумной бомбе, она высасывала из социалистических строек цемент, кирпич, машины и механизмы и — людей, людей, людей. Народ — пусть не с самой большой, но и не с такой уж маленькой буквы.

Самый обездоленный из работяг, с которыми меня сводила люмпенская судьбина, на казенной машине и казенном — какое вкусное слово «сырье»! — делал такие бабки, о четвертой части которых я, блестящий профессионал, не смел и мечтать. Они жировали так, как еще никогда на моей памяти, в один присест спуская месячное жалованье учителя или ученого, и при этом были от чистого сердца уверены, что подобных тягот русский народ не испытывал от Гостомысловых времен. Утратив Единство, очерченное колючей проволокой и верховным Распорядком, они утратили и границы для своих appetitov и уже не знали сами, сыты они или голодны, одеты или раздеты, обуты или разуты. Вдобавок им казалось, что все, кроме них, как-то сказочно наживаются за их счет, — я не без облегчения убеждался, что наживающиеся были уже не столько евреи, сколько ч е р н ы е. Еврей — это, пожалуй, был мужик хотя и с головой, но такой, что зарываться чересчур не станет.

«Вася, дай я с твоей стороны стану, а то мне слева неудобно закидывать», — просил один мой коллега другого моего коллегу. «Если б было удобно, на стройке бы евреи работали, — наставительно отвечал просимый, прибавляя (уже мне) с грубоватой мужской проникновенностью: — Извини, Лева». Это при том, что у нас вечно пережевывалось, как бы перебраться на работенку полегче, даже и к этому не прилагая усердия: по-ихнему, профессия инженера или врача возникала как бы из чистой ловкости, словно Афродита из пены морской. Говорить в моем присутствии гадости про евреев — в этом они видели высшую степень симпатии и доверия ко мне: я, дескать, сумею их п р а в и л ь н о п о н я т ь. И я понимал их правильно: все это лично меня никак не касается и, в общем, практически беззлобно. Жаль, не могу прибавить: и безопасно. Самое чуть тепленькое чувство, будучи умноженным на громадную массу людей, им проникнутых, обретает силу катастрофическую: пусть-ка воды Мирового океана потепле-

ют на пару градусов! Если мирные обыватели все вместе заворчат у телевизора: «Чего это о н и на нашу землю зарятся?!», «Чего они н а ш и х обижают?!» — то где-то на границах кровь начнет хлестать из все новых и новых отверстий, как из перенапряженной бочки в опыте Паскаля. Закон больших масс. Массе через три «эс».

Так вот у масс ни в одном глазу я не мог прочесть ни проблеска желания разделить Общую Судьбу. Забастовками, перепасовками и прочим крутежом они старались перевалить ее на кого-то другого — им уже объяснили (не иначе какие-то евреи), что называется это «борьбой за свои права». Так называемая интеллигенция, правда, влачила ОС сравнительно покорно, но лишь до тех пор, пока некуда было ускользнуть: А если кому удавалось пересохшими устами присосаться к скудеющему военно-промышленному или нефтяному крану, к какому-нибудь маркетингу, лизингу — он и лизал страстно, как лесбиянка. Самые никчемные, на мой непросвещенный взгляд, люди — какие-то юристы, политэкономы (ниже которых, как мне казалось, идут только партработники) отсасывали какие-то безумные приплаты и надбавки и при этом вовсе не думали смущаться, случайно столкнувшись со мной на улице.

Это бы еще плевать, я с молоком моей русской мамы бессознательно усвоил, что мы, Кацнеленбогены, не из тех, кто наживается и распоряжается, а из тех, кого уважают п р о с т ы е л ю д и: среди заляпаных комбинезонов обо мне расходилась, подобно радужному мазутному пятну на месте затонувшего танкера, та разнovidность славы, которая слагается бичами насчет какого-нибудь спившегося бухгалтера: «Ты что — такая башка! Всего Есенина знает!» Но посудите: как можно совместить Общую Судьбу с Народом и — безоглядное братство с людьми, которые только и думают, как бы от этой судьбы отвертеться?

Можно, конечно, постановить, что они тоже не Народ — его сколько ни зачерпни, в половнике все равно окажется не он. Впрочем, Народ — это и в самом деле не гряда частных лиц, а Единство, сохраняющее какие-то наследуемые признаки, среди которых каждый может выбрать себе признак по вкусу: ксенофобию или всемирную отзывчивость, рабство или бунтарство... Я бы запустил к черту эти безвыходные противоречия и жил как живется, если бы мне хоть как-то жилось. Но у меня нет никакой инерции, я должен набирать ее ежедневно, принимая решения и непрестанно оправдываясь в них перед кем-то. Сын Яков Абрамовича, я совершенно не выношу, когда меня за что-то ненавидят — ведь я такой хороший, я так всех люблю...

Отправляясь на свидание с фагоцитами, я четыре с половиной часа выбирал костюм. Что бы их могло расположить? Огромные, подшитые кожей валенки на склоне июля, дымарь, полушубок с горбом и добродушное старческое поперхивание — костюм «пасечник»? Или резиновые ботфорты, распахнутая на груди роба, открывающая миру вольно синеющую клятву: «Не забуду мать родную!»? К комплекту прилагается багор (костюм «сплавщик»). Или костюм «казак»? Или «гусар»? Подбоченясь, промчатся в венгерке мимо Гостиного двора на тройке пейсатых евреев в лапсердаках! (Венгерку я представляю куда лучше, чем лапсердак.) А попробуйте наглядеться на меня в костюме «купец»: в красной рубашке, красив и румян, я так и прошусь в картину «Какую Россию мы потеряли».

Но под неподкупным взглядом фагоцита райское оперение стекает с меня разноцветной лужицей расплавленного пластилина, и я остаюсь сам собой — голым пархатым жидом, дрожащим в ожидании холодного душа, вместо которого сейчас начнет струиться умиротворяющий газ с бляющим названием «циклон-бэ», после которого уже ни бэ, ни мэ, ни кукареку. И — законный плод отвергнутой любви — мою грудь наполняет бешенство и — ура! — Правота, Правота! Я разваливаюсь в «мерседесе», персонально выделенном мне президентом Израиля, наклеиваю на ветровое стекло мандат депутата демократического Петросовета (комиссия по свободе печати и правам человека), корреспондентское удостоверение жур-

нала «Огонек» и с метровым антихристовым знаком «Моген Довидом» на радиаторе притормаживаю перед патристическими гостинодворцами. Глумливо расшвыривая по заплеванному асфальту проклятые шекели и доллары, я нанимаю десяток вдов и сирот, обобранных сионистским правительством, и, заложив в свой «мерседес», с гиканьем качу вдоль по Невскому, переименованному в Иорданский, со свистом вращая над ермолкой русский (а сало русское едят) пятифунтовый кнут, мерцающе-прозрачный, словно трепетный круг над кабиной вертолета.

Но увы — мировое еврейство никак не желает преподнести мне хотя бы инвалидную трехколеску, — взамен этого я натягиваю приобретенную назло врагу черную рэкетирскую майку, обнажающую мои бронзовые руки (объем бицепса — 39 см, талия — 79, грудная клетка — 108 см), многозначительно, как кобуру, задергиваю «молнию» на фирменных (подачки за зарубежные публикации) джинсах, размер которых у меня не менялся со дня совершеннолетия, и походкой Юла Бриннера из «Великолепной семерки» отправляюсь исполнять завет отца. На пути к завещанной цели — Публичной библиотеке — мне, словно Одиссею скалы Симплегады (в переводе с английского — «простые гады»), приходится миновать забор, поставленный скрывать от посторонних глаз тот факт, что универмаг «Гостиный двор» вот уже лет десять как не ремонтируется. Под этим-то забором фагоциты и разбивают свой ежедневный растянутый бивак. Если бы у них в бочке национальной гордости была хоть ложка национального стыда, то они с открытой чужеземцам витрины великого города укрылись бы куда-нибудь в крысиные подвалы, а на витрину выставили образцовый продукт стилия рюсс — витязя Льва Янкелевича Каценеленбогена.

Они не Народ, умоляет меня примириться с ни в ком не нуждающейся Россией моя бедная кустодиевская супруга, и я согласен, что они не весь Народ, а лишь его погранвойска. Если ты одобряешь существование государств, значит, должен одобрять и охрану их границ: если считаешь желательным существование Народов, значит, должен одобрять и неустанный труд фагоцитов, для коего требуется либо недоступное смертному самоотвержение, либо полная непригодность ко всякой иной деятельности. Из красивых и талантливых ни за что не выйдет надежных пограничников — у них найдутся дела поприятнее; блаженны уродливые и бездарные, ибо они наследуют Единство.

Мне никак не взглянуть в лицо этому Вию — впечатление оттискивается во мне обобщенно, как социологическая характеристика «служащие без высшего образования». Лица, тряпки — все как будто донашивается второй срок: какая-то смесь очереди за бормотухой и за чем-то очень дешевым — за выменем, легкими, словом, за какими-то с у б р о д у к т а м и. Вид нечестной бедности. Бросьте, бросьте, быть просто бедным далеко не достаточно (да я и сам сейчас, в сущности, безработный — ну и что?), надо быть еще злобным, завистливым и лживым — но только таким и может быть вверена линия невидимого фронта.

К ним ничем не подмажешься: все равно где-то какой-то еврей что-то отмочит, из-за чего я буду расплачиваться с ним заодно. Но если даже среди — скольких там? — миллионов евреев каким-то чудом не окажется ни о д н о г о нехорошего человека, так и это не поможет — эти орлы разжалуют в еврей любого, кто им не угодил. «Горбачев со своей Хайкой», «Борис Элькин», «сионистское правительство» — вот в чем секрет их вечных незадач. Только зачем они столько лгут — ведь для разжигания национальной вражды вполне достаточно рассказывать народам правду друг о друге. Ну... коренному эдемчанину да не знать, для чего требуется брехня именно несусветная — чтоб доходила до последнего дебила (раешник).

Тут я с почти мистическим ужасом увидел в патристической толкучке вокруг торгующих патристическими газетами женщин — одна необыкновенно увядшая, другая необыкновенно широколицая (лицо словно нарисовано на гораздо более обширном круге — членов Политбюро на таких таскали по демонстрациям) — с а м о г о н а с т о я щ е г о д е б и-

ла, пораженного болезнью Дауна. «Рлоссия, Рлоссия... — возбужденно гомонил он вместе со всеми. — Борлоться за прлава рлусских...» Значит, национальная идея действительно в с е н а р о д н а!

«Достоевский о еврейском вопросе! Процент евреев в Академии наук! Доходы свресв!» — зазывала безнадежно увядающая газетчица-зазывала самыми лакомыми изюминками из газетного теста.

И все равно каждый раз при этом проклятом слове что-то екает внутри... Все-то я вам мешаю, как плохому танцору — сережки его партнерши. Мешаю не своими трудами и дарованиями — таких материй вообще не существует, — а моими чинами и доходами. Зато вы мне совершенно не мешаете и не можете помешать, ибо главное мое достояние не в том, что я имею, а в том, чем являюсь, что люблю. И если бы я не измыливал свою любовь к великому на ненависть к мелкому, а в целости передал ее своим подпорченным детям, то они на тысячу голов превзошли бы ваших, которым вы не оставите ничего, кроме злобы и зависти к чужому успеху, кроме веры в то, что всего на свете люди добиваются пронырством и гавканьем — «борьбой за права». Я понимаю, зачем вам Единство — в нем кто был ничем, разом становится всем. Но я-то, я, который в угоду вам сделался ничем!.. Вас терзает то, чего вы не получили, а меня — чего я не сделал, и этого, безнадежно упущенного, я не прошу с е б е, а не вам, вы, наоборот, старались помочь мне: вы коленкой под зад подталкивали меня к одинокому творчеству, к одиноким поискам и обретениям — а я все рвался к вам, где галдят и кучкуются. Отняв у меня упоительный Гнев Вместе Со Всеми, безответственный Восторг Вместе Со Всеми, вы подарили мне Самоконтроль, Зоркость и Неподкупность, — не ваша вина, что я ими не воспользовался. Изгнав меня из Эдема, где царит вечная Правда, вы подарили мне Умение Задавать Вопросы, — кто виноват, что я употребил его на разборки с вами? Отбив у меня охоту к Верности, вы наградили меня страстью к Правде. Вытеснив меня из Отчего Дома, за пределами которого жили нелюди, способные сомневаться, что моя мама лучше всех, вы вручили мне Умение Понимать Чужих, — кто виноват, что я еще двадцать лет скулил у вас под окнами?

Да, я могу быть сильным и великодушным только в каком-то Единстве, — но почему это должно быть Единство, очерченное Алькой Катковым? Может, это Алька научил меня складывать дробь? Или играть на рояле? Или преклонять колени перед Микеланджело, Шекспиром, Бетховеном, Пушкиным, Мусоргским? Или испытывать головокружение, стараясь окинуть взором скрывающийся в тучах гений француза Пуанкаре или обокравшего его еврея Эйнштейна? Чего вы меня (но и себя тоже!) лишили — это распахнутости каждому встречному, уверенности, что он гораздо лучше меня. Но в обмен вы оставили мне гордую возможность любить и прощать с открытыми глазами. Вы отняли у меня трепет в груди, слезы, наворачивающиеся при звуках государственного гимна, при струении государственного флага, — теперь при словах «Россия», «русские» я невольно втягиваю голову в плечи: всех русских без разбора их достоинств скликают скорее всего против меня. Зато сам я теперь против «борьбы за права» хотя бы и евреев: требовать прав со стороны, не использовав десятой доли личных возможностей... Ведь именно так — по индивидуальным частичкам, глядишь, и рассасываются самые тугие нарывы. А прессуя в сплошные ядра Общей Судьбы, огромные, будто планеты, мы дробим в порошок, растираем в слизь и себя и других. Сравните: столкнулись два ядра и столкнулись два облака.

Превращать ядра в облака — вот дело, достойное отщепенца! Дело не легкое: я пытался оторваться от почти не существующего Народа, от которого остался один только знак — «Евреи», — но меня едва не вплющили в него обратно, вернее, в п а м я т ь о нем, в то место, где, по мнению плющивших, он должен был находиться. Расплющенный о память, я почти стал тем Евреем, которым меня хотели видеть фагоциты, — себе на уме, с грошовой расчетливостью и куриной дальновидностью. Но больше вы уже не дождетесь, чтобы я вам назло принимал свинский облик — это животное нечисто для еврея, — лучше я буду облачком. В джинсах.

Только время, время, время... Оно утекло без возврата.

В подземном переходе меня подхватило коммерческое кишение одиночек. Подвергнутое дегазации шампанское для буровиков, эликсир для волос, выдаваемый за коньяк, и коньяк, выдаваемый за эликсир жизни, голые девки и поношенные презервативы для онанистов, музыка для тугоухих и зачерствевшие косметические т е н и и румяна (свет и тени) — все здесь служило не Единству, а человеку. Вот это меня всегда отпугивало: люди, суеотящиеся исключительно ради собственной шкуры, противны, охваченные Единством — ужасны. Но если для человечества возможны лишь два фазовых состояния — пушечных ядер или облаков мошкары, — я выбираю мошкару. Закон сознательного социального выбора: как ни поступи, все равно расквасешься.

— Какое правительство — такой и народ, — мудро рычала продиравшаяся за мной старуха. «Народ никогда ни в чем не виноват, он всегда чья-то жертва», — снова плеснулась ж и д к о с т ь во мне.

Но я еще с полным самообладанием вручил библиотечной деве за прилавком заявку на еврейские погромы: да, дескать, еврейские-с. С тем и примите-с. А кстати, что же возвестил миру насчет еврейского вопроса великий изобретатель всемирной отзывчивости-с русского человека-с?

Что меня всегда покоряет — это благородство тона. По-простому, по-доброму, не выходя из портрета работы Перова, Федор Михайлович обращался к соотечественникам с неподдельной горечью за раскрываемую Правду.

Не надо обижаться на слово «жид», а тем более «жидовское царство», «жидовская идея», — это характеристика века, идеи, а не каких-то конкретных личностей.

Евреи уже кричали о правах, когда русские вообще жили в крепостном праве. Вдобавок евреи и без прав находят больше в о з м о ж н о с т е й, чем русские. (Что чистая правда — главные возможности в нас самих.)

Если на евреев даже и лгут из ненависти, то ведь откуда-то же взялась эта ненависть. (У нас зря не сажают.)

Евреи сами сторонятся русских. А будь они в большинстве, так и вовсе извели бы, как у них это было принято в древности.

Раз евреи выжили за сорок веков гонений, значит, имели какую-то руководящую идею. (Мне вспомнился побряхтывающий дед Аврум с шутовским тряпочным ухом.) Тайна этой идеи еще недораскрылась, но внешние признаки налицо: всех истребляй или эксплуатируй. Движет евреем одна безжалостность ко всему, что не есть еврей, желание напиться чужим потом и кровью. Общее падение нравов в Европе, торжество шкурного принципа «каждый только для себя» — это их победа, близится полное их царство, в котором поникнут человеколюбие, жажда правды и даже народная гордость. Это не о частных лицах, которые могут быть и бедняками (но еврейская бедность в отличие от бедности других народов — сама наказание за их подлость) и добряками, — но дело не в том, кто добр и кто зол, а об идее жидовской, вытесняющей неудавшееся христианство.

И тем не менее все, чего требует гуманность, должно быть для них сделано, заключает пророк русской идеи, предварительно доказав, что жалость к человечеству несовместима с жальностью к евреям. Но русский пророк все равно стоит за братство с этими пиявками и гадюками — пусть только еврей покажет, насколько он сам способен к делу братского единения с чужаками.

По себе скажу — не способен. Я не способен к братскому единению с тем, кто считает, что мною движет одно желание напиться чужим потом и кровью. Ах, я ведь и забыл — это же не обо мне лично, и не о моем папе, и вообще не о присутствующих, а только о нашей и д е е. Но я настолько безжалостен ко всему, что не есть еврей, что все равно не способен п р а в и л ь н о п о н я т ь русского пророка, с таким великодушием и любовью протягивающего мне руку. Моему ядовитому еврейскому воображению представляется какой-то другой мудрец — хохом, что ли? — тоже очень скорбный и изможденный (годится рембрандтовский «Портрет ста-

рика», во всех каталогах мира именуемый «Портретом старика-еврея», но обретший эту позорную добавку на эрмитажной этикетке лишь в годы перестройки, осуществляемой по еврейским чертежам). Еврейский мудрец тоже просит не обижаться — никого персонально он тоже не имеет в виду: «русская» (или лучше «кацапская»?) — это характеристика не личности, а идеи. Так вот, удобства ради будем называть русской идеей желание благоденствовать, не обременяя себя ни трудом, ни предусмотрительностью (любимый фольклорный образ — Иванушка-дурачок), — это ни о ком лично, это просто признаки идеи. Русским свойственно со времен Святополка беспрерывно резать своих братьев — даже перед лицом азиатских полчищ они были не в силах отказаться от братоубийственных войн. Россия — страна рабов, сверху донизу все рабы, это признавали их же собственные мыслители и поэты, которых русские истребляли, не пропуская ну буквально ни одного, и даже самого великого пророка русской идеи сначала чуть не расстреляли, а потом на каторге довели до эпилепсии. Русские целые века служили армейским резервом реакции в Европе и тюремными надзирателями в собственной империи — «тюрьме народов». Русские набрались в Европе самых дрянных лжеучений, от которых отвернулись европейские народы, и довели их до чудовищной (но для русской истории типичной) тирании, затмевающей всю бесчеловечность древней Ассирии и Египта. Русские...

Мой скорбящий, но справедливый х о х о м мог бы еще перечислять и перечислять, но мне омерзительна, слышите, ОМЕРЗИТЕЛЬНА эта пропитанная желчью блевотина!!! Однако на месте мудреца-еврея возникает англичанин-мудрец, несущий бремя белых, утонченный китаец, посылающий делегацию в Англию, дабы приобщить варваров к культуре, гордый германец, желающий во имя справедливости освободить для своего народа жизненное пространство от славянских недочеловеков, чистый духом и телом имам... Народы-планеты величаво плывут по собственным орбитам, и с каждой что-то вещает свой мудрец — живое воплощение Правды Народной. Мудрецы белые, мудрецы желтые, мудрецы красные... Каждый изрекает Свою Правду, не слыша никаких инопланетных соседей, которых и людьми-то можно назвать не иначе как формально...

Господи Боже милосердный, куда мне бежать из этого мира, в котором ВСЕ ПРАВЫ?! У меня больше нет сил метаться вечно неправой мошкой (еврейское имя) среди величавого течения вечно правых Народов! Хоть бы состукнулись они, что ли, еще разок своими вечно ясными лбами, растерев меня между ними смазочной пленкой, чтобы их пограничники могли поменьше цепляться друг за друга!.. Ей-богу, мой Боже, это было бы приятней (по крайней мере — короче), чем вечным жидом вечно против воли собирать монбланы матерьялов для многосерийного сборника «Из-под крыс», складывая их на свою же и без того перегруженную душу. Вот и сейчас — подумать страшно — придется навалить на себя еще какую-то книжную глыбищу, разумеется, русофобскую, ибо для разжигания национальной вражды, повторяю, достаточно рассказывать народам правду друг о друге. А я больше не хочу, не хочу, не хочунехочунехочу никого ненавидеть, зашить бы веки, свернуться обратно в эмбриона, зажавши уши собственными коленями...

Завещанная отцом книга о работе пограничников во время межпланетных столкновений 1918 — 1921 гг. оказалась тусклым фотоальбомом, составленным Евобществом по архивам Евотдела Наркомнаца в 1926 г. Краткий текст подкупал истинно эпическим, неспешным слогом: «Погромы описываемого периода резко отличаются от предшествующих погромов царского периода целым рядом характерных штрихов»: прежние погромы, оказывается, производились с таким расчетом, чтобы это не нарушало «нормального течения жизни». «Совершенно иную картину» (очевидно, уже нарушающую нормальное течение жизни) являли погромы на той единственной гражданской, «являвшиеся неперменной частью военно-стратегической программы». В одних случаях происходит поголовное истребление еврейского населения н а д о м у при помощи ручных гранат и холодного

оружия (как, напр., в Елисаветграде, Проскурове, Умани и др.). В других случаях убивают только глав семейств (напр., в колонии Трудолюбовке и др.). Далее, вырезывается поголовно одно только мужское население без различия возраста (Тростинец и др.). Наконец, во многих местах убивают женщин, стариков, детей и больных, т. е. всех тех, кто менее способен скрыться или убежать.

Что касается методов физической пытки, то следует отметить, во-первых, наиболее часто применявшееся прижигание огнем наиболее нежных органов, затем идет примерное повешение с многократным извлечением из петли, далее следует медленное удушение веревкой, отрезывание отдельных членов и органов — носа, ушей, языка, конечностей и половых органов; выкалывание глаз, выдергивание волос из бороды, жестокая порка и избиение нагайками до полусмерти. Последние три вида пытки особенно широко применялись поляками в Белоруссии. Наконец, петлюровцами и бандитами еще практиковалось потопление в реках и колодцах, сожжение и погребение заживо. К числу пыток можно отнести также массовые насилия над женщинами, чаще всего над подростками и совсем малолетними девочками. Выжившие обыкновенно заболели тяжкими венерическими болезнями и часто кончали самоубийством. Изнасилование особенно часто применялось деникинцами и нередко принимало характер массового бедствия, как, напр., в Екатеринославе, Киеве и др. городах.

По установившейся традиции, при отступлении евреев обвиняли в шпионаже, предательстве (кого?), стрельбе из окон. При наступлении данный пункт заранее отдавался на поток и разграбление в качестве стимула для наступательных операций. Что касается погромов, происходивших в мирной обстановке, то в этих случаях появлялись на сцену экономико-политические и религиозные аргументы: жида — спекулянт, они прячут необходимейшие товары; они враги Христовы, они осквернили якобы Киевскую лавру; они отравляют колодцы, нагоняют болезни; они стремятся захватить власть и господствовать; они все коммунисты и...

Но довольно слов — взглянем на героев-мстителей. На целый лист (формат «Огонька») — черепаховая мозаика фотографий, тоже вполне годящихся в альбом «Какую Россию мы потеряли»: brave бескозырки, усы и усики, папахи, фуражки с гумилевской кокардой, морские кортики, — славное слово: атаман! И фамилии очень природные, простые, располагающие: Мацыга, Потапенко, Проценко, Дынька... Лица, разглядывая которые можно заключить: на убийство способен каждый (ну а на дезинфекцию — тем более). Я очень понимаю Петлюру, ответившего еврейской делегации: «Не ссорьте меня с моей армией».

(То же самое, наверно, сказали бы наши гуманнейшие духовные вожди, осуждающие за антисемитизм какую-нибудь подзаборную газетенку и почтительно именующие Достоевского Совестью Русского Народа, предсказавшей «бесов», которые, благодарение Богу, уже не опасны. Подслеповатого очкарика Чернышевского только ленивый не называет предтечей большевизма, но лишь отпетому еврею придет в голову называть предтечей — романтиком! — фашизма (*fascio* — пучок, единство) пострадавшего от большевиков Федора Михайловича.)

Нет, не может быть, чтобы люди с такими открытыми лицами ненавидели меня напрасно. Гетто оцеплено. Я прогрызаю нору наружу, но меня распознают по трусливо бегающим безукоризненно голубым глазам, раскачивают за руки, за ноги — и туда, обратно в избранный Богом Малый народ. Погранвойска Большого народа не позволят перебежчикам разрушать ихнее Единство. Хоть бы кто не заметил, чем я занят: книжицей, откуда бьет токмо слово «ев...». По проходу меж столами вышагивает знакомая дура, я прикрываю бумажные просторы своими жалкими — а только что могучими! — ручонками, и — вдруг пограничным прожектором вспыхивает настольная лампа, выхватывая на всеобщий позор евреев, евреев, евреев — евреи удушенные, евреи зарубленные, евреи фаршированные, и я принимаю вспышку как заслуженную кару, хотя поверхностным эмпи-



рическим рассудком и догадываюсь, что своими же локтями через книгу я сам лампу и включил.

Ряды евреев, прилично прибранных, в саванах, из-под которых торчат неуместные сапоги и дамские туфельки, рядами, запрокинув головы, точно стараясь разглядеть кого-то позади, лежат на каком-то сиротском полу. Они же на соломе, развалились поудобнее, кое-кто подглядывает за нами, многие разулись. Еврей-одиночка без штанов и без головы, закинута набок увядшая, как патриотическая газетчица, недообрезанная сарделька, которая кажется не на месте, оттого что нога отрублена по самый пах. Вторая нога отрублена по колено — очень ровно, будто отбита, как это бывает у гипсовых статуй в горсадах. Отбитая голень приложена поближе и накрыта листом бумаги с краткой надписью: «№ 30». Прислонен к унылой бревенчатой стене неизвестный № 62. У него ослепительная фарфоровая улыбка, согнутую в локте руку он держит почти горизонтально, как будто она загипсована. Он стоит на полусогнутых — отлично заоченел. Лишенный кожи, он демонстрирует нам устройство мышц и сухожилий с такой же готовностью, как заяц из нашего учебника биологии, радушно распахивающий свою шубку навстречу любознательным взорам учащихся. Два черных мохнатых медведика № 83 и № 84 — сторевшие заживо. Грустный серебряный старец № 97. Он походил бы на деда Аврума, если бы отрезанный нос не придавал ему русопятской бойкости гармониста и похабника. А вон еще целая шеренга дедов Аврумов опознает зарезанную родню, обратившую к нам драные подошвы огромных валенок, бот, башмаков. Деды Аврумы, как всегда, кряхтяще-покорны судьбе, но толпящиеся позади них напряженные еврейские физиономии под платками и картузами стараются заглянуть в объектив, откуда вот-вот должна вылететь птичка: полированный фотографический ящик с клизмочкой в руке мага — для них редкое развлечение. Но зачуханность, оборванность, поношенность — это что-то особенного. Даже мертвые прикрыты какой-то рванью, вата так и пышет белыми хвостиками, будто на горностаевой мантии. Однако перебитые женщины — как на подбор интеллигентнейшего вида, сплошные доцентши не то переводчицы, портят их только неряшливые, не подтертые от размазанной крови носы — надменно-орлиные тем не менее.

Двое повешенных на трогательной березке склонили головы в глубокой задумчивости. А может быть, деликатно потупились, чтобы не смотреть на женщину № 237 с вырезанной грудью, отрубленной рукой и размозженной головой. Неприятно, что в оскаленном рту не хватает половины зубов. Евреи и жизнью и смертью своей стараются отравить существование порядочных людей. Тут же целый лист с фотографиями нумерованных народных мстителей, попавших в сионистско-большевистские когти, — грустные, озабоченные лица, они не хотели, чтобы так вышло. Атаман Орлик на тюремной больничной койке — просто святой страдалец-схимник. Такова участь народного авангарда... «Заставили выпить по целому ведру, — с чего-то бросается мне в глаза. — Для этого им всовывали палки в рот, искусственно вызывали рвоту и вновь заставляли их пить, затем, уложив всех на землю, покрыли досками (и не лень ведь!) и провели по ним несколько лошадей; затем нацепили им всем камни на шею и бросили в Припять». Есть в этом определенный юмор: если не напились, дескать...

А славные все-таки существа люди! Они никогда не довольствуются утилитарными целями — им всегда нужно поиграть, позабавиться: привязать стариков-евреев к лошадиным хвостам, чтоб потрусили добрым людям на забаву, а то запрячь их прямо в телегу — это все по-доброму, по-свойски. Но они могут быть и патетичны: войти в город стройными рядами под оркестр и организованно перерезать, из дома в дом, полторы тысячи жидов, не тронув в их поганых домах ни полушки.

Что-то неприличные пошли фотки: все голые да голые, руки двусмысленно закидывают друг на дружку — и здесь не теряются. Детьми ловко затыкают пустые места — компактная укладка получается. Вон четырехлетний пузанчик (проткнутый, правда, в надутый паучий животик), глазки

полуприкрыты — поразительно хорош собой, страдальчески одухотворен, гаденыш, — готовый Иисусик для Анжелико да Фьезоле. «У тринадцати л и ц отрезаны половые органы... Перед смертью заставляли пить серную кислоту», — где-то же ее взять было надо! Но мы, эдемчане, ради бескорыстного не знаем устали. Нам только работать лень. А чтоб полюбоваться лицами с отрезанными половыми органами...

Отупевшая Хава у постели последнего умирающего ребенка (первые трое съехли раньше). В голове его клиновидный разруб пальца в три — все можно разглядеть до самой глубины, а кровь не хлещет. Не подделка ли сионистов? Груды, груды, груды — все, надоело. И всему человечеству так же. Или жить — или вас слушать. Ша. Больше не занимать. Вот эту даму отпущу — и на обед. Как звать? Так, Хася Кветкина, сорок лет, из деревни Тереве, Мозырьск... — все-все-все, давайте по-быстрому. Значит, вы пошли в рожь ночевать с женой Эренбурга? Интересно. Ладно уж, только ради эпического слога, так и быть, запротоколирую.

«По дороге мы услышали стрельбу, и за нами стали гнаться. Нас поймали и поставили напротив квартиры Анцеля Гинзбурга. Выломав окно, несколько бандитов ворвалось в дом. Там они убили жену А. Гинзбурга и одну соседку, а Анцеля Гинзбурга выбросили окровавленного на улицу. Его присоединили к нашей компании и избивали. Он им говорил: «Я уже все отдал — золото, деньги, вещи; я не приверженец Троцкого». Нас, человек 15, погнали к Носону Каплану. По дороге нас избивали. Вогнали нас в квартиру. У двери встал крестьянин с винтовкой и в свитке. Женщины уселись на кушетку. Скоро в квартиру согнали еще около 50 человек, большинство женщин. Мужчины уселись на полу. Всех женщин, наиболее молодых, вводили в отдельную комнату, где стояла кровать, и, укладывая всех поперек кровати друг около друга, их изнасиловали. Женщины выходили после каждого изнасилования и усаживались, окровавленные, на кушетку. Всех женщин брали в комнату по 3—4 раза. Двух девушек растерзали и выбросили. Прибежал «пан капитан», схватил большой кувшин и стал им избивать всех по голове. Кровь брызгала по сторонам. В особенности избивали Анцеля Гинзбурга. В комнате изнасиловали 15-летних девушек. Меня также брали в комнату, но каждый раз я им указывала, что я им неинтересна (очевидно, из-за месячных очищений. — Комментарий протоколиста), и меня отталкивали. А. Гинзбург нам сказал: «Ведь я еще совсем не молился». Тогда Броха-Гиша Эренбург, достав немного воды, дала ему. Он помыл руки и начал молиться. В этот момент вбежал другой бандит и начал кричать: «Уже начал болтать! Нельзя болтать по-еврейски!» Гинзбург начал читать предсмертную молитву для мужчин, а Броха-Гиша для женщин. Капитан, вбежав, спросил: «Кто там болтает?» — и стал избивать Гинзбурга. Последний уже лежал на полу, взял брошенный кувшин и приложил его к своим ранам, и кувшин наполнился кровью. Тогда один бандит схватил кувшин и стал им еще больше избивать Гинзбурга. Бандиты приносили водку в бутылках и, выпивая каждую из них, разбивали о головы евреев, приставляя их каждый раз к дверям комнаты. Стали выводить по два на улицу, раньше мужчин. С обеих сторон стали у двери двое — один с шашкой, другой с дубинкой, и тут же убивали. А. Гинзбурга и еще двух вывели на улицу и напоили по полстакана серной кислоты. После достали нож из соломорезки и тупой стороной стали медленно резать шею Гинзбургу. Эту операцию бандиты сопровождали хохотом. Броха-Гиша стала искать воды, сказав: «Я отправляюсь на тот свет, надо руки вымыть». В этот момент один бандит схватил кувшин и ударил ее по голове. Она от испуга «упачилась», стала вытираться, сказав: «Мое платье — ведь мой саван, в нем я буду похоронена, а саван должен быть чистым». Ее вывели и тут же убили шашкой».

Нет, это, наконец, становится однообразным. Хватит болтать по-еврейски. Итак, вы указали, где спрятаны ваши вещи, а народные мстители просили десять тысяч николаевскими? Верно?

«Я им сказала, что больше у меня ничего нет, а один из бандитов ответил: «Мы тебя сейчас в эту яму похороним», — а другой схватил мерку

и ударил моего сына Михеля, 10 лет, по голове. Другой схватил топор и ударил меня по голове. Я упала навзничь в яму. Тогда он начал избивать топором второго сына, Элью, 14 лет, который также упал на меня в яму. Эренбург хотела убежать, но ее тоже ударили топором по голове. Череп разлетелся, и она упала на нас. Я лежала внизу. Зашумело в голове. Очнувшись, я увидела, что светло. Узнала своих детей, продвинула в сторону убитую Эренбург и вытащила детей. Один из них крикнул: «Маменька», а второй, Михель, лежал как убитый. Своих ран я не чувствовала, я решила спасти детей. Я подошла к дверям. В моей квартире в это время ломали шкафы. Я тут же обратно в сарай, схватила Михеля и спряталась с ним в углу. Вдруг слышу свистки — это бандиты стали собираться. Я решила еще раз сходить в дом за водой. Я застала двух своих племянниц ранеными. Напоив их, я побежала с водой к своим детям. Старший сын через какую-то щель выполз в рожь. Через щель я увидела фельдшеров Дубицкого и Афанасьева. Насильно я их потащила к Михелю. Дубицкий сделал ему укол, и он сейчас же застонал. Они ушли. Я почувствовала боль в голове. Я вышла. 2 русских девушки сообщили мне, что мальчик мой жив. Они имели в виду Элью. По дороге мы встретили Гиту Гинзбург в грудe трупов ее семьи. Она умоляла фельдшеров о помощи, но те, проходя, ответили, что помощь не нужна: они все равно отойдут. Тут подошла жена попа и подобрала раненого ребенка А. Гинзбурга. Среди трупов и раненых я узнала своего Элью; начала просить убрать Гиту Гинзбург и своего сына. Мы их отнесли в сад. Попадья принесла клубники, напоила их. В этот момент открылась стрельба. Крестьянки стали удирать к себе в дома. Я тоже хотела с ними, но меня в дом не пускали. «Убьют нас вместе с вами», — ответили они. Одна русская девушка указала мне на свой огород и спрятала меня во ржи, принесла мне воды и хлеба и ушла. Опять открылась стрельба. Я лежу. Через несколько минут девушка эта вернулась (я ее не знаю) и сказала: «Не бойся, голубка, лежи смело: то пришли наши солдаты». Я поднялась и поплелась искать своих детей».

Верно:

Делопроизводитель (подпись)

Наверно, именно эта «голубка» меня и доконала, именно такие обманки и заставляют нас расслабиться, расстегнуть скафандр. Откуда только берутся изменники делу Единства?! Если бы все русские люди верно несли пограничную службу, я, может быть, и успокоился бы в каком-то твердом чувстве к ним. «Русские?! А что — евреи на такое не способны?!» — вознегодует читатель, и я горестно поникну головой: «Способны. Только я их, слава Богу, редко вижу. Но в том-то и кошмар, что во имя Единства все способны на все. Способны евреи, французы, зулусы, индусы, англичане, монголы, грузины, армяне, турки, сингалезы, ацтеки, испанцы, итальянцы, немцы, кафры, греки, римляне, готтентоты, троглодиты... И продолжайте ваше святое дело, исполняйте ваш долг перед своими Народами, но только без меня, без меня, с меня хватит».

Хватит — и что? Все во мне трепетало мелкой рябью, как разлитый кисель в электричке, я был не в силах нанести удар даже себе самому. Если бы кто-нибудь выдернул меня из мира, как изболевшийся, прогнивший зуб, вывернул, как мерцающую в многодневной агонии, но никак не желающую окончательно издохнуть лампочку, я, угасая, послал бы ему слова такой испепеляющей благодарности, какой позавидовала бы и угасающая звезда первой величины. Но Верховный Электротехник едва успевал гасить новенькие сияющие светильники в бесчисленных горячих, как нехолощенные жеребцы, регионах — навязшие из газет Карабахи, Приднестровья, какие-то Сербохорватии...

Пробирался я из библиотеки темными непросьхающими закоулками — чтобы только не проходить мимо погранпоста у Гостиного. Ужас был в том, что я не мог их ненавидеть, а это единственный щит, за которым можно скрючиться от чужой ненависти, — а то и распрямиться. Но я не умею ненавидеть в одиночку, в глубине души я все понимаю. Если бы у крыс не было голых розовых хвостов, я бы их тоже понимал.

Этому дню было суждено до конца оставаться крысиным — как раньше в столовых устраивали, бывало, р ы б н ы е дни. Пора признаться, что преследующий меня оруэлловский образ крысы, увы, не пустой символ. Самая настоящая крыса несколько месяцев подряд чем-то мерно хрупала под стенкой, отделяющей наш диван от ванны. Но если бы супруга не вскакивала по ночам и, в ртутном свете фонаря за окном (каюта затонувшего «Титаника»), не кидалась в фосфоресцирующей ночной рубашке колотить тапком по стенке, я, пожалуй, еще и попытался бы впасть в умиление: под каждой, дескать, крышей своя жизнь — у людей человечья, у крыс крысья. Свое счастье, свои мыши, своя судьба. Однако крыса не просто жила под нами — она к о п а л а (вернее, грызла) под нас.

Однажды утром пол на кухне оказался мертвенно напудрен рассыпанной мукой, по которой в разухабистом изобилии (народные пляски) были понашлепаны отпечатки не лапок, но лап, не зверька, но зверя — минимум кошки. Угол большого, с поросенка, полиэтиленового мешка, в обнимку с которым моя русская Венера рассчитывала пережить бескормицу, был как будто отпилен лобзиком — очень грубо, безо всякого старания. Проектором настольной лампы я дюйм за дюймом просветил осклизлую тьму под ванной, готовый к любым мерзким неожиданностям, но не выискал ни хода, ни лаза. Семейный (военный) совет постановил держать дверь ванной комнаты запертой (перестало сохнуть белье), а по утрам входить туда лишь после деликатного стука, чтобы застать по крайней мере одни лишь следы ночного кутежа. Иногда наша крыса куражилась всю ночь напролет, громя и расшвыривая всевозможные гигиенические бебехи, но иной раз довольствовалась тем, что уволакивала под ванну накидку со стиральной машины. Я не без содрогания извлекал ее двумя пальцами и бросал в бак с грязным шмотьем, а после дважды мыл руки с мылом и, бреясь, ни на миг не переставал ощущать свою незащищенную босоноготь и близость опасной тьмы, загроможденной гремучими тазами. А когда мое непривычное к осадному положению семейство легкомысленно забывало прихлопнуть на ночь дверь в санузел, наша ночная гостья... нет — хозяйка уже не столько пировала, сколько глумилась.

В тот удушливый День Крысы супруга встретила меня в зимних сапогах, Костик — в тяжелых туристских ботинках, а раздраженная Катюша в кроссовках (крысовках): крыса только что проскользнула через прихожую на кухню. Она была величиной с бобра. Все чего-то ждали от меня — Мужа и Отца. Прежний кисельный трепет мигом улетучился. Я натянул бетонированные бутсы разнорабочего строительной артели «Заря сионизма». Вооружившись метровой железной трубой (труба — оружие черносотенца), я прогромыхал на кухню. Остальные рискнули просунуть туда только головы. Ни за что бы не подумал, что наша светлая кухонька так изрезана страшными темными щелями... Я начал шурудить в них своим жезлом, стараясь наделать как можно больше шума из ничего: рука так и дергалась отпрыгнуть. Вдруг крыса мощно, словно кабан, заворочалась и захрупала за больничной тумбой стола. Головы мгновенно скрылись. Дверь захлопнулась, вытолкнув на расправу (проклятый долг мужчины!) еще и Костика («Мученик Колизея»).

Изображая решимость, я отодвинул стол и заболтал палкой, как колокольным языком набата, — крыса вылетела прямо на Костика (он еле успел отскочить) и вмиг исчезла за долговязым пеналом с кастрюлями. Что ж ты, так тебя и эдак! Я грохочу за пеналом — и она летит уже напрямиком в меня. Но я-то похитрей Костика — я совершенно неотличимо изображаю промах. Зверюга уже за плитой. Что-то не видать (я осторожничаю даже взглядом)... не забралась ли внутрь, под духовку?.. Бережно-бережно приоткрываю... Усы! Сумел не захлопнуть тут же. Сидит на сковородке, шетинясь английской щеточкой усов на острой крысиной морде. Тут до меня дошло, что если ее не доводить до безысходности, сама она на меня не бросится, — тогда-то и началась пламенная имитация бурной погони: она металась из щели в щель, а мне каждый раз не хватало лишь сотой доли мгновения.

Я не помню, на каком зигзаге я осознал, что отчитываться битой посудой мне не перед кем и что если я с крысой не покончу, мне придется менять место жительства. Комедия была окончена. Когда крыса серой молнией метнулась из-за батареи, я безошибочным и беспощадным ударом русского плясуна пригвоздил ее к полу и почувствовал, как она бьется и извивается под пудовой подошвой. Впадая в безумие, я гвозднул еще раз, еще, словно пробивая каблуком лед или чью-то голову (молодой ингуш над брезентовым казахом у «Голубого Дуная»), и лишь чудом удержался от третьего лишнего удара.

Она лежала на боку вытянувшись, бусинки светились глубокими опалами. Крови из носа вытекло совсем немного. Как у тех доцентш в еврейской жалобной книге. Я гордо распахнул дверь, и беспомощные женщины с благодарными рыданиями вбежали к своему избавителю.

— Господи, какой ужас! — Моя русская жена (коня на скаку остановит) прижалась к моей взмокшей рэкетирской груди и подождала с полминутки. — Это такой ужас — слушать, как вы ее убиваете!

Не понял. Из-за кого, из-за кого ужас?..

— Жалко, да? — с пониманием спросил меня Костик, и я вдруг всерьез рассвирепел:

— Да пошли вы... А то я под горячую ногу и вас могу!..

Ботинком-убийцей я закатил тушку (маленькую, серенькую...) в помойное ведро и решительно повлек ее в мусорную цистерну. У выхода я едва не подскочил, наступив на с п р у ж и н и в ш и й поролоновый коврик. Ну вот. А эти иждивенцы, вместо того чтобы сочувствовать м н е, ради них же и обagrившему свои ноги кровью... На обратном пути я перешагнул через коврик, понимая, что теперь мне придется это делать до конца моих дней. Когда я вернулся к этим тыловым крысам, у них уже было твердо решено, что мою жертву надо было просто выгнать — открыть дверь на лестницу. Идиоты чертовы — она же вернулась бы!

У входа в ванную я увидел щепоточку мелких, мельче карандашных, стружек, ссыпавшихся со свежепрогрызенной луночки на косяке. Значит, мы сами, не заметив, отрезали ей путь к бегству, а она пыталась безнадежно... Я и по сю пору тщетно стараюсь избежать взглядом этой деревянной ранки. А упрятывая в кладовку свои грозные ботинки, я снова вздрогнул: с полки выглядывал острый носик, ошетилившийся английскими усиками. Это был краешек зимней шапки моей супруги. Я понял, что больше не смогу видеть ее (и шапку и супругу), не вспоминая раздавленную крысу. Вдобавок теперь я уже не люблю баловаться с маленькой племянницей, а то, бывало, валял ее, хохочущую, по дивану, не давая подняться... — нынче же в этом бьющемся, изгибающемся тельце мне мерещится... Покойная крыса с каждым днем становится все более трогательной и безвинной жертвой — как кротко, подобрав розовые лапки, сияя глазками-бусинками, она сидела на сковородке, — я полюбил бы ее, как родную дочь, если бы не усы. Уж тем более я согласился бы поделиться с нею харчем и жилплощадью: каждый день отсыпал бы горсточку крупы на отведенный ей квадратный метр — только бы она согласилась этим довольствоваться. Но ведь ей, как и человеку, нужен весь земной шар. С крысами нельзя договориться...

Мораль? Да как у всей человеческой жизни: и жить нельзя, и помирать не хочется.

Невозможно жить с крысами. Но и убивать их тоже невозможно.

Ладно, поговорим о чем-нибудь более веселом — что слышно насчет холеры в Одессе? Зачерпну на прощанье из самой гуши народной, где я когда-то был юн и беспечен (и ведь что меня изгнало из Рая — не выгоды, одна только узвненная гордыня!), зачерпну из самой сердцевины, где под страшным прессом Единства только и могут рождаться алмазы мужества и бескорыстия. Любой Народ, который заслуживает этого гордого имени, создается не общей кровью или почвой и уж тем более не еврейскими производственными отношениями, а — о б щ и м з а п а с о м

в о о д у ш е в л я ю щ е г о в р а н ь я. Вранья о доблестях, о подвигах, о славе предков, могучим компрессором нагнетающего в нас сыновнюю гордость. Вранья об их страданиях (Батый идет на Русь! Детдом идет на Эдем!), взывающего к отмщению и сыновней нежности. Вранья о великом будущем, которое особенно ценно своей неуязвимостью для еврейских опровержений!

Я не настолько еврей, чтобы отрицать монгольское или детдомское иго, и все же в тысячный раз заявляю: Народное Единство не может зиждиться на тех ничтожных песчинках знаний, которые случайно выносятся историей и доносятся до Народа. Единство может покоиться лишь на гранитном массиве лжи, ибо только ложь бывает простой и доступной к а ж д о м у, а любая истина всегда требует многолетних изучений (п р о с т о м у же человеку, этой глыбе, всегда некогда) и рождает целый веер соперничающих научных школ. Поэтому знания всегда антинародны: вкусивший от древа познания должен быть навеки изгнан из Рая.

Отделяясь от Народа, я всегда из прозрачного алмаза превращался в умного слизняка, — лишь в слиянии с Ним я обретал мужество и бескорыстие, гордость и ясность, тупость и беспощадность. С ними я и вступил в очередное Народное Дело, явившееся на историческую арену вслед за голубиными и футбольными неистовствами (утратившие народную любовь голуби передохли и одичали, а футбольные мячи, выродившись в набитые тряпьем чулки, откатились к малышне). Исконная забава русского барства — охота, — в глубинной сути своей столь же бескорыстная, еще и легче поддавалась рационализации, предъявляя наинагляднейшие оправдания на языке утилитарности: мясо, шкуры, — называли даже одного мужика из джюкояков, у которого все было волчье (собаки шарахались и долго с подвизгом лаяли ему вслед!): шуба, шапка, рукавицы, унты, трусы, майка, шляпа, галстук, очки, портсигар... Даже как звать его в с е знали: Васька, — только наикаверзнейший из евреев мог бы усомниться в таком простом русском имени! Вдобавок за истребленных волков платили атомные бабки: если с д а т ь (куда-то) волчьи лапы и хвост (поленом) — притом что шкура остается тебе, — т о д а д у т (кто-то) аж пятьсот рэ старыми!

Как всякое подлинно Народное Дело, охота (пуще неволи) тоже сделалась для нас исключительно поводом бороться за место среди друг друга. Стрелял волков один только Васька — витязь в волчьей шкуре, — остальные только менялись (гильзами, пыжами, дробью, а главное — названиями, названиями, названиями), выпрашивали (названия, названия, названия), дарили (названия, названия, названия) и — спорили, врали, обдуривали. (Нет, прошу прощения, Чернавка, он же Цыган, однажды застрелил дятла и в тщетном усилии хоть как-то утилизировать несчастную жертву барских забав приволок ее, роняющую головку в красной тюбетеечке, влитой, будто кардинальская, нашей биологичке для чучела, однако гордая птица предпочла скорее протухнуть, чем служить статистом в очередной человеческой комедии.) Дымный порох, бездымный, шестнадцатый калибр, двенадцатый калибр («Ого, пушка!»), тридцать второй калибр («Пер...ка»), чок, полчок, дробь третий номер, четвертый, «утиный», «гусиный», волчья карточка, жакан («О, блин — жакан!»), из тяжеленького литого бутончика свинцовым цветком раскрывающийся в медвежьей туше.

Охотники лишь по названию, мы спорили все больше тоже о названиях (тени о тенях) — о «тозовках», «ижевках», — благоговейно произносили индейское имя: «Зауэр Три Кольца» (этой никем не виданной редкостью владел Главный Инженер Сливкин) — и дружно, несмотря на общее почтение к затворам, сходились в презрении к берданке (раз русского и казаха спросили: это что за ружье? Русский посмотрел и говорит спокойно: бердан девятый номер. А казах, недослышав, повторил: свистел, пер...л, наутро помер.). Но лишь самые простодушные действительно отказывали себе в последнем, чтобы обрести какое-нибудь полупрохудившееся ружьишко, с проносившейся до белизны вороненостью, с ложей истертой и расколотой, как старое топориче. Все на проволочках, на шурупчиках, все

дрожит, дребезжит, побрякивает — индивидуалист-европеец (евреец) обделался бы такое в руки взять, а мы почитали за счастье бабахнуть по воробьям из этого сокровища, только голову, бывало, все же отвернешь в последний миг. А оно как ухнет, как рванется кверху — только бы не выпустить с перепугу. «Неужто живой?!» — и через губу роняешь что-нибудь про о т д а ч у: сильная, слабая — нам один хрен. Вспомнишь ли тут, что могут пострадать и воробы!

Рожденный быть вторым, я, конечно, шел до упора, принимая декорацию за настоящий лес. Однако из-за сопливых годов мне так бы и пришлось пробавляться эпизодическими подарками судьбы, если бы не Гришка. Достойный отпрыск своего еврейского папаша, этот проныра натянул себе, правда, уже не год, как папа Яков Абрамович, а только пару лишних месяцев, чтобы досрочно пролезть в партию — геодезическую, что ли (хотя сломить сопротивление еврейских папы-мамы было намного трудней: как же, ребенок без надзора еще начнет укладываться спать в десять ноль одну!). На деньги партии и была куплена наша двустволка.

Гришка умел завладевать — я обживать. Только его еврейское упорство могло сломить папину еврейскую неприязнь ко всему гордому и сильному — к убийству и его орудиям — и мамину законопослушную неприязнь ко всему непредписанному. В конце концов с Гришки была взята клятва, что все оружейные припасы он будет запирать от меня под замок. Сундучок Гришка сколотил сам. Я просунул в щель записку ядовитого содержания, и эти младенцы — а еще евреи! — сразу поверили, будто я умею открывать любые замки. Сундук счастья был распахнут со всеми своими сокровищами: с коробочками дробей всех калибров — многослойных толп в е л и п у т и к о в, чьему однообразному круглоголовию, уж конечно, позавидовали бы лысые Детдомцы; неописуемой красы бронзовые капсулы с серебряным донышком — кастрюлька велипутиков (тянешь молотком, замирая от предвкушения, — кастрюлька, бабахнув, испустит такой вкусный, мужественный дух, что затомишься от невозможности его ни съесть, ни выпить, ни поцеловать); солнечно-латунные капсулы с французской фамилией «желе-вело» — пушкинские цилиндрики для велипутских головок (в цилиндрик нужно вставить шило и уронить на пол — аж зазвенит в ушах); порох «сокол» и еще какой-то: первый — целая цистерна грифельков из велипутских карандашиков, другой — цистерна же неброско зеленеющих невесомых пластинок, оба б е з д ы м н ы е — выстрел от них легкий, как от шампанского, и ружье вздрагивает без грубой неотесанности, словно ручка нервной дамы, и клуб дыма вылетает прозрачный, тающий без следа, и зеркальность стволов лишь затуманивается, будто совесть младенца. А вот д ы м н ы й — словно в наместку ссыпанный в бутылку именно от шампанского, — черный, крупный, будто груды перекаленных рассыпающихся экскрементов в наших гордых скворечниках на вершинах сопков, и ухае при выстреле какой-то допетровской пушкой, после чего мир надолго погружается в дымную мглу («бой в Крыму, все в дыму, ни хера не видно»), разящую свежоотгоревшим курящимся углем на задворках захудалой кочегарки. И ружье дергается так, что того гляди взмоет ввысь вслед за целью, которую так стремилось поразить дымом и громом. И стволы превращаются в два застарелых дымохода. Зато и с ним, с д ы м н ы м, можно не церемониться — ссыпать в гильзу из мерки-кружечки (для велипутов все равно целой бочки), в то время как для деликатесных бездымных сортов требуются аптечные весы с разновесами, утончающимися чуть не до пороховых же пластинок. Гришка и с весами орудовал не хуже старого еврея-аптекаря.

Это по-каценеленбогенски, попервоначалу. А потом уже по-ковальчукски — из старых валенок вырубать гильзой пыжи, из старых аккумуляторов лить и катать дробь и даже пули, отливать которые Гришка, впрочем, всегда был большой мастер. Могу и вас научить, не стану жидиться напоследок. Отправляйтесь к автобазе, найдите самое жирное, политое мазутом место — там наверняка валяются обломки свинцовых аккумуляторных сотов, залепленных чем-то вроде иструхшего цемента. Поколотите их о подвернувший-

ся ржавый коленвал, и сизая пакость облетит. Правда, обнажившийся свинец и сам такой же сизый, изъеденный, ломкий, но вы не смущайтесь, кидайте его — да хоть в банку из-под частника в томате, хороший угольный жар все выжжет до первозданной невинности — и вдруг увидите, как из-под мерзкой сизости выкатится сияющая ртутная слезинка. А вот еще, еще — и капельки сливаются в выпуклую переливающуюся лужицу, а вся эта сизая дрянь («накипь», как прежде писывали в стенгазетах), скукоживаясь, всплывает наверх и, сброшенная в ничтожество, застывает просвинцованными жевками, — так очаг войны, поднесенный под донышко омещанившегося, ожидавшего Народа, выжигает растленно-индивидуалистический налет — конституции, видеоманитофоны, доллары, права человека — и, от потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая, выплавляет стекающееся водино чистое зол... или, может быть, свинец для отливки пуль? Нет-нет, успокойтесь: золото, золото сердце народное.

Потом в просеянной до состояния пудры золе проткните — хотите спичкой, хотите пальцем (тогда это будут пули) — аккуратные шурфики и влейте туда выплавленное золото. Получившиеся колбаски нарубите на дольки будто для велипутских пельменей (не забудьте полюбоваться сияющим срезом, чистым, как мармелад) и начинайте раскатывать промеж двух сковородок (будущие пули заранее рокочут с раскатами), да навалите на сковороду хороший булдыган — и хоть самодельную дробь вам не довести до совершенства фабричных велипутских головок, все равно, если бить шагов с десяти, она вынесет из доски звездную дырищу в детский кулак, а от пули — кособоко обмятого шарика — вдруг вспыхнет аккуратнейшее, будто сверленное, отверстие.

Если вы не истый эдемчанин и полагаете, что ружье нужно для того, чтобы охотиться, то, отчетности ради, разок стаскайтесь все-таки и на охоту. В лесу вы сразу же поймете, что звери живут не ради отчетности, у них есть дела поважней, чем забота о мнении друг друга: будьте уверены — они вам не попадутся (из человеческого мира рассказней никогда не нужно соваться в звериный мир реальный), тогда пальните разок-другой по оказавшимся поблизости птахам, легкомысленно понадеявшимся, что их ничтожность послужит им защитой, — надеюсь, вы не попадете, а в следующий раз двигайте прямо в к у с т ы, это недалеко, на лыжах пробежаться одно удовольствие, а там, среди их бурой клубящейся наготы, вам и притворяться не захочется, вы сразу и начнете швырять вверх мерзлые к о т я х и (конские яблоки либо коровьи лепехи) и по очереди лупасить по ним, пока не иссякнут патроны. Не хвалясь скажу — я надручилсь бить без промаха, как автомат: тяжеловатая еще для меня двустволка сама собой взлетала к плечу, и котяк разлетался в воздухе на такие мелкие дребезги, словено его три часа трепала стая озверелых воробьев. Я мазал, только когда, переставая быть автоматом, пытался увидеть себя со стороны: человека с ружьем, ружьем, невероятно... жаль, я не знал слова «элегантным» — стройно суживающимся (вот на кого стремились походить стилиаги!) к своему завершению — маленькому полированному пенсне (если глядеть в упор в оба дула сразу). А ложа, где, красой блистая, светится под лаком благородное дерево в еще более благородную каштановую крапинку! А насечка — точно-точно как на предмете совсем уж недосыгаемо прекрасном — на пистолете!.. Из ружья ничего не стоило вырезать взглядом и старинный пиратский пистолет.

А потом вдруг распространился слух... Нет, истинно народное знание никогда не «распространяется» — просто в один прекрасный миг всем что-то становится известно раз и навсегда, пока однажды вдруг не сделается известно что-то противоположное: «бедные хорошие — богатые плохие» может в одно мгновение перекувыркнуться в «богатые хорошие — бедные плохие». Так вот, всем вдруг стало известно, что можно с д а в а т ь лапы и — ну, словом, тот же самый комплект, только уже собачий: получишь пятьдесят рэ плюс шкура, да еще и мясо можно продать корейцам. (Начинающие отщепенцы подыскивали щедрости властей рационалистическое обоснование: собаки разносят ящур, от которого язык не уместается во рту.)



Новое Народное Дело вызвало к жизни и новых богатырей, сколачивавших на собаках целые состояния: один мужик копался на огороде, и собака его тут же бегала, — вдруг рядом тормознул самосвал, до половины нагруженный собачьими тушами. Вылезли двое, на глазах хозяина пристрелили собаку и закинули на пружинящую гору. «А ты помалкивай, а то и тебя туда же закинем». Газанули — и след простыл.

И вот уже я сам стою в закоулке, изломанно стиснутом заборами, сколоченными из косых, кривых, горбатых пиломатерьяльных отходов (отходов от чего? Где то главное строительство, если все вокруг сколочено из отходов?), и напряженно слежу, как на люминисцентном снегу н а ш и р с б я т а, подсвеченные медицинским светом луны, гоняют тоже таинственно подсвеченный силуэт какой-то необыкновенно хитрожо... собаки: они так — она так, они туда — она сюда... А за отходным забором, заходясь от бешенства, мечется на цепи силуэт ее собрата, мохнато-рваный, как черное пламя. И когда ловкая псина в какой-нибудь одиннадцатый раз ускользнула от положенной ей участи, Хазрет вскинул отеческую одностволку и шарахнул в неумеренно ревностного служаку («Хозяин нос не высунул... Полные штаны...») — покатился по Эдему будущий восторженный шепот славы), и черное пламя, съжившись комом, юркнуло в конуру. От растерянности преследуемый пес сделал промах и метнулся в проулок — но я промаха не сделал. Я был автоматом, исполняющим чужую волю, а в качестве автомата я само совершенство — хоть в бою, хоть в любви.

Первый выстрел я дал по силуэту — он с визгом покатился по фосфорическому снегу, пытаюсь что-то выгрызть у себя из живота. Вторым выстрелом в голову я успокоил его навеки. Ружейные стволы, безукоризненно зеркальные, как сплошная комната смеха, затуманились, пожалуй, все-таки больше, чем моя совесть — ведь я стрелял в ч у ж а к а. Зато теперь черный собачий силуэт вечно катается по мерцающему снегу, тщетно стараясь выгрызть из собственных внутренностей золотые слезинки расплавленной народной души, катается и будет кататься в одном из бесчисленных освещенных уголков (созвездие Пса) страшно насыщенного и все же едва початого персонального моего космоса, который шепоткой волчьей картечи однажды может быть враз разнесен вдребезги, словно мерзлый котяк на безжалостном казахстанском ветру.

Но это же был не я, нет, не я, воля Народа, как гениально выкрикивает Шаляпин в «Борисе Годунове», это закон природы: пули, отливаемые для волков, рано или поздно достаются собакам.

Ведь я же был добрый, великодушный мальчик! Я впадал в жалостливое беспокойство, когда кто-то оказывался отчужденным от Народного Дела, и, не жалея сил и затрат, старался последним поделиться с н е о х в а ч е н н ы м и. У нас были два пацана -- до того невидненьких, что даже лиц их было не разглядеть, вот и сейчас вглядываюсь до рези в отведенный для них освещенный наперсточек моего космоса, но вместо лиц — ровная серая округлость велипутских головок из Гришкиного ящика. Даже кличек их не припомню — не то Котя и Мотя, не то Каня и Маня?.. Их и замечали, только чтоб куда-то сгонять. Правда, иногда их еще стравливали — посмотреть, «кто даст»: невыносимо было видеть на неразличимых личиках настоящий страх, настоящую злость, на губах — самую настоящую кровь, на глазах — самые настоящие слезы, и все из-за чего — из-за места среди друг друга: кому зваться Кусей, а кому Дусей. Я очень быстро ломался и начинал их разнимать, к неудовольствию зрителей.

Очередь стрелять никогда до них не доходила, и однажды я в просветлении решил приобщить Пусю и Мусю к сладким таинствам охотничьей жизни. Когда папа с мамой были на школьном в е ч е р е (вечер без Яков Абрамовича — это как Россия без Волги), я, безумолчно поощряя их радостно-захлебистой говорливостью, привел Фалю и Галю к нам домой (мы жили уже возле Столовой, в полулегашском доме на две семьи — кирпичный низ, рубленый верх) и, подобно Ноздреву, перепочкал им решительно все, но Моня и Соня взирали на велипутские головки с тем же выражением, с которым их микроскопические двойники смотрели на них самих.

Расшибаясь в лепешку, я выволок ружье на улицу и в упор жажнул пулей в торчащий из снега узлом закрученный чурбак, не дающийся ни топорам, ни клиньям. Когда пуля, взвывая, бесследно исчезла, оставив на деревянном желваке чуть размахившуюся ссадину, я сообразил, что она вполне могла бы срикошетить и кому-нибудь в брюхо, — вот тут бы мне и остановиться. Но в упоительном чаду великодушия мог ли я думать о таких (еврейских) мелочах! Я позволил Пусе и Русе по целых два раза бабахнуть (с огнем!) в белый свет, верней, уже в ночную тьму и, задыхаясь от альтруистического восторга, повел их в дом, лихорадочно подыскивая, каким еще наслаждениям их подвергнуть (они уныло и терпеливо помаргивали).

В кухне топилась плита, вулканически светились причудливые изломы трещин. О, придумал: глядите, глядите, сейчас будет атомный взрыв! Я, обжигаясь от нетерпения, отодвинул чугунные кружочки (обнажились дышащие нестерпимым жаром светящиеся багрец и золото) и бросил в жертвенник щепотку дымного. Пахх — метровый черный гриб вырвался из чугунного кратера, пахх — еще один, еще, еще... Берите, берите, угощайтесь!..

Кутя и Гутя начали осторожненько поклевывать из гусарской бутылки и, терпеливо помаргивая, побрасывать совсем уж поштучные порцийки, распадающиеся на отдельные попшикивания. Да не жидитесь вы — вот как надо, вот, вот!.. Атомные грибы один другого величественней взмывали над плитой, окутывая сушившееся над нею белье. Кухня начала подергиваться сизой мглой, а Туся и Буся — наконец-то подавать признаки жизни. В эйфории Пигмалиона я и не заметил, как так получилось, что мы стоим у порога, а темная бутылища лежит на плите, и черная струйка течет из ее серебряного горла прямо в огнедышащую трещину. Шлепнуться бы на пол, рвануть в сенцы — но ведь я был рожден для подвигов... «Тикайте!» (Петя Бачей) — заорал я и, отворачивая лицо, метнулся к бутылке. Кися и Пися не заставили себя просить дважды. С быстротой молнии они шмыгнули в дверь, и больше я их никогда не видел.

Еще бы тысячная доля секунды — и я сбросил бы бутылку на пол. Но тут тжжко вздохнуло какое-то исполинское животное. Бесчисленные художники-баталисты не солгали: взрыв действительно имел форму огненного конуса. Я еще успел извернуться, чтобы не треснуться затылком. Терял ли сознание — сказать не могу. Первое, что вспыхнуло в отшибленном уме: «Он катался по земле, держась руками за выжженные глаза» — я только что прочел, как у одного злодейского индейца разорвало старинное ружье. Я впился в глаза будто когтями — один был живой, трепетал под пальцами пойманным воробышком, другая рука схватилась за какою-то слизь. Голова вонзела на такой поднебесной ноте, что никакой боли я не чувствовал, вернее, не сознавал, что чувствую — что-то же толкнуло меня посмотреть на руки. От окорочной части большого пальца был отвален и торчал под прямым углом щедрый треугольный ломоть, открывая свежайшую арбузную мякоть. Кожа на кулаках была совершенно угольная — точь-в-точь печеное яблоко — и съезжилась в узенькую оборочку у костяшек, открыв нежно-розовое поле.

Кажется, зрелище не произвело на меня никакого впечатления — уж очень я ничего не соображал, — но, с трудом припоминая, дальнейшие свои подвиги я вершил не то подвывая, не то поскуливая. Однако поведение мое единодушно было признано геройским: целесообразность ошибочно считают плодом самообладания. С пола я увидел, что горит черное белье над плитой, поднялся, выловил ковш (бочка стояла тут же) и залил огонь, заплескал. Потом обнаружил, что на мне самом горит серая туалъденоровая рубашка (середины выжгло сразу, а по краям огонек змеился, словно весенний пал в степи), и с крыльца бросился в снег, как делали танкисты в войну. Потом что-то еще ужалило меня в руку повыше локтя (там до сих пор круглый темный засосик), и я увидел впившийся туда маленький огонек. Я затер его горстью снега будто мочалкой. Вернулся тем же автоматом в кухню, еще что-то позаливал. Увидел морозную тьму за окном — в рамках не осталось ни единого стекла (у соседей фотокарточки посыпались

со стены). Эта тьма почему-то тоже навек застыла в глазах — вернее, теперь уже в глазу. Сейчас я понимаю: в выбитые окна смотрит нагая реальность, жизнь как она есть; глядя же на нее сквозь стекла, мы видим в них отражение нашего, человеческого мира, — но неужто я мог и тогда что-то такое почувствовать?

Тут мне захотелось посмотреть, во что я превратился. Я, шатаюсь, бросился в комнату и долго кружил в поисках зеркала. Нашел, погляделся, но ничего не разобрал, только ярчайшие алые ручейки бойко бежали по черноталу — кочегар под кровавым душем. И тут же напрочь забыл. Меня потом спрашивали, чего ради я выписывал по комнате эти кровавые вавилоны, а я клялся и божился, что в комнате ноги моей не было. Лишь через много лет меня вдруг озарило: ба, так это ж я тогда зеркало!..

Потом впечатление многотысячных толп, текущих сквозь нашу кухню-ку, ватно-стеганый столовский сторож каждого входящего тщетно пытается поразить сообщением: «Я думал, на шахте чего взорвалось». Я понимаю одно: надо держаться, как будто ничего особенного, — и мертвыми губами перешлепываю, что стряслось, бдительно обходя Беню и Феню, а то получится, что я их заложил (вы, дорогой читатель, первый, кому я открываю эту тайну). Меня укладывают на кованую дедовскую койку, хоть я и не вижу в этом никакой необходимости. В дверях возникает растрепанная мама, не похожая на гранд-даму, только что покинувшую блистательный бал под гимнастическими кольцами. Ей втолковывают что-то очень рассудительное, а она не слушает, повторяет, задыхаясь: «Где он, где?..» Увидев, где она, мне показалось, укусила себя за две руки разом — и тут меня впервые затрясло: «Мамочка, не надо, не плачь, а то я тоже буду!..» — и уже занес ногу над манящей бездной сладостных воплей и упоительных конвульсий. Нет, нет, я не плачу, миг подтянулась мама, старый ворошиловский волк, — и мы становимся предельно будничными, насколько мне позволяет контуженный язык.

Белый халат, шприц, «от столбняка» — я требую, чтобы дамы отвернулись. Помню сладенькую снисходительную улыбочку казаковской мамыши: дитя, мол... А укол почему-то делают в колено — зря, мать честная, спорил. Обжигают морозом носилки. В полумраке «скорой», без свидетелей, я начинаю понимать кое-что и сверх того, что надо держаться как ни в чем не бывало. «Мне кажется, что это сон», — делюсь я с мамой своим ощущением. И она с полной простотой убежденно кивает: «Да, это страшный сон». «Какой крепкий парнишка, — поворачивается к нам шофер. — Я недавно руку ошпарил, так три ночи охал».

Мои печеные руки уже начинает жечь, но я игнорирую. Однако отсутствие свидетелей чуточку подточило мое достоинство. В приемном покое меня зачем-то раздели догола, и я уже не просил, чтобы мама отвернулась, мне было почти все равно, и голова падала, как у подстреленного дятла. Но под палящим ожерельем искусственных хирургических солнц, когда во мне рыли сверкающими шупами, прислушиваясь, не скрежетнет ли осколок (рентген стекло возьмет, пообещали мне, когда оно заизвесткуется, что ли, — и не соврало: совсем недавно под правой сиськой высветили целых два, притом довольно далеко от копилочной прорези), когда меня резали и сшивали, я не проронил ни звука — как только зубы не вдавились в кость! Помню, мечтал о недосыгаемом счастье — впитаться зубами в руку, — но с руками тоже что-то делали. «Мужик!» — уважительно говорили сестры.

Не знаю, сколько часов это продолжалось — в муках время бежит быстро, скучать некогда. Вот меня уже выкатывают в коридор, склоняются папины очки. Папа тоже на высоте положения: «Ты помнишь, тяжкий млат...» «Дробя стекло, кует булат», — умудряясь прошлепать губами и наконец-то вырубаясь.

Все дергает, ломит, печет, к лицу и рукам приросли неустанно палящие горчичники, но освещенный мирок, еще сохранившийся во мне, слишком уж мал, чтобы вместить что-то серьезное. Меня вертят и кутают, как мумию, но я твердо помню, что дозволяется лишь помыкивать.

В небесах, куда только достает наконец-то отпущенный на волю взгляд, металась метель. Металась, извивалась, кружила, пытаюсь ухватить себя за хвост, заметала и без того малопроезжие дороги, а носилки поднимались, наклонялись, опускались, покуда я не оказался в бочке, крашенной изнутри в цвет солдатских галифе. Продольные и поперечные деревянные ребра, мамино лицо, которое я могу только узнать, а воспринять его выражение уже не в силах. Небо тоже было непроезжим для санитарного «кукурузника», но какой-то начальник — как все в Эдеме, папин ученик — сказал: «Под мою ответственность» — и я приземлился в Кокчетаве, ибо на Ирмовке умели отрезать только руки и ноги.

Я столько раз слышал: «Вытек глаз, вытек глаз», что думал, будто он, только тронь бритвочкой или шильцем, сразу так и брызнет наружу, как те солнечные дынки из оранжевых сосок, которые мы надували водой. А оказывается, в него можно смело воткнуть осколок стекла, да так с этим акульим плавником и отправиться куда-нибудь на журфикс — только моргайте пореже, чтобы не поранить веко. Глаз можно разрезать и зашить, этот круто сваренный студень, обманчивый, подобно пятачку кабана. А уж просто всадить туда шприц — так это тьфу, мне сто раз всаживали: смотри к носу! — и раз прямо в глаз, который отчетливо чувствуешь, как надувается, надувается и все-таки, лопни мои глаза, так и не лопаются! Главное — не дергайте в это время головой, страдайте в каменной неподвижности. Слабонервные так и не выучиваются смотреть на эту картину, а я нарочно себя приучал: да, действительно, вот игла вонзается в оплетенный алыми жилками белок облупленного крутого яйца (а вдруг всмятку?..), вот начинает испускать туда что-то, испускает, испускает, а потом вжик! — и выскочила наружу, комарино-пронрыливая. И сколько ни вглядывайся, ничего, кроме крошечной точки, на этом месте не разглядишь.

Все не так страшно, как малюет раскрепощенное воображение отщепенца, если переживается сообща: Единство — лучшее (единственное) лекарство для ран, приобретенных благодаря Единству. Если живешь исключительно для того, чтобы производить впечатление (а это единственное подлинно человеческое занятие), на свете не остается ну решительно ничего невыносимого. Взять хоть самое элементарное: если не просто стонать, а материться — уже намного легче. Когда сестра быстрым кошачьим движением срывает присохший бинт, и то лучше сдавить свой вскрик не на «мм...», а на «бб...» — и все засмеются. Больница — это тоже был Эдем, обитатели которого (главное условие райского блаженства) были единственными людьми на земле — поэтому каждого из нас всего лишь постигла общая участь смертных: один шархнул кувалдой по гусенице, от которой с хирургической точностью отскочил осколок, другому уже без всяких затей шархнули бутылкой по глазу, третий форсу ради сунулся в какую-то форсунку, а оттуда вдруг фыркнуло пламя, четвертого мамаша спеленатого оставила на крыльце, а дьявол, приняв образ петуха, подошел и клюнул в оба глаза... Разнообразен Божий мир!

Мы еще с одним пацаном проходим по статье «баловались». У него в глазу сидит латунный лоскуток — тоже магнит не берет. «Уже глаз начинает вылезать — а латунь сидит», — вдохновенно брешет он, и я тоже, Единства ради, перехожу на брехню. В Эдеме все — дети: целые дни мы проводим в единственном подлинно человеческом занятии — в болтовне. Мужики рассказывают сказки, именуя их анекдотами.

— Раньше забирали в армию с двадцати пяти лет. И служили по двадцать пять лет. Отправят, к примеру, из Караганды в Комсомольск-на-Амуре — туда идти двенадцать с половиной лет и обратно двенадцать с половиной лет. Только дойдешь — и уже обратно надо. Возвращается мужик в самом соку, пятьдесят лет (а я-то думал, что пятьдесят лет — это старость!), — и ни разу п... не видел.

— Пацан, — предупреждает какой-то ответственный товарищ.

— Сколько лет? — приступают ко мне. — Двенадцать? Ну-у... Все понимает! Давай!

— Ни разу, значит, п... не видел. Идет он это, глядит — под кустом нищенка. Он подходит: слушай, мать, покажи п..., а то уже пятьдесят лет

а я живой п... не видел. Бутылку поставишь? Поставлю. Она задрала юбку. Он давай смотреть. Все рассмотрел: а это что, а тут что, а внутри что? Ей надоело: а там, говорит, Иван Иванович сидит. Он бутылку поставил, они распили, пошел дальше. Приходит в город. Переночевал. Захотел рубануть — ну, пятьдесят лет! Заходит в гастроном. Видит, здоровый такой мужик рубит мясо, а его со всех сторон: Иван Иванович, мне попостней, Иван Иванович, мне для гуляжа... Он слушает и удивляется: как такой детина мог там уместиться? Он тихонько подходит: слушай, друг, ты где вчера был? А тот как раз вчера мясо налево доставал. Он раз ему — сует деньги. Солдату, конечно, не тебе же. Солдат пошел пожрал, выпил и опять приходит: слушай, а все же ты где вчера был? Тот опять сует деньги. Солдат опять пошел выпил, опять приходит: я все равно никак не пойму: ты где вчера был? Ну тот и психанул: раз пришел — деньги взял, другой раз пришел — деньги взял, — он и психанул. Где? — говорит. В п...! Так ты бы так и сказал!

Общий восторг. Я хватаюсь сразу за десять мест, где от смеха готовы вот-вот лопнуть швы: видите, не родился же я евреем!.. Наоборот — роевое существо, я, подобно солнцу, изливал дружелюбие на всех соплеменников разом, немедленно забывая о них, чуть они скроются в тень. Это сейчас я, отверженец, до боли прирастаю к личностям, а потому не умею испытывать благодарность к Народу: я не умею благодарить Ивана за благодеяния Петра. А тогда мог. Потому что не очень их различал.

Ничто за пределами палаты нас здесь не касается, а потому все мы здесь братья — хохол Гайдамак, немец Вильгельм, казах Муқан, ингуш Муцольгов, русский Каценеленбоген... Вот так и нужно создавать братство народов: вышибить всем по глазу — а кому и два — и запереть в одну палату.

Мама проходит по этому раю какой-то полупрозрачной тенью, различной лишь в заплаканных местах. Я и себя начинаю различать только ночью, оторвавшись от масс. Болит решительно все — ноет, дергает, жжет, мутит от неизбывного запаха дегтя — мази какого-то Вишневого, — паленые волосы источают тошнотворную пороховую вонь (меня и сейчас подташнивает, когда повеет угольной гарью), пульсирующий глаз то съезжится в сверлящую точку, то раздуется так, что голова болтается внутри пузыря, надутого болью. Храп, стоны, в коридоре десятикратное эхо — голоса дежурных сестер, звуки выкладываемых на стекло металлических предметов, предназначенных причинять боль, на потолке без конца разворачиваются автомобильные фары — провисшая койка вращается каруселью.

От боли не заснуть толком — сразу же начинает сниться боль. От малейшего движения просыпаешься со стоном. И сразу встрепенется мама, прикорнувшая где-то — на стуле? на свободной кровати? Ее не выгнать из больницы. При коридорных отсветах мама еле слышно читает мне Мало «Без семьи», и я снова спасаюсь в чужую жизнь: Виталис, Маттиа, обезьянка... а утром они передадут меня в надежные руки Гайдамака, Вильгема, Мукана...

Правда, до их пробуждения я успевал еще услышать радио, которое, как безумец, целый день неразличимо болботало себе под нос. Сейчас от казахских песен по мне озерной рябью бегут мурашки — такая в них диковатая сила и красота, а тогда... Экзотика должна быть заграничной. Чтобы тебя зауважали в России, надо сделаться иностранцем. Казахи это сумели. Очередь за евреями.

Мы, эдемчане, не заскучаем и в аду — лишь бы не перебрасывали из котла в котел. Но раз н а п р а в л я ю т, а тем более в МОСКВУ, — значит, так и надо.

Меня хотели поднять — я не дался. Встал и рухнул — подломились ноги от внезапной боли в щиколотках. И впервые расплакался — такая мелочь не могла считаться экзаменом на мужество. «Потерял много крови, много крови», — уважительно прокатилось по оставляемому Эдему, и меня повели под руки. «Я еще вернусь!» — из последних сил присягал я на верность своим лучшим в мире друзьям, и они освещали мой путь отраженным

светом, ибо всякое сияние бывает только отраженным! Ты отражаешь мою любовь к тебе, я — твою.

Московская больница тоже была бы раем, только очень уж там было просторно и культурно. И докторша настораживала чрезмерной культурностью — мама рядом с ней выглядела какой-то колхозницей. (В советском кино суперинтеллигентов традиционно поручали играть евреям — Плятгу, что ли? — поэтому я много лет каждого встречного еврея считал просто интеллигентом.) Докторша только посветила мне в глаз лобовым шахтерским зеркальцем и быстро проговорила как отрезала: «Немедленно удалить». Ка-ак?.. Мы так не договаривались, в Эдеме так не поступают — профессора мне, профессора!.. Вы совершенно правы, коллега, да ты же все равно им ничего не видишь — ну-ка, есть свет? А сейчас? А сейчас? А вот и есть — я тебе прямо в глаз свечу, вот тебе и не может быть, ты что, хочешь, чтоб на второй глаз перешло?

Мир реальности уверенным бульдозером ломился по хрупкой поросли веры и воображения, среди которой только и может выжить глупенькая трехлетняя девчушка — человечья душа. Но что, вы думаете, меня уложило наповал — инвалидность, риск полной слепоты, еще какая-нибудь рационалистическая еврейская дребедень? Ошибаетесь: б у д у т д р а з н и т ь — вот что ввергло меня в отчаяние до того бездонное-непроглядное, что из бездны его совершенно не имели никакого значения ни честь, ни мужество: все эти роскошества уже не могли понадобиться тому отверженцу, в которого меня превращали. Под родным ожерельем хирургических солнц я орал и брыкался так, что вызвали еще двух мужиков меня держать.

Правда, и боль была — это что-то особенного!.. Но ведь и раньше нельзя сказать, что не было ничего особенного. Хотя раньше вроде бы не перекусывали какие-то очень прочные живые проводочки — кусачки так и щелкали в моем глазу, так и клацали, так и чакали..

А потом я встал и пошел. Потому что я уже не хотел ни на кого производить никакого впечатления. Мог идти — и пошел. Не мог бы — не пошел бы. В безразличии отверженца тоже таится источник силы, силы зверя или скотины. Опускаясь на кровать, я хотел взяться за вынутую расвирепевшим котом никелированную спинку и промахнулся. Впоследствии волейбол и теннис с эдемской непринужденностью подтвердили мне, что чувство расстояния нуждается в двух глазах, как истина в спорщике.

Безнадежная мрачность — теперь это любимейшее мое состояние, в нем уже ничего не страшно: неоткуда падать. Но в тот миг я еще полагал, что счастье — это когда радуешься, хотя единственное прочное счастье, доступное смертному, — это когда не мучаешься.

— Мама, почитай мне «Мертвые души», — упавшим ниже некуда, а потому ровным голосом попросил я: бегство в чужую жизнь все равно оставалось лучшим обезболивающим.

Я сделался ровным, как январский каток. Это верно, что, наливаясь поглощающим желанием, мы становимся сильными, — зато отсутствие всех и всяческих желаний делает нас неуязвимыми. Это и есть конечный вывод мудрости земной. Не хлопочи сверх меры — все сделают вместо тебя: и родят и убьют.

Снег сменился асфальтом, а многослойная обмотка на полголовы — воздушным витком марли. Я пробирался в кафельную гулкую пустыню умывальника, совсем забыв, что он м о с к о в с к и й, и перед зеркалом бережно приподнимал запеленатый в марлю ватный тампон. Подслеповатые ввалившиеся веки, под ними никакая не рана, а аккуратная слизистая оболочка, как во рту, — интересно, для чего ее Бог заранее заготовил? И дно зачем-то выпуклое на доньшке... Я закрываю ладонью живой трепещущий глаз и изо всех сил тарашу пустой — но тьма стоит хоть глаз коли. Еще диковинней получалось, когда пустой глаз прижмешь к стеклу (чтобы чувствовать холод бровью и щекой), а целым смотришь, как будто подглядываешь через холодную дырку в непроглядную тьму, и какая-то одурь тебя охватывает: каким же это чудом такое море черноты может стоять прямо среди света, который ты тоже видишь своими глазами. Да, да, и наши глаза

составляют неразрывное Единство, и если они видят р а з н о е, мы начинаем сходить с ума.

Только это занятие и возвышало меня над буднями. Да еще я сочинял, будто взгляд одного глаза труднее выдержать, потому что в нем сосредоточивается двойная доза страсти.

Не знаю даже, с чего мне вздумалось спросить у врача, будут ли когда-нибудь пересаживать людям глаза (мне бы подошел коровий). Носитель белого халата лишь снисходительно улыбнулся, а кто-то из кривых растолковал мне окончательно:

— Ты второй береги. А один глаз ты проср...

И вдруг такое облегчение хлынуло мне в душу!.. Я бросился в умывальник, ликующе повторяя одними губами: «А один глаз ты проср..., а один глаз ты...». Оказалось, если говорить матершинными словами, все становится совсем не драматичным, а залихватски-будничным. В умывальнике я впервые осмелился взглянуть на неугасимую ни днем, ни ночью лампочку, гордо раскрыв глаза (второй под тампоном тоже дернул крылышками), а то раньше все остерегался: вдруг она тоже взорвется. Внезапно вспомнил, что с левого глаза мне будет уже не прицелиться, и, схвативши швабру, начал скидывать ее к левому плечу — седло к корове. И все же на сдаче ГТО я таки выбил третий разряд!

В коридоре я увидел маму и тоже прицепился к ней — будут ли, мол, пересаживать глаза?

— Тогда я отдам тебе свой, — проникновенно ответила мама.

Трагическая серьезность — от нее-то я и старался улизнуть. Но все же бегло примерился к маминому глазу: у нее он потемней моего, но только все это сентиментальная чушь, настоящий мой глаз — это т е л е в и з о р (народная анестезия!).

И вот они рассыпаны передо мной, как ракушки на морском берегу: глаза, глаза, глаза... Синие, серые, карие, черные или лазурные, как бирюза... Или совсем белые, налитые яростью и водкой. Если глаз твой тебя соблазняет... А в плоских картонных коробочках ассортимент на самый вычурный вкус: «левые с носиком», «вырезочка у виска», «правые толстые», «с поддутием», «с короткой пяточкой» — здесь нужен глаз да глаз. Для вас это жуть и мерзость, а поживите у нас в Эдеме, так еще и будете тщеславиться, что ваш телевизор «хорошо сидит» — как смокинг, — будете завидовать, сплетничать, восторгаться, лстыть: да у вас совсем как настоящий, прямо не отличишь (ты совсем как русский, лстыла мне моя еврейская родня), хотя нас, стреляных и взорванных воробьев, не проведешь на стекляшке, мы с полувзгляда отличим живого слизняка от пустой ракушки. Я и в метро продолжаю разглядывать пассажиров и диву даваться, до чего ловко у них всажены телевизоры — каждый раз забываю, что я уже на воле, пора подумать и о будущем — потренироваться тсыкать слюной сквозь зубы. Здесь, конечно, нельзя (метро, Москва!) — но если сжать губы, то под их прикрытием можно приступить к тренировкам прямо сейчас, это вроде подземных ядерных испытаний. Тсык, тсык — вяло. Тсык, тсык — браво, подземная струя ударяет в губы с такой энергией, что крошечный плевочек пробивается на раскрытую книгу не очень добродушного дядьки в очках. Он смотрит на вспененную капельку — чудом залетевшую под землю частичку штормового прибоя — и не понимает, верить или не верить своим вооруженным глазам. Решается верить.

— Ты чего плюешься? — сердито спрашивает он меня.

— Кто плюется?.. — хрипло возражаю я.

Дяденька некоторое время рассматривает нас: приличная мама, бледный мальчик со свежим бинтом на глазу, — и, видимо, решается все-таки не верить глазам.

От смущения я даже забываю, что я в Москве, перестаю ощущать волшебный запах московского метро (запах сырой извести в новом доме и поныне заставляет сжиматься мое сердце — детство, мама, Москва... Москва, как много в этом звуке!..). Но на улице я снова оживаю, забывая и про маму, и про больничное головокружение, пускаюсь вприпрыжку. А с-

в а л ь т, а с в а л ь т! Мелькают мимо будки, бабы, балконы, львы на воротах... Троллейбусы, троллейбусы!!! Москва, Москва, люблю тебя, как сын!.. Как русский, как русский, как русский!

Я не завидовал — я ликовал, что наш величественный Горсовет едва дотянулся бы до пояса самому рядовому из тугошних красавцев — утесов? бастаионов? Не зря писалось в «Родной речи»: все дороги ведут в Москву, встречаются у Москвы! Кипучая, могучая, никем не победимая!.. Здесь угасал Наполеон, она готовила пожар нетерпеливому герою!.. Силы небесные, да это же в ы с о т н ы й д о м — весь мир скрежещет зубами от зависти в своих как будто нарочно устроенных побезобразнее небоскребах. Здесь на один карниз пошла столько красоты, что хватило бы на десять наших Клубов. А высота? Выше алматинского элеватора, а уж тот ли не осьмое чудо высотой! Но Высотный Дом — он еще и Дворец, я с трех лет рисуя Дворцы, понимаю кое-что, не беспокойтесь. Дворец — это Башня и Шпиль, которых тут хватает на целый сказочный город. Дивные люди — м о с к в и ч и! — проходят у его подножия как ни в чем не бывало, каждый Гарун-аль-Рашид в рваном плаще с брильянтовой изнанкой. Вот два пацана бредут нашей эдемской развалочкой, кепарики, чинарики, для поверхностного взгляда простая шантрапа, но сколько аристократизма в каждом движении — я приветствую их взглядом влюбленной преданности, а ведь один глаз вмещает ее вдвое больше, чем заурядная пара...

— Атаман Кодр с одним глазом, — получаю я ответное приветствие.

Москва — это Эдем в Эдеме, а полнокровные эдемчане, подобно птицам небесным, подобно деревьям и травам, недоступны ни словам, ни взглядам, соберите хоть в одну четвертушку зрачка всю вашу обиду... Увы — я никогда не умел сердиться на правду. Я петушком, петушком насканивал на пару присяжных, вынесших вердикт, только по иссякающему чувству долга — я окончательно постигал, что отныне я непоправимый отверженец.

Ну так уж сразу отверженец, покровительственно улыбнетесь вы, если вас никогда не касалась даже тень отверженности, а я вам отвечу: Единство должно быть прежде всего б е з м я т е ж н ы м, а если остается хоть один шанс из триллиона, что тебе напомнят о тягчайшей из вин — быть не совсем таким, как другие, — тогда безмятежность столь же возможна, как спокойные босоногие прогулки по квартире с крысиной норой.

Но для чего так уж сразу подчиняться приговору какой-то шантрапы? А для того, что приговоры шантрапы самые правильные, ибо самые правдивые — шантрапе незачем притворяться лучше чем она есть. Когда мне недавно пришлось потолкаться по толчку в поисках валидолчика, глаза мои очень остро подсчитывали «лиц кавказской национальности», — только я это прячу. Самое примитивное — самое подлинное.

— Немедленно удалить! — распорядился обо мне неподкупный глас Народа — да я и был соблазняющим еврейским глазом, а теперь еще и навеки утратил главную (единственную) добродетель Единства — неотличимость. Теперь я навеки был «косой — подавился колбасой».

Я ослеп и оглох, я не слышал, что говорила мне мама, я не видел даже асальта, хотя и не мог оторвать от него взгляда, к которому веселые москвичи примотали мокрую ржавую гирию, одолженную дядей Зямой с собственной щиколотки... И вдруг — что за невероятный сон?.. Передо мною распахнулась —

К Р А С Н А Я П Л О Щ А Д ь.....

Кремль!

Спасская башня!!

Рубиновые звезды!!!

Мав... Мав... но это же и правда —

М А В З О Л Е Й!!!!!!

А на нем самое краткое и прекрасное слово в мире:

Л Е Н И Н

А пониже:

С Т А Л И Н



Это было тоже изумительное слово: хотя Сталин и допускал ошибки (расстреливал коммунистов), но в чем-то все же был прав (уж не в этом ли?). Легкие готовы были лопнуть от непрерывного вдоха. Святыни были великодушнее людей — они не возражали, что справедливо оплеванный Косой — Подавился Колбасой пялится на них уцелевшим глазом. Я не столько смотрел, сколько узнавал: да, это именно Кремль, именно Мавзолей, невозможно поверить, но все это в самом деле есть на свете. И, что еще невозможнее, я — я! — действительно это вижу. И с этой божественной высоты уже и в телескоп не разглядеть, у кого сколько глаз и кто кого как дразнит — наши маленькие судьбы ничто в сравнении с этим величием, с этой потрясающей, единственной во вселенной прекрасностью!

А над всей этой сказкой струился, несмотря на полный штиль, и переливался Красный Флаг с Серпом и Молотом — до чего не повезло другим народам, довольствующимся какими-то шутовскими пестрыми картинками вместо нашей великой пламенеющей реки! Нынешний российский флаг никогда не будет так струиться. Надеюсь. Ибо для полноты этого счастья нужно не считать за людей всех остальных обитателей Земли, когда-либо ее поправших.

Вот и все. Было исцеляющее Единство, а теперь нету. И больше не будет. Не будет ни восторга, ни могущества, ни самоотвержения, ни тупости, ни беспощадности. Ибо детство бывает только одно. И только раз в жизни мы убеждены, что наша мама лучше всех. А потом приходится понять, что каждая мама лучшая в мире. И смириться с этим всего труднее...

Я мирюсь. Но иногда тоска по Родине становится невыносимой: нам целый мир чужбина, отечество нам наш Сталинабад. Ленинград, Волгоград, Целиноград — или Степногорск. Мое отечество — не Россия, а СССР. То есть Советская Россия. Типовая картинка моего детства, от которой сжимается сердце, а к глазам подступают давно уже не сладкие слезы, — не плачущая березка и не курящаяся банька над прудом, а ржавый электромотор в мазутном ручье, расцветший малахитовой зеленью, сыпучие горы пропыленного щебня, оглушительная танцплощадка в Горсаду, где меня встречали приветственными кликами: «Левчик, салют, Левчик, гони к нам!» — никогда больше я не знал этого счастья социальной полноценности. И когда мне сегодня становится совсем неважно, я отправляюсь куда-нибудь на К и р о в с к и е острова, через парк к у л т у р ы и о т д ы х а, где все еще геройствует гипсовый матрос с дисковым автоматом, за стадион — приземистый храм невинных забав передыхающих эдемчан. Там на берегу сверкающего отравленного залива я снова оказываюсь у себя дома — на свалке. Среди битого кирпича, колотого бетона, драных бревен, ржавых гусениц, карбюраторов, сиксильаторов, среди гнутых труб, облезлых гармошек парового отопления, оплавленных унитазных бачков, сплюснутых консервных банок, канистр, баллончиков из-под минтая, нитролака, хлорофоса, на целые версты простершихся вдоль морских ворот Петербурга, — на душу мне снова спускается покой

То есть безразличие.

То есть счастье



---

---

## ОЛЬГА ПОСТНИКОВА



### БАБЬИ ПЕСНИ



Мне старуха-соседка икону дала.  
Я не то чтобы к сердцу заботу брала,  
Но уж как принесешь ей пакет молока —  
Будешь родная дочь на века.

Три окошка подвальных глядят на закат,  
Три лица беспечальных со снимка глядят:  
Двое братьев родных да жених не жених,  
Никого-то из них не осталось в живых.

Все до пенсии тянет, до второго числа,  
У ней ветка не вянет, что домой принесла.  
Оттого и осталась лицом молодой,  
Что всегда умывалась ледяною водой.

#### Империя

Я устала от злобных твоих поцелуев.  
Гневной мамкой не стой надо мной!  
Неужели страной воров и холуев  
Ты останешься в правде земной?

Ведь сегодня последний звонарь умирает,  
Снова благовест нем и набат,  
И под серными ливнями золото сгорает,  
И на брата ощерился брат.

Взгляд притушен крысиной тоской отчужденья,  
Все бегут, все раскиданы врозь.  
Неужели вот эти черты вырожденья —  
Грозной нации апофеоз?

Ты не плачешь об этом растоптанном люде,  
Ты погубишь верней, чем спасешь.  
Головой Иоанна на кованом блюде  
Ты сама себя кротко несешь.

Так и Рим погибал и, боясь воскресенья,  
Он пощады не дал никому.  
Где уста, что вещали любовь и спасенье,  
Где глаза, что глядели сквозь тьму?

Но и злая острожная даль Акатуя  
 Озаряется скудной весной.  
 Не приемлю посмертную дань поцелуя,  
 Рано доски смыкать надо мной.

1988.

### Подражанье староверам

Вы зачем обмываете меня,  
 Вы зачем одеваете меня,  
 Вы зачем укрываете меня,  
 Вы зачем зарываете меня?

Не дала силы сыну моему,  
 Не дала счастья мужу моему,  
 Не дала света дому моему,  
 Не нужна стала больше никому.

Вы меня провожаете туда,  
 Где вина неизбывна навсегда,  
 Где ни сна, ни поденного труда,  
 Ни огня покаянного стыда.

Но цветет белым кружевом покров,  
 Но цветет белой сливой край дубров,  
 Но цветет в синих жилах моя кровь,  
 Не хочу поминальных я даров.

Не готова родня моя рыдать,  
 Не готова к разлуке моя мать,  
 Не готова душа моя летать,  
 Не готова пред богом я стоять.

Дайте мне только день один прожить,  
 Чтоб сорочку кроеную дошить,  
 Чтоб сыночка мне на ночь уложить  
 Да у матери прощения просить.

### Фамилия

Наш род на исходе, но нет, не безлюбье мужское  
 Поповского корня обильный обрезало цвет:  
 Для этой державы обычное дело мирское —  
 Мужей истребили, и больше фамилии нет.

Придет эпидемия — сына семья потеряет,  
 Придет революция — старшие братья в расход,  
 А в тридцать втором всех останных судьба добирает,  
 Бабыё пошадит, но навеки отцов отберет.

И только война пожалеет, присудит «без вести  
 Пропал», чтобы матери все-таки младшего ждать.  
 Ни песен, ни пенсий... Назначит несчастной невесте  
 Библейскую жажду плодиться да право рыдать.

Вотще Веселовский в трудах перечислил подъячих<sup>1</sup> —  
 Изведено семя! Тебя только Бог и упас,  
 Малец некрещенный, сестрою рожденный в безбрачье,  
 Но серостью глаз, но строптивостью вышедший в нас.

\* \*  
 \*

Судьба моя — пожизненная ссылка  
 В усталые и мутные глаза,  
 Где алчно монопольная бутылка  
 Злаченные затмила образа,

Глаза, где я дроблюсь не отражаясь  
 И в потный ком прессуется людье...  
 Но дай сберечь простую эту жалость  
 И это сострадание мое.

О, награди всей горечью печали,  
 Тем среднестатистическим лицом,  
 Где нет уже божественной печати,  
 Где сходства нет ни с дедом, ни с отцом.

И спит мое возвышенное слово,  
 Но я в долгу до смерти у него,  
 Двужильного, святого, испитого,  
 Несчастливого народа моего.

Не дав идти в холерные бараки,  
 Трудом инородность превозмочь,  
 Поставь меня в толпу, когда во мраке  
 Ты явишься, сжигая эту ночь.

\* \*  
 \*

По садам, по брошенным садам  
 Я бреду, проваливаясь в ямы.  
 И Москва, прокуренный содом,  
 Мельтешит обманными огнями.

Чьи-то дни, о, сладостные дни  
 Погребли под сором и суглинком.  
 В черных трубах, на траншейном дне  
 Спрятаться бы камнем невеликим...

А весной так больно деревьям,  
 Так их жаль — ободранных, избитых...  
 Боже мой, так много даровал,  
 Но достаток отнят как избыток.

Дай мне силы защитить мой дом,  
 От безумья дай ты мне отсрочку!  
 Я целую вишенную почку,  
 Горький цвет, что мне в утешенье дан.

<sup>1</sup> Б. С. Веселовский, «Дьяки и подъячие Древней Руси».

\* \*  
\*

Люблю тебя, кладбищенский люпин,  
Мой альбинос, мой синий, розоватый...  
И этих уз не в силах разорвать я,  
Мне гробовых не разомкнуть объятий,  
Не сдвинуть ряда тех дерновых спин.

Вот так придет в Никольское мой сын  
Сажать цветы, подобно всем сиротам.  
Придет один, уйдет навек один,  
Моей виной промучась до седин,  
Наследным одиночеством измотан.

А по российским жальникам пустым —  
Как будто бы процветшие кресты.  
И символом родства и захолустья  
Стоит люпин — в соцветьях и стручках.  
Не о себе и плачу и молось я —  
О бедных детях, слепых стариках,

В ком жизнь взяла, кому я жизнь дала,  
Чей путь еще на этом свете длится,  
В чьих милых лицах, в чьих похожих лицах  
Я родственной улыбки так ждала.

\* \*  
\*

*Марии Авакумовой.*

Когда же Мария спросила меня:  
«Зачем ты все время больна?» —  
Я ей не сказала, живучесть кляня,  
Что жизнь мне совсем не нужна.

Мария, Мария, тебе ль вопрошать,  
Успения ты ль не ждала,  
Где можно уже не смотреть, не дышать,  
Где пень и теплая мгла!

Но бледный ребенок глядит на меня,  
Он к мукам земным не готов,  
И рано мне спать у свечного огня,  
Закутанной в белый покров.

Мария, возрадуйся вместе со мной:  
Мы мир с ним примем вдвоем,  
И каждую, каждой минутой земной  
Спасаюсь я в сыне своем.

\* \*  
\*

Жизнь потеряла ценность. Инстинкт продолжения рода,  
Закон сохранения вида полностью преодолен.  
Так лемминги, чтоб тонуть, бегут в океанские воды,  
И тесный гон олений жадой гибели распален.

Нам стало почти все равно: умереть или забыться.  
 Пьянство и бутифос или тяга в чернобыльский лес...  
 Ведь целый народ был отравлен пафосом самоубийства,  
 Точно навек был оставлен промыслом скорбных небес.

Что мне делать? Меня не хватает на все это горе,  
 Мало моей свечки, чтобы пройти сквозь ночь.  
 Господи, как мне страшно: ближнему я не опора,  
 Ближнему не помогаю — дальнему как мне помочь?

На интернатских детей не достало моей заботы,  
 Тысячи стариков в нищей немощи — я не взяла,  
 Я обманутых девочек не уберегла от абортотв,  
 От Афганистана мальчиков не спасла.

И своего ребенка я мучаю непониманьем,  
 И к своей матери редко я прихожу.  
 А друг мой умер в Израиле, друг мой погублен изгнаньем.  
 Бог меня спросит об этом — и что я тогда скажу?

За злобу в очередях мне тоже не будет прощенья.  
 Как я хочу поверить воскрешенью погибшей страны...  
 Но и в славянское свято<sup>2</sup>, в тысячелетье крещенья  
 Нет исповедальни слушать мои вины.<sup>1</sup>

1988.

### Радиация

Прощай и прости, что хлеба не преломили,  
 Что общего дома не знали и бедности не разделили.  
 Но тем отчуждением себя наказали мы сами...  
 Омыла бы ноги твои и отерла своей головы волосами,  
 Сожженные известью и неистовым излученьем,  
 Но их ты не дал целовать, ты выбрал бред и мученье.  
 Не верил любви, а когда в примирении кратком  
 Ожоги твои умащала шиповника красным экстрактом,  
 Чей запах вмещает плодов ворсистую мякоть  
 И масло целебное тригональных зерен,  
 Как трудно мне было глядеть на тебя и не плакать,  
 Но нежности этой моей ты не был покорен.  
 И в утро не мог пробуждением долгим упиться,  
 Ведь мстительный мир матерьяльный,  
 карающий за любопытство,  
 Уже опоил тебя мертвой тяжелой водою,  
 Уже затуманил глазницы предсмертной слюдою.

### Цветочница

Красная лампада горит  
 перед большой богородицей  
 с простонародными косами.  
 Царские врата украшены  
 гирляндами крупных белых ландышей,  
 их сплела моя бабка.

<sup>2</sup> Праздник.

Женам пропавших без вести  
 некуда ходить на могилы.  
 Они ставят венки  
 и букеты бумажных цветов  
 в хатах перед довоенными фотографиями  
 мужа и детей.

Вот как делают красные маки:  
 надо связать четыре лепестка,  
 намазать клеем зеленую головку  
 и обмакнуть в манку,  
 чтобы крупка была  
 как пыльца тычинок.

Цветочница, сделай такие цветки,  
 чтоб все помнили только детство,  
 где плетут из вишеня венки на голову,  
 где глиняные полы посыпаны лемешкой,  
 где на маккавей —  
 букеты из карих гремучих головок и чернобривцев.

\* \*  
 \*

*Д. М.*

В перервинской церкви при свете дневном,  
 В огромном слесарном цеху,  
 Где грязью закрашена роспись давно,  
 Есть ангелов строй наверху.

До них дотянуться рука не смогла  
 В тот срок социальных надежд  
 И лишь лазурита пыльцу соскребла  
 С подола наивных одежд.

Кто богом оставлен, кто так одинок,  
 Что только станок и любил,  
 Смотри же, смотри в голубой потолок  
 Где чистых кипение сил.

На Курской дороге гляжу из окна,  
 Всегда мне Перерва видна.  
 И взгляд эту церковь кирпичную ждет  
 В три смены там служба идет.

1982.



---

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

\*

## ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

*Рассказ*

— Ты никогда не решишься на это, — вдруг сказала она сонным голосом и погладила ему голову сонной рукой.

— Но почему? — спросил Николай Сергеевич после некоторой удивленной паузы, но она уже безмятежно спала.

Они впервые в жизни приехали в Абхазию из Москвы и жили на летней даче его друга художника Андрея Таркилова. Сам Андрей Таркилов, передавший ему ключ от дачи и начертивший ему план местности, чтобы он не запутался и точно попал куда надо, — сам Андрей Таркилов редко бывал здесь. Может быть, дело было в этом.

Под крышами крестьянских домов, мимо которых они проходили к морю, лепились ласточкины гнезда. Под некоторыми крышами — три, четыре или даже больше ласточкиных гнезд.

Они часто любовались ласточками, приносящими корм своим желтоклювым птенцам, тянущимся из гнезда, самой ласточкой, отдавшей корм и вертикально прикогтившейся к гнезду, время от времени поворачивающей головку то налево, то направо: не грозит ли что-нибудь моим птенцам? Кажется, нет. И как бы падая, слетая с гнезда, ласточка пускалась в путь, чтобы снова добывать корм. Иногда она слетала на ветку близ растущего дерева и начинала петь. Какая из ласточек самец, какая самка, они разобрать не могли.

На веранде одного из крестьянских домов они увидели ласточкино гнездо, прилепившееся на электрическом счетчике. Что бы это могло значить? — гадали они. Казалось, ласточки смело наметили условия примирения с цивилизацией: сверху гнездо, а снизу электрический счетчик. Казалось, ласточки хотели сказать: при доброжелательности обеих сторон у нас нет противоречия.

Николай Сергеевич с женой гадали: почему на карнизах некоторых домов всего одно или два ласточкиных гнезда, а на карнизах других домов их много? Обращенность дома в сторону юга? Нет, как будто от этого не зависит. Может, от возраста дома это зависит? Непохоже. Тогда от чего? Может, есть дух дома более уютный, более мирный, и ласточки чуют это и охотнее лепят гнезда под крышами таких домов? Кто его знает.

Странно, но под крышей дачи Андрея Таркилова не было ни одного ласточкиного гнезда, хотя дача была выстроена более десяти лет тому назад. Старый сельский учитель, большой поклонник Андрея Таркилова, много раз приглашавший их к себе домой, так им объяснил это:

— Андрей здесь редко бывает. Ласточки вьют гнезда под крышей человеческого дома, потому что ищут у человека защиты. Я так думаю. Я никогда не видел, чтобы ласточка свила гнездо под крышей амбара. Там человек редко бывает. Ласточки вьют гнезда или на диких, малодоступных скалах, или под крышей человеческого жилья.

И вот жена Николая Сергеевича как-то сказала, что никогда в жизни не просыпалась под пеньем ласточек. Она сказала, что для нее было бы счастьем



проснуться под пенью ласточек. И она потом об этом вспоминала бы всю жизнь.

И он вдруг ответил, что это можно устроить. Он, никогда в жизни ничего не устраивавший, сказал, что это можно устроить. Но он это сказал, и сказал именно потому, что никогда в жизни ничего не устраивал. И вообще в жизни ничего не переступал. Так совпало. Он чувствовал, что когда-нибудь в жизни надо переступить. И он пришел к этому старому учителю и попросил разрешения перенести одно ласточкино гнездо из-под крыши его дома под крышу Андрея Таркилова.

— Как перенести? — не понял старый учитель.

Но Николай Сергеевич уже кое-что обдумал по дороге.

— Ночью, когда ласточки спят, — сказал он, — отлепить гнездо и пристроить его под крышу Андрея.

В глазах старого сельского учителя мелькнул суеверный ужас. Но он быстро взял себя в руки. Несмотря на учительство, он был еще очень патриархальным человеком: надо гостю подарить то, что он просит.

— Пожалуйста, — сказал учитель, — берите... Но это как-то не принято...

— Разве ласточки не будут жить на новом месте?

— Почему не будут, — сказал учитель раздумчиво, — куда им деваться...

Им же надо кормить своих птенцов... Но это у нас не принято... Я такого не слышал...

— Надо же один раз в жизни сделать неслыханное...

Учитель криво усмехнулся и разлил по стаканам мягко струящуюся, пунцовую «изабеллу», как бы скромно возражая ему, как бы показывая, что предпочитает делать слышанное.

Физик Николай Сергеевич Аверин считался и, что гораздо важнее, был талантливым ученым. При этом он признавал, что плохо разбирается в людях.

— Это две необъятные области, — говаривал он шутивно, — нельзя одновременно хорошо разбираться в физике и в людях. Даже нельзя одновременно хорошо разбираться в физике и в физиках.

Из ненависти к российскому дилетантству он целиком сосредоточился на своей области науки. Разумеется, не только из ненависти. Настоящее наслаждение, настоящий азарт в поисках истины давала ему только наука. Клещами логической интуиции медленно вытянутая из космоса новая закономерность — вот сладость жизни, вот упоение!

Но и это было: ненависть к дилетантству. Любовь к универсальным идеям обречала его быть наивным человеком, из чего следует, что не наивным людям нечего делать в области универсальных идей, а это им обидно. Николай Сергеевич знал о своей наивности, но не подозревал о ее масштабах.

Он долго любил людей своей профессии, но любовь эта почти всегда была безответна.

— У Бога нет такой задачи: хороший физик, — говаривал он, — Бог такими мелочами не занимается. Он ценит приближенность человека к его, Бога, задаче. За этим он следит ревниво.

Это было хорошим утешением плохим физикам, но они этого не понимали и злились на него, тем самым, по-видимому, удаляясь и от задачи Бога.

Недавно в институте, где он работал, возникла невероятная в своей подлости ситуация. Он отдыхал с одним физиком из своего института в Прибалтике. Каждый занимался своим делом, хотя на подножном уровне их работы исходили из общей идеи.

Во время долгих прогулок вдоль мелкого моря они много говорили, и, к несчастью Николая Сергеевича, он этому ученому кое-что подсказал, имеющее цитатное сходство с его собственной работой.

Внезапно уже в Москве этот физик умер, а потом почти одновременно их работы появились в двух научных журналах. И вдруг поползли слухи, что и работа Николая Сергеевича принадлежит умершему физика, что тот ему дал ее посмотреть и умер, а Николай Сергеевич присвоил эту работу.

Чем фантастичней клевета, тем реальной злость, которая за ней стоит. Слух был чудовищен по своей нелепости. Это было все равно что поющего басом спутать с поющим тенором. Однако желающих поверить оказалось достаточно: «Будет знать, как говорить: у Бога нет такой задачи — хороший физик».

Положение особенно осложнялось тем, что мнимый соперник его умер. Не мог же он вслух произнести, что покойник вообще не тянул на работу такого класса. И только один молодой физик, Николай Сергеевич давно заметил его, сам подошел к нему и высказал именно эту мысль.

Этот молодой физик предложил устроить суд чести. Подозревался приятель покойного, работу которого Николай Сергеевич когда-то забраковал. Сам Николай Сергеевич об этом начисто забыл, а тот не забыл. Тут была обидная тонкость. Николай Сергеевич слишком легко и быстро нашел ошибку в этой долгой и потной работе. По отсутствию стройности мысли он догадался, что работа ошибочна, а догадавшись, быстро нашел ошибку.

В сущности, Николай Сергеевич нанес ему двойной удар, сам того не заметив. Мало того что он забраковал работу этого физика, о чем быстро забыл, он еще, как бы приблизив к себе его друга, поехал с ним работать и отдыхать. И вот грянуло возмездие.

Все люди братья, но не все люди — люди. Николай Сергеевич этой истины не знал и потому был выше нас, знающих эту истину, но и ранимей нас. В сущности, по своему профессиональному рангу он не должен был брать на рецензию работу малоизвестного физика. Но он пожалел его и взял — и поплатился за это. Он приподнял слабого над землей и вынужден был бросить его, и тем больней тот ударился о землю, над которой сам своими силами никогда не мог воспарить.

Николай Сергеевич отказался от предложения молодого физика устроить суд чести. Его ужасала сама скандальность ситуации, сама необходимость публично окунуть человека в грязь, даже если тот вполне заслужил это. Однако на душе было тяжело. В тот вечер он пришел в мастерскую Андрея Таркилова, и они написались. Он ему обо всем рассказал.

— Ты дурак, — сказал ему Андрей Таркилов, — а дуракам везет. Ты дурак, которому повезло на хорошую голову. Вот тебе и завидуют. Я бы ему просто врезал как следует. Но ты? Алкоголик-дилетант.

Подтрунивая над его нелюбовью к дилетантству, он кивнул на недопитую рюмку Николая Сергеевича. После чего бесцеремонно снял с него очки и поцеловал его в глаза. Этими двумя действиями он как бы продемонстрировал отношение жизни к Николаю Сергеевичу и собственное отношение к нему. Николай Сергеевич молчал, наивно дожидаясь, когда Андрей Таркилов водрузит на место очки. И когда он их водрузил, Николай Сергеевич взмолился:

— Но за что? Я никогда в жизни никому дорогу не переходил!

— И за это тоже, — безжалостно поправил его художник, — смотри, какой гордый: никому дорогу не переходил. Значит, презираешь.

Не переходил, не переступал, и так всю жизнь.

С Андреем Таркиловым они познакомились давно. Тогда Андрей Таркилов мало выставлялся и был почти нищим. Николай Сергеевич очень рано стал доктором наук и имел возможность покупать картины Андрея. Они подружились.

Внешне трудно было представить людей более не похожих друг на друга. Небольшого роста, широкоплечий, взрывчатый Андрей Таркилов и высокий, нескладный, близорукий Николай Сергеевич, почти всегда уступчивый, как бы цепенеющий перед возможностью скандала. И кажется, только Андрей Таркилов понимал, что он цепенет от пошлости, а не от чего-то другого. И кажется, только Андрей Таркилов ценил его волю к творчеству и духовное мужество.

Это духовное мужество заключалось, по мнению Андрея Таркилова, в том, что Николай Сергеевич пренебрегал основным законом человеческого сообщества: повелевать или подчиняться. Николай Сергеевич демонстративно отказывался повелевать и мягко уклонялся от подчинения. И это

раздражало и склонных подчиняться и склонных повелевать. Пожалуй, готовых подчиняться его авторитету раздражало больше.

Он как бы приглашал окружающих людей свободно, по велению разума и совести определяться в каждом вопросе. Но человеку утомительно свободно, по велению совести и разума определяться в каждом вопросе. Ему приятней или подчиниться авторитету, или подчинить своему авторитету других, пользуясь старыми заслугами, иногда, впрочем, надуманными.

Здесь, на юге, вспоминая эту безумную клевету относительно присвоения чужой работы, он иногда думал: «А может, я не прав? Может, надо было пойти на этот проклятый суд чести? Но как это невыносимо — вдыхать смрад человеческого бесчестия!»

Он родился в Курской области, в маленьком районном городе, в семье учителя. Однажды ребята с его улицы предложили устроить набег на совхозный яблоневый сад. И он отказался. Не потому, что там был сторож с ружьем, заряженным солью, а потому что ему уже тогда было противно брать чужое. Но объяснить это ребятам было невозможно, потому что кругом воровали, и взрослые воровали больше, чем дети.

А может, все-таки главным было ружье сторожа, заряженное солью? Говорили, что рана от этой солевой пули причиняет невыносимую боль. Он выдержал насмешки ребят, но, придя домой, взял спички, заперся в комнате, закатал рукав рубашки и приставил зажженную спичку к руке ниже локтевого сгиба. Он превозмог боль и навсегда запомнил запах собственного горелого мяса. Боль стала совершенно невыносимой, когда пламя добралось до пальцев, сжимавших спичку. Но почему? Он подумал, что мозг его, усилив боль от огня в пальцах, посылает им сигнал разжаться, перестать жечь собственное тело. Но он не разжал пальцев и, глядя на черный, скорчившийся трупик спички, сам перестал корчиться от стыда. Нет, убедился он, дело не в ружье сторожа, заряженном солью. Но кто его знает, до конца ли он убедился в этом?

И вот теперь жена ему говорит, что он никогда не решится перенести ласточкино гнездо, хотя он уже решился и они обо всем договорились, и она, казалось, поверила ему.

И вдруг сейчас она почти сквозь сон выражает сомнение. Было особенно обидно, что она сразу после этого заснула. А ведь он уже прибил дощечку под тем местом, где должен был прилепить ласточкино гнездо.

Он еще раньше заметил, что на карнизах некоторых домов под ласточкиными гнездами были прибиты дощечки, куски фанеры или драни. Он считал, что хозяева этих домов таким образом подстраховывали ласточкины гнезда, чтобы они не упали на землю, если вдруг отлепятся от ветра или еще по какой-нибудь причине. На самом деле эти дощечки под некоторыми ласточкиными гнездами были прибиты, чтобы птичий помет не падал вниз на веранду. Но он этого не знал и повышенную брезгливость принял за повышенное милосердие.

Услышав слова засыпающей жены, он решил это сделать сегодня же ночью, хотя собирался сделать это завтрашней ночью. Старый учитель вместе с домочадцами уехал на несколько дней в город к сыну, и он не мог никого побеспокоить.

Он тихо встал, нащупал свои очки, лежавшие на тумбочке, и вооружил глаза. После этого он в полутьме тихо оделся в шерстяной спортивный костюм, обулся в кеды и вышел на кухню.

Когда он выходил из спальни, он обратил внимание на то, что дверь в нее распахнута и проем странно зияет, словно дверь вырвана взрывом. Его охватила какая-то тревога. Он оглянулся на жену. Она безмятежно спала.

\* \* \*

Лет десять назад с Николаем Сергеевичем случилось вот что. Возвращаясь из института, он, как говорил в таких случаях, поймал мысль и находился в необычайно возбужденно-восторженном состоянии. Впрочем, каждый раз, когда ему удавалось поймать мысль, решить сложную задачу, он

приходил в такое состояние. Пойманная мысль казалась ему настолько значительней его самого и окружающих людей, что он забывал обычную свою сдержанность и ему хотелось поиграть с людьми, как с детьми. Впрочем, обычно такое случалось в тиши кабинета или во время творческой бессонницы, так что рядом не оказывалось людей, с которыми хотелось поиграть, как с детьми.

Скорее всего дальнейшее объясняется именно этим. У одного уличного перехода, дожидаясь зеленого света, он вдруг заметил стоящую рядом женщину. Она была с двумя маленькими детьми и большой собакой. И женщина, и дети, и собака показались ему необычайно яркими. Молодая женщина была действительно хороша, и дети были хороши, и собака была под цвет ее рыжеватых распущенных волос.

Женщина, как заметил Николай Сергеевич, была несколько обеспокоена необходимостью перевести через улицу и детей и собаку. Во всяком случае, она несколько раз переносила поводок из одной руки в другую, по-видимому не зная, рядом с каким ребенком вести собаку, с тем, что помолже, или с тем, что постарше. Обоих детей она держала за руки, и длинный рыжеватый хвост собаки забавно гармонировал с ее распущенными волосами.

— Собаку, которую вы подобрали с таким вкусом, я взять на руки не могу, — вдруг неожиданно для себя сказал Николай Сергеевич, — а ребенка возьму, если собака позволит.

С этими словами он подхватил ребенка, стоявшего рядом с ним. Собака вопросительно посмотрела на женщину, а потом на поднятого ребенка. Женщина тряхнула длинными волосами и, взглянув на него, рассмеялась.

Зажегся зеленый свет, и они перешли улицу. Дальше начинался сквер, где женщина с детьми и собакой, по-видимому, собрались гулять. Он поставил малыша на ноги. Женщина поблагодарила его и так гостеприимно улыбнулась, что он пошел рядом с ними, тем более ему было по пути.

Это был необыкновенный случай, и поведение его было необыкновенным. Никогда в жизни он не заговаривал со случайно встреченной женщиной. Позже, вспоминая все, что случилось, он уверился, что его невероятно возбужденное состояние было предвестником этой встречи. То, что возбужденное состояние было вызвано, как он говаривал, пойманной мыслью, он забыл, хотя мысль, конечно, помнил.

Он радостно удивлялся, что ему так легко и просто с этой незнакомой женщиной, и чем больше он радовался и удивлялся этому, тем легче и проще ему становилось.

Узнав, что он физик, женщина сказала, что и муж ее физик, и вдруг застенчиво поинтересовалась его именем. Он назвал себя.

— О! — тихо воскликнула она с каким-то необыкновенно сдержанным горловым звуком и взглянула на него, как бы сдерживая блеск своих больших зеленых глаз, отчего они еще сильнее заблестели. — Мой муж в восторге от ваших работ.

Он знал, что известен в кругу физиков-теоретиков, но она так лично обрадовалась, что душа его наполнилась благодарным теплом. Они дошли до конца сквера и попрощались. Она сказала, что почти каждый день в это время прогуливается здесь с детьми, а иногда и с собакой. И она снова улыбнулась ему, протягивая руку, и снова, казалось, она сдерживает блеск своих ярких глаз, отчего они еще сильнее блестели.

Николай Сергеевич чувствовал себя опьяненным. Он уже влюбился, хотя еще не знал об этом. Они много раз в течение месяца встречались в этом сквере. Она была здесь всегда с детьми, но без собаки. Он видел в этом проявление тонкого, далеко идущего такта: собаку как хранительницу домашнего очага она исключила из их общения. И когда после первой встречи он снова увидел ее здесь, он заметил, нет, ему не показалось, что она слегка покраснела и так нежно потянулась к нему, что он совсем потерял голову.

У них оказалась общая страсть — классическая музыка. Боже, боже, как все поздно приходит! С юношеских лет у него была теперь уже полузабытая мечта о счастье: сидеть на концерте любимой музыки, держа в руке руку любимой девушки.

Но так получалось, что когда он влюблялся в девушку летучей студенческой влюбленностью, ему было не до музыки. А когда он добивался права приходить с ней на концерт, выяснялось, что ей до лампочки его классическая музыка. Так получилось и с женой, в которую он позже влюбился и так упорно добивался ее, что и ему тогда было не до музыки, а когда они позже стали ходить на концерты, выяснилось, что она равнодушна к музыке.

Жена его преподавала в институте английский язык и, как это ни странно, испытывала ревность к его успехам в науке. Когда кто-нибудь из физиков или иностранных коллег, которые стали наезжать в горбачевские времена, выражали ее мужу свое восхищение, лицо ее принимало грустное выражение хорошенькой обезьянки, вывезенной в северные широты.

Бедная феминистка! Николай Сергеевич даже английский язык знал лучше нее, вернее, у него был больший запас слов. Она считала, что и сама могла сделать хорошую филологическую карьеру, если бы ее целиком не поглощали заботы о семье. Он эти заботы действительно мало разделял. И она брала реванш, всячески подчеркивая его неспособность к практической жизни.

И вот он влюбился. Ему вдруг стали сниться томительные юношеские сны, где он был с этой женщиной. Он просыпался и краснел в темноте. И в темноте движением, исполненным невероятного комизма, если бы, зная все это, можно было бы все это видеть со стороны, — так вот, в темноте он подымал голову над подушкой и близоруко смотрел на кровать жены, как бы стыдясь, что она во сне догадается о его снах.

Он уже знал, что эта молодая женщина с двумя чудесными детьми ради него готова на все, и ему думалось, что и он теперь не сможет жить без нее и готов порвать со своей семьей. Было необыкновенно тревожно, больно, счастливо! Однако мысленно он представлял, что все это будет не так уж скоро.

И вдруг она решила познакомить его со своим мужем. Зачем она это решила, он точно не знал. Видимо, так она готовила мужа к неизбежной разлуке, и Николай Сергеевич счел это достаточно честным, смягчающим удар решением.

Они встретились в консерватории, но, увы, не так, как он об этом мечтал: один на один. Он был со своей женой, она была со своим мужем. Правда, Николай Сергеевич к ним подошел, когда жена его отправилась в буфет пить лимонад. В консерватории она всегда оживлялась при виде буфета.

Он подошел к любимой женщине и ее мужу. Видимо, она ему уже что-то сказала или он сам обо всем догадался. Муж ее был красив и окинул его гордым, почти надменным взглядом. Николай Сергеевич даже слегка растерялся. Но когда они протянули друг другу руки, муж ее с такой судорожной силой сжал его ладонь, так, вероятно, выброшенный с лодки хватается за руку выбросившего его, и он увидел в гордых за мгновение до этого глазах ее мужа такое страдание, такую мольбу, такую неуверенность в себе и одновременно с этим такое жадное, страдальческое любопытство: а была ли близость? — что Николай Сергеевич, внезапно оглушенный этой болью, забыл о себе, забыл о своей любви, забыл обо всем и, взглянув ему прямо в глаза, крикнул ему своими близорукими, но теперь всевидящими глазами: ничего не было и не будет!

И кажется, муж ее понял это. А внешне все выглядело так, словно молодой ученый своим затянущимся рукопожатием выражает мастеру почтительный восторг. Ни его собственная жена, ни тем более чуть позже подошедшая жена Николая Сергеевича ничего не заметили.

Потом они расселись по своим местам, и была трагическая музыка под управлением знаменитого дирижера, и он власть упивался страстными, прощально-примиряющими звуками, одновременно стыдясь слез, наворачивающихся на глаза, и несколько раз подносил платок к лицу, якобы утирая пот, чтобы украдкой промокнуть глаза, а потом очнулся под гром аплодисментов, когда стали подносить цветы дирижеру и пианисту.

— Какая бравурная музыка, — вдруг сказала жена.

— Бравурная? — переспросил он.

— Живая, — поправилась она.

— Живая?! — повторил он, но она уже не слушала его, а здоровалась с супружеской парой, работающей в ее институте.

В ту ночь он не спал до утра. Через тот раздражающий душу разряд боли и жалости к ее мужу он почувствовал будущую боль собственного мальчика, он почувствовал боль ее детей, которые останутся без отца, и менее всего он чувствовал боль собственной жены.

Он никогда не давал повода к ревности, но если б он ушел от нее, это было бы грандиозным возмездием за ее постоянную, иногда злорадную уверенность, что он не способен ни на какой практический шаг.

Больше юношеские сны его не тревожили. Да, он не смог переступить. Она ему несколько раз звонила на работу, но он и с ней говорил уклончиво (и тут не мог сразу переступить), и вскоре звонки заглохли. Он мучился. И только Андрей Таркилов знал об этой истории. И с гневной грубостью пытался утешить его: «Не горюй! Неизвестно, кто бы перенес ее ребенка в следующий раз!»

...Музыка... Ладонь в любимой ладони... Ласточкино гнездо...

\* \* \*

Так вот он, подлец! И нельзя об этом сказать, и нельзя его ударить, и нельзя его убить! Слишком сложный клубок при этом размотается, да он и не способен размотать этот клубок. И подлец об этом знает и потому так спокойно, так интеллигентно, время от времени поправляя очки, разговаривает со своим собеседником, зная и видя, что Николай Сергеевич стоит от него в десяти шагах.

Звали подлеца Альфред Иванович, и сейчас Николаю Сергеевичу казалось, что в этом имени уже заключена мировая пошлость и человек с таким именем не может не быть подлецом.

Невыносимо было видеть это породистое, почти красивое лицо с выражением агрессивной готовности к благородному поступку. Николаю Сергеевичу вдруг представилось, что такие лица, вероятно, бывают у истинных карточных шулеров, хотя сам он в карты не играл и никогда близко не видел картежников.

Хотелось бежать, бежать от него подальше! Но сколько можно бежать от него! Надо перешибить в себе это чувство невероятной неловкости, надо забыть о его существовании.

Легко сказать! Николаю Сергеевичу становилось все хуже и хуже. Они сейчас стояли у входа в театр в ожидании начала спектакля. Они случайно встретились здесь. Но так ли уж случайно? Николай Сергеевич, когда ему предложили в институте билеты на этот нашумевший спектакль, в глубине души предчувствовал, что Альфред Иванович может оказаться здесь, и как бы желал этой встречи, чтобы перешибить манию брезгливого ужаса, которую он испытывал в последнее время при виде этого человека.

Жена отказалась идти на спектакль, и он оказался один перед этим человеком со своей манией брезгливого ужаса. Ему становилось все хуже и хуже. До начала спектакля оставалось минут пятнадцать, и он сдался. Перестал пытаться перешибить эту манию, вошел в театр и сел на свое место, все еще преодолевая накатывающие на него волны дурноты. Дурнота не проходила, и он вдруг испугался, что, если во время спектакля ему станет совсем нехорошо, будет ужасно неудобно пробираться из ряда, вызывая у зрителей раздраженное беспокойство.

Он встал и вышел из театра. Альфреда Ивановича у входа уже не было, он, видимо, уже сел на свое место. Николаю Сергеевичу сейчас было так плохо, что он даже почувствовал к Альфреду Ивановичу некоторую благодарность за то, что тот исчез. При этом он про себя успел отметить странность этой благодарности. Тут ему повезло. И сразу же повезло еще раз. К театру подкатило такси с пассажирами, которые спешили на спектакль, и он сел в такси, и шофер не стал морочить голову, что ему некогда и тому подобное, а повез его домой по названному адресу.

...Но что же было, что произошло? Два месяца назад Альфред Иванович ворвался к нему в кабинет, исполненный какой-то карающей решимости. Он

принес письмо-протест по поводу суда над правозащитниками. Дело было шито белыми нитками, и суд был, по существу, закрытым, хотя это противоречило всем законам.

— Если согласен и не боишься, подпиши, — с вызовом сказал Альфред Иванович, стоя над ним, пока он читал письмо в правительство.

Читая письмо, Николай Сергеевич автоматически взял ручку и поднес ее к письму.

— Ни слова не менять, — воскликнул Альфред Иванович, — или ты подписываешь, или отказываешься! Третьего не дано!

— Отсутствие запятых тоже знак протеста? — спросил у него Николай Сергеевич, подымая голову над письмом.

— Запятыя можно, — не чувствуя юмора, согласился Альфред Иванович, заглядывая в текст и нисколько не смущаясь. По-видимому, отсутствие некоторых запятых он относил за счет слепящего гнева, который владел им во время составления письма.

Николай Сергеевич прочел письмо, расставил недостающие запятыя и расписался. Уже расписавшись, он отметил про себя, что его подпись слишком полемически большая и отчетливая, и это не только и даже не столько знак протеста против суда, сколько знак насмешки над составителем письма, который слишком преувеличивал героизм своей общественной активности.

Николай Сергеевич вручил Альфреду Ивановичу подписанное письмо, и тот долго и внимательно рассматривал его подпись, словно не слишком доверяя ее подлинности. Скорее всего он был несколько разочарован в том, что Николай Сергеевич письмо подписал. Скорее всего он предпочел бы, чтобы Николай Сергеевич отверг письмо, а он произнес бы жаркую речь о тех, кто уткнулся в свои формулы, когда страна катится в пропасть.

— Только как бы это письмо не оказалось в заграничной прессе раньше, чем правительство его прочтет, — сказал Николай Сергеевич.

— Как это может быть? — оскорбился Альфред Иванович.

— Полиция может по своим каналам передать его на Запад, чтобы иметь аргумент против подписавших письмо, — пояснил свою мысль Николай Сергеевич.

— Волков бояться — в лес не ходить, — торжественно заявил составитель письма и, довольный, что последнее слово осталось за ним, удалился из кабинета.

Всего шесть физиков подписали письмо. Альфред Иванович тоже был физиком, но работал в другом институте. По мнению гуманитарной интеллигенции, он был крупным физиком, а по мнению физиков, он был крупным знатоком современного искусства. Николай Сергеевич считал, что достижения Альфреда Ивановича в физике достаточно скромны, но он удивлялся даже этим скромным достижениям, поскольку Альфред Иванович всегда был на людях и непонятно было, когда он успевал работать.

Николай Сергеевич как в воду глядел. Через неделю письмо было прочитано по радиоголосу, и всех подписавших стали вызывать в прокуратуру, где с ними говорил явно следователь КГБ.

Следователь, разговаривая с Николаем Сергеевичем, имел неосторожность спросить у него:

— Откуда вы взяли, что мы могли отослать ваше письмо на Запад?

Сердце у Николая Сергеевича на миг сжалось, но в следующий миг он нашелся.

— Откуда вы взяли, что я мог высказать такое предположение? — смело спросил он.

— Мы всё знаем. Стены имеют уши, — ответил следователь, — а за клевету можем привлечь и к судебной ответственности.

Самое главное в разговоре со следователем было это. И Николаю Сергеевичу стало совершенно ясно, что выдал его сам Альфред Иванович. Просто струсил и выдал. Возможно, зная, что он составитель и распространитель письма, на него чуть сильнее надавили.

Но как следователь мог оказаться столь неосторожным? По-видимому, размышлял Николай Сергеевич, следователю просто в голову не могло

прийти, что это предположение он высказал один на один с этим человеком. Обычно они преувеличивают заговорщицкий характер подобного рода протестов и думают, что люди, подписавшие письмо, долго обсуждают все варианты судеб письма и собственных судеб. Николай Сергеевич не исключал и того, что следователь мог нарочно бросить этот камушек, чтобы люди, подписавшие письмо, перессорились и перестали доверять друг другу.

Самое забавное, что Николай Сергеевич давно предполагал, что Альфред Иванович трусоват. Слишком часто тот поднимал разговоры о своей общественной и личной лихости. Эта назойливость была подозрительна. Николай Сергеевич считал, что Альфред Иванович самому себе и другим доказывает существование того, чего нет. Николай Сергеевич был уверен, что истинно существенный человек меньше всего занят своим мужеством.

Трусость — скорее всего эстетически малопривлекательное свойство человека. В конце концов, трусость — личное дело труса. Но трус становится безнравственным, когда берется за дело, требующее мужества. Альфред Иванович, будучи слишком честолюбивым, взялся за это дело и в решительный момент не выдержал. Вообще-то он всегда был общественно активным человеком, но до разговора со следователем у него дело никогда не доходило. А тут дошло.

Через некоторое время после всех этих вызовов они встретились в одном зале, где все крепко выпили, а Альфред Иванович, по своему обыкновению, по мере опьянения и даже несколько опережая его либеральничал и вольничал.

Николай Сергеевич, предварительно хорошо потеснив алкоголем свою природную деликатность, рассказал ему о диалоге, который у него произошел со следователем. И вдруг Альфред Иванович с маху отрезвел и уставился на него глазами, остекленевшими под стеклами очков.

— И что же тебе следователь на это сказал? — спросил Альфред Иванович.

— «Мы всё знаем. Стены имеют уши», — повторил Николай Сергеевич без всякой иронии, чтобы успокоить его. Он сам облегченно вздохнул, давая Альфреду Ивановичу облегченно вздохнуть. Тут выпитый алкоголь был потеснен природной деликатностью Николая Сергеевича.

— Они и в самом деле слишком много знают! — не моргнув глазом воскликнул Альфред Иванович и, поняв, что скандала не будет, облегченно опьянел, предварительно успев посмотреть по сторонам.

После этого вечера, когда Альфред Иванович так внезапно отрезвел, словно прохваченный лубяным сквозняком, Николай Сергеевич окончательно и бесповоротно убедился, что тот выболтал его слова.

И что-то замкнулось внутри. Они и раньше встречались достаточно редко, но теперь при каждой встрече Николай Сергеевич испытывал чудовищную неловкость. Однажды, увидев его в коридоре своего института, он с каким-то шоковым ужасом юркнул в кабинет. Иногда, если он заранее видел его, он брал себя в руки и кое-как выдерживал его присутствие. Альфред Иванович что-то новое заметил в его поведении, но понял это по-своему. Он несколько раз глядел на него со снисходительной улыбкой, дескать, прости, я втянул тебя в нашу диссидентскую жизнь с ее неприятностями, но больше не буду. Так можно было понять его улыбочку. Возможно, он вообще забыл о том пьяном признании Николая Сергеевича. Допустим, забыл. Но сам-то он не мог не помнить о том, что сказал следователю, не мог не помнить, что виноват перед Николаем Сергеевичем. Нет, ничего не было заметно.

Необъяснимость такой бессовестности ставила в тупик Николая Сергеевича. Им овладела какая-то мания ужаса и брезгливости. Однажды, издали увидев его на улице — тот шел навстречу — и поняв, что тот его еще не заметил, он рванул через улицу и чуть не угодил под машину.

Ко всему еще и директор института вызвал его к себе в кабинет. В свое время директор был хорошим физиком, но уже много лет все его умственные силы уходили на то, чтобы удержаться на своем высоком посту. Впрочем, профессионального ума ему еще доставало, чтобы высоко ценить Николая Сергеевича.

Директор встретил его с руками, растопыренными над огромным столом в сокрушительном недоумении. Черная западная сигара, откровенно нарушая законы физики и не падая, небрежно торчала из угла его рта.



Взглянув на Николая Сергеевича, директор вдруг вспомнил далекие времена, когда он работал в Абхазии в Физико-техническом институте. Тогда у его дочери был незадачливый жених, который написал в правительство дерзкое письмо о перестройке сельского хозяйства. Пришлось отдалить дочь от этого доморощенного реформатора. Интересно было бы узнать, вышло из него что-нибудь или нет. Директор попытался припомнить его имя, но не смог. Вдруг перед его глазами всплыл теплоход «Адмирал Нахимов». К чему бы это? — тревожно подумал он, но, догадавшись, успокоился: дочь, живущая сейчас в Одессе, на этом теплоходе туда уехала.

— Как вы, аристократ мысли, могли подписать это глупое письмо! — начал он. — Я знаю, это Альфред Иванович сбил вас с толку. Ну как вы могли подписать письмо вместе с этим вечно раздутым павлином, с этим прохиндеем, с этим трусом? Ну признайтесь, здесь никого нет. Этот любимец московских салонов — прохиндей.

И в самом деле вечно раздутый павлин, и в самом деле прохиндей, думал про себя Николай Сергеевич, но сейчас соглашаться с директором было как-то неприлично, и он промолчал. Когда директор, пытавшийся свой монолог превратить в диалог, закончил, он только спросил у него:

— Откуда вы взяли, что он трус?

Тут он не мог не попытаться удовлетворить свое любопытство.

— А разве павлин может не быть трусом? — со странной логикой удивился директор.

Но откуда он, директор, знает не только о существовании Альфреда Ивановича, но и о некоторых свойствах его натуры? Это было столь же необъяснимо, как и тяжелая сигара, торчавшая из угла его рта, с цинической откровенностью пренебрегающая законами всемирного тяготения.

На самом деле директор звонил в институт, где работал Альфред Иванович, и у своего коллеги получил на него характеристику.

— Видел вашу подпись под письмом, — улыбнулся директор в конце разговора. — Буквы больше моей сигары. Прямо — быть посему!

Он расхохотался.

— Где вы это видели? — спросил Николай Сергеевич, стыдясь, что он слишком крупно, как-то неинтеллигентно расписался.

— В ЦК, где еще, — ответил директор. — И там я вас отбивал от этого прохиндея.

В конце концов они договорились, что если уж ему вздумается поправлять курс правительства, он это будет делать сам.

— Быть посему, — на прощанье сказал ему директор и, пыхнув сигарой, склонился к телефону.

...И вот эта ужасная встреча у входа в театр, его бегство, его облегченный вздох, когда он рухнул на сиденье такси. Они поехали, но ему становилось все хуже и хуже. Он теперь страстно мечтал добраться до дому. К тому же таксист оказался чудовищно словоохотливым. Он стал рассказывать ему, что держит дома породистых собак, что этим он зарабатывает на жизнь. А такси — это только так, на прокорм собакам. Случка — главная статья дохода. Случка — главная статья дохода.

И это длилось минут двадцать, а ему становилось все хуже и хуже, и он не мог прервать таксиста. И вдруг таксист сам себя прервал, и ему стало совсем плохо.

— Надо доехать до заправки, бензин кончается, — сказал таксист.

— Пожалуйста, прямо домой, — попросил Николай Сергеевич, — я очень плохо себя чувствую.

Шофер быстро посмотрел на него и, что-то поняв, молча поехал дальше. Николай Сергеевич с невероятным трудом выговорил эти слова. Язык почти не ворочался во рту, и сейчас он почувствовал, что его левая нога и левая рука как-то отяжелели и почти не подчиняются ему.

Инфаркт — мелькнуло в голове. Но он тут же отбросил эту мысль. Он знал, что при инфаркте бывает боль. Никакой боли он не чувствовал и поэтому решил, что это инсульт.

Ему становилось все хуже и хуже. И он подумал: приближается смерть. Да, смерть. Это было так странно и неожиданно. Гораздо неожиданной. чем

приближение смерти, показалось ему почти полное отсутствие страха перед ней. Возможно, дело было в том, что смерть освобождала от общения с утомительными хамами. Но прямо об этом он не думал. Было ощущение неловкости и даже некоторой нечистоплотности, если это случится здесь, в дороге, и с его трупом придется возиться ни в чем не повинному шоферу такси.

Он вдруг вспомнил, что у него недостаточно денег, чтобы расплатиться с шофером. Это показалось ему ужасным. Он, конечно, знал, что дома есть деньги, но он боялся, что если это случится в дороге, таксисту никто не оплатит за его проезд. Ему вдруг пришло в голову предложить таксисту часы. Но как? Снять с трупа или заранее ему отдать? Говорить об этом было неловко даже в том смысле, что язык у него все чувствительней онемевал во рту. Левая рука и левая нога становились все тяжелей и тяжелей и все меньше ему подчинялись.

Минут через десять он вдруг понял, что они уже близко от дома, и его оставила мысль о смерти в дороге. Он подумал, что это скорее всего произойдет дома и надо во что бы то ни стало не забыть сказать жене, когда она откроет дверь, чтобы она расплатилась с таксистом.

Шофер все чаще и все тревожней поглядывал на него. Николай Сергеевич чувствовал, что кожа на его лице как-то стянулась и лицо его, вероятно, застыло в малопривлекательной гримасе. Он подумал, что если шофер проводит его такого или еще худшего до двери, может быть, он сам постесняется попросить у жены деньги. А жена, увидев, в каком он состоянии, конечно, не догадается сама о том, что надо расплатиться с таксистом. Не забыть напомнить. Странно, подумал он с некоторой дозой потустороннего юмора: перед смертью надо расплатиться с таксистом.

Он еще больше сосредоточился на этой мысли, и тревога по поводу предстоящей смерти, и без того небольшая, совсем отодвинулась.

Потом он опять вспомнил о ней. И опять удивился почти полному отсутствию страха. Он подумал о всей своей жизни. Он подумал, что жизнь была неловкой. Он подумал, что неловкая жизнь и должна была кончиться вот такой неловкой смертью.

Но что было первичным? Неостановимая тяга к гармонии науки отнимала жизненные силы и делала его жизнь неловкой или страсть к науке была компенсацией за неловкость жить? Он не мог сейчас ответить на этот вопрос. Он только твердо знал, что ловкость жить есть бесстыжесть по отношению к самой жизни и это делает по высшему счету бессмысленной самую эту ловкость. Все дело в уровне брезгливости, смутно подумал он, и, почувствовав, что сейчас не сможет до полной ясности довести эту мысль, оставил ее.

Он вдруг вспомнил, что в школе на уроках военного дела ему никогда не давалась шагистика. Все смеялись над ним, когда он неловко, очень неловко вышагивал своими длинными ногами и делал всякие повороты. И он вместе со всеми посмеивался над собой, чтобы скрыть смущение. Но ему было больно, что он такой неловкий.

Зато учебную гранату, как это ни странно, он кидал дальше всех. Намного дальше. Значит, в нем была какая-то природная вспышка мышечной силы? Там, где все, как и он, не проходили особой тренировки, он оказался сильнее всех. Впрочем, подумал он, и шагистикой никто не занимался вне уроков. Но некоторым она сразу хорошо давалась. А ему — никогда. Возможно, подумал он, дело в иронии. В нем всегда было развито чувство иронии. Шагистика не выносит иронии. Попытка преодолеть внутреннюю иронию делала шаги его деревянными. «Как странно, — подумал он, — что я сейчас вспомнил об этих далеких школьных делах»...

Они уже подъезжали к дому, и он решил попросить шофера проводить его до самых дверей. Надо было подняться на шестой этаж. А вдруг лифт перестал работать, с тоской подумал он. Но это редко бывает, успокоил он себя. Он хотел попросить шофера проводить его не только потому, что был не уверен, сможет ли подняться сам. Здесь была и уловка по поводу денег. Чтобы не объясняться с таксистом в машине, удобней будет там сразу в дверях сказать

жене о деньгах. «Вот и я проявил ловкость жить», — подумал он про свою хитрость. И уточнил — чтобы удобней умереть.

Но таксист сам вдруг взялся его проводить. Они поднялись на лифте. У дверей он еще смог позвонить в привычном ритме жизни, как звонил обычно. Жена распахнула дверь.

— Что с тобой?! — вскричала она, взглянув на его лицо. По ее лицу, искаженному страхом, он понял, насколько ужасно его лицо. Но он не дал себя отвлечь.

— Расплатись, — с трудом выговорил он и кивнул на таксиста.

Жена побежала за деньгами. Он вошел в комнату и рухнул на диван. И подумал: «Хорошо, что я не забыл жене напомнить о таксисте, хорошо, что я позвонил в дверь в привычном ритме жизни». Немного беспокоило, что жена слишком мало даст на чай. Она была прижимиста. Но исправлять ее именно теперь было поздно.

Жена всбжала в комнату.

— Боже, что с тобой случилось?! — крикнула она.

— Расплатилась? — с трудом спросил он, чтобы довести дело до конца. Язык почти не подчинился. Левая рука и левая нога очугунели. Но теперь он лежал у себя на диване.

— Да! Да! — закричала жена. — Что с тобой случилось?

— Плохо, — сказал он, выбрав самый короткий ответ.

Жена вызвала по телефону «скорую помощь». Ему было все так же плохо, но не хуже. Он подумал о странной, бессмысленной комедии жизни. Жизнь страшна не своей трагичностью, а своим ничтожеством, подумал он. Если бы Альфред Иванович был профессиональным провокатором, это было бы понятно: попался. Но Николай Сергеевич был уверен, что тот, ничтожно испугавшись, выдал его, чтобы показаться им достаточно лояльным, своим.

Взгляд его случайно остановился на дверце бара в книжном шкафу. А что, если выпить — и вдруг все пройдет, подумал он с неожиданной надеждой. Это же не инфаркт? Нет, решил он, надо дождаться врача. Неизвестно, как алкоголь действует при инсульте.

Он вспомнил о сыне, которого сейчас не было дома. Как бы его не напугать своим видом. Когда мальчик был поменьше, ему было лет восемь, он водил его к зубному врачу. Мальчику вырывали зуб. Какие-то там были затруднения. Как он кричал, бедный мальчик, какая невероятная мука была слышать этот долгий, несмолкающий крик. И когда после всего они возвращались домой, мальчик вдруг сказал ему:

— Наклонись, папа.

Он наклонился, и мальчик, обняв его за шею, поцеловал его в лицо. И ничего слаще этого поцелуя он, кажется, не испытал в жизни. Обычно мальчик сурово отстранялся от его ласки и никогда сам не целовал его. А тут сам его так нежно поцеловал. Неужели только через страдание путь к высшему блаженству? Мальчик своим поцелуем как бы извинялся перед отцом за невольно причиненные ему страдания, благодарил за участие и просил прощения за то, что раньше всегда сурово отстранялся от его ласки.

Он думал о своем мальчике, а все остальное казалось ему ничтожным. И плоды его научных работ, в которые он вложил столько страсти и труда и которые сам он и многие коллеги находили значительными, сейчас ему казались банальными и жалкими. Кое-что из того, что брезжило в замыслах, кажется, чего-то стоило, но об этом лучше было не думать. Скорее всего руки до этого не дойдут.

Позвонили в дверь, и в комнату вошли врач «скорой помощи» и медсестра. Жена полусшепотом что-то ей говорила. Врач, поздоровавшись, присел к нему на диван и, взяв его руку, пощупала пульс. Видимо, пульс ей ничего не подсказал.

— Что с вами случилось, — спросила она, — расскажите.

— Я пришел в театр, — начал он, с трудом выговаривая слова, — и увидел...

И тут он понял, что об этом невозможно рассказать, и не только потому, что трудно выговаривать слова. Он замолк и задумался.

— И увидели, — вдруг подхватила врач, — неприятного вам человека?

Он был потрясен точностью ее догадки.

— Да! Да! — вскрикнул он и вдруг поверил, что будет жить. Он схватил правой рукой ее прохладную кисть. Было приятно ощущать ясную прохладу ее руки. Но как она могла догадаться о том, что случилось?

— Вы просто переволновались, — сказала она, — скоро все пройдет.

Через несколько минут она сделала ему какой-то укол и ушла. Он почувствовал, что ему стало гораздо лучше. Лекарство сняло дурноту и как-то слегка опьянило его. И сейчас он снова задумался о жизни. Она ему представлялась теперь такой же ничтожной, но милой в своей ничтожности. Надо жалеть жизнь, замирая от нежности, думал он, надо любить ее, как беспомощного, глупого ребенка, из которого когда-нибудь что-нибудь получится. Но сейчас, сегодня глупо ждать от нее значительности и смысла. Именно в том и смысл, чтобы любить ее такой вот ничтожной, слабой, глупой. Лекарство, видимо, делало свое дело. По всему телу растекалась блаженная слабость, но рука и нога уже больше не отнимались, разделив со всем его телом эту блаженную беспомощность.

На следующий день он отлеживался и почитывал книгу. Он все размышлял о том, как это врач догадалась о причине, вызвавшей его состояние. И теперь, хотя он с удовольствием вспоминал то свое первое изумление ее догадкой, он не видел в этом никакой мистики. Как много людей, с грустью подумал он, после встреч со своими знакомыми обращаются в «скорую помощь». Потому-то врач так быстро догадалась обо всем.

Через день он уже сидел в мастерской Андрея Таркилова и рассказывал ему о случившемся.

— Надо было выпить стакан водяры, и все бы сняло, — заключил Андрей. — И зачем ты с этим ничтожеством связался. Я всегда знал, что он ничтожество.

— Откуда знал? — спросил Николай Сергеевич.

— Я же видел его, — сказал Андрей Таркилов. — А художнику видеть человека — все равно что читать его тайную биографию. Иногда, когда я пишу портрет человека, снимая слой за слоем с его лица, мне такое открывается, что не выпить нельзя. Поневоле становишься алкоголиком. Ну а этот виден сразу: прохиндей.

\* \* \*

Несколько дней назад здесь, на юге, работая за столом Андрея Таркилова и пытаясь избавиться от груды уже не нужных черновиков, он дотянулся до корзины, стоявшей под столом, чтобы выбросить их туда. На дне корзины он увидел смятый кусок бумаги. Подозревая, что это может быть какой-то набросок Андрея, он достал мятый лист бумаги, зацепившийся за прутья плетеной корзины, и осторожно расправил его.

Так оно и оказалось. Быстрый карандашный рисунок изображал мужчину, сидевшего, по-видимому, за столом. Ни стола, ни лица мужчины не было видно. Однако мужчина явно сидел за столом, обхватив руками падающую голову. Неимоверная сила рук едва удерживала бессильную тяжесть головы.

Николай Сергеевич был потрясен выплеском отчаянья на этом наброске. Это был, конечно, автопортрет, хотя никаких черт лица вообще не было видно, разве что сила рук, подпиравших голову, намекала, что это руки Андрея.

Николай Сергеевич вдруг вскочил из-за стола! Его первой безумной мыслью было сейчас же бежать, ехать, лететь и спасти друга! С такой силой отчаянья человек не может справиться сам, надо ему помочь!

Однако, очнувшись, он сообразил, что набросок сделан год назад, когда Андрей приезжал сюда, а может быть, и раньше. Значит, справился.

Боже, боже, что мы знаем друг о друге! Откуда такое отчаянье! Андрей Таркилов давно и при славе и при деньгах. Ну а личная жизнь у него всегда была запутана.

Он снова сел и, разглаживая листок с наброском, словно успокаивая, лаская изображенную фигуру, автоматически повторял про себя слова шекспировского сонета:

И видеть мощь у немощи в плену.

Николай Сергеевич долго смотрел на этот рисунок, и вдруг каким-то странным образом, он сам не знал, почему и как это случилось, на него из этого же листа стал струиться тихий, смывающий отчаянье свет. Но почему? Потому что руки все-таки удерживают эту бессильно падающую голову? Или что-то другое? Бесстрашие зафиксированного страдания само становится лекарством от страдания?

Он вспомнил слова Андрея о сущности художественного творчества. Настоящий художник, говорил Андрей, вкладывает в картину субъективную творческую силу, всегда превосходящую силу сюжета. Это тот излишек, который есть необходимость для искусства. Степень превосходства субъективной силы художника над силой сюжета и есть степень таланта художника. Усмиряющий жизнь кнут гармонии. Так, кажется, он это называл. При отсутствии в картине превосходящей сюжет субъективной силы художника картина издает скребущий звук ложки о дно котелка. Созерцать такую картину неприятно, как неприятно следить за усилиями инвалида, которому нельзя помочь.

Взгляды на искусство у него были резкие и непримиримые. Над абстракцией он просто смеялся. Любой персидский ковер, говаривал он, перекроет всех абстракционистов. Нэвация хороша, говорил он, если хватает порошу сохранять принцип содержательности. Но на это как раз порошу обычно не хватает.

Тенденцию в искусстве надо доводить до кругосветного безумия, чтобы она, обогнув земной шар, возвратилась в точку реальности, из которой вышла. Имитатор всегда выглядит мастеровитей мастера. Мастер пашет, а имитатор пахает не может, он тяпкой мотыжит вспаханное другим. А дураки ахают: как хорошо обработано поле! Так он, кажется, говорил.

Кроме картин Андрея Таркилова, у Николая Сергеевича хранилось более сотни его карандашных набросков. Николай Сергеевич знал нескольких художников, Андрей его знакомил с ними, но, как он заметил, ни один из них так не разбрасывался своими рисунками. Это нельзя было назвать даже щедростью. Щедрость хотя бы знает о своей щедрости. Андрей ни во что не ставил свои наброски, если они не имели отношения к картине, над которой он сейчас работал. Все оставалось там, где он в последний раз пил водку или чай. И что совершенно замечательно, думал Николай Сергеевич, место, где он пил водку, в этом смысле не имело никакого преимущества над местом, где он пил чай. Нельзя было не подивиться этому, учитывая его повышенную склонность к алкоголю. Одним словом, все разбрасывалось и раздаривалось. На упреки Николая Сергеевича он отвечал: «Всякую линию, которая чего-нибудь стоит, рука запоминает сама. А то, чего она не запоминает, ничего не стоит».

Ему вдруг мучительно захотелось поговорить с Андреем. Андрей его предупреждал, что из сельсовета можно дозвониться до Москвы, хотя это не всегда просто. И председатель сельсовета сам ему несколько раз напоминал об этом. Он в последний раз нежно разгладил листок с наброском и отправился в сельсовет.

Кроме всего ему надо было через Андрея передать сыну, чтобы он приезжал сюда отдыхать со своей юной женой. У сына в квартире не было телефона, но он баловался живописью и часто бывал в мастерской Андрея.

Перед отъездом он договаривался с сыном, что если здесь будет все хорошо, он его пригласит сюда. Несмотря на неустроенность холостяцкой дачи Андрея, все здесь им понравилось. Какое наслаждение было для Николая Сергеевича босиком ходить по голой травянистой усадьбе Андрея, подошвами ног чувствуя щекочущее прикосновение детства! Он физически ощущал, как через босые ноги в него вливаются жизненные силы, он молодеет от этого

чудного заземления. Как гениален все-таки миф об Антее, какая грандиозная реальность стоит за ним! А щедрость теплого моря, а необыкновенная доброжелательность соседей (гость Андрея!), а обильная животворящая природа!

Ему удалось довольно быстро соединиться с Москвой и поговорить с Андреем. Он что-то сбивчиво начал рассказывать о его наброске, но Андрей только непонятливо помывкивал.

— Кажется, у меня крыша поехала, — наконец пробурчал он, — я ясно помню, что вытряхнул корзину с бумагами.... Ты лучше скажи: хорошо вам?

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнул Николай Сергеевич. — Я никогда так хорошо не отдыхал! Пусть Витька даст телеграмму! Мы его встретим! Пусть прилетает быстрее!

— Зачем телеграмма, — возразил Андрей, — я ему нарисую план местности, как я это сделал тебе. Или ты думаешь, что он тупее тебя, если это вообще возможно?

— Ты подхамливаешь, — радостно воскликнул Николай Сергеевич, — значит, у тебя все в порядке!

— Да, вроде налаживается, — сумрачно ответил Андрей, и неясно было, что он имеет в виду: свою запутанную жизнь или работу. Несмотря на долгую дружбу с Андреем и большое желание знать правду, Николай Сергеевич из обычной своей деликатности не стал ничего уточнять.

После разговора с Андреем председатель сельсовета зашел в кабинет, с комической важностью закрыл дверь на ключ и, усевшись напротив Николая Сергеевича, стал жаловаться на Андрея.

— Сколько раз я ему говорил: Андрей, ты же художник! на твоём участке должны расти розочки. Я бесплатно могу достать до тридцати корней розочек. Агроном соседнего совхоза мой друг. У него полно розочек. Я бы сам посадил. Но он же художник. Он должен мне сказать, где и как посадить розочки, где фруктовые саженцы, где пустить лозу «изабеллы» и где «качич». Надо вовремя приехать — или весной, или поздней осенью. Что я ему ни скажу, он мне отвечает: потом, потом. Я его даже называю про себя: Андрей Потом. Поговори с ним серьезно. Перед нашими людьми тоже неудобно. Некоторые начинают сомневаться, что он известный художник. Некоторые даже думают, что он хочет уехать в Америку, потому здесь корни не пускает. Надо хотя бы розочки посадить для начала.

— Обязательно поговорю, — пожимая ему руку, ответил Николай Сергеевич с полной серьезностью, тронутый забавной заботливостью председателя сельсовета.

Тот удовлетворенно кивнул ему в ответ и, по-видимому считая свою миссию выполненной, отомкнул дверь, но, выпуская его из кабинета, вдруг спросил:

— Как вы думаете, Горбачев жив?

Всем народом было замечено, что Горбачев задумал нечто необычное, ни на что предыдущее не похожее. Интеллигенция, боясь взглянуть его, тихо радовалась, но многие достаточно громко злобились. Время от времени Горбачев вдруг исчезал куда-то — ни речей, ни встреч со знатными иностранцами, ни ссылок на него в прессе. И тогда напоздали слухи, что он арестован или даже убит. Но он опять выныривал откуда-то и продолжал свои странные, отступательно-наступательные речи. Сейчас он в очередной раз окунулся в небытие, и снова поползли темные слухи.

— Думаю, что жив, — ответил Николай Сергеевич.

— Вот и я так считаю, — бодро поддержал его председатель сельсовета, — на Мюсеру день и ночь ползут грузовики.

— А что там? — спросил Николай Сергеевич.

— Новую дачу строят Горбачеву, — пояснил председатель сельсовета, — я думаю, если бы что-нибудь с ним случилось, стройку бы сразу остановили. Нет! День и ночь ползут грузовики на Мюсеру. Ползут и ползут.

Безумная родина, думал Николай Сергеевич, возвращаясь к себе. Конец двадцатого века, а мы, просыпаясь, гадаем: не придушен ли этой ночью наш вожь своими соратничками? И что это за манера у наших вождей, думал

он: как только они приходят к власти, начинают громоздить себе дома и дачи. как будто до этого жили в подвалах или палатках.

Николай Сергеевич зажег свет в кухне и достал тюбик с универсальным клеем. Этим клеем он хотел обмазать то место на карнизе, куда собирался прилепить ласточкино гнездо. Все было предусмотрено, но тревога не проходила. Он вспомнил темный проем в спальню и ощущение, что дверь вырвана взрывом.

Но и то, что он собирался сейчас сделать, было бессознательным желанием заложить, замкнуть этот проем, образованный тихим и долгим взрывом. Однако тревога не проходила. Он достал из холодильника бутылку и выпил две стопки крепчайшей чачи, кстати, подаренной тем же учителем. Он сразу почувствовал, что ему полегчало. Какое удивление, какую благодарность почувствует жена, если завтра проснется под щебет ласточек! Положив тюбик с клеем в карман, он погасил свет и вышел из дому.

Была глубокая южная ночь. Отсюда, с холма, виднелась спокойная равнина моря, озаренная низкой, багровой луной. Лунная дорожка была похожа на расширяющееся у горизонта распятие. С неба светили крупные, свежие, слегка размазанные звезды. Он никак не мог привыкнуть к их величине.

Ночь была пронизана журчащими вблизи и вдали голосами последних, летних соловьев. Пью, пью, пью, пью — ровным крепким голосом пел соловей где-то совсем близко. А я цежу, а я цежу — отвечал ему более тонким голосом какой-то соловей, расположившийся где-то подальше, но явно так, чтобы слышать именно этого соловья. Взахлеб! захлеб! захлеб! — вдруг потерял терпенье ближайший соловей. Брызжу! брызжу! брызжу! — в ответ залился тот, что так аккуратно цедил до этого. Пью, пью, пью — ровным голосом предложил начать все сначала первый соловей. Второй согласился: а я цежу, а я цежу. Внезапно, перекрывая друг друга, залились оба в каком-то совершенно непонятном сладостном исступлении: брызг! брызг! брызг!

Он слушал и слушал этот водопой, водолей, водобрызг ночных брачных песен. Потом невольно вздохнул и подхватил стремянку, прислоненную к веранде как раз под тем местом, где он собирался подлепить ласточкино гнездо. Вдруг ему пришло в голову, что потом, когда он принесет гнездо с ласточками и птенцами, ему будет несподручно намазывать карниз клеем. Он решил сделать это сейчас. В крайнем случае, если клей успеет высохнуть, он снова намажет им это место.

Он снова поставил стремянку, раздвинул ее, проверил, прочно ли она стоит на земле, и полез вверх. Над самой прибитой дощечкой он щедро выдавил клей на карниз и тщательно размазал его.

Он слез со стремянки и почувствовал, что пальцы правой руки стали неприятно клейкими. Он положил тюбик с клеем на перила веранды. Потом нагнулся и тщательно протер ладонь о росистую ночную траву. Распрямился, подвигал пальцами. Стало лучше, но некоторая клейкость пальцев оставалась. Он сложил стремянку, взял ее на правое плечо и вышел на сельскую улочку.

До дома учителя было минут двадцать ходу. Он спустился улочкой до сельского магазина, который стоял слева по улице. Здесь он свернул направо на тропу, которая вела к дому учителя.

Сторож, охранявший магазин и сидевший на деревянных ступенях лестницы у ее входа, заметил его. Человек, глубокой ночью идущий куда-то со стремянкой на плече, показался ему подозрительным. Человек явно был не из местных. Сторож это понял по его долговязой фигуре. Но пока он все это прокручивал в своих тяжеловатых мозгах, человек свернул на тропу и исчез в темноте. И теперь сторож сожалел, что сразу не окликнул его.

Когда Николай Сергеевич подошел к дому учителя, из соседней усадьбы, где жила одинокая вдова, с лаем выскочила собака учителя. Это вдова подкармливала собаку, когда учитель с домашними уезжал в город к сыну, и поэтому, видимо, собака охраняла оба дома.

Приблизившись к нему, собака узнала его и в дикой радости стала прыгать вокруг него, взвизгивая и стараясь лизнуть его в лицо. Они успели

поллюбить друг друга за время его посещения старого учителя. А тут она еще, видимо, скучала по хозяину и радовалась человеку, которого хозяин так ласково встречал.

Он поставил стремянку и с удовольствием потрепал необыкновенно возбужденную от этой встречи собаку. Поглаживая ее, он, сам того не замечая, оттирал свою клейкую правую ладонь о ее шерсть, как о траву. Собака от избытка чувств вскочила и побежала по усадьбе.

Он снова взял стремянку и подошел к веранде дома, где на карнизе лепились ласточкины гнезда. Он поставил, раздвинул и укрепил стремянку возле крайнего гнезда. Он посмотрел вверх на комья ласточкиных гнезд, и ему показалось, что он услышал сонное, уютное попискивание птенцов. Он решил последний раз все обдумать, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки.

Действия должны быть такими. Тихо взобравшись по стремянке и дотянувшись до гнезда, надо быстро левой ладонью прикрыть гнездо, чтобы ласточки не вылетели. А правой рукой, обхватив гнездо, надо осторожно, осторожно, очень осторожно, чтобы гнездо не развалилось, расшатать его и снять.

Пока он стоял и, глядя на гнездо, думал о том, что ему предстоит сделать, вдруг что-то сильно ударило его сзади, и он рухнул на колени. Оказывается, это собака налетела на него и ударила его всем своим телом. Больше всего его удивила четкость, с которой он не упал, а именно рухнул на колени. И он удивился легкости, с которой он рухнул. Человек — неустойчивая конструкция, подумал он.

Продолжая стоять на коленях, он опять погладил ее и пригрозил ей пальцем. Она была слишком возбуждена, и он с тревогой подумал, а что будет, если она с такой силой налетит на стремянку, когда он залезет наверх.

Он встал. Собака вдруг взвyla и побежала. Он полез на стремянку. Неприятная липкость в правой руке от волнения чувствовалась сильнее. Он долез до предпоследней ступеньки. Теперь высоты было достаточно. Он замер. Ему показалось, что он слышит сонное попискивание птенцов.

Превозмогая сильно, неожиданное желание тихо слезть со стремянки и уйти и не давая себе это сделать, он быстро прикрыл ладонью левой руки гнездо. Теперь он услышал воинственный писк ласточек и почувствовал несколько сердитых клевков в ладонь. Он осторожно, продолжая чувствовать неприятную липкость пальцев правой руки, обхватил гнездо и тихонько шатнул его. Гнездо, как зрелый плод, легко оторвалось и оказалось в его ладони. Продолжая прикрывать его левой рукой и придерживая правой, он стал осторожно слезать со стремянки. Он не учел, как трудно будет слезать со стремянки без помощи рук. Несколько раз ему казалось, что он не удержит равновесия и грохнется вниз. И каждый раз представляя свое падение, он мысленно вытягивал руки вверх, чтобы не раздавить ласточек, чтобы удержать гнездо в воздухе.

Все-таки он благополучно добрался до земли. Сейчас, стоя возле стремянки весь мокрый от холодного пота, он до конца осознал, какие волнения ему пришлось преодолеть и когда снимал гнездо, и когда слезал со стремянки.

Главное позади, подумал он с облегчением и с какой-то вороватой гордостью. Такого он никогда не испытывал в жизни, и он себя не узнавал, как это иногда бывает во сне. Ласточки ожесточенно клевали его ладонь и пищали.

Вдруг он понял, что сейчас никак не сможет унести стремянку — обе руки заняты. Без стремянки он не мог укрепить гнездо на новом месте и унести стремянку не мог. На миг ему показалось, что он попал в какой-то кошмарный тупик, из которого нет выхода. И прилепить гнездо на старое место он уже не мог или хотя бы поставить его на дощечку, придвинув плотнее к карнизу, поскольку под этими гнездами не было никакой защитной дощечки.

В конце концов он догадался, что можно прийти домой, завернуть гнездо в полотенце, но так, чтобы ласточки не задохнулись, а потом снова прийти сюда и взять стремянку.



Когда он уходил, собака снова набежала на него и в прыжке попыталась дотянуться до ласточкиного гнезда. Он успел приподнять руки. Собака тихо взвывала и, бегая вокруг него, еще несколько раз прыгала, пытаясь дотянуться до ласточкиного гнезда. Он подумал, что, вероятно, эта дворняжка с примесью охотничьих кровей и теперь, почувствовав в его руке дичь, пришла в неистовство. Впрочем, он никогда не видел охотничьих собак в работе.

Покидая усадьбу учителя, он строго прикрикнул на собаку и решил, что, возвращаясь за стремянкой, принесет ей чего-нибудь поесть. Он быстро шел по тропе, ощущая всем телом восторг достигнутой цели, который мгновеньями легко переходил в ужас перед несестественностью своего занятия. С некоторым облегчением он заметил, что ласточки перестали бить клювами в его ладонь, но продолжали попискивать, хотя и реже, чем раньше. Может, они начинают смиряться со своим новым положением, подумал он с надеждой.

Когда он свернул на сельскую улочку, сторож снова заметил его и узнал его долговязую фигуру. Он понял, что это тот же человек, но теперь без стремянки. Сделал свое дело, бросил стремянку и ушел, подумал он. Он заметил, что этот человек сейчас что-то прижимает к груди. Скорее всего драгоценную вещь. Может быть, шкатулку. Он несет в руках вещь не тяжелую, но драгоценную.

— Стой! — крикнул сторож и, опершись на ружье, приподнялся со ступенек крыльца.

Человек, услышав сторожа, остановился на миг, оглянулся на него и вдруг очень быстро пошел дальше.

— Стой, стрелять буду! — крикнул сторож, уже выйдя на улочку и окончательно уверившись, что это ночной вор. У него в руках шкатулка с драгоценностями, и он потому не останавливается. И он из подлой хитрости оставил стремянку там, где он залез в чей-то дом. Стремянку он тоже где-то украл, и те, кого он ограбил теперь, из-за этой стремянки пойдут по ложному следу. И он в ограбленном доме уже бывал, потому так быстро сделал свое дело. Знал, где стоит шкатулка, взял ее и ушел.

Николай Сергеевич, услышав голос сторожа и остановившись на миг, вдруг осознал всю нелепость и постыдность своего положения. Он, взрослый человек, среди ночи несет в руках ласточкино гнездо с ласточками и птенцами. Он почувствовал, что с точки зрения деревенского сторожа это какой-то дикий абсурд. Ему было ужасно стыдно объясняться со сторожем, и потому он, услышав его окрик, только прибавил шагу. Сторож еще несколько раз пытался остановить его криками, но он не остановился. Он не верил, что сторож может в него выстрелить из-за этого ласточкиного гнезда.

А сторож, заметив, что человек пошел быстрее, окончательно уверился, что он преступник. Но пока он пытался остановить его криками и угрозами, тот слился с темнотой. Улочка была обсажена платанами, и лунный свет на нее не падал. Сторож был уверен, что вор теперь куда-то свернул и убежал. И вдруг он снова появился на улочке в свете единственного фонаря. «До чего же обнаглели, — гневно подумал сторож, — вор даже не свернул и не испугался моих криков!» И тогда он быстро, чтобы не упустить его из-под света фонаря, прицелился и выстрелил.

Николай Сергеевич услышал выстрел через мгновение после смертельного удара пули, и звук выстрела вдруг показался ему оглушительным треском сломавшейся под ним стремянки. И ему почудилось, что он падает с нее. И он сделал то, что собирался сделать, когда думал, что может сорваться со стремянки. Падая на спину, он вытянул вперед руки, чтобы не повредить гнездо и не раздавить ласточек. Потом он осторожно положил руки с гнездом на грудь. Он чувствовал, что падает и падает куда-то, но сообразил, что земля еще близко и можно поставить на нее ласточкино гнездо, прежде чем он пролетит мимо. Он вытянул правую руку и поставил гнездо на землю.

Ласточки вылетели из гнезда и с криками носились над ним, а точнее, над своими птенцами. Птенцы выползли из гнезда и доползли до травянистого склона канавки, ограждающей улочку. Там в траве они запутались, и ласточки

теперь с криками пронеслись над канавкой, то появляясь в свете уличного фонаря, то погружаясь во тьму.

Последним, предсмертным движением Николай Сергеевич откинул руку в сторону ласточкиного гнезда, и она, уже мертвая, упала на гнездо, и оно рассыпалось в прах.

И потому сторож, когда подошел к нему и убедился, что он мертв, никак не мог понять, куда делся предмет, который он держал в руках. Он не мог понять, откуда налетели эти две ласточки, кричащие тут, словно оплакивающие мертвого. Или преследующие его, убийцу? Так, бывало, в деревне ласточки пикировали над кошкой или собакой или с негодующими криками догоняли в воздухе тяжелую ворону, заподозрив их в страшном замысле разорить гнездо.

Вдруг сторож заметил очки, валявшиеся рядом с убитым, и он похолодел от смутной догадки. Его небогатый деревенский опыт подсказывал ему, что ночные воры не бывают в очках. Если б он разглядел, что этот человек в очках, он, пожалуй, не стал бы стрелять. Но ведь была же стремянка, и он что-то нес в руках?

На всякий случай, чтобы уменьшить вину за свой выстрел, он поднял очки и забросил их в кусты ежевики, разросшейся у дороги... А то потом доказывай судейским, что было темно и он не разглядел, что этот человек в очках, какие носят много читающие и потому мало ворующие люди. Но ведь была же стремянка, и он нес что-то в руках? Что-то не тяжелое, но драгоценное. Может, он выкинул шкатулку, пока был в темноте, и потому не свернул никуда? Надо прочесать дорогу.

Нет, сначала надо позвать людей и отнести труп в больницу. Ласточки, криками взрезая ночной воздух, то стелились над самой землей у фонаря, то ныряли в темноту. Где-то завывла собака. Стали перекликаться проснувшиеся крестьяне, пытаясь понять, кто и почему стрелял. Ласточки вконец осатанели. Но ведь была же стремянка, была же стремянка, или он сошел с ума и это совсем другой человек?!

...Через два месяца после буйного, всеокрушающего запоя Андрей Таркилов вышел из больницы и даже начал работать.



---

---

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

\*

## ДЛИННЫЕ СВЕЧИ ДОЛГО ГОРЯТ

\* \*  
\*

Жизнь после смерти есть. Я умерла  
И вот попала в вечность — город вечный.  
Теперь я знаю, что скрывала мгла  
Последняя и что сказал мне встречный,  
Последний в жизни той, когда осуждена  
Была я на Эдем, который не заслужен,  
Не выстрадан моим безверием досужим —  
Ни этот грозный зной, ни эта тишина.

А встречный говорил, что соль крута в раю,  
Где персик да инжир свисают с ветки каждой,  
Что буду мучиться неутолимой жаждой.  
Хоть плоть свою сожгла, чем душу напою?

Живу внутри стиха, где между строк — песок,  
Где юный Яков — рубашка цвета хаки —  
С Рахелью обнялся — их караулят маки,  
И черный автомат, как пес, лежит у ног.

Зачем я в бестелесности моей,  
Предвидя и в раю явление Амалека,  
В большую даль гляжу, где больше полувека  
Жила, не зная, что в раю больней...

\* \*  
\*

Была мне радость только в слове.  
Все вновс. Но зачем я тут,  
Когда два камня в Вострякове<sup>4</sup>  
Тоскуют обо мне и ждут.  
Меж ледяных и знойных ветров —  
Без голоса и без лица —  
Ищу лишь двух квадратный метров,  
Где тень отца,

Где мамы тень над рыжей глиной  
Меж свалкой и березняком,  
Где головы моей повинной  
Не приклонить. И в горле ком.

\* \*  
\*

Там, где сторел Содом, едкие пятна окалины.  
Отбушевавшее пламя зовет оглянуться назад.  
В Мертвое море столпы соляные повалены,  
Длинными льдинами, Арктикой белой лежат.

Жар застыл над горами, как северное сияние.  
Пахнет дымом и серой, черным хлебом и домом,  
Но между домом и мною такое же расстояние,  
Как между маревом Арктики и красным дождем над Содомом.

### Первый пасхальный вечер

Ф. Я.

Горькая зелень,  
Сладкий орех.  
Здесь угощения  
Хватит на всех.

Всех-то нас — двое.  
Бокалы красны.  
Счастье лихое,  
Привкус вины.

Видишь — свобода?  
Просторно сидим.

Праздник исхода  
Запьем, заедим.

Длинные свечи  
Долго горят.  
Горбятся плечи,  
Туманится взгляд.

Дремлешь ты в кресле.  
Покой, благодать.  
Тени исчезли.  
Некого ждать.

### После Пасхи

Вот и закончился праздник пасхальный.  
Снова батон, пухлотелый, нахальный,  
Не умещается в сумке прозрачной.  
За ночь с прилавков смахнули мацу.  
Все ли оплачено,  
Что предназначено?  
Может, блужданья подходят к концу?

Белая скатерть в пятнах от сока.  
Сдвинут, задвинут торжественный стол.  
Обетованная радость далеко.  
Кто из нас в Землю Святую вошел?

Новая убрана на год посуда.  
Сбивчивый, был ли услышан кадишь?  
Как мы устали, как хочется чуда!  
Господи, что ж ты с укором глядишь?



---

---

МИХАИЛ БУТОВ

\*

## ИЗВЕСТЬ

*Рассказ*

**П**рой эта война заставляла штабс-капитана Лампе вспоминать цветные картонные вкладки в шоколаде: «Кругосветное путешествие Ани и Вани».

Будто бы треть мира только и ждала срока, чтобы ринуться перемешиваться, убивать и гибнуть в хаосе русской смуты. Корейцы у большевиков, таинственно-жестокое, кромсающие после боя ножами лица убитым врагам; здесь — китайский отряд, почти механические солдаты, способные равнодушно умирать в назначенном месте. Еще — неведомо где набранные Корниловым разноцветные персы, еще — текинцы личной охраны генерала; командование соседней ротой принимал недавно знакомый Лампе еще по австрийскому фронту штабс-капитан Чичуа — грузинский князь. Чехи, румыны, казаки любых мастей — с ноября семнадцатого при неизменном заднике стилой, заснеженной степи все они прошли перед Лампе словно страницы этнографического труда.

Но нукеры, с которыми пришлось столкнуться сегодня, даже привычного Лампе заставили испытать удивление, граничащее с ужасом. Когда все закончилось, он вернулся, чтобы рассмотреть трупы. Низкорослые, с обмотанными цветным тряпьем бритыми головами и грубо кованными, загнутыми на концах саблями. Огнестрельного оружия не было. Лампе сказал про себя: казары!

Он думал: никто из нас не знает главного — чем притягивают большевики на свою сторону подобных этим. Что сумели их главари (представившиеся ему некими смутными полутенями-полусилуэтами) передать по долгой цепи вниз, чтобы поднять и отправить под пули за свою власть и свои идеи тех, кому не могло быть дела ни до этих идей, ни до перипетий слишком далекой власти? Ведь не совместить такую первобытность с миром общественных утопий и политической борьбы. Что это — солидарность дикости? Или притяжение обожествленного насилия? Не исключено, впрочем, что попросту платят золотом.

Один из них, безнадежно раненный в живот, согнулся на красном снегу и скалил зубы в сторону штабс-капитана. От злобы или от боли — на этом лице не понять. Лампе подумал: не выстрелить ли? — но не решился, ибо неизвестно было отношение этого дикаря к смерти, и оттого вышло бы действие, по-бесовски лишенное сущности: ни жестокость, ни избавление.

В станицу, уже занятую юнкерами, входили группами, без строя. На углу, у церковки, человек двадцать пленных испуганно жались к стене. Голос подпоручика Закревского взлетел и сорвался, не осилив фразы:

— Смотрите, господа! Тулупы... Их мать!

— Пан! Пан! — лепетали пленные. — Не стрелял! Работать!

Сопровождавший их молоденький юнкер пытался объяснить:

— Это австрийцы. Еще с Юго-Западного. Работали здесь.

— Какого черта! Тулупы и валенки! Полроты можно одеть!

Австрийцев окружили. Оттеснив юнкера, Закревский сдернул с плеча винтовку.

— Господа, помогите мне! У кого негодная обувь...

Еще несколько винтовок опустилось вниз.

— Раздевайтесь, все! — приказал подпоручик и повел стволом. — Ну, живее!

— Но как же, — запротестовал юнкер. — Приказано в штаб. Восемь верст.

— Ничего, доберутся. Если уж сюда добрались...

Почувяв смертный ветер, немчины теснее прижимались друг к другу. Тот, что был выше других, быстро тараторил что-то и умоляюще заламывал руки. Выглядело театрально, даже смешно. Закревский тряхнул его несколько раз за ворот, выпрастывая из тулупа. Остальные, уразумев, что от них требуется, торопливо снимали свои и протягивали вперед, улыбаясь с робкой надеждой.

— Валенки, валенки давай тоже! — крикнули из толпы.

Где-то за их головами юнкер узрел подмогу.

— Господин полковник! Здесь...

...Теперь, вытянувшись в чистенькой вдовьей хате на широкой, постланной мехом лавке, Лампе в подробностях вспоминал сцену и тем, как держал себя, остался в результате доволен. Привычка оглядываться — тем более задним числом — на то, как смотришься со стороны, есть качество школярское, но Лампе словно играл с собой, получая удовольствие от самого осознания этого школярства, ибо научился за три года фронта пониманию, что даже игра в нечто довоенное становится здесь ценнее многого, может быть — всего...

Полковник врезался на лошади в толпу корниловцев — черно-красные и серебранные погоны раздались в стороны.

— Прекратите! Подпоручик, прекратите немедленно!

Штабной полковник, артиллерист. Лампе и фамилии его не знал. Белый конь. И адъютант в наличии, гарцует чуть позади.

— Штабс-капитан! Извольте приказать своим людям...

Лампе опустил глаза. Сапоги у полковника сияюще-новенькие, наверняка с мехом внутри. У Закревского хотя и целые (многие завидуют), но летние, тонкие. Обе ступни обморожены под Чалтырью. Но об этом, само собой, артиллерийский полковник знать не обязан.

Еще на прошлой, такой обыкновенной, войне, где врага определяла всего лишь речь, Лампе научился оставаться равнодушным к подобного рода несоответствиям. Не то чтобы смирился, не считал уже, что нравственного оправдания такому положению вещей нет и быть не может, — просто пофял, что причины его слишком ясны, чтобы заставлять мысль постоянно на них спотыкаться, и обуздал эмоции грубой рациональностью, к нравственности не имеющей отношения. Но сегодня, оттого, быть может, что в глубине души он никак не мог простить себе пережитого в недавнем бою страха, злость прорвалась, выплеснулась за барьеры, которые обычно он ставил ей так умело, и искала выхода.

Лампе пожал плечами.

— Мне, господин полковник, завтра с ними в цепь идти. Так что — не считаю возможным. Извольте сами, если...

Остановился, проверяя, в силах ли сдержаться. Вполне.

— ...если достанет наглости.

Даже лошадь под полковником замерла. Но самый чопорный генерал и то будет знать, если нюхал порох вплотную, что человек, только что вышедший из боя, заключен в кокон особого пространства, где дозволено куда больше, чем в повседневноности. К тому же оценивающий взгляд Лампе полковник перехватил. Потому, должно быть, в конце концов только и процедил сквозь зубы, для ушей штабс-капитана единственно:

— Корниловские любимчики! Я доложу, сегодня же...

Лампе козырнул и назвал себя.

Станицу брали с трех сторон, большевики отступали в направлении корниловского полка, и по домам в результате устраиваться корниловцам

пришлось последними, напрашиваясь на свободные места. Лампе, слонявшегося от хаты к хате, пригласил к себе незнакомый поручик юнкерского батальона. Гостеприимства хозяйки достало только на чугунок вареной картошки. С тех пор как с едой было покончено, юнкер, по наблюдениям Лампе, начинал уже третье письмо.

Всем здесь было понятно, что отсылать — бессмысленно. И все же писали многие: кто душу так себе лечил, кто рассчитывал все-таки на оказию. Не в Москву, конечно, не в Петербург (патриотизма Лампе так и не хватило, чтобы принять вместо этого строгого имени города своего детства славянский эрзац-синоним) — туда письмо могло бы добраться разве что вместе со всей армией; но в Киев, в Харьков, в Пензу куда-нибудь — чем черт не шутит. По всем станциям и полустанкам Украины и Дона оседает потом такая отправленная по случаю почта.

Лампе пробовал угадать траекторию жизни этого поручика. Лет девятнадцать на вид, двадцать самое большее. Значит, на фронт с последнего курса, а то и раньше. А перед тем наверняка дворянский дом средней руки, мама в белом платье, фортепиано по вечерам. Гимназия, гордящаяся двумя-тремя знаменитостями, военное училище с веселыми маневрами и приглашениями на бал в соседний дамский пансион... Для юнкера все это кончилось в ноябре. Для Лампе — тремя годами раньше. В остальном одна судьба. Не на чем было упражнять воображение: кого бы Лампе ни встречал здесь, эта схожесть судеб почти не знала исключений. Через месяц — чин, еще через месяц — следующий и сразу должность не по званию, потому что убили командира. Словно специальная война для юнкеров, недоучившихся студентов и гимназистов, так и не успевших стать кем-то еще. От глупости, что ли, особой именно из них никак не выбьешь веры, что остались еще вещи, за которые и с которыми все-таки стоит воевать. Или наоборот: от ясности, которая для многих одна и оставалась достоянием.

Овчинная поддевка с чужого плеча на широкой спине поручика грозила вот-вот разойтись по швам.

— Заглядывали в карту? — спросил Лампе.

Юнкер обернулся.

— Что вы имеете в виду?

— Станица как называется?

— Вам бы полагалось знать, штабс-капитан. У вас рота.

— Оставьте! — отмахнулся Лампе. — Какая, в сущности, разница. За стратегию пусть голова болит не у нас с вами.

— Зачем спрашиваете тогда?

— А вы никогда не задумывались, поручик, о вариантах исхода? Вдруг сила вещей окажется все же на нашей стороне? Придется ведь мемуары писать. Грядущее должно знать, где мы с вами отогревались.

— Станица Лежанка. Впрочем, я не знаю, как правильно произносить. Или грядущему безразлично?

Но Лампе уже потерял охоту шутить. То ли он слишком размяк в тепле, то ли вообще незаметно становился сверх меры сентиментален, но хватило сейчас слабого подобия в словах, чтобы он вспомнил вдруг Хопры под Ростовом и похожего одновременно на Бисмарка и детского доктора полковника, без всякого выражения отозвавшегося себе в усы, получив донесение, что подкрепления не будет: «Ясенько, ясенько... Стало быть, лечь всем. Ну так, ну так...»

И легли действительно многие. Лампе до сих пор не знал, чему вменить, что удалось выбраться тогда.

Поручик отложил перо и сел на лавку верхом.

— Знали Лежнева?

Лампе кивнул. Лежнев был фигурой легендарной, почти нарицательным именем. Всего два человека из тех, самых первых, юнкерских рот, с которыми быстро и чисто расправился в декабре Дербентский полк, сумели в конце концов добраться сюда, на Дон. От озлобленного и отчаявшегося прапорщика, пришедшего с Лежневым вместе, и стали распространяться истории о детски-благородном юнкере и его поступках, казавшихся рассказчику если

не безумными, то, во всяком случае, дикими. О том, например, как, будучи отделенным командиром, Лежнев запрещал подчиненным прикалывать вражеских раненых: «Господа! Так делают только большевики!» Цепь проходила, раненые дотягивались до винтовок и стреляли им в спины.

Здесь, однако, многие еще помнили, что и для них когда-то границы чести были определены строго, а святость их — несомненна. Только война — слишком большой жернов, чтобы каждому хватало твердости противиться ее дробящей мощи. Раньше или позже, но она размывает все, все сводит к общему знаменателю и заставляет ходить по ее путям, чтя ее закон. А вот Лежнев оказался из особого теста. И эту внутреннюю крепость в нем почувствовали скоро: уже через несколько дней бывшего его спутника, стоило тому в очередной раз пройти по поводу представлений Лежнева о порядке вещей, стали без церемоний обрывать. Сам же Лежнев оставался все тем же и все так же упорно не желал признавать того, что остальным давно уже казалось непреложным. Он вступал в стычки с квартирными, забиравшими силой провизию у отказывавшихся ее продавать крестьян, он чуть не выстрелил в собственного командира, когда тот приказал примерно повесить трех захваченных комиссаров; а уж если станица оказывала сопротивление и потом, следственно, бывали расправы, скандал возникал всюду, где появлялся юнкер. Порой казалось, что он готов собственной грудью закрывать тех, против кого воюет. Но солдатом притом был отличным: страха своего умел не показывать другим и не замечать, когда нужно, сам. И даже те, с кем Лежневу случалось конфликтовать, редко бывали настроены против него — испытывали скорее некое настороженное уважение, связанное в глубине души с тоской по чему-то утерянному.

Приходилось уже не Лежневу примирять с реалиями войны, но саму войну с существованием Лежнева. В конце концов и роту, где он служил, стали посылать на патрулирование или операции, не связанные с главным направлением, чтобы в населенных пунктах юнкер появлялся с опозданием на несколько часов, когда уже нечего было отстаивать и некого защищать. Лампе, если встречался с ним или о нем думал, испытывал всегда настоящую боль, представляя, в какой муке жила постоянно душа этого человека.

— Когда его убили, — сказал поручик, — он был под моим началом.

— Убили?!

— Мы прикрывали отход из Ростова.

Только много позже Лампе найдет название тому, что почувствовал в это мгновение. Смерть надежды. Слово что-то, до сих пор вопреки всему теплившееся внутри, оборвалось и исчезло.

— А почему вы спрашиваете меня?

— Знаете, гибель его не идет у меня из головы. Я ведь еще тогда удивился: раньше и представить не мог, чтобы Лежнев позволил себе не согласиться с приказом. При его-то чувствительности к офицерской чести...

— Подождите. Вы хотите сказать, что он оспаривал боевой приказ?

— Да нет, речь не о каком-то демонстративном неподчинении... Мы должны были удерживать один из малых мостов, дать основным силам возможность оторваться. То есть нужно было две улочки блокировать, которые к нему выходили, и железнодорожное полотно...

— Ротой? — спросил Лампе.

— Куда там! Четыре отделения. Я назначил позиции, а Лежнева с пулеметчиком и еще одним юнкером послал к переезду, к будке смотрителя — крепкая там была такая каменная будка. И вот тут он вдруг подошел и спросил, чтобы я поставил его в любое другое место, только не туда. Спрашиваю: почему? Он мялся, мялся, но признался все-таки, что имеет причины полагать, будто возле этого домика непременно будет убит. Я и подумал: ладно, со всяким бывает, — отправил его с другим отделением.

Лампе попытался вспомнить, не по этому ли мосту переправлялся и их полк. Похоже, что нет — во всяком случае, ни каменной будки, ни улиц он рядом не заметил: был большой пустырь, застроенный лабазами и баньками.

— Они атаквали сразу по трем направлениям. Правую улицу мы еще держали, но по второй и по полотну у них был слишком большой перевес.



Тут, слава Богу, дали команду отступить: время мы уже выиграли. Большая часть людей благополучно отошла за мост, Лежнев тоже, минеры уже взрывать готовились; но человек восемь все-таки оказались отрезаны пулеметом, к какому-то сараю прижаты, вроде дровяного склада. Мы за мостом быстро перестроились для контратаки, но как только снова оказались на том берегу, нас тут же положили на землю еще два пулемета. Главное, нам все очень хорошо видно: пока они там стоят вплотную к стене, пулеметчик, который за ними следит, достать их не может, но стоит им от стены сделать шаг — и все, окажутся под огнем. И ползти бессмысленно: там пригорок. А с другой стороны их уже обходят, через три минуты все будет кончено. Единственный выход был: уничтожить пулеметчика; но с земли по нему стрелять — только терять время. А подниматься, рисковать всеми ради восьмерых — безумие. Знаете, тот самый момент, когда необходимость подвига так очевидна, что не совершиться ему уже как бы и невозможно. Я, собственно, с самого начала был уверен, что именно Лежнев вызовется. Только не думал, что он бросится так отчаянно — просто сорвется, и все. Ну а тут уж оставалось только следить. Вот здесь будка была, здесь пулеметчик.

Поручик пальцами начертил в воздухе перед собой.

— А Лежнев пошел по дуге, чтобы пулеметчику в поле зрения не попадать. Я вижу: добежал, стреляет. Тот его все-таки заметил, попытался развернуться, но Лежнев успел, выстрелил первым. Я-то думал, он там и укроется, в этой ложбинке, но оказалось, что с той стороны она простреливается насквозь. А потом один из пулеметов, что нас держали, захлебнулся — лента кончилась или перегрелся. Против одного ствола с двухсот метров я уже решил атаковать. Встаем. Те, от сарая, тоже уже в нашу сторону ползут. А я все за Лежневым слежу и только удивляюсь: двадцать раз уже должны были убить, а он невредим, даже не ранен. Выбора у него уже не оставалось: только к той будке и там нас дожидаться. Всего тридцать метров и нужно было одолеть, а дальше уже начиналась такая зона, куда с их позиций обстрела не было. Он вроде бы заколебался сначала, но потом пригнулся все-таки, побежал. Палят по нему так, что на роту хватило бы. А он словно заговоренный. Смотрю: уже в дверях, стоит и улыбается. Ну и вот тут... До сих пор не могу понять, откуда стреляли, не из-за реки же. Шальная пуля, совершенно.

— Ясно, — сказал Лампе. — И вам показалось странным такое стечение обстоятельств.

— Понимаете, когда он подошел ко мне, я подумал, конечно, обычное: суеверие, плохие нервы. А выходит, он действительно знал, что погибнет именно там. Вернее, что если окажется там — погибнет. Ведь под сплошным огнем бежал, потом вообще оказался на перекрестье двух линий обстрела — и ничего. А тут, где было уже совсем безопасно... И так уж слишком много совпадений для простой случайности. А когда и место было указано заранее...

Поручик замолчал. Лампе рассматривал его с некоторым удивлением.

— Послушайте, вы и вправду все еще верите, что мы — вот мы с вами — достойны каких-либо тайн и чудес?

— Не знаю. Но, во-первых, все, что я рассказал, — правда, а потом: скажите, у вас, перед тем как подниматься в атаку, никогда не бывает чувства, что все вокруг, сама материя, как бы утоньшается, что стоит сделать усилие — и сможешь заглянуть куда-то на обратную ее сторону? Мне вот порой кажется, что тут есть возможность для таких прорывов, из которых знание будущего — еще не самое удивительное.

Лампе улыбнулся.

— Вы, поручик, в гимназическом возрасте не увлекались спиритизмом?

И заметил, как насторожился юнкер, подозревая скрытую издевку в вопросе.

— Нет. Я увлекался техникой. Собирал парусники.

— А в мое время было модно.

— Ну и что?

— Ничего. Изможденные юноши, вдохновенные барышни. Таинственные стуки и вопрошания о судьбах России. А я вот как-то всегда считал, что

даром прозревать будущее обладают разве что святые. Хотя, конечно, не исключено, что какие-то интуиции и существуют. Как не исключено и то, что юнкер Лежнев как раз и был святым. Но тут мы погружаемся в такие вопросы, которые я, честно говоря, предпочитаю не обсуждать.

Поручик повел рукой, отрицая.

— Да я не об этом. Свой час, в конце концов, предчувствуют многие. Но чтобы точно знать место... Я теперь почти уверен, что с ним действительно что-то произошло, как-то он это увидел. И принял ведь предупреждение, попытался самого места избежать. Но в конце концов все равно очутился именно там и именно там был убит. Вот от этой предопределенности и не по себе.

— Ну а прежде он мог видеть эту будку?

— Накануне, конечно. Мы подошли еще вечером, до темноты. Но какая разница?

— Нет, постойте! — сказал Лампе. — По-моему, у вас следствие опережает причину. Где здесь предопределенность, если вперед, сами говорите, он бросился совершенно сознательно? А из того, как вы описали дислокацию, ясно, что с самого начала он должен был понимать, что укрыться придется именно в этой будке. Но если той ночью ему что-то, скажем, приснилось — что-то, происходившее в реальной обстановке, — если это он и принял за предупреждение, то состояние его духа в ту минуту представить вполне возможно. Здесь уже не только героическое вдохновение, но и нечто еще, совсем особое: ощущение себя с роком один на один, момент высшего, последнего преодоления, раз уж он действительно верил, что место это для него смертельно опасно. Высокое чувство, настояющему. Оно и толкнуло вперед. И если вы себя убедили, что он оказался на месте гибели вопреки тому, что заранее знал о нем, то мне сразу же по ходу вашего рассказа показалось, что наоборот — именно благодаря этому. Ну а вычислять путь пули и искать тайные смыслы в том, что настигла она юнкера Лежнева не пятью секундами раньше или не пятью позже, согласитесь, несколько наивно. Тем более если, как вы говорите, огонь там был непрерывный. Мало ли какой рикошет... Ну да, совпадение несколько странное. Но я, признаться, привык уже думать, что война только из таких и состоит.

— Знаете, так можно объяснить вообще все что угодно, — с досадой сказал поручик. — Предчувствие-то его все равно в конце концов оправдалось.

— Ну, это уже...

— Что?

— Логическое кольцо. Дурное логическое кольцо.

Лампе смутился, обнаружив в собеседнике подлинную обиду. И не находил теперь, чем загладить ее, ибо никакой особенной неловкости, которую мог бы счесть причиной, за собой не помнил, а весь их разговор, казалось, имел приличествующую меру удаления и от предмета и друг от друга. Какое-то время поручик еще разглядывал сложенные на коленях руки, карауля продолжение беседы, потом вернулся к столу. Когда четверть часа спустя он закончил писать и поднялся, чтобы размять поясницу, штабс-капитан уже спал, завернувшись в мех с головой.

Лампе не то чтобы отнесся серьезно к собственной шутке насчет мемуаров, но все же, вспоминая ее, пусть и в ироничном ключе, стал теперь отмечать про себя вехи похода.

Из Ставрополя свернули на Кубань. Всех удивляла необыкновенно ранняя в этом году весна: еще не истек февраль, а снег в степи сошел уже всюду и кое-где земля тут же второпях зазеленела. И хотя известно, что после первых оттепелей ждать можно еще чего угодно, но разлившаяся в природе благодать словно бы обещала, что новых морозов уже не будет.

Ловя волосами теплый ветер, Лампе следил, как возвращается к нему забытая радость перерождения. Будто некий росток у него внутри, околоченный за бесконечную зиму, начало которой во внутреннем времени штабс-

капитана отодвигалось почти уже за пределы памяти, теперь набирал силы и начинал жить вновь.

Армия продвигалась медленно, без больших боев, а местные стычки решались обычно помимо корниловского полка. И хотя дневные переходы составляли обычно пятьдесят, а то и семьдесят верст, эти дни замирения Лампе понимал как отдых (всего раз он произнес про себя «от смерти», но покраснел даже, ужаснувшись пошлости речения).

Из станицы Старо-Леушковской выступали затемно. Служивший короткий молебен местный попик, вознося положенные прошения о даровании победы их оружию, не утруждался даже имитацией вдохновения. Лампе подумал, что попу еще повезло: если б и большевики заставляли молить за себя, куда труднее стало бы уживаться с собственной совестью.

Полк был выстроен в две колонны, и штабс-капитан Чичуа стоял точно напротив Лампе. Угрюмость и бледность князя в это утро нельзя было не заметить даже в предрассветных сумерках. Пожалуй, впервые за два года знакомства Лампе видел мингрельца таким: что-то из ряда вон выходящее должно было произойти, чтобы волнение князя выплеснулось на лицо и стерло обычную доброжелательную улыбку. Лампе рассудил, что интерес, оправданный давним приятельством, не будет оскорбителен.

— Стыдно признаться, — ответил князь, когда они сошлись в короткий промежуток между молитвой и командой на марш, — дурной сон. А вот не дает теперь покоя. Знаете, со мной это впервые. Столько слышал о кошмарах — а у самого не было никогда.

— Не очень-то вы похожи на человека, доверяющего снам, — сказал Лампе.

Чичуа улыбнулся. Но Лампе видел: через силу.

— Слишком уж все это было резко и осязаемо. Церковь деревенская, я хочу войти, а подпоручик из моей роты хватает меня за бурку и тянет назад. Просто отгаскивает и молчит. А мне необходимо внутрь: там отпевают кого-то и я должен присутствовать. Тогда он встает в дверях. И тут я вспоминаю: его же две недели назад убили. И на лице у него, вот здесь, шрам заросший — как раз там, куда вошла пуля.

— Страшно было?

— Страшно. Но я — ничего: решаю, что с ним надо держаться так, будто все обычно. Приказываю отойти. А он отвечает, что мне ни в коем случае туда заходить нельзя. Почему? — спрашиваю. Нет, опять молчит, только смотрит. Я снова пытаюсь пройти — он начинает меня отталкивать. Ну, думаю, ладно, дьявол с тобой, сделаю вид, что ухожу, а там посмотрим, что будет. Только отступил — он тут же согласно кивает и исчезает куда-то вбок. А я, конечно, сразу обратно. Поднимаюсь на крыльцо, заглядываю — а в церкви пусто. Вроде бы поют, странно так, но нет никого. И ни икон, ни свечей — просто у самого порога мертвый лежит. Лежит лицом вниз и укрыт буркой. А бурка — моя, вот по этому узнал.

Чичуа тронул вставку белого меха, совмещенную на черной бурке с сердцем, предмет не самых тонких шуток: «Вы, князь, мишень на себе носите».

Лампе пожал плечами.

— Я думаю, собственная смерть снится здесь каждому второму. Мне снилась. Знаете, в каком виде...

— Я понимаю. Но дело в том... Я ходил сейчас, под утро, вперед с разъездами. Церковь во сне какая-то была нелепая — словно от чужой веры строили. Колокольня отдельно, на другой стороне площади, а купол у храма в форме шапки татарской... Там, в Березанской, церковь точно такая. Я ясно видел силуэт.

Впереди выкрикнули команду, и колонна сразу заколыхалась: сперва на месте, и понемногу, ряд за рядом, — вперед. Лампе обрадовался поводу скомкать разговор: до сих пор все, что приходило на ум, казалось чересчур легковесным, а теперь, почти уже на бегу, весомость сказанного какое могла иметь значение.

— Пора, князь. Будет вам. Нашли чем забивать голову. Ну держитесь, что ли, подальше от вашей церковки.

Потом, уже заняв место чуть впереди и сбоку от первой шеренги роты, он еще раз нашел князя глазами.

— С Богом!

Большевики не успели за ночь уйти из Березанской. Уже различались за пригорком крыши хат, когда авангард открыл частую стрельбу и стало ясно — бой будет. Полк развернулся в цепи и двинулся, топчя пашню. С окраины вяло отстреливались: похоже, только сами станичники прикрывали отступление главных сил. Первая рота смяла сопротивление за несколько минут, не потеряв ни человека. Крылатая, отличная от других неформенной буркой фигура Чичуа то и дело мелькала впереди, и Лампе уже предвкушал, как нынче же вечером они вместе будут смеяться над страхами князя.

Заметавшихся казаков кололи штыками. На въезде в станицу, у колодца, несколько тел уже свалили в кучу друг на друга; рядом коза с ободранной веревкой на шее лизала стекшую наземь кровь. Тут же, поджав под себя ноги и засунув в рот большой палец, сидела местная блаженная, исподлобья наблюдая за проходящими корниловцами. Штабс-капитан вздрогнул, встретившись с ее вовсе не пустыми глазами.

Примчался и тут же ускакал снова сам командующий; Лампе едва успел остановить роту, когда он пронесся мимо. Обстановка впереди была неясна, и последовал в конце концов приказ располагаться на отдых. На окраинах еще стреляли, но в центре станицы настроение было уже бивачное. Высокий офицер водил по кругу статного жеребца, явно любуясь. Следом семеняла баба в цветастом платке, причитая: «Господи! Барин! Мужа моего, Федора, комиссары застрелили. У кого хоть спроси, убили мужа-то!» Над ней смеялись: «А что раньше зевала? Прятать надо было коня». «Так прятала, от большевиков прятала. Стрельбы испугался, домой пришел». «Ничего, ничего, — сказал офицер. — Что же ты такого, в плуг запрягать будешь? Выделим тебе клячу».

Первая рота еще не размещалась. Уже издали, прежде чем успел что-нибудь рассмотреть, Лампе почувствовал в людях тяжелую сосредоточенность. Екнуло сердце.

— Что? — спросил он, подойдя.

— Штабс-капитан... князь убит.

Лампе сглотнул. Ворох взметнувшихся мыслей не мог прийти к речи. Ответивший прапорщик переминался, глядя в землю.

— Постойте... Где?

— Говорят, где-то там, — прапорщик махнул рукой, — возле церкви. А как — никто не знает.

— С ним что, никого не было? А рота?

— Был прапорщик Константинов. Только он тоже, говорят, ранен. А рота здесь стояла, князь сам приказал.

— А кто тело привез?

— Кадет какой-то. И наш один с ним.

Бурку под мертвым постелили белым пятном наружу. И уже закрыли глаза. Лампе нигде не видел ни раны, ни крови. Кто-то за спиной, будто читая мысли, шепотом задал тот же вопрос, что все копировался сам с себя у штабс-капитана в голове. «Черт возьми, — подумал Лампе, — черт возьми, как он там оказался?»

Лазарет вселялся в бывшую школу. Уже подтянулся обоз, и раненые перебирались с подвод в здание. Тяжелых перетаскивали на рогоже два заматанных санитаря-юнкера.

Остановив спешившую мимо сестру, Лампе попытался выяснить что-нибудь о Константинове. Та отмахнулась: «Не знаю, не знаю, сегодняшних еще не смотрели». «А где они, сегодняшние?» — спросил Лампе, но девушка уже упорхнула. «Да вон, — сказал кто-то из угла, — вон сидят, гогочут».

Взятие Березанской обошлось армии в четыре ранения. И единственную смерть. Но до Лампе эти штабные подсчеты дойдут только на следующее ут-

ро. Сейчас трое без мундиров, раненные, очевидно, легко (послезавтра в строй, а пока два заслуженных дня под боком у барышень), резались в безик на одесские папиросы. Самый молодой явно выигрывал. Рядом на носилках, поставленных прямо на пол, сидел, покачиваясь взад-вперед, человек с наглухо забинтованной головой. Стон его уже выродился в монотонный низкий гул.

— Вы Константинов? — спросил Лампе. — Это вы были с князем?

Раненый на ощупь отыскал его руку и вцепился в шинель.

— Снимите повязку! Зуд! Доктор, это невыносимо, я перестану быть человеком!

— Я не врач. Скажите мне: зачем князь ходил туда, к церкви?

— Пулемет. У них был пулемет наверху. Как мы могли знать?

— Почему Чичуа пошел туда? Ведь он остановил роту.

— Сестра Дина... Они помолвлены. Были. Знаете?

Лампе не совладал с лицом. Но голосом сумел удивления не выдать.

— Хорошо, пусть Дина. При чем здесь это? Вы способны отвечать?

— Приказали ждать дальнейших распоряжений. А потом останавливался вестовой, сказал, что с южной стороны кто-то еще пытается прорываться из станицы, но там рота юнкеров и подмоги они не просят, хотя обойтись своими силами. И вскользь упомянул еще, что сестру у них ранили. Не знаю, почему князь решил, что это именно Дина. Может, она должна была сегодня с юнкерами идти? Я и моргнуть не успел, а он уже бросился на звук, на выстрелы.

— Один?

— Ну, я тоже... Я обязан ему: была история. Почти никто здесь не знает — ни к чему. Так что с ним пошел. Вернее, не с ним — следом, он меня и не замечал сперва. Ну, оказалось, что они как раз возле церкви и перестреливаются. Вы видели церковь?

— Еще нет, — сказал Лампе.

— Она здесь словно надвое разделена. Эти казаки от колокольни палили, а юнкера залегли вокруг храма, чтобы от дороги их отрезать. Только там я его и нагнал, у самой площади. У него такое было лицо...

— Что, ярость? Или страх? Не выгораживайте, ему было чего бояться.

— Нет, не страх. Это... Не знаю, не могу объяснить.

— Ладно. А потом?

— Потом? От нас до юнкеров всего-то было шагов пятьдесят. Присмотрелись что к чему: вроде получалось, что если пробираться вдоль плетня, со стороны храма, так из винтовок нас не должны достать. А едва побежали — и пулемет с колокольни. Мы только и успели вбок, на крыльцо церкви: там нас козырек прикрывал. И вдруг какой-то конный... Он всего раз и выстрелил — тут же юнкера его уложили. А вот попал. Князь даже не увидел его.

— Куда?

— В шею, прямо в позвоночник. Насмерть, сразу. А крови — как с поцарапанного пальца.

Стоило замолчать, и Константинов тут же снова начинал раскачиваться, а чуть погода и утробный его стон опять прорывался наружу, из чего Лампе заключил, что прапорщик не вспоминает, как показалось сперва, но всего лишь прислушивается к собственной зачаровывающей боли.

— Ну хорошо, — сказал Лампе. — А вы когда были ранены?

— А? Меня? Это позже, гранатой. Я втащил князя в церковь, а сам все-таки перебежал к юнкерам. Ну а потом пошли вперед — казаки уже разбегались, — кто-то и швырнул из-за плетня напоследок. Говорят, больше и не задело никого, я один.

— А Дина?

— Ошибся князь. Не было ее там. Приходила уже, спрашивала. Плачет. А сестре той просто по щеке чиркнуло — пуля камень расколола.

Лампе снял его пальцы с рукава.

— Подождите. Господин...?

— Не важно. Штабс-капитан.

— Ради Бога, прикажите врачу: пусть не скрывает — я ведь ослеп? Это не милосердие. Неизвестность хуже.  
Лампе не стал обещать.

Пустота, образовавшаяся внутри, требовала одиночества. И Лампе вздохнул с облегчением, когда не обнаружил в хате Закревского, с которым предстояло делить сегодня ночлег. Хозяин, пятидесятилетний казак с тяжелым и властным взглядом, настороженно маячил в дверях. «Дом, — подумал Лампе, — слишком велик для одного. Где его сыновья? Ушли сегодня с красными? Лежат у колодца с распоротой шеей? Или в овине прячутся, дожидаются, пока уйдем мы?»

Он потребовал самогона. Когда хозяин заколебался, потребовал жестче и с опозданием удивился себе: обычно даже то, что жизненно необходимо, совестно было брать силой.

Казак выставил древний штоф и моченые яблоки на закуску. Потом спросил:

— А что, народу-то в станице много побили?

— Не знаю, — сказал Лампе. — Наверное, много. Почему вы стреляли в нас?

— Добро-то наше кому защищать?

— Что же тогда большевиков пустили? Или они добром не интересуются?

— Не знали еще. Да и сил не было отбиться.

— А от нас, значит, были силы?

— Эти утром уходили, собрали всех. Рассказали, как вы в Лежанке пятьсот человек положили. Я-то от кума слышал уже, знаю — не врут. Два пулемета оставили, сказали: пару часов продержитесь, мы вернемся. Как же! Забрали что могли — и ветра ищи. Тоже сволочи.

— Но вы предпочитаете их?

— Там кто большевики-то? Три жиды? Этих, если что, и в расход недолго. С остальными, голоштанниками, мы уж договоримся как-нибудь. Еще работники будут. А вот с вами-то Бог знает как еще обернется.

Лампе отвернулся, дал понять, что говорить больше не намерен.

«Хамство. Сытое хамство. В Ставрополье такие, как этот, выезжали навстречу: «Уходите! Станица не хочет боя». Тогда с ними еще считались. И полки ночевали в зимней степи. Они уводят скот, они зарывают хлеб, они хотят смотреть, как мы будемдохнуть с голоду. Или большевики — все равно».

Выть хотелось от этих мыслей. Барство их в сотни раз хуже того пресловутого помещичьего, на которое так безопасно было ополчаться всякому, кто мнил себя поборником общественного прогресса. Откуда эта наглая уверенность в непреложности сермяжных истин, в своем превосходстве, в праве свысока наблюдать, как рушатся государство и вера, преданность которым они так старательно перекачивали на языках? Да, они должны сеять хлеб. Сеять, чтобы есть, а есть, чтобы продолжать род. А потом заботиться о потомстве, которое посеет в свою очередь и в свой черед размножится. А ведь они в церкви каждое воскресенье. О чем молят? О тучности стад и умножении рода. В век и в век. И пусть геенне огненной подпадает все, что может помешать прямо сейчас, в эту минуту, есть и плодиться.

А ты должен верить, каждый день, каждую минуту заставлять себя верить, что здесь — не ради себя, не ради того, чего лишился так или иначе навсегда (ведь к чему удавалось вернуться?), но только и единственно ради них — пусть сытых, пусть самодовольных, пусть научных к тому же бойко перечислять, чем от рождения виноваты перед ними умирающие тут же, на виду, студентики и гимназисты. Иначе исчезнет — и так порой тонкая до неразличимости — нить смысла, и кровь, которая на тебе, не оправдается тогда уже ничем.

Лампе думал: теперь нам приходится платить. За безмысленное прекраснотушие, за то, что с готовностью, с упоением самоистязания уверовали сами в свою виновность. даже не задумавшись, откуда идет подсказка.

Но нет: он, Николай Лампе, так и не смог себя убедить, что есть в чем каяться перед ними ему самому или тем, кто был ему дорог. А ведь пытался, будучи юн, и пытался самозабвенно, ибо не существовало другого способа не быть изгоем среди сверстников по возрасту и сословию, кроме постоянного вслух покаяния при виде любого пьяного мужика (но только, благодарение Богу, друг перед другом: зайти дальше не позволяло эстетство, модное, по счастью, почти как социализм). Но чем бы, еще по-детски цена солидарность, ни бравировал в застольных речах, внутренне тогда уже твердо стоял на своем: не видел и не желал видеть в чужом бесстыдстве доли вины ни отца своего, строительного инженера, пропадавшего по восемь месяцев в глуши, сооружая мосты, ни даже, например, богатого крестного, отписавшего на старости три четверти состояния почему-то губернскому почтовому ведомству. А повзрослев, узнал, что цена такой свободе одна всегда и везде: отчуждение. Только уже не от гимназической компании, но от сословия, происхождения, национальности. Какими бы ни были причины, но дворянство, чин, образование становились словно бы новым первородным грехом, заранее порочащим каждого, кто к ним причастен; в той атмосфере, которой все тогда дышали, даже в утверждении «я — русский» уже слышался (и не без оснований) намек на некие имперские притязания. Может быть, еще и поэтому, к вящему удивлению семьи, Лампе выбрал для себя армию: там, казалось, понятия будут традиционно четче определены, а воздух — чище.

Выпив полторы стопки, он понял, что благоразумнее остановиться: тоска не уйдет, напейся хоть вдрызг. Обмякнув у стола среди грубых, быстро отяжелевших вещей, Лампе рассматривал криво наколотую на гвоздь в стене открытку четырнадцатого года, где усатый солдат в хорошем обмундировании рассасывал, надув щеки, трубку величиной с кулак. Такие открытки вместе с теплыми носками и вязаными рукавицами рассылали под церковные праздники солдатам городские дамы. Похожую, с шутивным восьмистишием на обороте, однажды отправила ему мать. Цене вещей он еще не успел научиться тогда, и открытка затерялась. А теперь Лампе думал, что как-то слишком просто, незаметно свyksя с тем, что реальный образ матери растворился в накатывавших девятих валах этих лет, истончился, стал бесплотнo-светел и мертвенно-чист. Уже ни лица не вспомнить в точности, ни речи, ни линий фигуры. Если что и осталось — только память осязания, как о некоем теплом облаке, прежде всегда сопровождавшем, разлученность с которым научила тут же, что мир есть одиночество.

Однажды он обнаружил, что способен без отчаяния думать о том, что она, быть может, ныне уже не жива. И с тех пор ему проще стало считать так. Разлука, в конце концов, тоже род смерти. Если Бог на их стороне, если ему суждено еще когда-нибудь найти ее — ничто не отнимется от радости их встречи. Только никто здесь даже не представлял, что в действительности происходит сейчас в почти уже сказочном Петербурге. Слухи же, если хоть третья часть их была оправданна, всякую надежду равняли с безумием.

Мысли его не текли, но левиафаново поднимались откуда-то из темной глубины, долго неподвижными оставались на поверхности — он успевал по многу раз прочесть каждую, — а потом так же медленно, как в масло, погружались опять во тьму. Но опьянение уже проходило, и заглушенная на время душа понемногу брала свое беспокойством, сродным лихорадке. Лампе суетно оделся, вышел. На фоне залитого лунным светом неба резко чертился силуэт колокольни.

Князя положили у аналая, поставили три свечи в изголовье. Хоронить будут перед рассветом, тайно, чтобы озлобленные станичники не смогли потом надругаться над могилой. Через неделю ни одна душа не вспомнит, где остался в неродной земле георгиевский кавалерштабс-капитан Чичуа. Только Дина, быть может.

Коленопреклоненную ее фигуру Лампе, войдя, заметил возле кануна. Если она и молилась, то молча, но Лампе полагал — нет, ибо знал, что крайняя

скорбь подобна сну; и не стал подходить ближе: святотатством было бы врваться в такую отрешенность.

Он вспоминал Чичуа веселого, с которым вместе справляли в Ново-черкасске Рождество. Многим казалось, что князь создан для войны. Но Лампе думал иначе. С первых дней знакомства его поразила в мингрельце способность, принимая на себя и деля с другими всю тяжесть фронта, всю его грязь и жестокость, сохранять отдельной и незатронутой внутреннюю свою ткань, одухотворенную и в высшей степени человечную. Лампе даже усталым никогда его не видел: глаза не потухали, как бы ни было измучено тело.

Ветер раскачивал дверь, и пламя свечей то и дело стлалось, отрываясь от фитиля. И вдруг на глазах у Лампе огонь быстро метнулся в противоположную сторону, как если бы кто-то проходил мимо. А еще через мгновение дверь замерла, словно остановленная рукой, и тут же снова пришла в движение, набирая размах.

Случайность...

Они накладываются одна на другую, думал Лампе, а ты воображаешь связи и рисуешь фантастические картины. Ведь любые две точки, в конце концов, — это уже линия. А за тремя начинаешь угадывать силуэт.

Или — нет? Или мы так привыкли искать всему каких-то иных объяснений, мнящихся основаниями разума, что отучились различать то, что дано сразу открытым, таким как есть? А мертвые действительно приходят и пытаются предупредить, встать между тобой и смертью, как тот подпоручик в сне Чичуа? Что видел Лежнев? Кто стоял между ним и каменным домиком возле ростовского моста?

Лампе наконец спросил себя, отчего так опасается расстаться с личиной скептика, самим же и выбранной в случайном, в общем-то, разговоре. Ведь он воспитан в строгой церковности, никогда не мыслил об атеизме и существование по смерти привык считать необходимым в цельной картине мира. Он доверял и доверяет до сих пор духовному видению тех, кто учил об этом. А они, оберегая тайну, ибо свет на нее — удел времен последних, ее контуры всегда обозначали твердо.

— Но я, — сказал Лампе, — хотел оставаться трезвым. Я считал себя солдатом. Многие было не моим делом. Мертвые были не моим делом. Я должен был делать простые вещи, и, чтобы делать их как надо, важно было оставаться трезвым. Предмет насмешек: унтер-офицерское мышление. Пусть так. Когда-то и в этом был смысл. Просто прежние смыслы не определяют больше вещей, а прежние принципы больше не к чему приложить.

Девушка у креста вздрогнула и испуганно обернулась: оказалось, он думает уже вслух.

Быть может, мы еще не понимаем до конца, с чем воюем, какие силы пришли в движение, так что и мертвые в этой борьбе покоя не имеют и возвращаются (а сны — предел близости между нами?). Или же попросту настолько обречены здесь, что заранее стирается грань, разделяющая два мира...

Но именно в том, как обернулись пророчеством те закоцитные предостережения, мерещился теперь словно бы намек, туманное обещание особой значимости каждому их шагу.

Дежурившая у дверей лазарета сестра спала, уронив голову на сложенные руки. Две толстые пасхальные свечи — оброк с попа — освещали только проходы между просторными класными комнатами, и Лампе пробирался почти на ощупь. Константинова он отыскал по звуку: прапорщик царапал ногтями закрывавшие лицо бинты. От мерности его движений на Лампе повеяло безумием.

— Вы слышите меня?

— Штабс-капитан? Вы приходили уже.

— Что врач?

— Знаете, я решил. Если пойму, что ослеп, — я убью себя.

— Прекратите. Даже если так, вас отправят в тыл, за вами будет уход. Кончится война — вполне возможно, что вам вернут зрение.



— Скажите, штабс-капитан, — Константинов перешел на многозначительный шепот, — я ведь больше не солдат, во мне бесполезно поддерживать боевой дух, так что скажите честно: вы еще надеетесь, что действительно будет когда-то конец, и мир, и, главное, место в этом мире для нас с вами?

Лампе не стал отвечать.

— Вы в Бога-то верите? — спросил прапорщик.

— Да. По крайней мере считал так.

— Я боюсь не беспомощности. Но бесполезности, понимаете? У меня нет никого. Мать умерла, давно уже. Братья неизвестно где. Может быть, в Москве. Оба учились там, когда все это началось. Я думал: если мы дойдем — пусть не удержимся, но хотя бы дойдем — будет, может быть, какая-то возможность вытащить их оттуда. А потом понял: мы же никому не нужны! Откуда я знаю, что мои братья не отвернутся от меня просто за то, что я был здесь и делал, что делал?

Он подался вперед так сильно, что вот-вот мог потерять равновесие. Лампе держал наготове руку, чтобы его поддержать.

— Слушайте, но мы-то... знаем ведь, что под Христовым знаменем! И раз принять нас некому больше, то умереть мы должны успеть здесь, на поле, а не слепцом в провинциальном городе и не в большевистской тюрьме. Великая милость для нас эта война, открытая дверь. Потом-то — ад останется. Настоящий, который обещан. Лучше уж по мытарствам... Вы понимаете меня?

— Да, — сказал Лампе. — Думаю, что да. Но не знаю, я не уверен, что все вот так...

И вроде бы некая догадка все время опережала ум, дразнила тенью.

— Послушайте, вот когда вы там были с князем, все, что он делал, это было, по-вашему... от него?

— Как — от него?

— Ну... Не показалось вам, что его влечет что-то? Буквально какая-то сила?

— Но он же был уверен, что там Дина!

— Да. Но кроме этого?

— Я не понимаю...

— А у церкви: вы бежали к юнкерам, потом пулемет... Была хоть какая-то возможность укрыться не на крыльце, где-нибудь еще?

— Я же объяснил. На площади все уже простреливалось...

Лампе поднялся. Наверное, не следовало приходить. Он не знал и сам, чего в конце концов надеялся добиться от этого перечеркнувшего себя человека. Только смутное беспокойство и привело, ощущение упущенного, ускользнувшего и непонятого.

Кто-то заворочался рядом, чиркнул спичкой. Кровь на лице прапорщика кое-где уже проступила пятнами сквозь бинты.

— Уходите? Подождите! Скажите им: пусть хотя бы перебинтуют. Все присыхает...

— Они спят, — сказал Лампе. — Уже ночь.

Теперь армия двигалась по нескольким направлениям, почти в постоянном соприкосновении с противником. В суматохе мелких, на несколько верст, прорывов и отступлений трудно было оценить общее положение. Но почти всегда в конце дня поступали известия о значительном в целом продвижении. Вдохновение удачи носилось в воздухе и передавалось, умножаясь. На этом фоне Лампе темнел непроницаемо.

Со дня смерти князя, с той ночи, его уже не оставляло ощущение отпадения от истины, неизбежно для человека духа выливающееся в мучительное отчуждение от собственного бытия. Внутренний этот разрыв порой проецировался даже вовне, становился зримо виден как обстояние вещей тонкой областью темноты. Пытаясь разобраться в себе, Лампе вязнул в вялых предмыслиях и ясно чувствовал только вкус фальши, обнаруживающейся теперь в той ажурной архитектуре нанизанных друг на друга представлений о должном, воспоминаний и фантазий, которую, нуждаясь в опоре, он

кропотливо творил в себе, с тех пор как убедился, что чужим стало все по ту сторону кожи.

Теперь же не за что стало зацепиться ни глазам его, блуждающим по вещам, ни тому оку, что смотрит внутрь. И тусклостью этой подогревалось в нем постоянное глухое раздражение, все чаще приводившее к вспышкам ярости, обуздать которые он не мог да и не хотел. Подчиненные его стали отводить глаза. Он же, все глубже погружаясь в разобщенность, все более уверялся, что в себе самой она заключает как бы и основания своей окончательности, невозможности избыть это тягостное отчаяние, бывшее, значит, не ожиданием вести, но самой вестью. И уже нельзя было ошибиться в том, что она обещает. Штабс-капитан Лампе принял мысль, что ему суждено умереть.

В Некрасовской, оставленной большевиками только накануне, добровольцев встречали радушно: из хат бежали женщины, несли хлеб и крынки с молоком. Станичники вывели навстречу колонне, изрядно избив сперва, двух нерасторопных комиссаров, не успевших уйти вместе со всеми. Теперь они стояли — русский, по виду из северян, и рядом низкорослый еврейчик, — гордо задирая подбородки, решив, видно, с презрением смотреть смерти в глаза. «Ради чего?» — лениво подумал Лампе, маршируя мимо. И вдруг понял, что знает ответ.

Обоих, не дожидаясь темноты, расстреляли в перелеске неподалеку. Станичники отказывались хоронить: «Нехристи! Пушай черт им за упокой поет!»

В тесной, маленькой хатке на краю оврага пьяненький пожилой казак вовсю уже пел, протяжно и зычно. Переводя дух, колотил себя в грудь ладонью: «Вот так! За Россию... и я пойду! А то как же, за Россию!» «Противно, — сказал Лампе, — перестаньте». Но тот предпочел не услышать. А может, действительно был глуховат.

Вечером вдвоем с Закревским они вышли проверять караулы. Весь день Некрасовскую обстреливали: по близким лескам и болотам рассыпалось множество небольших вражеских групп; но как только стемнело, воцарилось спокойствие. В укрытой станице ночь казалась теплой, но на лугах, у реки, ветер забирался под одежду и моментально студил до дрожи. Лампе обрадовался возможности отдохнуть, когда, обойдя первую линию, они наткнулись на давний, поросший уже окопчик.

Самокрутку Закревский соорудил неумело: слишком долго и слишком старательно; та все-таки рассыпалась, прежде чем он успевал поднести ее к губам. Чертыхнулся, начал новую.

— У вас сны здесь бывают? — спросил Лампе. — О чем?

Подпоручик протянул ему простой, без выделки кисет.

— Желаете?

— Знаете же, что не курю.

— Знаю, — улыбнулся Закревский. — Но вежливость-то превыше всего. Тут уж я с детства ох как вышколен. Отец у меня был особенно чувствителен к этим вопросам. Он в деревне свору держал: это у нас потомственное, жили-то бедно, хуже крестьян, но собак не продавали никогда. Так не дай бог мне было замешкаться, не предложить вовремя гостям сесть или, еще хуже, за обедом что-нибудь схватить вперед сестры — тут же запрещалось неделю появляться на псарне. А я так привязан был к собакам, что предпочел бы плетку...

Он наконец втянул дым и тут же закашлялся, прижав к горлу ладонь.

— Самосад. Папирос бы. А сны... Мне как-то перед войной попалась книга: там доктор, немчура, объяснял сновидения с точки зрения — как бы это сказать? — венерической. Будто все, что нам снится, связано, оказывается, с половым влечением. Притом не просто с влечением, а с таким именно, которого сами в себе мы как бы и не осознаем, а оно все равно где-то там действует.

— И вы в это верите? — спросил Лампе.

— Ну не то чтобы убедился, но интересно же. Получалось, что женщины у меня теперь будут как на ладони, вся их подноготная, раз уж у них заведено сны пересказывать. Да и в себе занимательно покопаться. Но знаете, с тех пор — как отрезало. Спишь не так, конечно, как пьяным бывает, какое-то ощущение времени сохраняется; но чтобы образы, сюжеты — никогда.

Он помолчал, разглядывая небо. Потом вздохнул.

— Смотри-ка, все забыл.

— Что?

— Звезды, созвездия. А в гимназии ведь высший балл имел. Телескоп даже сооружали, с учителем.

— Неужели совсем?

— Ну, пояс Ориона еще узнаю. Значит, выше Бетельгейзе, верно? Дальше Альдебаран, Регул. Персей где-то здесь должен быть — там звезда Алгол: красная, звезда смерти.

— Это ведь арабские у них имена? — спросил Лампе.

— Всекие. У некоторых халдейские еще. Представляете, сколько веков! Толщу времени Лампе вообразил себе почему-то как беспросветную, бесконечную воронку. И поежился.

— Продрогли? — Закревский ловил пальцами прилипшую к губе табачную крошку.

— Черт! Задувает даже здесь.

— На ходу согреемся.

— Куда там на таком ветру.

— Что, не хочется вылезать?

— Честно говоря, не очень, — признался Лампе.

— А я к холоду равнодушен. Оставайтесь. Я пройду вперед, потом захвачу вас.

Доверяя Закревскому вполне, Лампе не заставил себя уговаривать. Но все происходившее с ним в эти дни подспудно, должно быть, подтачивало и отшлифованное бесчисленными днями фронта умение владеть собой. Он знал, что спать нельзя — околеченешь; повторил это себе несколько раз, приказом — и все-таки задремал, едва остался один. Вроде бы и глаз он не закрывал, но пейзаж, бледный в свете медленной одолевавшей высоту полной луны, стал вдруг виден так, словно окопчик обернулся холмом. Только что Лампе смотрел вровень с землей, сквозь тонкие линии стелющейся по ветру травы, а теперь пологий речной берег, такой же с другой стороны, уходящая вдаль плоскость полей — все развернулось перед ним подобием огромной карты. Более того, ощущалось исчезновение горизонта: казалось, будь света чуть больше — разглядел бы за перелеском и пройденную сегодня Усть-Лабинскую, и Кореновскую, где двенадцать человек его роты легли в атаке на бронепоезд, и дальше, дальше, в уменьшающейся до неразличения перспективе. Но еще прежде чем успел удивиться случившейся метаморфозе, штабс-капитан почувствовал чье-то присутствие рядом.

Одетый в нечто, напоминающее английский военный френч, он сидел на земле в метре от Лампе. Отчетливо штабс-капитан видел только пальцы, сцепленные на коленях, — остальное же было словно чуть смещено относительно самого себя, как предметы в расстроенном дальномере. А если пробовал разглядеть одежду — расплывались уже пальцы; вообще всякая попытка сфокусировать взгляд на какой-нибудь детали сразу вела к потере других. Лампе пришлось сделать усилие, чтобы заставить себя взглянуть ему в лицо. Но глаза оказались человеческими, живыми.

— Я... — Лампе поперхнулся. Вмиг пересохшее горло даже гласные сводило на шип. — Я скоро буду там? С тобой?

Убитый князь отвечал вполне обыкновенно, двигал губами.

— Время не таково, каким мы его мыслили. Знать будущее не дано никому. Кажется, им можно владеть. Но те, кто способен, — не здесь.

— Погодите... Подожди. Куда ты был ранен?

Показал, коснулся пальцами основания шеи.

— Боль, страх — были?

- Нет, сразу.
- А потом?
- Ни к чему.

Лампе остро чувствовал недозволенность любопытства, словно бы постыдность вопросов, что теснились сейчас в голове. И вместе с тем — безмерность тайны, раскрывающейся навстречу, предельную напряженность жизни, линия которой мгновенно сошлась в точку, чтобы разворачиваться снова в мире, прежнему уже не подобном.

- Но ведь тебя пытались предупредить. И еще, я знаю, Лежнева.
- Это не предупреждение. Не так-то просто вклиниться в ход вещей.
- Тогда зачем вы приходите?

Все та же азийская печаль в улыбке.

— Самое страшное здесь — что слишком ясно видно, как намертво все мы связаны друг с другом.

- А место? Лежневу и тебе — показали ведь место?

Князь кивнул.

— Просто события, в сущности, происходят раньше, чем мы к ним прикасаемся.

Лампе потерял дыхание.

- Тогда... тогда назови мое.

— Овраг. Там, у реки.

- И уже... я ничего уже не могу изменить?

Подумал: «Неужели я о себе? Вот так, спокойно?..»

— Я не знаю всего. Но похоже, что доля свободы все-таки остается — всегда, даже в совершившемся. Поэтому предсказания невозможны.

- Значит, все же... не предрешено?!

— Ты не понял. Только ты решаешь.

Время, получившее предел, становилось скользким, как рыба в ладонях. «Я должен спрашивать, — торопил себя Лампе, — спрашивать о том главном, что ему уже известно, а мне теперь предстоит. Еще — о матери. Еще — существует ли воздаяние...» И все не решался начать. Выдавил только:

- Почему вы так близко? Ведь должны быть дальше, много дальше?

— Не мы, — сказал князь. — Вы...

И тут же, будто Лампе мгновенно обрушился с высоты, способность видеть сразу вернулась к привычной скудности, ограничилась снова травой, дальними огнями сквозь, темной массой леса чуть в стороне: большое тело Закревского появилось над бруствером и перевалилось вниз.

Лампе прижал пальцами веки и ждал, пока синие и зеленые пятна медленно уплывут вбок.

- Вы что-нибудь видели?
- Все в порядке. Прошел вторые посты.
- Нет, сейчас, здесь.

Подпоручик пожал плечами.

- А что? Эй, да вы, должно быть, уснули!

Часы у него играли «Августина», когда открывалась крышка. Лампе спросил:

- Трофей?

И выбрался из окопа первым.

Близкий взрыв разбудил станицу за несколько минут до полуночи. Выбежав на крыльцо, тщетно пытаясь попасть на ошупь в рукав шинели, Лампе обнаружил слепую толчею наталкивающихся друг на друга темных фигур; всякая новая версия происходящего, которую время от времени кто-нибудь неразличимый в спешке выкрикивал, пробегая мимо, напрочь опровергала предыдущую. И только через четверть часа положение более или менее прояснилось.

Большевики взорвали мост, сильные их части подошли к переправе с той стороны реки, и высланный вперед дроздовский полк оказался отрезан от остальной армии. Говорили, что и крестьянам с окрестных

хуторов они раздали оружие. Как солдаты те не представляли собой, конечно, ничего, но и простой объем пушечного мяса в расчет нельзя было не принимать.

Бегом выводя роту к реке, Лампе отметил, что от оврага отделяют его добрых две сотни метров, на которых разворачивались теперь алексеевцы и юнкера. Значит, если, как скорее всего и случится, атаковать придется напрямую по двум бродам, оказаться там он вроде бы не должен.

Наперед зная, что ответа не найдет, он не спрашивал себя о реальности пережитого сегодня в дозоре. Но чувствовал, что, сон или явь, разговор с мертвым Чичуа несомненно имел в себе некий ключ к тому несоответствию, о которое до сих пор разбивались любые его попытки что-то объяснить себе. Ведь оба они, и князь и Лежнев, тоже были сперва достаточно далеко от назначенного им места. И направились туда оба в конце концов все-таки по своей воле. Так или иначе, ни убежденность юнкера в обязательности геройства, ни даже любовь Чичуа не были обстоятельствами, не оставившими выбора вовсе.

А казалось, будь их смерть действительно предопределена, такие силы вступили бы в действие, что не должны допустить и тени возможности уклониться. Если же нет — то куда больше тех двоих свободен он, Лампе, ни к кому больше не привязанный здесь и воевавший уже довольно, чтобы знать, что подвиг, если смотреть трезво, часто бывает лишь украшением глупости. И не достаточно ли просто сказать себе, что не его черед сегодня во что бы то ни стало рисковать головой, даже за ближнего? Ведь всего только и нужно: удержаться, не свернуть туда, влево, к оврагу...

Примчавшийся вестовой сообщил, что большевики прибывают эшелонами из Екатеринодара и приближаются к Некрасовской с тыла. Выход один: форсировать реку и пробиваться. У Лампе заныли зубы при мысли, что предстоит оказаться по пояс в мартовской воде.

Первыми поднялись алексеевцы. Но едва их цепи вышли на береговой откос, четыре пулемета разом замолотили на той стороне. Фигуры людей, прижавшихся к голому песку, для пулеметчиков стали мишенью проще учебной. Теперь начинался расстрел.

Лампе прикинул: выйти ко второму броду, вызвать на себя огонь, тут же отойти, постаравшись сократить потери. Если два пулемета на время переключатся на них, хоть кто-то там, на откосе, сумеет выбраться. Он снова покосился влево: нет, даже если атака захлебнется, от оврага они останутся далеко, еще дальше, чем сейчас. Потом оглянулся назад, на готовую к броску роту, и вдруг на долю секунды увидел своих людей так, будто они уже изувечены железом: увидел кровавую коросту вместо лиц, лохмотья кожи, вывернутую наизнанку плоть... Штабс-капитан подавил судорогу, провел рукой по лицу, отгоняя наваждение. Отвлекающий маневр! Половину людей можно оставить на таком маневре!

— Рота! — Он кричал хрипло, голос едва подчинялся. — Выручаем студентов! Под огонь не лезть, на берегу не ложиться — сразу отступаем!

Ему никогда не удавалось вспомнить свой первый шаг, сам тот миг, в который вставал под огнем в атаку. Вот и сейчас он обнаружил себя уже бегущим, а песчаный берег, где больше не прикроют даже низкорослые кусты, пока еще цеплявшиеся за одежду, становился ближе с каждым шагом. Но ум оставался холодным, а мысли — короткими и точными. А в памяти всплыли слова юнкерского поручика о том, что ткань мира видится тоньше перед боем. Лампе заметил: предметы, как он видит их сейчас, действительно приметно отличаются от того их облика, к которому привыкаешь в обыденности. И понятий готовых для этой перемены не нашлось. Казалось, что появляется в вещах некая новая продолженность, будто пространству добавляется измерений, уже не зрению открытых, но иному, не осознанному пока видению. А вместе с тем каждый куст, каждый бегущий человек, даже луна и сама темнота как бы дробились, представлялись теперь массами мелких, отчетливо различимых частиц, собранных в подобия единств лишь какой-то моментальной прихотью природы. «Песок, — вдруг сказал про себя Лампе. — Мы — песок. Известь».

Он повел роту по узкой ложбине меж двух невысоких вытянутых холмов. Расчет оправдался: два пулемета работали теперь исключительно по ним. Первый, способный обстреливать ложбину, бил почти наугад: луна оставалась за холмом, здесь было темнее, чем на открытых местах, и силуэтов их с той стороны скорее всего не различить. Другой же, от которого холм их пока еще прикрывал, старался заранее отрезать им путь к правому броду, заставлял забирать все левее, чтобы вынудить в конце концов выйти на тот же песчаный пляж, где попали в западню соседи.

Черные фигурки бежали уже от реки назад, в степь. Значит, рота сделала что могла и Лампе следовало командовать отступление; но атака уже несла корнилловцев, и повернуть их было больше не в силах штабс-капитана. Он увидел, как падает замертво лицом в землю бегущий чуть впереди Закревский. А когда в следующее мгновение сам оказался на берегу, из-за реки заговорили уже не пулеметы — ударила на картечь артиллерия.

Пройдя над землей на высоте человеческого роста, первый заряд влип, чавкнув, в откос. Впервые Лампе видел воочию, как человеку на ходу отрывает голову. Тем же, кого не смело сразу, оставалось теперь только вцепиться в землю. Пересилив крупную дрожь в руках, из-за которой и опереться на них удалось не сразу, Лампе заставил себя приподняться и быстро огляделся. Назад, вверх по склону, теперь нечего было и пытаться: накроют всех двумя залпами, едва начнешь карабкаться. Но и здесь, на песке, времени им отведено немногим больше. И только впереди, метрах в ста дальше по берегу, виднелся выступающий отлог. Их единственная возможность.

Картечь с визгом врзалась в землю в нескольких метрах от штабс-капитана. Кто-то дико закричал рядом. Пушка, должно быть, располагалась выше, чем пулеметы, и могла бить прямой наводкой даже по лежащим. Но там не спешили — пристреливались.

Лампе крикнул изо всех сил, надеясь, что хоть кто-то услышит сквозь пулеметный стук; махнул рукой, указывая направление. Но третий залп лег в самую середину ползущей роты. И с этой минуты он уже не думал, остался ли кто-нибудь, чтобы следовать за ним, — полз вслепую, долго не различая ничего в облаке песка и реве новых ударов. Потом издали наконец-то ударила своя артиллерия. Что-то взорвалось на том берегу, осветило голубым огнем небо, множество тел, скорчившихся на песке. В странном этом, мертвеном и дрожащем свете показалось сперва, что больше нет живых. Но нет: один, другой еще пытались двигаться между десятками неподвижных.

Шальной, неясно, с чьей стороны, снаряд разорвался на границе песка и воды. Лампе отбросило, протащило по земле. Открыв глаза, он увидел все вокруг как бы расслоенным натрое: словно три разных мира, проникающих друг в друга не соединяясь. В одном остались предметы: песок, камни на песке, трава, река, две яркие звезды, пробивающиеся сквозь залившую небо голубизну. Какие-то смутные тени населяли второй: нечто, двигавшееся слишком быстро, ускользавшее от глаз, но вместе с тем достоверно существовавшее. В третьем же, как в некоем отдельном и замкнутом пространстве, оторванные и от вещей и от теней, были заключены он сам и все еще живые на этом берегу. А местность опять открывалась, подобно тому как это было с ним в начале нынешней ночи: словно земля разглаживала свои складки, чтобы он смог увидеть, что близкий уже отлог, единственное укрытие, куда он стремился, извиваясь червем, и есть вход в тот самый указанный ему овраг.

Тогда он понял, что удивлявшая его свобода, не укладывающаяся в представления о предрешенности, была только последней наградой, которую получили достойные. С ним же все будет иначе: его сейчас просто загонят картечью, не позволив и шага в сторону, точно туда, где суждено встретить конец. А там... Наверняка пошлют вдогонку несколько разрывных, стоит уйти от прямого прицела.

На мгновение он испытал безудержный восторг фатализма, прямого прикосновения к собственной судьбе. Очередной заряд взбуравил песок повсюду вокруг, но Лампе, словно хранимый, остался опять невредим: не задела даже разлетающиеся камни. Ему показалось нелепым, что, окружен-

ный мертвыми со всех сторон, сам он все еще осознает себя и ощущает тело. И тут же стало ясно, как легко объясняется эта неуязвимость.

Но, значит, всего шаг стоит сделать сейчас — и он все-таки будет спасен!

Лампе старался обогнать ум, который не смог бы принять опровергающую здравый смысл идею, старался оставить в себе только мгновенно утвердившуюся уверенность, что если поднимется сейчас навстречу огню — вопреки всему, вопреки очевидности убит не будет. Дождавшись нового залпа, выигрывая секунды, которые потребуются, чтобы перезарядить оружие, он оттолкнулся от земли, встал в рост, глядя, как вспыхивают желтые точки на пулеметных стволах, и еще успел подумать, что уцелевшие наверняка будут рассказывать о командире роты, потерявшем рассудок.

Два почти слившихся удара в плечо отбросили назад, но равновесие он еще удержал, и только следующий, пришедшийся уже в тело, опрокинул его навзничь. Еще прежде чем снова коснулся земли, он почувствовал, что новая пуля разрывает что-то в груди. А потом, на мгновение опережая боль, красная волна захлестнула ему глаза.

На рассвете вышедшие вперед дроздовцы вернулись и очистили противоположный берег. Это позволило организовать линию обороны с тыла, и армия смогла отойти в боевом порядке. Лампе подобрали утром, когда обоз с ранеными переправлялся через Лабу как раз по тому броду, куда штабс-капитан вывел в атаке свою роту. Вернее, первыми подобрали его проштрафившиеся в похоронщики кадеты, даже оттащили к краю общей ямы, где добытый откуда-то иерей-чернец, воюя с гаснущим кадиллом, частил панихиду — в тот день хоронили наспех. Лампе застонал вовремя: выложив длинную шеренгу из мертвых, кадеты уже спускали тела по одному вниз.

Очнувшись на следующие сутки, Лампе узнал, что в живых осталось восемь человек из роты, а сам он удачлив необычайно: пять пуль, вошедших в него, не затронули жизненно важных органов. Довольно сильно, правда, была повреждена левая рука, да еще прошел свинец сквозь нервный узел в груди, но через месяц-два все вроде бы должно зарастить, не оставив следов. Разве что рукой некоторое время трудновато будет владеть. Еще говорили, что восстановят Георгия, и Лампе станет одним из первых представленных.

Пробирались дрянными кубанскими дорогами. Лампе трясся на подводе, стараясь поудобнее устроить раненую руку. Левый рукав отрезали, перевязывая, почти полностью, но корниловская нашивка (голубой щит с черепом, мечами и подожженной гранатой) еще болталась в полной сохранности на обрывках материи. Лампе оторвал ее и спрятал в маленький карман плотной шерстяной безрукавки, которую связала ему мать еще перед отправкой на фронт.

Обоз шел медленно — по станицам, по черкесским аулам. Сестра Таня рассказывала о религиозных обрядах в Японии.

— Откуда вы все это знаете, Таня?

— Мой отец был морским офицером. Попал в плен на Дальнем Востоке. Но японцы обходились с ним очень уважительно — он многое смог увидеть там.

— А что с ним теперь?

Она запнулась.

— Расстреляли в Москве.

А Лампе, вспоминая Константинова, все тверже уверялся, что прапорщик, чье имя никогда не будет вписано в анналы этой войны, сумел найти истинную ее формулу. И именно из нее штабс-капитан теперь объяснял себе, почему, с тех пор как его накрепко спаянное с плотью сознание, взбунтовавшись против неизбежности смерти, подсказало, что спасительна сама точность указания места гибели, его уже не оставляло чувство, что отныне война избыта для него и с происходящим вокруг связан он теперь только внешне, в сущности выйдя уже вон из круга событий. Ведь если только то и назначено им и только тем смогут они оправдать себя перед лицом Высшего суда, что останутся навсегда здесь, в этих полях, то, сумея, ничего не предав, словно бы перешагнуть через собственную участь, он, казалось, становился тем

самым причастен некоей новой плоскости бытия, суть которой познавать еще предстояло.

Трогались в путь чаще по ночам: опасались мелких шаек не то большевиков, не то просто бандитов из местных крестьян, вести о которых доходили с разоренных хуторов. В сырой мгле у лошадей екала селезенка. Однажды Лампе подробнее расспросил Таню о погибшем отце. Сестра плакала, рассказывая о тихом и печальном счастье своего детства, когда после смерти матери они с отцом остались вдвоем; о том, с каким нетерпением переживала она всегда последние дни, перед тем как отец должен был вернуться из похода, как не находила себе места, когда узнала, что он в плену, и вынашивала даже наивные планы пробираться в Японию. Память этих минут взаимного понимания стала нитью, протянувшейся с той ночи между Лампе и девушкой. Именно Таня теперь спешила помочь ему перейти с подводы вдом и старалась оказаться рядом, когда приходило время делать перевязку. Да и сам Лампе начинал тосковать, если случалось подолгу не видеть поблизости ее хрупкую фигурку. О любви он не задумывался, но привязанность души заполнила в те дни его существо целиком.

В Елизаветинскую раненых привезли на вторые сутки штурма Екатеринодара. По несколько раз в день поступали с верховыми известия то о взятии города, то о том, что атаки добровольцев опять отбиты. По утрам Таня водила Лампе на скорбно-торжественные, исполненные ожидания великопостные службы. Сквозь пение слышен был мерный шум боя — до города отсюда было не больше десяти верст.

А потом зашептались: убит Корнилов. Говорили сперва неопределенно: кто-то от кого-то услышал, — и Лампе не желал верить, пока не прискакал в станицу знакомый капитан, бывший тому очевидцем. Он рассказал и о том, как хоронили: ночью, в полном секрете, а десятерых пленных, рывших могилу, текинцы изрубили потом, выгнав в поле. Лампе подумал, что пошлым может оказаться и страшное. Какой-то «остров сокровищ»...

Теперь он признался себе: только личность Корнилова и привлекла его в свое время на Дон. Вернувшись, с благословения командира полка, из развалившейся армии обратно в Киев, Лампе сразу же потерялся в хаосе происходящего и долго без всякой цели кочевал по Югу, ибо единственный город, где что-то у него оставалось — Петербург, — был наглухо замкнут в кольцо бунта и противоречивых слухов. В те три месяца Лампе примыкал то к одним, то к другим, но быстро убеждался, что люди, от которых он ждал ясности, сами почти не представляют себе, с кем вместе и против кого следует воевать, и уходил опять, так и не определив себе места в водовороте событий.

Но когда узнал, что арестованный Корнилов бежал из тюрьмы и формирует на Дону армию, отбросил сомнения. Не то чтобы сама фигура командующего была для штабс-капитана важнее цели и смысла борьбы, но запутавшийся и настороженный Лампе нуждался в ком-то, на кого мог бы без колебаний переложить тот окончательный выбор, оснований для которого, постоянно ускользающих в неразберихе политических доктрин и чужих амбиций, уже не под силу было искать самому. Военская же доблесть и безусловная преданность долгу, чем покорял генерал сердца окопников еще на немецком фронте, казались последним, чему еще можно довериться в потерявшем опору мире. С тех пор и до последних дней Лампе уже не позволял себе задумываться, насколько верным было это решение. Он по доброй воле вверил судьбу Корнилову и считал позорным малодушием даже внутренне отделять себя от их общего дела.

А сейчас, еще прежде чем капитан кончил рассказывать, понял отчетливо: отныне его пути негде пересечься с этой войной.

Дальнейшее напоминало плохо сдерживаемую панику. Вечером опять погрузились на подводы. Обозный офицер объявил, что легкораненых отправляют вперед, а за остальными вернуться к утру, — но никто не обманулся. Было ясно, что тяжелых придется оставить, и была понятна



вынужденность меры, но оттого только сильнее становилась безысходная, стиснутая ярость. Когда Елизаветинская осталась в полудне пути, Лампе начал беспокоиться, нигде не замечая Тани. Но только вечером подошел врач, держал его за плечо, сообщил, скребя толстыми пальцами жесткую щетину на подбородке: «Я знаю, она была вам дорога. Но она сама так решила, сама...» В арьергарде, догнавшем обоз, о судьбе оставленных на расправу никто рассказать не мог или не захотел. Лампе смотрел в темноту и постигал смысл библейского афоризма, что слезы — великий дар Божий.

Он следил за эволюциями новой для него, прежде неведомой боли, поселившейся в груди и обволакивающей его непроницаемым безразличием, возвращаясь как к заклинанию к мысли, что в Новочеркасске, куда его непременно должны будут отправить, как только войска снова достигнут Дона, он подаст рапорт о выходе из армии. В садах цвели яблони, и равнодушно, не отмечая даже контраста со своим внутренним, он говорил себе, что это красиво, неизмеримо красиво. Все же остальное, о чем думалось коротко, какими-то обрывками, возникало призраками и забывалось тут же. Лампе много спал, и почти всегда ему снилась Таня. Один и тот же сон. Тесная, высокая, словно колодец, квадратная комната без окон; они сидят друг против друга в противоположных по диагонали углах, железные стулья привинчены к полу. Таня смотрела ему в глаза — без укора и без ожидания во взгляде, но словно бы со спокойной уверенностью в чем-то, относящемся к нему, но только ей одной известном... Раз за разом Лампе все больше обвыкал в этом сне и если сперва все искал слова, чтобы нарушить тяготившее молчание (но всегда просыпался, когда совсем уже был готов сделать это), потом принял безмолвие, научился ощущать себя нужным в нем и его, пусть еще скрытое, значение.

Сам он, не разомкнувши губ почти неделю, впервые пересилил себя и обратился к другому, только когда заметил, что местность вокруг становится знакомой. И спросил об этом сопровождавшего обоз юнкера, пугаясь неожиданной массивности посвежевших слов, каждое из которых (даже союзы), оказывается, заключало в себе куда больше того привычного и необходимого, чем соединялись они друг с другом и с вещами. Юнкер ответил, что ночевать сегодня предстоит в Лежанке. «Вернулись, твою мать...» В лазарете соседом штабс-капитана оказался солдат с гниущей раной на животе — дух стоял нестерпимый. Но Лампе уже достаточно окреп, чтобы выходить самому. Был Великий Четверг, и звонили в тот вечер долго-долго.

В храме он с неприятным удивлением поймал себя на том, что пристально рассматривает молодую женщину, молившуюся в тени у стены. Впрочем, тут же и оправдался тем, что интерес его касался только внешнего несоответствия: лицо ее казалось слишком тонким для местной уроженки, и оттого весь облик ощутимо не вязался с грубоватым интерьером станичной церквушки. Дождаться конца службы он не стал: после ранения ему становилось тяжело дышать, когда оставался на ногах слишком долго. Напротив церковного крыльца, у первых хат, были сложены друг на друга несколько больших бревен, и Лампе присел там, переводя дыхание. Ясное небо, тысячи звезд. Такого неба, как в южной России весной, ему не доводилось видеть никогда и нигде. Он вспомнил Закревского, поискал глазами пояс Ориона, но тот, должно быть, оставался по другую сторону горизонта.

Чуть позже еще одна фигура появилась в дверях храма. Лампе удивился, узнав женщину, которая привлекла недавно его внимание: казалось, молитвой она была поглощена всецело и вряд ли что-либо может заставить ее уйти раньше времени. Теперь, придерживая непослушные концы скромного серого платка, она торопливо шла в сторону бревен, на которых он сидел, и, обманувшись целеустремленностью ее походки, растерявшийся Лампе решил, что она действительно направляется именно к нему, и поднялся навстречу, но женщина испуганно отшатнулась, когда он вырос перед

ней так внезапно. Он начал было бормотать извинения, но вдруг представил полумрак лазарета, спертое тепло массы человеческих тел и испытал такое противление самой мысли, что предстоит туда возвращаться, что круто завернул фразу и закончил вопросом, не знает ли она дома, где его согласились бы принять сегодня на ночлег. Женщина долго поправляла платок, прятала выбившиеся волосы, потом равнодушно ответила, что можно остановиться у нее.

Идти оказалось недалеко: пятая или шестая хата от церкви. Первое, что Лампе заметил, войдя: слишком много книг в доме.

— Хотите есть? — спросила она.

— Нет, благодарю.

— А молока? Я согрею.

— У вас петербургский выговор, — сказал Лампе.

— Да. Муж служил здесь доктором, на две станицы. Он был в Ростове, когда ваши ушли. С тех пор никаких известий. Значит, убили. Чудес не бывает.

— Ну что вы так? Мало ли что случается.

— Снимайте шинель. Здесь тепло.

Лампе замешкался. Нечистые бинты — то же исподнее. Но тут же усмехнулся своей стеснительности.

— Да, — сказала она, взглянув на его китель, — это не зачинишь. Давно вас?

— Под Некрасовской.

— А когда туда шли — были в Лежанке?

Он кивнул. И про себя выругался, увидев перемену в ее лице. Стало быть, он противен ей. Убийца, один из тех, кто под ее окнами колот штыками людей... Слишком просто судить, глядя из хатки. Надо бы встать и уйти...

— Я хочу спросить вас, — сказала она. — Вот вы, офицер, что вы думаете: зачем все это?

— Ну...

— Только не общие фразы. Я ведь все понимаю: власть, Учредительное собрание... Но вы — вы ведь должны чувствовать особенно остро. Неужели вы действительно рассчитываете, что вам удастся что-то вернуть? Но что и для кого?

— А вы считаете, что мы обречены?

Она помолчала.

— Не подумайте, что я сочувствую большевикам. Я так же, как и вы, понимаю, что это такое и что за ними стоит. Но вот здесь, у соседки, убили и мужа и сына. Мужа — красные, когда забирали хлеб, а сына — ваши уже: винтовку нашли в сарае. У нее теперь только два пути: либо кротость, либо безумие. Но кротость — это уже шаг к святости, это не многим по силам. И в душе она сейчас уже с теми, кто меру безумия несет с собой большую. Значит, не с вами. Не вы, а те, другие, подадут ей на блюде то, в чем она нуждается. Не согласны со мной?

Лампе слишком долго подбирал слова для ответа, чтобы оставался еще смысл отвечать.

В эту ночь Таня впервые заговорила.

— Помогите мне, — сказала она. — Помогите. Некому больше...

Лампе обнаружил, что руки у него накрепко привязаны к стулу.

— Как я могу? Видишь...

— Не здесь, — голос угасал, едва-едва можно было разобрать, — не здесь...

Он проснулся затемно, уже зная твердо, что ждать больше нельзя. Хозяйка успела встать раньше, суетилась у печи.

— У вас есть одежда? — спросил Лампе. — Ничего не осталось после мужа? Я ухажу.

Она изумленно вскинула ресницы. Но сразу же вышла и принесла брюки и пиджак.

— Попробуйте. Дам еще пальто, осеннее.

В комнате Лампе стянул мундир, бросил на кровать. Белый кант, серебряные погоны, черно-красный шеврон. «Кто расписан, как плакат, — тот корниловский солдат». В новом повертелся, оглядывая себя, пытался определить, насколько заметно, что одежда с чужого плеча.

— Форму сожгите, — сказал он замершей у стены женщине. — Мало ли что.

Она проводила его до дверей.

— Только будьте осторожны!

Лампе кивнул и пошел не оборачиваясь. Уже за калиткой спиной почувствовал, что она крестит его на дорогу.

Со стороны церкви, где станица выходила на небольшое, заканчивающееся оврагом поле, караулов в эту ночь не оставили, и здесь проще всего было пробраться незамеченным. На кромке леса Лампе в последний раз оглянулся, увидел, как тонут в яблоневом цвете крыши домов, и обрадовался покою и уверенности в себе. Если он начинал думать о том, что отныне предстоит ему, то представлял некий монастырь, где в постройках соседствовали готическая заносчивость и золотое российское горение, а людские фигуры напоминали беглые, почти условные наброски, какие встречаются в пейзажном этюде. Но Лампе знал, что это всего лишь символ, за неимением других, особого, только ему предназначенного духовного труда и подвига, свою предуготовленность к которому уже принимал за данное. И его не беспокоило, что пока еще не вырисовывались даже контуры этого грядущего подвижничества: он не сомневался, что время придет — и все откроется ему в своей просветленной ясности.

Он отдыхал часто, но понемногу, понимая, что важно как можно больше пройти именно в первый день, постараться сразу же оставить позади зону боев. Если все сложится удачно, дня через четыре он будет уже в Ростове, у железной дороги. А там — там ему наверняка будет как-то указано, куда он должен направиться.

Лес кончился, сменился полями. Лампе выбрался на большак и шагал по нему, пока день не перевалил за половину. Еще издали он заметил небольшой хутор, настораживающую суету на его окраине и решил не рисковать: свернул опять, пошел по пашне к новому лесу. На опушке присел отдохнуть, чувствуя, как лечит, наполняет тело силой сам дух молодой листвы.

Его окликнули, едва он снова поднялся на ноги. Не оборачиваясь Лампе прикинул: подчиниться или бежать? Но для бегства он был еще слишком слаб.

Двое стояли, заметно покачиваясь — были сильно пьяны. Но рассчитывать на это — глупость: породу их Лампе уже изучил, знал, что, когда дойдет до дела, хмель только силу им придает и злобу звериную. Оба с винтовками, у обоих синие штаны с лампасами. Один лет двадцати, другой вполне мог бы быть его отцом.

— Кто такой? — спросил старший.

— Учитель, — сказал Лампе. — Из Екатеринодара. Меня ранили при обстреле, потом везли с собой. Сегодня ушел, из Лежанки.

— А в Лежанке, значит, армия. Вся?

— Не знаю. Кажется, нет. Несколько полков.

Молодой подошел, распахнул на нем пальто.

— Никифор, сапоги возьмешь? По тебе.

Старший качнул головой.

— Ни... На кой.

— Ну как хочешь. Мне сертук нравится. — Он с пьяной дружелюбностью хлопнул Лампе по плечу. — А что — хороший сертук! Давай сымай, что ли!

Лампе медленно стянул пальто, повесил на сук рядом. Когда расстегивал пиджак, слишком свободная рубашка сползла с плеча и открыла шрамы на груди.

— Ого, — сказал младший, — пулемет, что ли? Эх тебя!

— Я же говорил: меня ранили...

Он слишком поздно заметил, что угол корниловской нашивки, о которой давно уже успел забыть, выбился из кармана надетой под пиджак безрукавки. Молодой стремительно выхватил ее двумя пальцами, словно бабочку за крылья, и тут же отступил назад, наставив винтовку и клацнув затвором.

— Никифор, последи за ним!

Вторая винтовка поднялась на уровень его груди. Молодой расправил нашивку на ладони и старательно разглядывал.

— Ви-и-дишь, — протянул он и юродски помотал головой. — А ты говоришь — учитель... Теперь все сымай!

Стараясь стаскивать сапоги как можно медленнее, Лампе дрожал от напряжения, ожидая момента, когда можно будет броситься в сторону, к деревьям. Теперь все зависело от того, насколько эти двое хотят убивать. Если нет — замешкаются, не выстрелят сразу, и тогда будет шанс... Но поймав снизу взгляд младшего, понял — не замешкаются.

Оставшись в белье, он переступил с голой земли на траву и запоздало удивился, отчего подчинился смешной мысли, будто так будет теплее.

— Не-е, — сказал молодой. — Туда вон иди, к березам.

Лампе отвернулся. Вдруг поймал себя на том, что опять старается представить происходящее со стороны и даже сейчас любит собственным самообладанием — ведь только от весенней прохлады бежали по спине мурашки. Позади спорили, молодой чего-то требовал от старшего, а тот сперва отнекивался, но вспомнили, что он молодому чем-то обязан, и пришлось в конце концов согласиться:

— Ладно, черт с тобой.

Лампе услышал, как выкинули обойму и вставили снова, проверив. И вдруг ему показалось, что уже сейчас, за мгновение до выстрела, он непременно увидит их всех: и Чичуа, и Таню, и маму, быть может...

Но навстречу ему никто не вышел.

Ноябрь 1992 — март 1993.

—◆—

<p><b>ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ТРЕТЬЮ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ КНИГИ ИВАНА ОГАНОВА «ПЕСНЬ ВИНОГРАДАря ОСЕНЬЮ»</b></p>
--

---

---

АЛИК РИВИН

(1913? — ?)

\*

## У МЕНЯ НА СЕРДЦЕ, ПОД ЧАСАМИ, КТО-ТО ПЛАВАЕТ ЖИВОЙ

Конец 30-х годов — время разгара политических арестов. Началось это еще раньше, вскоре после убийства Кирова. С каждым днем все чаще появлялся в газетах злоедающий ярлык «враг народа». Все чаще, особенно среди интеллигенции, таинственно исчезали люди. Наиболее подозрительными казались все деятели культуры старшего поколения, знавшие языки. Их обвиняли в измене, шпионаже, предательстве, увольняли с работы, переставали печатать. В издательстве «Художественная литература» эпидемия исчезновений достигла апогея, и почти не осталось ни переводчиков, ни редакторов иностранного отдела. Все притаились, говорили шепотом, недоумевали. А жизнь шла своим чередом.

Чтобы не слишком вопиюще были зияния и не окончательно остановилась работа, стали приглашать тех немногих молодых, которые знали языки. Я в то время еще не была членом Союза писателей, но довольно часто публиковала в наших журналах статьи о современной (в ту пору) западной литературе и изредка переводы с французского. После разгрома формализма в 1929-м — а я была ученицей Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова — от истории литературы я робко отошла, «грехи юности» стали понемногу забывать, и в 1938 году мне предложили составить сборник произведений Вайяна Кутюрье, написать к нему предисловие, перевести его политическую сказку «Жан без хлеба» и отредактировать переводы всех участников этой книги.

Я с радостью взялась за эту наконец-то ответственную и серьезную работу, но вскоре убедилась, что наряду с переводчиками профессиональными участие в сборнике предложили людям случайным и не слишком понимающим смысл и суть этого рода литературной деятельности. Переводили старые дамы, воспитанницы Смольного института, знающие и успевшие немного забыть языки, никогда раньше не помышлявшие о переводе как профессии. Переводили женщины на сносях, чтобы хоть чем-то заработать до близящихся родов. Переводили и люди явно не совсем нормальные. Словом, сборник переводов превратился во временное пристанище, объединившее в себе богадельню, роддом и филиал для душевнобольных.

Среди последних бросился в глаза перевод бесхитростного школьного стихотворения Вайяна Кутюрье, нечто вроде нашего «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно», в переводе оно начиналось: «Айда! День выбросил дугу!» В полном недоумении я пригласила для переговоров переводчика. В редакции появился какой-то скрюченный, небритый, запущенный юнец и отрекомендовался: Алик Ривин. Из наших переговоров ничего не вышло. Все мои доводы и увещания от него отскакивали. Пришлось своими силами кое-как возвращать русскому переводу хотя бы приблизительную близость к оригиналу. Но этот странный юноша оказался поэтом. Говорил он сбивчиво, горячо, необычно. Каждая фраза состояла по крайней мере из трех языков — русского, французского и идиш, еврейского разговорного языка.

Мы сразу подружались. Он пошел меня провожать, и я познакомила его с мужем — художником Иваном Михайловичем Петровским, большим любителем чудаков и странных людей. Алик завелся у нас в доме как постоянный посетитель.

В первый раз я приняла его в бывшей гостиной, обставленной парадными креслами, диваном и рядом стульев. Но он предпочел сесть на пол. К чаю я подала бутерброды, печенье и конфеты. К бутербродам он не притронулся, но сгрыз все конфеты до единой, хрустя карамелью, как костями. И тут же рассказал все о себе. Мать его умерла. Отец — бывший коммерсант, и чтобы поступить в вуз, нужно было обязательно поработать на заводе. Там ему станком отхватило несколько пальцев. В университет он поступил, но оставался в нем недолго и вместо лекций и зачетов целыми днями писал собственные стихи — странные, отрывистые, шероховатые, часто бессвязные, но среди косноязычного лепета и шлака попадались сверкающие, торжественно-вдохновенные строки:

Я человек — кусочек бога,  
И ветер сжат в моих руках...

Или пророческие стихи на смерть близкого друга незадолго до начала финской войны — «Вот придет война большая». Друг этот, в то время еще живой, действительно погиб в одном из первых боев.

Но самой замечательной, существующей во многих вариантах и раскрывающей Ривина всеохватно как поэта и личность, была «Поэма горящих рыбок» — смесь проклятий миру и благословений жизни, бунтующих обращений к Богу и раздирающих откровений. Эти стихи — сложный сплав высоких торжественных песнопений, философии и предельного натурализма, разбитных частушек и литературных цитат из поэзии классической и современной.

В «Поэме горящих рыбок» отразилась сложная, путаная и трагическая борьба богоотрицания и боговдохновенного приятия бытия, космическая связь со всеми стихиями природы, ощущение себя самого как источника созидания и утверждения жизни.

О жизнь моя, жизнь моя,  
О слепой восторг бытия.  
Кто я? Где я? Не надо. Не знаю.  
Но чувствую, чувствую —  
Есть Я!

Любимый поэт Алика Ривина — Велимир Хлебников. В честь его он всюду носил с собой кусочек черствого, заплесневелого хлеба.

Он демонстрировал свою ненормальность, заброшенность и неустроенность, танцуя на трамвайных остановках, распевая «я Алик — дер мишигинер» и выпрашивая у прохожих грошики. Он был бездомен и одинок, в постоянной ссоре с отцом, который его небрежно и нехотя подкармливал. Он был вхож в многие литературные дома тех лет, но ни у кого особенно не задерживался.

Он приносил нам рваные школьные тетрадки, в которых перекошенным, расширенным почерком разноцветными чернилами и карандашами записывал свои стихи и отрывки из дневников. Много таких тетрадок сохранилось у меня до сих пор, но еще требуют расшифровки.

Он проводил у нас целые дни, сидя в одной комнате с моим мужем, с которым очень подружился. Муж часто и охотно его рисовал, переписывал его стихи, выслушивал его сбивчивые признания, одновременно бесстыдные и вдохновенные. Я часто, работая в соседней комнате, слышала истерические возгласы Алики: «Иван, ты идиот!» — и минут через пять вскрики: «Иван, ты гений!» Все это перемежалось повелительными приказами: «Дай темак! Дай тесак!» — на его жаргоне это значило рубль или пятерку, в зависимости от возможностей Ивана.

Он вошел в нашу жизнь каким-то тревожным, грозным, взрывчатым предупреждением и исчез из нее в первые же дни «большой войны» 1941 года. Ходили слухи, что он погиб в блокаду от дистрофии. Кто-то утверждал, что он чудом пробрался на Кавказ. Но всякий реальный след его существования после 1941 года пропал окончательно.

А разбросанные по многочисленным и часто случайным друзьям рукописи сохранились.

## ПОЭМА ГОРЯЩИХ РЫБОК\*

...У меня есть руки, ноги, небеса,  
Сердце, выскочившее вперед  
Вашего бессмертия на полчаса,  
И ловящий время рот.

Век выбит из орбит  
И пахнет вещью.  
А время льется из бутылки.  
Кто я, тантал?  
Я пить хочу,  
А время льется мимо губ...

...Река времен лежит над миром,  
Смывает все,  
и нет ей дна.  
Она всплывает над собою,  
Она хохочет над судьбою,  
Она со всех сторон сквозна.

Век пахнет кровью и душой.  
Кто этот горький запах нюхал,  
Кто понял? Обнял потолок  
И небо на него прибил.

Что небо, детское окно  
Кружатся звезды возле света.  
Они влетают в комнату  
И тают теплые  
от света.

А там гудит громоотвод,  
И голос молнии клубится,  
Окно разбитое ревет,  
И снова хочется разбиться!  
Моя судьба — большой сюжет,  
Я рад душой ему служить.  
Есть фабула от А до Зет,  
А только нечем жить.

Голод и кровь людей равняют,  
А труд и время их меняют,  
А музыка живет над нами,

А музыка живет над нами,  
Неугасимыми огнями.  
Глупые!  
Жизнь проемней огней  
И капризной кудрявой воды,  
И время, как пальма,  
качает над ней  
Труда золотые плоды.

\* Поэма печатается в избранных редакцией фрагментах.







Плещут слезы,  
шевелият хвостами,  
трутся теплой головой.  
У меня на сердце, под часами,  
кто-то плавает...

живой...

Живем всю жизнь низачем,  
а умираем насовсем.

Все течет,  
все бежит,  
сказал великий Гераклит...

*Текст «Поэмы горящих рыбок» Александра Иосифовича Ривина сохранился в архиве Т. Ю. Хмельницкой в виде списка первой и второй частей, сделанного рукой ее покойного мужа Ивана Михайловича Петровского, и автографа второй и третьей частей, подаренного ему потом. В списке автор назван Алей Ривиным, а само произведение озаглавлено «Поэма горящих рыбок». На первой странице автографа помимо карандашной дарственной надписи, которую полностью уже невозможно разобрать, помещен следующий заголовок: «Поэма горящих рыб. Don Cínico Lunares tescaso encohonos. Poeta de los peses radientes» (в переводе с искаженного испанского: Дон Циник Родинки и испанское ругательство. Поэма сверкающих рыб). Автограф написан карандашом, некоторые слова начертаны синими чернилами и красным и синим карандашом, так что отдельные страницы напоминают футуристические издания.*

*Знаки препинания в обеих рукописях расставлены произвольно. Редакция позволила себе внести в это некоторую упорядоченность.*

Подготовка текста В. А. КАМЕНСКОЙ и О. М. МАЛЕВИЧА.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

## НОВАЯ РОССИЯ НА ПУТИ К ОБЩЕМУ ДОМУ

*Западные модели развития и общегуманитарные ценности  
в контексте российской истории и социально-экономических  
преобразований в современной России\**

*Общий дом — что это? Утопия? Канувшее в вечность прошлое? Зыбкая тень в нашем настоящем? Не знаем, но и утратить это понятие не хотим, пользуемся всяким случаем его упомянуть, на него сослаться и даже опереться на него. В этом понятии уж очень расходятся теория с практикой, в теории здесь всегда «да», в практике — бесконечные «нет», в результате никто не верит теории и все недоумевают по поводу практики. Конечно, нам, редакции, была бы предпочтительнее практика в чем-то компетентном изложении, но мы не располагаем таковым, а изыскиваем те или иные суждения в материалах «круглых столов», дискуссий и симпозиумов. Поскольку «Горбачев-фонд» в свое время проводил обширный симпозиум на эту тему, мы (не в первый уже раз пользуясь его материалами — см. «Новый мир», 1993, № 1) выбрали нескольких авторов из тех, кто, по нашему мнению, ближе других оказался к проблеме, и теперь считаем своим долгом выразить «Фонду» свою признательность.*

Сергей ЗАЛЫГИН.

### А. А. ГАЛКИН

Когда начинаешь размышлять или обмениваться мнениями по поводу политической ситуации, прежде всего приходится начать с разоблачения мифов. Правда, от этого мифы не становятся менее распространенными, но все-таки внутреннее удовлетворение это доставляет.

Ну, например, первый миф. Он заключается в том, что главная наша проблема состоит в поисках некой рациональной модели развития. Пока мы не нашли эту рациональную модель. Но вот если мы ее найдем, пусть на Востоке, пусть на Западе, тогда все пойдет нормально. Однако такой подход не более чем игра ума, очень приятная для политологов, исходящих в своих рассуждениях из того, что развитие политического процесса идет на основе неких рациональных законов. А в действительности этот процесс идет, во всяком случае у нас, иррационально. И реализуется не наиболее оптимальный, наилучший, а наиболее возможный, чаще всего наихудший вариант. Вот из этого следует исходить. Мы же постоянно игнорируем реальность и потому вынуждены то и дело биться головой о стенку.

Второй миф. Мы убеждены, что у нас происходит некий управляемый процесс. Нравится он или не нравится, но он управляем. Дескать, существует некий план у руководящих политических кругов, реализуемый сегодня вопреки сопротивлению со стороны злобной номенклатуры или еще каких-то особых сил, которые мешают реализовать этот план. В действительности никакого плана нет. Мы находимся в ситуации хаотического свободного падения, в ситуации полной неуправляемости и раздора в обществе. И из этого надо исходить. Тогда некоторые вещи, на первый взгляд кажущиеся непонятными, становятся вполне объяснимыми.

Третий миф связан со вторым. Многие из нас убеждены, что у власти находится группа реформаторов, которая осуществляет некую реформаторскую политику. Я все время пытаюсь лихорадочно понять, в чем заключается реформаторская политика нынешнего руководства, и никак не могу определить. Во время Горбачева правительством было проведено на порядок больше реформ, в том числе и экономических, чем

---

© «Горбачев-фонд».

\* Из выступлений участников дискуссий, проведенных «Горбачев-фондом» в 1993 году.

за последние два года, за исключением освобождения цен, что фактически являлось проведением наиболее жестокой конфискационной денежной реформы. Кроме этой реформы ничего проведено не было.

Поэтому ни о какой реформаторской политике речь сейчас не идет. Речь идет о борьбе, в общем, определенных политических сил за властные функции. А какой в результате окажется политика, будет зависеть от соотношения сил.

Проблема заключается в том, что поскольку нынешняя политика не является реформаторской, то ждать от нее, вернее, от политиков и теперешнего российского руководства каких-то серьезных мер по экономическому оздоровлению не приходится вопреки всем рассуждениям, декларациям и крикам. Я не верю в политику перехода к жесткому финансовому курсу. Не верю. Потому что наше правительство держится на инфляции и. Инфляция есть условие политического выживания нынешних правящих группировок. И стоит им только отказаться от инфляции, как через полтора месяца они будут вынуждены уйти от власти.

Теперь то, что касается недавнего референдума по вопросам, касающимся поддержки политики Ельцина. Совершенно очевидно, что в основном поддержало Ельцина и нынешнюю политику не просто городское население, а прежде всего основные группы рабочего класса плюс часть интеллигенции, главным образом очень узкая прослойка гуманитарной интеллигенции. Средняя же техническая интеллигенция в основной массе больше не поддерживает курс Ельцина и его правительства.

Но сейчас главное другое — свое доверие президенту и проводимой им политике высказал рабочий класс. Москва, Санкт-Петербург, Урал являлись и все еще являются основными регионами поддержки нынешнего руководства, его политики. С чем это связано? Прежде всего с инфляционной политикой, с теми самыми кредитами, за которые сегодня многие клянут Центральный банк и по поводу которых поднята такая истерика в демократической прессе. Именно инфляционистская кредитная политика позволяет подкармливать рабочий класс, несмотря на кризис и падение производства. Все деньги и дешевые кредиты практически идут на выплаты не заработной заработной платы, что обеспечивает наряду с некоторыми другими факторами определенную социальную стабильность. И основные группы рабочего класса, в общем, смиряются, будучи чем-то недовольными, с нынешней экономической политикой. Отсюда этот парадокс, когда, несмотря на падение жизненного уровня в стране, получилось так, что большинство населения, относительное большинство, как бы проголосовало за правительственную социально-экономическую политику.

Но завтра, если будет введен дорогой кредит и ограничены каналы его поступления, начнется массовое закрытие предприятий, политическая ситуация мгновенно изменится. Поэтому никаких серьезных экономических изменений правительство и правящие круги проводить не будут, ибо они находятся у власти во многом благодаря инфляции. Для того чтобы перейти от инфляционистской политики к деинфляционистской, нужна смена в руководстве политического класса. А поскольку инфляцию преодолеть нельзя не потому, что невозможно технически преодолеть, а потому, что ее никто не хочет преодолевать политически, значит, мы будем находиться в свободном падении еще некоторое время. Где дно, практически никто не знает. Но оно есть, и удар о него будет очень тяжелым. И тогда начнется уже совсем другой политический виток. Тогда власть в стране легко может перейти в руки национал-консерваторов, поскольку социально-либеральная идеология окажется скомпрометированной, подобно идеологии социалистической.

Либеральная идеология сейчас очень быстро теряет своих сторонников, прежде всего потому, что для многих она ассоциируется с тем хаосом, экономическим и правовым беспределом, которые воцарились в нашем обществе. (По той же схеме, кстати, дискредитируется такое понятие, как «рыночная экономика».) И в этой ситуации могут возникнуть некие структуры, достаточно жесткие, которые будут связаны вовсе не с именем Ельцина.

Что в этих условиях делать? Как избежать столь печального исхода? Еще раз подчеркну — оптимальный вариант никогда полностью не реализуется. Однако подумать о нем можно. Совершенно очевидно, что, если мы хотим сохранить гражданский мир, нам никуда не деться от общенационального «круглого стола», от консенсуса. С Ельциным или без Ельцина общественный договор, политический договор, как бы его ни назвали, совершенно необходим. Нужно во что бы то ни стало искать и находить формы общественного согласия, на основании которого только и возможно сформировать авторитетное, пользующееся безусловной поддержкой большинства россиян правительство, представляющее интересы различных слоев населе-

ния, социальных и политических течений и группировок. Это должно быть правительство национального доверия, национального единства, и одновременно оно должно быть в высшей степени профессионально. Вот такому правительству и можно, даже необходимо будет предоставить ряд экстренных, чрезвычайных полномочий по выводу страны из кризиса.

### В. М. МЕЖУЕВ

Сразу хочу предупредить — я не политолог и, честно говоря, немного побаиваюсь наших отечественных политологов по той простой причине, что политология у нас очень молодая наука и очень часто продуцирует не только знания, но и, как уже тут было сказано, мифы. Это своеобразная форма современной политической демонологии, когда политические деятели у нас наделяются какими-то демоническими свойствами, изображаются всякие заговоры, которые происходят, битвы, о которых нам неведомо и от которых все зависит.

Мы, к сожалению, не способны пока еще выработать какие-то чисто рациональные способы анализа и рассуждения о реальных политических процессах и все время выискиваем какие-то замыслы, какие-то тайные расчеты, козни, заговоры и т. д. И забываем, что способность рационально судить, о политике в частности, вообще способность к рациональному анализу как раз и есть первый признак западноевропейского мышления.

Думаю, Запад начинается совсем не с частной собственности и даже не со свободного рынка, а как раз со способности к рациональным формам и рациональным типам поведения и анализа.

Проблема, которую мы взяли решать, представляет собой уравнение с двумя неизвестными, для нас, во всяком случае, с двумя неизвестными. Первое неизвестное — это Запад. Надо сказать, что Запад интересует Россию уже давно. О Западе в России много писали и говорили, и никогда Запад в сознании русского человека, российского человека не был единым. Образ Запада и представление о Западе в российском общественном сознании очень сильно эволюционировали. То, что, скажем, о Западе думали в XIX веке, вообще совершенно не похоже на то, что о Западе думают в веке XX. И наверное, русский западник XIX века руки бы не подал русскому западнику XX века, он не стал бы с ним даже общаться, не признал бы в нем своего единомышленника. Это во-первых.

Второе неизвестное, с которым приходится считаться, — реальный образ России. Подчеркиваю — реальный образ, а не наши представления о нем. Каков же этот образ? Вопрос вовсе не праздный. Проблема отнюдь не простая. Хотя мы вроде бы русские, Россия — наша родина, мы живем в этой стране, но ответить на этот вопрос, разрешить эту проблему не очень-то просто. И если знать историю русской общественной мысли, то видно, какие споры, разногласия и дискуссии вызывали попытки разобраться, кто мы такие, с чем-то себя идентифицировать.

Постоянно приходится слышать о том, что в России есть нечто совершенно не похожее на Европу, на Запад, на страны западного региона, что она существует сама по себе, стоит особняком ко всему западному миру, что нам нужно еще искать или наводить какие-то мосты между Россией и Западом. Мне кажется, это не совсем верно. Потому что Россия повернулась лицом к Западу не во времена Ельцина, а намного раньше. И процесс модернизации в России идет не каких-нибудь несколько лет, а, во всяком случае, на протяжении уже нескольких столетий.

Россия повернулась к Западу, как только вышла из-под владычества монголов, как только освободилась от татаро-монгольского ига. И все ее последующее развитие в какой-то степени можно было бы назвать российской модернизацией, хотя первая волна этой модернизации, большая волна, конечно, приходится на эпоху Петра I. Петр I был первым русским западником на троне. И вот эта первая волна модернизации, которая длилась в России вплоть до 1917 года, в значительной степени способствовала тому, что Россия уже не могла осознавать себя с позиций совершенно изолированного и обособленного от Запада существования.

Важно понять, почему начался этот процесс. Существуют разные точки зрения. Одни считают, что после татаро-монгольского ига Россия попыталась вернуться на Запад, потому что она формировалась, если рассматривать, скажем, Киевскую Русь, как западное образование. Она приняла христианство, она приняла государственность, в общем-то, от Запада. И в принципе домонгольская Россия, древняя Русь, ничем не отличалась от тогдашних государств западного региона. Более того, Россия всегда ориентировалась на Византию в то время, когда именно Византия считалась оплотом западной цивилизации. К тому же Византия, не будем забывать, долго

воспринимала западных соседей, пошедших по пути западного Рима, как варваров. Так что Россия в то время выбрала путь, если так можно сказать, наиболее западный из всех тогда существовавших.

Второй этап модернизации начался с приходом к власти большевиков. И понять то, что произошло со страной за семьдесят с лишним лет коммунистического режима, без признания этого факта совершенно невозможно. У нас бытует расхожее мнение, что с 1917 года Россия повернула куда-то в сторону, вбок со столбовой дороги европейской цивилизации, совершенно отинула все известные формы западной цивилизации. На мой взгляд, такое мнение не совсем верно. Мне представляется, что развитие страны при советской власти являло собой пусть искаженную, но тоже своеобразную форму модернизации. Я уверен, что мы можем рассматривать тот тип общества, который был построен в России за семьдесят лет, как одну из разновидностей капитализма, не рыночного, не свободного, а государственного, монополистического. Как угодно его называйте. Кстати, идею государственного и монополистического капитализма выдвинули именно социалисты. То есть в какой-то степени это была вторая волна модернизации.

И третья волна модернизации начинается сегодня.

Таким образом, историю России вполне можно рассматривать и трактовать как историю постоянного поиска путей в сторону западной цивилизации, как историю длительного вхождения в русло цивилизационного западноевропейского развития. Если мы откажемся от этой точки зрения, тогда мы многого не поймем в России, не поймем ее культуры, не поймем истории формирования и развития многих ее государственных институтов.

Но есть еще одна характерная черта русской истории, которую следует выделить особо. Вдохновителем всех модернизационных процессов в России всегда выступало государство. Не класс, не сословие, не слой какой-то, не какие-то социальные группы, а именно государство всегда брало на себя функцию, так сказать, застрельщика, пионера в процессе вестернизации.

Почему так происходило, почему именно государство всегда начинало модернизационный процесс? Я думаю, прежде всего по той простой причине, что в России никогда не было такого мощного, влиятельного слоя, сословия или класса, который сам по себе в этом был бы заинтересован. Россия в силу ряда обстоятельств — прежде всего татаро-монгольского ига — задержалась в своем развитии и не прошла через период позднего европейского средневековья. То есть она миновала именно тот исторический этап, когда в Европе зародилось гражданское общество, появилось бюргерство, городской класс, складывалась и формировалась система частнособственнических отношений. Всего этого в России не было.

Правда, однажды правящая элита попыталась создать в России средний класс — свое бюргерство — во времена правления Екатерины II. Однако из того предприятия мало что получилось. Вместо среднего класса у нас рядом со служивым дворянством народилась интеллигенция. Именно она, интеллигенция, заменила собой в России третий класс, третье сословие.

Интеллигенция в основном стремилась к большей открытости, вестернизации и модернизации российского общества. Но вся проблема состояла в том, что интеллигенция боролась главным образом за политические права и свободы и не шла дальше требования той либерализации, которая обеспечивала бы свободу слова, и никогда не ставила проблему свободы дела. Это очень существенное обстоятельство. У нас в России всегда очень высоко ценили свободу слова, мысли и духа, а свободу дела, способную обеспечить быстрое развитие экономики, индустрии, торговли, всегда отдавали на откуп государству. И я не уверен, что государство, освободив себя от роли главного модернизатора сегодня, уйдя из сферы экономической, производственной, обеспечит тем самым ускоренное развитие страны. И в этом смысле вся острота проблемы заключается в том, как интенсифицировать модернизационный процесс, то есть процесс создания рыночной экономики, свободной экономики, сохранив при этом роль и авторитет государства как гаранта такого процесса.

Все дело в том, что Российское государство, так уж сложилось, не просто государство. Говорят, в России поэт больше чем поэт. Так вот, государство в России больше чем государство.

Что такое Россия? Это огромная территория, раскинувшаяся на два континента, с огромным количеством разных народов, зачастую этнически далеких друг от друга, различающихся вероисповеданием, образом жизни, уровнем культуры, степенью

цивилизированности. Что удерживало и пока еще удерживает их вместе? Только единая, о б щ а я г о с у д а р с т в е н н о с т ь. Государство было как бы главным субъектом русской истории. И поэтому все русские истории, начиная с Карамзина, так и писались: история не России, а история государства Российского. Никаких других горизонтальных связей — экономических, духовных, религиозных, — объединяющих все это пространство, на мой взгляд, не существует и сегодня. Не существует. Достаточно этот государственный обруч сломать — и все рассыплется.

Поэтому всегда перед Россией стоял призрак, страх, боязнь распада, развала. И может быть, это был один из самых главных тормозов на пути модернизации. Потому что проблема заключалась в том, каким образом модернизироваться, развиваться — и не распасться, не утратить государственности, не потерять территорию. Не забудьте, что Российское государство создавали главным образом русские, но сами они до сих пор в этом государстве не имеют никаких границ. У них нет своей территории. Они всегда отождествляли себя с государством в целом. И это совсем даже не имперское сознание, а просто сознание народа, который на протяжении многих столетий строил свое государство определенным способом.

Теперь еще об одном аспекте взаимодействия России и Запада. Итак, Россия, в общем-то, всегда смотрела на Запад. Вопрос заключается в том, что она там видела. И здесь я хочу сказать несколько слов о русском западничестве как своеобразном интеллектуальном и духовном движении, ориентированном прежде всего на определенные общецивилизационные ценности. По сути дела, все русское западничество базируется на идее признания некоторых западных ценностей универсальными, то есть непреложными для всех, для любого народа при всех его национальных, исторических и прочих особенностях.

Что же это были за ценности, носителем которых для многих образованных русских выступала прежде всего Западная Европа? Это был не рынок, не частная собственность, не капитализм. (Рынок, пусть и в зачаточной, неразвитой форме, существовал и в России.) Россия видела и ценила на Западе в первую очередь нечто такое, что действительно являлось и является универсальным, общемировым, общечеловеческим достоянием.

И первое — это наука. Именно Запад открыл, что существует универсальная научная истина, не признающая никаких национальных, религиозных, культурных и прочих различий.

Второе — это то, о чем я уже говорил. Речь идет о политических и гражданских правах и свободах личности, которые традиционно ассоциировались в России с Западом. Так вот когда русский западник XIX века смотрел на Запад, он завидовал европейской просвещенности, европейскому образованию и европейской политической свободе. Вот этого он хотел. И никогда не отождествлял Запад с капитализмом. Русское западничество XIX века было антибуржуазным практически все. И когда русский западник поехал в Европу и увидел, что это такое на деле, он тут же стал социалистом. Это очень важно понять. Почему? Да потому что русский западник никогда не отрицал Россию как, кстати, русское славянофильство никогда не отрицало Запад.

Для русского западника Россия — это самое любимое дитя, более любимое, чем любая другая страна. И когда он говорил об отсталости своей страны, он имел в виду не врожденное уродство России, а ее незрелость, ее молодость. Ничего другого он не имел в виду. И потому русский западник XIX века пытался соединить либерализм и просвещение с тем государством, которое уже существовало. Он стремился не у н и ч т о ж и т ь , н е р а з р у ш и т ь , а л и б е р а л и з о в а т ь е г о , то есть дать ему конституцию, дать ему какие-то парламентские формы. И когда такой либерал шел на союз с государством, он добивался величайших успехов в России. Так было отменено крепостное право. Так была проведена судебная реформа. Так было введено земство. Так были созданы очаги просвещения и светской культуры. Россия создает впервые огромную светскую культуру. Само государство постепенно становилось н а д н а ц и о н а л ь н ы м. А ведь наднациональное государство Россия — это не просто империя, это был путь к созданию о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о г о с у д а р с т в а. (Процесс этот, к сожалению, так и не закончился.)

И вот самое главное, что мне сегодня трудно понять: каким образом либерализм и западничество в России пришли к отрицанию российской государственности, к тому, что у нас обычно называют русофобией. Непонятно, что произошло с нашими западниками, когда они сказали: да плевать, все равно, будет Россия или не будет, главное — чтобы она окончательно соединилась с Западом. Это путь в никуда.

Третья волна модернизации, которая сегодня у нас началась, заключается в том, что мы пытаемся не просто модернизировать страну, создать экономику и про-

чее. Она имеет еще и несколько иной оттенок. Многие из тех, кто ее осуществляет, готовы ради сближения с Западом пожертвовать Россией. Пожертвовать Россией как государством. Пожертвовать Россией как тем образованием, которое сложилось на этой территории и которое, кстати, только в таком качестве и жить может и модернизироваться.

Надо сказать, что реакцией на подобную позицию наших нынешних «западников» явилась позиция наших нынешних «славянофилов». Как только западничество встало на позицию самоотрицания и саморазрушения, славянофильство у нас переродилось в консервативный национализм, напроць отрицающий Запад. Национал-консерваторы и слышать ничего не хотят про Запад. И это другая сторона той же медали. А началось все с того момента, когда мы решили, что на Западе главное — капитализм, свободный рынок и ничего больше. Вот только экономика — это Запад. Хотя Запад — это не только экономика. И тогда сразу произошло размежевание — «западники» встали на позицию отрицания России, а наши патриоты-националисты выбрали позицию глухого изоляционизма, когда на Запад вообще не желают смотреть или видят в нем только врага. Вот к чему это привело.

И последнее, о чем мне хотелось бы сказать. Почему нам сейчас так трудно войти в общеевропейский дом и, не утратив своей самобытности, своей государственности, обрести в нем достойное место? Потому что мы в большинстве своем подразумеваем под понятием «Запад» некую экономическую структуру, политическую модель, которую можно вот так просто, ничтоже сумняшеся позаимствовать, то есть взять и механически перенести на нашу почву. Между тем Запад, западное общество, вообще западная цивилизация, — это прежде всего особый тип социальной динамики, особый тип социального развития. И потому мы можем сколько угодно обезьянничать и копировать западные структуры. У нас будет свой парламент, западные институты, частная собственность и т. д. Все будет. Только у нас, на нашей почве это не будет работать, потому что мы не можем перенять западный тип развития, вписаться в западную социальную динамику. В чем существо этой динамики, этого развития? Западные страны вовсе не представляют собой некий монолит, лишенный внутренних противоречий и конфликтов. Напротив, в каждом западном государстве существует множество самых разнообразных, зачастую противоположных социальных сил, общественных групп, движений и тенденций. Именно существует. Запад сумел создать такую эффективную систему всевозможных — юридических, экономических, политических и т. д. — балансов и противовесов, которая позволяет сохранять социальную стабильность даже при напряженном и остром противостоянии различных интересов и устремлений.

Совсем иначе обстоит дело у нас. Мы не можем жить так, чтобы у нас сосуществовали и как-то взаимодействовали и либералы, и социалисты, и национальные движения. Нам надо, чтобы непременно победил и воцарился кто-то один. Вот тогда мы считаем, что мы пришли к решению. Но жить при наличии противоречивых, не сходящихся, взаимопротивоположающих тенденций мы не умеем. Вот этому-то и надо прежде всего учиться у Запада. Вот этой культуры нам действительно не хватает. А без нее нам не только в общеевропейский дом не войти, но и собственного государства не сохранить.

## А. В. РЯБОВ

Тема моего сообщения посвящена сравнительному историческому анализу российских модернизаций и оценке использования западного опыта в этом контексте.

Должен отметить, что сегодня нередко термин «модернизация» увязывают и даже отождествляют с термином «реформа». Однако это не всегда верно. Под модернизацией, видимо, следует понимать коренное обновление технологических, социальных, экономических, политических и духовно-ценностных основ общества в соответствии с новыми социальными целями, которые ориентируются на достижение предельного в данный конкретный исторический момент уровня развития цивилизации. Только в этом плане можно говорить о том, что процесс реформ является модернизаторским. И вот с этой точки зрения, на мой взгляд, в новой и новейшей истории России по техно-технологическому критерию можно выделить по крайней мере три крупных состоявшихся модернизаций. (Я буду говорить о тех, которые состоялись, а не о тех, которые остались на уровне проектов.)



Прежде всего это хорошо всем известная петровская модернизация начала XVIII столетия, виттевская конца XIX — начала XX столетия и сталинская, пришедшая на 30 — 40-е годы нашего века. По технико-технологическому критерию первая из них относилась к модернизациям прединдустриального типа, ибо она имела целью создание в России промышленности на базе мануфактурного производства. Две последующие были раннеиндустриальными модернизациями, так как ориентировались на формирование фабрично-заводского производства как основу экономического и военного потенциала страны.

Что объединяло эти три модернизации? В первую очередь они были неорганичными, то есть являлись не столько результатом внутреннего эволюционного развития российского общества, сколько реакцией на обстоятельства внешнего характера, стремлением ответить на вызов других стран, более мощных и динамичных в экономическом и военном отношении.

Профессор Межуев уже говорил о том, что ведущим субъектом этих модернизаций было государство. И инициаторами реализации модернизаторских проектов выступали преимущественно авторитарно-бюрократический или тоталитарный режимы. Но сформулированные административно-бюрократическими элитами России социальные цели, социальные проекты этих модернизаций исходили не из западных эталонов как таковых, а прежде всего из собственных представлений элитных слоев российского общества, опиравшихся на систему традиционных ценностей, включавшую такие элементы, как сакрализация власти, патерналистский характер связей между государством и обществом, способность к высокой степени консолидации общественных сил вокруг властных институтов, солидаризм и т. д. То есть практически все эти модернизаторские проекты вне зависимости от того, понимали это сами модернизаторы или нет, были нацелены на закрепление некой дистанцированности России от Запада.

Если попытаться кратко сформулировать девиз этих трех российских модернизаций, то можно, очевидно, перефразировать слова современного китайского премьера Ли Пена, разумеется на российский лад: России были нужны западные технологии, а не западный образ мыслей. И в этом плане использование западного опыта в рамках трех российских модернизаций шло преимущественно по линии заимствования технико-технологических задач и решений. Заимствование в других сферах общественной жизни (науки, культуры, образования) инициаторами модернизаторских проектов осуществилось лишь настолько, насколько это способствовало решению главной задачи — превращения России в одну из ведущих в военно-промышленном отношении стран. Но помимо первоначальных замыслов эти модернизации дали, так сказать, побочный эффект, не входивший в заранее установленные проекты.

Петровские реформы положили начало распространению в России рационалистического сознания и опосредованно в конечном итоге привели к формированию интеллигенции.

Виттевская модернизация имела целью подведение современного индустриального фундамента под архаичный общественно-политический строй. Но вопреки этому проекту она привела к созданию европейских, по сути дела, социальных отношений в целом ряде отраслей экономики.

И даже сталинская модернизация, осуществлявшаяся ради упрочения господствующего тоталитарного режима, опосредованно и через некоторый промежуток времени все-таки вызвала ренессанс рационалистического сознания. То есть, другими словами, каждая из этих модернизаций имела некий побочный эффект. Но я хочу обратить внимание на другое. Эти модернизации, на мой взгляд, оказались удачными постольку, поскольку они исходили из собственного социального проекта. А опыт Запада лишь встраивался в рамки данного социального проекта.

На мой взгляд, можно рассматривать хрущевско-косыгинские реформы как неудачный, незавершенный вариант поздней индустриальной модернизации. Ее цели понимались кремлевскими реформаторами той поры искаженно, сквозь призму традиционных официальных идеологем и казенно-бюрократических формулировок, задач очередных пятилеток.

В официальных документах КПСС к тому времени говорилось о неуклонном подъеме материального и культурного уровня жизни народа как высшей цели стратегии КПСС. По существу, в латентной форме здесь выражалось стремление к созданию общества массового потребления, хотя термины, разумеется, такие и не употреблялись. Но хрущевско-косыгинская модернизация принципиально отличалась от предыдущих тем, что она не ограничивалась только проблемами технико-

технологического заимствования, а попыталась совместить социальные цели собственные, аутентичные, вытекающие из основных положений коммунистической доктрины, и социальные цели, заимствованные с Запада. В результате получился некий гибрид, который Фромм метко назвал гуляш хрущевский, гуляш коммунизма. Хотя существует много объяснений неудачи этой модернизации, я думаю, что главная причина состояла в том, что в проекте были совмещены две совершенно несопоставимые социальные цели.

И наконец еще один, наиболее интересный для нас период — период перестройки и последовавших за ним социальных реформ. Безусловно, горбачевские реформы были изначально нацелены на осуществление глубокой модернизации. Но такая модернизация, если рассматривать ее в русле современных общецивилизационных эталонов, естественно, могла быть только постиндустриальной.

Для всех нас не секрет, что целью такой модернизации являлась вовсе не политическая либеральная демократия как таковая и даже не плюралистическая рыночная экономика, а создание условий для максимально свободной творческой реализации индивида. Для свободного выбора им формы общественных отношений и сферы профессиональной деятельности и образа жизни в конечном итоге. А политическая и экономическая либерализация в данном контексте являлась всего лишь инструментом для осуществления этих реформ. Следовательно, первоначально задачи поздней индустриальной модернизации решались в русле прежних схем, то есть с опорой на один сектор экономики и административно-командными методами. И лишь позднее, когда реформы стали пробуксовывать, в качестве модернизаторского проекта были взяты на вооружение либеральная демократия и плюралистическая рыночная экономика. Так средства стали целью.

Впервые за всю историю отечественных модернизаций Россия позаимствовала социальный проект модернизации. И, на мой взгляд, здесь была допущена серьезная ошибка. Во-первых, потому что политический и экономический либерализм является лишь средством, инструментом модернизации, а главная задача — это накопление человеческого капитала. Во-вторых, потому что постиндустриальная технология подразумевает усиление традиционных трудовых мотиваций, означает многообразие, «усложнение» современной цивилизации в процессе продвижения ее к постиндустриализму. Мы, к сожалению, скорее позаимствовали универсалистскую схему Фукуямы с его тенденцией к единообразию и унификации. И наконец третий, заключительный аспект: дело в том, что сам социальный проект, по сути англосакский, не учитывал базового состояния российского общества, которое в социальном плане было корпоративистским.

После ликвидации метакорпорации в лице КПСС начался процесс фрагментации различных общественных корпораций — региональных, отраслевых и т. д. В условиях проявления новой шкалы ценностей, при стремлении бюрократического аппарата осуществить конверсию власти в статус собственности такой вариант практически означал вместо модернизации страны превращение ее в односторонне развитый экспортно-сырьевой придаток западного мира.

В заключение несколько слов по поводу так называемого неолиберального, или социал-неоконсервативного, варианта модернизации, на мой взгляд для нас нецелесообразного. Суть этого варианта вкратце сводится к следующему. Декать, разрушительный процесс в экономике и социальной сфере должен дойти до некоего атомарного уровня, а затем спонтанно включатся механизмы хозяйственной и социальной самоорганизации и произойдет медленная, постепенная модернизация страны. Появился даже такой термин — модернизация через катастрофу. Я думаю, что этот проект не учитывает одного существенного обстоятельства: для успешного осуществления заложенных в него задач требуется достаточно развитый в западном смысле этого слова тип наемного работника — активного, рационалистически мыслящего хозяйственного субъекта. В рамках корпоративного строя такой субъект не сложился. И мы видим сейчас, как вместо присущих развитым западным странам цивилизованных форм самоорганизации возникают формы самоорганизации, присущие странам третьего мира.

Для того чтобы это увидеть и понять, не нужно быть тонким аналитиком, это открыто взгляду простого наблюдателя. Таким образом, мой вывод заключается в следующем: чтобы провести удачно постиндустриальную модернизацию России, необходимо выработать свой собственный социальный проект, со своими собственными целями на базе как общегосударственной политики, так и отдельных отраслей, сфер народного хозяйства, социальных и политических институтов. Применим ли в рамках этого социального проекта опыт Запада? Разумеется, применим. Но выбор его

должен осуществляться в соответствии с теми задачами, которые поставит этот социальный проект.

Мне думается, западный опыт нам необходим прежде всего в сфере образования, в сфере воспитания рационалистически мыслящей личности. Мне кажется, мы должны позаимствовать у Запада его толерантную политическую культуру, а вовсе не конкретные политические структуры, закрепленные в американской или в какой-либо иной конституции. У западных стран мы можем научиться эффективному управлению гигантскими промышленными корпорациями, ибо, я согласен с прозвучавшим здесь мнением, если мы не хотим окончательного разрушения экономики, нам придется в той или иной степени восстанавливать структуры государственного руководства ею.

И наконец, Россия вполне может использовать западный опыт в организации мелкого и среднего бизнеса.

Что же касается сохранения собственных социокультурных традиций, то в этом деле, я думаю, нам чрезвычайно полезен может оказаться, например, опыт Японии, которая после второй мировой войны вопреки американскому нажиму отказалась реконструировать свою достаточно архаичную систему производства риса, потому что она являлась и является некой несущей конструкцией для воспроизводства целой социокультурной традиции.

## А. М. МИГРАНЯН

Те, кто внимательно следил за политикой перестройки, наверное, помнят, что процесс модернизации нашей политической системы шел под эгидой возврата в цивилизацию, в западную культуру, то есть туда, где Россия, в общем-то, никогда не находилась. Ведь в России никогда не существовало действительно развитых демократических политических институтов. И потому предполагалось вернуться не к исторически сложившимся российским политическим формам и институтам, а перенести на российскую почву самые законченные модели политической организации западного общества. Но, с другой стороны, существовала и осуществлялась идея передачи всей полноты власти Советам. В итоге уже при Горбачеве мы получили совершенно фантастический государственный гибрид, ни на что не похожий. И до сих пор эта абсурдная ситуация продолжает сохраняться.

В России было и есть много образованных людей, которые прекрасно знали и понимали, каким образом устроена реальная демократия или, по крайней мере, определенные модели демократии. Но политические элитные группы в своих предложениях по модернизации нашей политической системы исходили не из того, что реально возможно, а из того, что желательно. В итоге на российскую почву механически переносились политические модели, которые не имели реального шанса прижиться в наших условиях.

В западном мире существуют три политические системы, которые являются некими идеальными моделями. Все остальные системы представляют собой вариации этих трех систем. Я говорю о вестминстерской модели парламентской демократии, американской президентской системе и французской смешанной модели президентско-парламентской демократии. Так вот нам при модернизации и изменении своей политической системы при Горбачеве не удалось создать ни одну из перечисленных моделей. И как ни странно, в России все повторилось. Мы вновь воспроизвели ту же самую государственную модель. Модель, которая не имеет никакого аналога и не относится ни к одной из существующих и апробированных мировых систем. В итоге мы не имеем ни парламентской системы, потому что у нас нет настоящих влиятельных политических партий, ни реальной президентской системы с разделением властей, потому что у нас на начальном этапе была заложена система полновластия Советов, а позже введенная президентская система не довела политическую реформу до своего логического завершения. Не имеем мы и смешанной президентско-парламентской системы, потому что у нас хотя и есть президент и премьер-министр, но последний не является представителем победившей в парламенте партии. То есть в основном все права и полномочия закреплены за президентом, как прежде они были закреплены за генеральным секретарем, а вся ответственность остается на главе правительства, который собственной легитимности не имеет и полностью зависит от президента.

Но мало того что мы не смогли создать ту или иную политическую модель, которая на что-то была бы похожа, и получили некую систему, которая внутренне противоречива и не имеет никаких перспектив для своего дальнейшего развития, —

мы еще и окончательно запутались в бесконечных разговорах и словопрениях о разделении властей, о демократии, полновластии народа, отдельной личности и т. д. и т. п. То есть политическая риторика по-прежнему преобладает у нас над реальными действиями. И кстати, как при Горбачеве, так и по сей день она, эта риторика, играла и играет довольно губительную роль, потому что постоянно подталкивает общество на некие опережающие акции и предприятия, которые в обществе еще не вызрели и не обусловлены логикой развития этой страны, этого общества и этой культуры.

Итак, мне представляется, что существующий политический кризис связан у нас прежде всего с тем, что наша политическая система основана на двух противоположных взаимоисключающих принципах: с одной стороны, на идее полновластия Советов, с другой — на идее президентской республики и принципе разделения властей.

В отличие от многих наших юристов-правоведов я не вижу ничего плохого в самой идее полновластия Советов. (Кстати, у меня был на эту тему спор с одним из авторов президентского проекта конституции.) Если мы на минуту отвлечемся от политических реалий, от политической конкретики нашего сегодняшнего бытия, то увидим, что сам по себе принцип единовластия Советов, по сути дела, мало чем отличается от традиционных принципов функционирования британского парламента вестминстерской модели. Есть известная английская шутка, что британский парламент может все путем голосования. Единственное, чего он не может, так это мужчину превратить в женщину и наоборот.

В общем, нет ничего плохого, если бы Советы действительно могли бы эффективно решать все государственные дела, стали бы парламентом, формировали бы правительство и контролировали бы его деятельность. Это и означало бы, что мы обрели нормальную парламентскую систему. Но мы ее не имеем, и прежде всего потому, что у нас нет развитых политических партий. В этих условиях мы, к сожалению, просто никак не в состоянии обеспечить превращение Советов в полноценный парламент, обладающий всей полнотой власти в стране. К сожалению, потому что, как писал и убедительно доказывал на примерах целого ряда стран один из виднейших западных политологов, Ал Стефан, парламентские системы более устойчивы, более демократичны, чем системы президентские. При парламентской форме правления гораздо меньше возможностей для террористического захвата власти со стороны какого-либо отдельного лица и группы лиц и установления авторитарного режима. Президентские же системы очень уязвимы и в условиях большей или меньшей нестабильности, как правило, оказываются неустойчивыми, способствующими установлению режима неограниченной личной власти.

Обратившись к президентской модели, мы попытались осуществить принцип разделения властей и на его основе развести власти. Мне кажется, что с учетом перечисленных выше особенностей нашей политической ситуации принцип разделения властей и реально действующая президентская система вполне могли бы сыграть в современной России свою положительную, стабилизирующую роль. Здесь хорошим примером для нас служит исторический опыт Соединенных Штатов. В свое время, в самом начале формирования собственного независимого демократического государства, американцы заложили в его основу принцип разделения властей. Тогда у них еще не существовало политических партий, и этот принцип должен был воспрепятствовать сосредоточению власти в одних руках, в одном центре. Как видно, тогдашняя американская действительность кое в чем напоминала нынешнюю российскую. Но кое в чем и отличалась от нее.

Во-первых, в тех условиях, а это был все-таки конец XVIII века, когда зарождалась американская политическая система, само по себе государство было еще очень небольшим. Как говорили отцы либерализма, это было минимальное государство.

Во-вторых, функции его федеральных властей были куда менее значительны, нежели в больших современных централизованных государствах.

И в-третьих, существующие институты власти Соединенных Штатов уже тогда являли собой достаточно хорошо организованный, отлаженный, саморегулирующийся и самоуправляемый организм. Вот почему принцип разделения властей оказался там эффективным и действенным фактором государственного строительства.

А что произошло у нас?

В России принцип разделения властей оказался абсолютно не адекватным ни нашей психологии, ни нашей политической культуре, ни нашим реальностям. В результате мы получили не сотрудничество между властями, не их взаимодействие,

а уникальную ситуацию, когда при отсутствии настоящих партий исполнительная и законодательная власти как бы сами превратились в политические партии, преследующие собственные интересы. В итоге это привело к углублению нашего внутреннего политического кризиса, конституционного кризиса, в основе которого лежит, на мой взгляд, резкое изменение экономического курса и дальнейшего пути развития России. Экономическая реформа, расколовшая общество, одновременно расколола и институциональную систему. И в таких условиях совершенно естественно, что депутатский корпус, не представляя каких-либо четких структурированных интересов, действует исключительно исходя из собственного корпоративного интереса. Это первое. И второе. Советы в сложившейся ситуации, конечно же, гораздо больше ориентированы на борьбу с исполнительной властью, чем на сотрудничество с ней.

В общем, на сегодняшний день мы фактически имеем паралич всей центральной власти.

Совершенно очевидно, что идет поляризация общества. Оппозиция и те социально-политические силы, которые не принимают ни нынешних реформ, ни их направленности, консолидируются. Эти силы имеют реальную возможность при дальнейшем ухудшении экономического положения взять власть в свои руки.

Ельцин и его сторонники прекрасно понимают, что проведение экономической реформы сузило социальную базу нынешней власти, хотя и создало новые возможности для вовлечения в политический процесс сил, которые реально и активно поддерживают существующую администрацию.

В сложившейся ситуации требуется решительный прорыв в ту или иную сторону. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какую модель власти удастся установить на данном этапе, когда реформы дошли до своей критической отметки. По всем прогнозам экспертов, нынешние власти, если, конечно, они собираются продолжить экономическую реформу, должны будут пойти на повторение, пусть и в смягченном варианте, попыток Гайдара сбалансировать бюджет. Хотя это неизбежно приведет к приостановке и закрытию многих предприятий и резкому росту безработицы, что чревато серьезными социальными взрывами. Однако иного пути нет, потому что начиная с декабря 1992 года, с VII съезда, когда разгорелась ожесточенная борьба между президентом и съездом, фактически правительство не продолжает реформу, а топчется на месте. Экономика накачивается пустыми деньгами. Рубль обесценивается. Дефицит бюджета растет. Никаких банкротств не происходит. Структурная перестройка экономики приостановлена. И все это требует своего разрешения.

Референдум дал некие возможности нынешней исполнительной власти для того, чтобы выйти из существующей патовой ситуации, покончить с параличом власти и принять новую конституцию, которая может утвердить иную конфигурацию государственных структур, наиболее адекватную для России нынешнего переходного периода, чтобы, перегруппировав силы, иметь возможность сдвинуть экономическую реформу и преодолеть политический кризис.

Предложенный проект конституции президента предполагает некую форму власти, которая, в общем-то, опять ни на что не похожа. Видимо, такова наша судьба, такова особенность нашей страны и особенность текущего периода, что мы переходим от одной не известной никому формы власти к другим никому не известным формам. В предложенном проекте есть смешение английской, американской и французской политических систем. Но при более внимательном рассмотрении конституционного проекта выясняется, что предлагается на самом деле особая система власти: создается некий институт в лице президента, который скорее по своим полномочиям напоминает выборного царя, или же институт, который в одном лице, так сказать, воплощает прежнее политбюро. Президент непосредственно не занимается делами правительства, он не вмешивается в какую-либо текущую деятельность. Но за ним сохраняются две ключевые, важнейшие функции, закрепленные и за монархом, который тоже никогда не занимался экономикой и вообще повседневной текушкой, — президент осуществляет все кадровые перемещения. Это первое. И второе — президенту отводится роль арбитра и посредника в конфликте между разными ветвями власти. Президент берет на себя и некоторые судебные функции, плюс за ним закрепляется право роспуска парламента, и, что кажется совершенно необычным, он получает возможность отправить в отставку правительство, которое сам и назначает.

Теперь скажу о своей позиции.

Я считаю, что в нынешних условиях Россия не готова к демократии. Мы не можем осуществить реальное разделение властей, потому что при отсутствии струк-

турированных интересов и консенсуса разделение властей выливается в войну между властями. Мы это наблюдали уже на примере Горбачева и союзного съезда, Ельцина и российского съезда. В таких условиях, думается, следует создать некий институт, который мог бы стать гарантом политической стабильности и стоял бы в качестве арбитра над существующими государственными структурами.

Когда-то, еще в 1988 году, я предлагал подобную систему для реформы нашего тоталитаризма, для переходного периода, я был уверен, что эту роль арбитра и посредника надо сохранить за коммунистической партией как целостным институтом (реформировав его, конечно), так как еще тогда думал, что нам не удастся провести разделение властей. Я был убежден, что наши институты не смогут друг с другом сработаться и потребуются арбитр и гарант стабильности, что эту роль можно сохранить за партией, ведь многие, и я в их числе, в тот период полагали, что коммунистическую партию невозможно ликвидировать и на ее месте быстро создать новые структуры, способные взять на себя роль гаранта общественной стабильности.

Но так как сегодня коммунистической партии нет, нынешние государственные структуры очень слабы, партийная система неразвита, культуры взаимодействия между политическими институтами нет, я возвращаюсь к своей идее о необходимости института, способного контролировать, примирять и консолидировать все ветви государственной власти. Правда, у меня есть одна оговорка. Я категорически против, чтобы такой институт был закреплен в конституции на многие годы вперед. Он необходим на некоторое время, на переходный период, до тех пор, пока не будут созданы сильные политические партии и пока не завершится притирка между различными ветвями власти.

В России, к сожалению, не сложились традиции взаимодействия между этими ветвями. Наша политическая культура иерархическая. У нас, когда пытаются разделить, развести ветви власти, на первый план выходит и осуществляется не принцип взаимодействия, а принцип противостояния — кто кого под себя подомнет. Вот пример из нашего нынешнего политического бытия. Для координации работы силовых министерств и внешнеполитического ведомства был создан Совет безопасности. Но опять же именно потому, что у нас такая политическая традиция — Совет безопасности хотел подмять под себя все силовые министерства и Министерство иностранных дел.

Именно поэтому, я думаю, институт президентства, поставленный на переходный период над всеми структурами власти, сможет восстановить между ними четкую иерархию, согласовать их интересы и в конечном итоге создать определенную культуру, заложить определенные традиции их взаимодействия.

И последнее. По российской традиции, опять же ввиду того, что у нас никогда не было и все еще нет политически хорошо структурированных партий и групп, которые могли бы подталкивать и обеспечивать процесс политико-экономических преобразований, реформа в нашем государстве всегда инициировалась исполнительной властью. Представительные институты в России, на мой взгляд, всегда были весьма консервативными. Наиболее яркий пример — война Столыпина с Думой.

В нынешних условиях нам жизненно необходима новая, эффективная модель власти, в которой нашлось бы место и для выражения интересов субъектов Федерации, и для представителей пока еще только формирующихся политических партий и блоков. Но при этом на переходный период полномочия федерального собрания должны быть все же ограничены, дабы исполнительная власть могла бы более энергично двигать вперед реформы. И может быть, тогда мы сможем вырваться из того порочного исторического круга, в котором уже двести лет находимся и который привел в свое время в отчаяние Чаадаева, в сердцах сказавшего, что Россия, видимо, не имеет никакого будущего. Ему казалось, что внутренняя незавершенность, псевдоморфозность российской истории не позволят России самой осознать себя, самоопределиться и, сохранив собственную самоидентификацию, собственные традиции, занять достойное место в ряду развитых, цивилизованных стран.

В этом отношении для нас прекрасным примером может служить Япония, которая не просто сумела успешно интегрировать в свою политическую и экономическую систему некоторые важнейшие фрагменты западных государственных моделей, но и, сохранив собственное лицо, свою самобытность и традиционные ценности, преодолеть самоизоляцию и обрести статус одной из наиболее динамичных и передовых стран в современном мировом сообществе.

### В. Д. СОЛОВЕЙ

Тема моего выступления — существует ли в России демократия? А если она существует, то что такое демократия по-русски?

Начну с центрального тезиса. Да, в России есть демократия, но в России нет и не было либерализма. Я бы выразился еще жестче: Россия — страна откровенно в н е л и б е р а л ь н а я. Н е а н т и л и б е р а л ь н а я, а в н е л и б е р а л ь н а я. Перефразируя Ницше, можно сказать, что Россия находится по ту сторону либерализма. Объяснение этого парадокса кроется в самой истории Российского государства. История России — это история осажденной крепости. В силу своего геополитического и стратегического положения, открытости географического ландшафта Россия постоянно вела войны и наступательные и оборонительные. В целом войны все-таки были успешными.

Но это не могло не формировать особый тип государства, особый тип общества, особый тип политической культуры. Это ошибка — считать, будто в России нет политической культуры. Она есть. Она просто очень специфическая. Естественно, в истории России не было предпосылок для формирования гражданского общества как общества, не зависящего от государства и церкви. Все члены, все классы российского общества должны были служить государству, ибо от судьбы государства зависела и судьба общества в целом, и судьба каждого индивида. В такой стране не могло быть разделения властей, ибо требовалась концентрация власти в одних руках. Можно было говорить лишь о разделении функций власти на светскую и духовную.

Очень интересен вопрос о правовом сознании русских. Общепринято мнение, будто у русских нет и никогда не было правового сознания. Я думаю, что это непонимание специфики правового сознания русских. Для русских право — не юридическая и не философская категория, но к а т е г о р и я с а к р а л ь н а я. Это, если хотите, средневековое понимание права. И поэтому в России очень популярна фраза: «Судить надо не по закону, а по совести». Совесть здесь выступает как воплощение божественного начала. Это выглядит очень привлекательно, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь далеко не все судьи обладают совестью.

Таким образом, я, надеюсь, показал, что в России не было предпосылок для формирования либерализма. А вот демократическая традиция в России существовала и практически не прерывалась. К этой традиции имеют самое непосредственное отношение и новгородское вече, и самоуправляющаяся община, и самоуправляющееся казачество, и возникшие в XIX веке земства. Еще при Иване Грозном создавалась разветвленная система местного самоуправления. Но это местное самоуправление сочеталось с сильной центральной авторитарной властью. Можно ли это назвать демократией? Вопрос принципиальный. Но его решение зависит не столько от научных позиций, сколько от позиций идейных, политических.

Дело в том, что с либеральной точки зрения, которая понимает демократию как политическую систему, это, конечно, не было демократией. Но существует иная концепция демократии, разработанная консервативными, правыми философами, консервативными политологами. Это концепция органической демократии. Ее особенно активно развивали немецкие ученые. Суть этой концепции в общих чертах сводится к следующему: народ либо непосредственно, напрямую влияет на ход и положение дел в государстве через свои постоянно действующие представительные структуры (парламент, конгресс, народное собрание и т. д.), либо участвует в выработке и принятии только наиболее важных, ключевых, судьбоносных государственных решений, передоверяя все остальные функции управления государством некоему облеченному его доверием лицу или группе лиц.

Я напомню вам, что по крайней мере два раза в истории России цари избирались земским собором. То есть в России была, с этой точки зрения, д е м о к р а т и я. В российской истории можно зафиксировать две попытки перехода от органической демократии к парламентской демократии. Первая попытка относится к началу XX века. Здесь я бы хотел обратить ваше внимание на два обстоятельства.

Первое. Либерализм в России никогда не был социальным течением. Он был идеизмом, интеллектуальным течением интеллигенции, не имеющей прочных корней в обществе. Более того, сама российская интеллигенция избегала пользоваться термином «либерализм», поскольку он не воспринимался обществом.

И второе. В России создавалась система представительной демократии. Я имею в виду Думу. Но гораздо более важным было то, что Столыпин пытался создать экономическую основу для демократии. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Свободным может быть только собственник». Именно Столыпин закладывал основы

гражданского общества в России, ибо гражданское общество — это в первую очередь общество свободных товаропроизводителей.

Я согласен с Андраником Миграняном в том, что Дума спорила со Столыпиным и сопротивлялась ему. Но не потому, что Дума была консервативной. Дума была слишком радикальной. Это Столыпин был более консервативен, чем Дума.

Вторая попытка перехода к парламентской демократии — это заслуга Горбачева. И эта попытка оказалась относительно успешной. Почему относительно? Потому что не были учтены те ограничители, которые заложены в самой теории либерализма. Какие ограничители? Либеральное общество может создаваться только в стране, где существуют свободные товаропроизводители и люди, наделенные развитым правосознанием, в стране, которая обладает определенной исторической традицией. Как вы прекрасно понимаете, во время советского правления такая традиция была прервана.

Второй ограничитель. Перейти от экономики планово-директивной к рыночной, то есть экономике, основанной на либеральных принципах, можно только авторитарными методами, по крайней мере в стране, которая не имеет соответствующих исторических традиций.

И наконец третье. Либерализм в принципе не способен находить выход из системного кризиса. А именно системный кризис переживал Советский Союз, а сегодня переживает Россия.

Но почему я считаю реформы Горбачева хотя и относительно, но все-таки успешными? Я сошлюсь на свое недавнее наблюдение. Поскольку мой узкий профессиональный интерес — это русские националисты, у меня среди них достаточно много знакомых. Несколько дней назад я встречался с одним из них, и он сказал мне: «Конечно, и Горбачев и Ельцин наши политические оппоненты. Но мы всегда будем признательны Горбачеву за то, что благодаря ему мы можем говорить об этом открыто, не боясь репрессий». Именно поэтому я и считаю горбачевские реформы успешными.

Что мы сейчас имеем в России? Мы имеем, на мой взгляд, модель организационной демократии с элементами демократии либеральной. Я хотел бы обратить ваше внимание на советскую систему. Ведь это типичное воплощение русского понимания демократии. Советы возникали не как органы партийные, где должны были заседать партии, а как органы, представлявшие сословия и корпорации. Они носили принципиально внепартийный характер. В Советах заложено единство законодательной и исполнительной властей. Это опять же очень по-русски.

И надо отметить высокую технологичность Горбачева, когда он пытался перейти к парламентской демократии. Сохраняя советскую систему, он вкладывал в нее либеральное содержание, поскольку речь шла о разделении властей и о формировании правового государства.

Я думаю, что Россия все-таки будет двигаться в сторону парламентской демократии. Но мы должны понять, что этот путь будет очень длительным, очень сложным и, видимо, с некоторыми неизбежными отступлениями.

## А. Ф. ЕЛЫМАНОВ

Тема моего сообщения звучит так: западный опыт и коммунистическая государственность в постсоветском пространстве, парадоксы националистической парадигмы.

Я хотел бы начать это выступление с фактов, которые имеют место сегодня. Корабли Черноморского флота поднимают российский андреевский флаг — это первый факт. А в то же самое время один из руководителей парламентской фракции, представляющий национальные республики в парламенте, Умар Темиров, заявил, что республики готовы согласиться с тем, что области, края и другие субъекты Федерации будут иметь те же самые права, что и эти республики, в экономической, социальной, культурной области, но ни в коем случае они не будут равны в политике. С этим республики принципиально не согласны.

Значение этих двух фактов очевидно. Первый факт свидетельствует о том, что в рамках геополитического пространства, оставшегося от бывшего Советского Союза, начинаются процессы, связанные с проявлением реинтеграционных тенденций. Значение второго факта тоже очевидно. По многочисленным экспертным оценкам, это один из симптомов болезни, которая разъедает российскую государ-



ственность. Эти симптомы многочисленны и разнообразны, а их суть одна — процесс дезинтеграции России как единого социально-экономического и политического организма продолжается. Даже говорят о том, что вероятность распада Российской Федерации на отдельные республики и земли за последний год, год реформ, увеличилась.

Обычно региональный сепаратизм исходит из трех мотивировок. Прежде всего это парадигма национального реванша, когда представители национальных республик говорят о необходимости развала малой империи, как они называют Россию по аналогии с большой империей — Советским Союзом, ради воплощения интересов собственных коренных наций.

Вторая мотивировка обоснования регионализации и сепаратизма в России — это регионализм местных элит, которые хотят использовать те сырьевые и другие экономические преимущества, которые имеются в их регионах.

И существует еще один мотив — радикально-демократического антиимперского нигилизма, который представлен прежде всего в интеллектуальных кругах нашей столицы. Здесь люди обосновывают необходимость распада России тем, что это один из путей продвижения вперед демократических, экономических, социальных реформ в стране.

В принципе для всех трех мотивировок является традиционным догматом о том, что современная общецивилизационная форма государственности есть национальная государственность. И именно национальная государственность должна быть тем идеалом, к которому мы, опираясь на опыт Запада, должны стремиться. Здесь мы сталкиваемся с проблемой значения западного опыта в нашей российской жизни, в нашей российской действительности.

Объективный анализ показывает, однако, что западный опыт, во-первых, далеко не однороден и что модель «нация — государство» является моделью, которая не обладает чертами универсальности: ее не было в прошлом, и мы знаем прекрасно тенденции, которые приводили к возникновению наднациональных государств, ориентирующихся прежде всего на общецивилизационные ценности, а не на ценности национальной культуры. Нам также известны современные тенденции, которые ведут в Европе к созданию общего политико-экономического пространства, в Азии — к возникновению единого рынка и единой экономической системы, для обеспечения которой безусловно потребуются свои политические, наднациональные органы.

Основной вопрос философии государственного строительства — это вопрос о том, какой должна быть онтология государства: нация ли сегодня определяет и формирует облик и структуры государства или же сама нация может получать свой идентитет от государства, которое является государством наднациональным? Этот вопрос так и остается пока нерешенным. Несмотря на то, что представители обеих концепций — сторонники национального государства и интеграристы — постоянно и яростно спорят друг с другом. Но уже сами по себе подобные споры и дискуссии, свидетельствующие о сложности и неоднозначности проблемы выбора проекта государственного строительства, по крайней мере должны привести нас к ясному и вполне реалистическому выводу, что мы вольны выбирать тот вариант развития, который в большей степени соответствует нашим собственным традициям, нашим собственным желаниям, воле наших народов. Западный опыт тем и хорош, что он предоставляет нам свободу двигаться в любом направлении, лишь бы только это направление находилось в гармонии с интересами наших народов, наших соседей и всего международного сообщества.

Мне кажется, что есть и вторая причина, по которой разговоры о необходимости рецепции и приживления западного опыта в виде какой-то устойчивой конфигурации форм, какой-то общеобязательной модели беспочвенны. Я вижу эту вторую особенность в том, что проблемы, которые остались в России после коммунистического режима, его падения, настолько уникальны, настолько своеобразны и оригинальны, что никакой внешний опыт не может нам помочь решить эту проблему, потому что никогда нигде, ни на Западе, ни на Востоке, никто не сталкивался с подобного рода проблемами.

Коммунистическая государственность была такой системой власти, которая создавала очень мощные защитные механизмы. Эти механизмы, по замыслу их создателей, должны были пережить века и послужить моделью и образцом для всего остального человечества. Коммунисты не случайно любили повторять вслед за Троцким и Бухариным: «Если нам придется уйти, мы так хлопнем дверь, что весь мир содрогнется».

Защитные механизмы коммунистической системы, на мой взгляд, не сводятся только к всевластию одной партии, интегрировавшей в себе все структуры многонационального советского сообщества. Не сводятся они ни к идеологии, ни к неслыханной по своим масштабам миграционной политике, шедшей под известным нам с вами лозунгом о новой исторической общности — советском народе.

Помимо всего этого в строительстве российской государственности как советской государственности была использована система земельных залогов. Россия как бы закладывала часть своих территорий тому сообществу, которое окружало Российскую Федерацию. Есть земли на Украине, которые были отданы русскими в залог единого и вечного государства. Есть земли, которые были отданы Белоруссии в залог существования этого же самого государства. Северный Казахстан — это зона расселения нашего казачества, российского этноса. Такая система естественным своим следствием имела то, что в случае разрыва этого пояса заложенных Россией земель отношения между Россией и другими республиками с необходимостью приобретут характер острой конфронтации.

Национальная проблема ставится сегодня отнюдь не только русскими национал-патриотами. Она официально признана «Демократической Россией», то есть организацией, поддерживающей нашего президента. «Демократическая Россия», демросы говорят о том, что мы проживем в таком состоянии с искусственными границами пятнадцать — двадцать лет, переходный период переживем, а затем возьмемся решать эту проблему. То есть отношения между государствами, которые окружают Россию, пока не могут быть искренними, не могут быть отношениями, основанными на полном доверии. Рано или поздно, сегодня или через пятнадцать — двадцать лет, эта проблема встанет, и все, кто занимается политикой, должны об этом думать и должны эту проблему каким-то образом решать. Решение национальной проблемы мне видится на путях более цивилизованного развода наций, нежели тот, который состоялся в конце 1991 года.

Логика была в принципе такова: чтобы окончательно преодолеть наследие коммунизма, разрушить его систему, необходимо предложить обществу более совершенную и более цивилизованную модель организации экономики, социальных и политических отношений. Это совершенно здравая мысль. Но мне представляется, что те люди, которые пытались и сейчас пытаются выйти из коммунизма, так и не сумели выработать такой законченной эффективной модели. Если эта модель создана не будет, мы можем столкнуться с реальной опасностью насильственного восстановления союзного государства и неизбежной в этом случае «югославизации» всего пространства прежнего СССР.

Пока же, как мне представляется, в рамках всего бывшего Советского Союза мы с вами наблюдаем появление новых, зачастую стихийных интеграционных тенденций. И дело не ограничивается только флагами на кораблях Черноморского флота или забастовками украинских шахтеров. На последних встречах глав государств и глав правительств стран СНГ были приняты документы, которые открывают новые перспективы для координации совместных действий во всех сферах жизни, в том числе в политической и экономической.

Я думаю, что точно так же, как националистическая парадигма в итоге не срабатывает в рамках всего Союза, она не сработает и в рамках России. Мне кажется, что новая интеграция бывших республик Союза, которые, конечно, будут развиваться по-разному и разными темпами, положит конец и дезинтеграционным тенденциям в рамках России.

Обработка и подготовка материалов к публикации С. НИКОЛАЕВА.

*PS. События ныне развиваются столь стремительно, что журнальная публицистика утрачивает свою актуальность буквально в течение дней. Но это не значит, что так же быстро и кардинально меняется и наше восприятие прошлого и будущего. И хотя за время, прошедшее с момента проведения настоящей дискуссии и подготовки ее материалов к печати, ситуация в стране изменилась коренным образом, мы считаем, однако, что наша публикация все же будет интересна как читателю-современнику, так и будущему историку. Первый сможет уже с позиций сегодняшнего дня проверить и оценить точность и глубину оценок, прогнозов и пророчаний того или иного участника дискуссии; второй — лучше понять, чем жило Российское государство, какие проблемы перед ним стояли в один из наиболее сложных, переломных моментов его истории.*

---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ

\*

## В ДОРОГЕ

**В** детстве ли, в юности куда-то отчаянно хочется ехать. Помню, давным-давно завидовал я не пассажирам скорых поездов, их мягким вагонам, а стрелку-охраннику на продутой тормозной площадке товарного вагона: перед ним не окошко, а весь мир. Хотелось скорее вырасти, взобраться туда и катить, открывая огромную страну километр за километром.

И нынче, в годах почтенных, многое повидав, все же тянет меня порою в дорогу, в места, где бывал не раз. В Задонье, к станицам и хуторам далеким и близким: Голубинская, Евлампиевский, Большой Набатов... Или в сторону Бузулука: Клейменовский, Вихляевский, Мартыновский хутора, станица Алексеевская... А может, и дальше, в Затовскую, недавно еще умиравшую, нынче, говорят, там иное. Хочется поглядеть. Повидать знакомых людей. Тем более что пришли на донскую землю новые времена. Может, и они зовут нас в дорогу...

Поздним июньским утром на хуторе Клейменовский по приказу хозяйки моей Елены Федотьевны приводил я в порядок уже скошенный прибрежный лужок, разрывая высокие муравьиные кучи, которые мешали косьбе. Появились они не вдруг, постепенно, но год за годом все больше портили покос. И вот наступила расплата. Я лопатой раскапывал кучи, вскрывая муравьиную потаенную жизнь: кладовые с припасами, галереи, ходы, камеры с муравьиными яйцами — будущим расплодом. Белая россыпь выворачивалась наружу. На нее с ходу слетались бедовые воробьи. А в муравьином мире поднялась, конечно же, предсмертная суматоха: нежданно-негаданно средь бела дня свалился на них разбой, гибель нажитого, построенного, налаженного — словом, всей жизни.

Два часа назад, как и вчерапнее утро, провел я на утреннем бригадном наряде. В хуторской конторе стоял единственный телефон. Попытался я дозвониться до райцентра. А вокруг текла обычная утренняя жизнь. За столом сидел управляющий отделением Виталий Иванович, рядом его помощники Максимов, Кривошеев, другой народ. Решали утренние дела. Ругались, спорили. Так было всегда.

Но нынче на хуторе шла и другая работа. Нынче время реорганизации. Сначала разукрупнились, выходя из колхоза «Деминский» и создавая свой, поменьше. Заставляли людей писать два заявления: на выход и на вступление. Кое-как написали. Теперь снова надо писать две бумажки: на выход из нового колхоза для выделения земельного и прочего пая и тут же на вступление, теперь уже с паем. Месяцем раньше, отделяясь в свой малый колхоз, люди еще что-то понимали: «Отделимся и расхорошо заживем. Без нахлебников».

Из всех свобод, дарованных новым временем, две сразу приняли мы и с радостью стали применять в жизни. Первая — «гнать в шею!». Вторая — «отделиться!».

«Гнать в шею» начали с Горбачева. Гнал каждый своих. Россия ли, Украина... Вольный Кавказ и счет своим вчерашним лидерам потерял. Сегодня несут портреты, а завтра — «по шеям!». Волгоградская область прогнала Калашникова, Хватова, Анипкина и других.

Селяне моего родного Калачевского района гнали директоров совхозов. Начали с прославленного В. И. Штепо, за ним пошли совхозы пожиже: «Донской», «Калачевский», «Советский», «Крепь». В последнем до двух раз прогоняли, а потом снова призвали «володеть». Веселое время.

Вторая свобода — «отделимся!». Так просто все кажется порой... Клейменовским колхозникам как дважды два ясно было, что уйдут они из большого колхоза в свой маленький и «расхорошо» заживут. Ведь все сливки снимает центральная усадьба Деминка, там лишь метро нет. Новые дома — целыми улицами. Средняя школа, Дом

культуры, служба быта (подстричься ли, платье сшить), по дорогам — асфальт, три магазина, автобус к ним ходит из райцентра. А работать разве не легче? Все под рукой: мастерские, электросварка, пилорама, склад запчастей, гараж. Да и работают ли там, в этой Деминке? Вряд ли... Лишь «цобекают», клейменовских дураков подгоняют. Построили двухэтажную контору («Все там блестит как малированное»), позасели и командуют.

А Клейменовка за все долгие годы что получила? Ровным счетом ничего. «Сталинская» куня, со всех сторон подпертая. Ее при Сталине делали. А после нее, лет пять назад, слепили начальную школу, которая на следующий год развалилась. И два дома для отчета. Жить в них нельзя. Многодетный Капустин кинулся было в один из них, но прожил лишь до первых холодов и вернулся в старую хату. Вот он — весь нажиток клейменовской бригады. За пятьдесят послевоенных лет.

Украину, Армению, Грузию угнетал Советский Союз. Москва да Россия «сни-мали сливки». «Отделимся и заживем расхорошо». Живут...

«Отделимся и заживем расхорошо», — повторяют вослед им в Татарии, Чечне и в Клейменовке тож.

Отделились, написав две бумажки: одну на выход из «Деминского», другую на вступление в новый колхоз «Возрождение».

Только-только просохла чернила — новая докука. Снова бумажки пиши. Управляющий сердился, требовал: «Пишите заявление. Образец на стенке висит».

«Пишите!» — легко сказать. Когда уходили из «Деминского», там все было ясно: отделимся и заживем. А нынче другое. Толкуют про годо-рубль, условный гектар и пай земельные да имущественные, про акции, дивиденды. Раньше: колхоз ли, совхоз — и весь выбор. Нынче можно стать акционерным обществом открытого да закрытого типа, коллективным сельхозпредприятием, сельским производственным кооперативом, коллективно-долевым хозяйством, народным предприятием, ассоциацией крестьянских и фермерских хозяйств... (Читатель мой, я ничего не придумываю, лишь перечисляю те «формы собственности», которые появились в наших краях.) А ведь образование клейменовских жителей не экономическое, в лучшем случае — «восемь классов да коридор с братом Митькой напополам». И потому новые формы, пока теоретические, мало-мальски осознавались лишь в головах немногих руководителей. Рядовой же колхозник, перевидавший на своем веку много перемен, поеживался да с тоскою глядел вперед: что там будет? А те, кто «поумней», делали вывод четкий: воровать надо как можно больше, теперь и ночи нельзя ждать, средь бела дня тяни, иначе опоздаешь. А бригадир свое требовал: «Пишите. Образец на стенке». Кто-то покорно сдавался, писал. Другие бунтовали: «Не буду! Подпись дашь — и обдурят! Вся жизнь дурили и дурят нашего брата». Третьи молчком уходили, надеясь переждать: там будет видно. Лишь известная личность по прозвищу Шалапин с ходу нацарапал два заявления и объяснил всенародно: «Надо получить и пропить этот пай. А то помру — и пропадет!»

Для Шалапина все было ясно, а для других — сомнения и боль невтерпеж. И мне, человеку со стороны, жаловались и жаловались наперебой:

— Хоть бы нам кто приехал да объяснил.

— Кто тебе объяснит? Сами никто не знают.

— Какая мне земля положена, где?

— На кладбище, две сажени...

— Одной хватит за глаза.

— А технику как делить? По колесу?

— Поделим. А Шалапин свое колесо пропьет. Будем на трех ездить.

— Двужиловым, фермерам, пятьсот га выделили. А мне — девятнадцать. Почему? Я жизнь свою поклял...

— У меня сын в армии. Пока вернется, все поделят. Останется с таким.

«Пишите. Образец на стенке», — твердил свое управляющий. Но не больно слушали его. Судили, рядили... В самой конторе, на крыльце, возле кузницы, у амбаров, посреди хуторской улицы. Народ гудел.

\* \* \*

Елена Федотьевна три дня назад, еще до приезда моего, поставила «подпис» на двух бумажках, которые за нее написали. Теперь ей «чегой-то будут давать... не знаю чего...».

Елена Федотьевна, мать Лелька, как зовут ее в семье, — добрая хозяйка моя, колхозный пенсионер, героиня моих рассказов и страдальца за них. Хутор-

ской народ порой узнавал себя ли, родных в моих писаниях. Одни посмеивались, другие, вроде Холюши, внимания не обращали, но нашлись и обиженные. Они-то и подняли бучу, свалив на мать Лельку мои грехи. Тяжко ей пришлось. Даже в магазин боялась ходить. Теперь, слава Богу, утихло. Да и мать Лелька в последние годы на хуторе родном летняя гостья. Зимой живет она у дочери, скучая там и торопя холодные месяцы, и уже с февраля начинает надоевшую зятю песнь: «Пора бы меня на хутор везть. Тепло уж... Рассаду пора готовить... Водички своей хоть напиться. Ваша-то горькая, полыном отдает».

По телу ее увозят, и старая женщина долгое лето живет в родном доме, сладкую хуторскую воду пьет и обихаживает немереный огород: картофельник, капустник, помидоры, лук-чеснок и прочее — всему там место есть. С утра до ночи гнется с мотыгой да лопаткой. Порою гостей встречает, как меня теперь. Лицо ее дочерна загорело, нос лупится. Седая, от работы сутулая. Лишь живые глаза под выгоревшими бровями синеют по-прежнему. Нынче в них недоумение и боль.

— Мой сынок... Такая жизнь настала... Велят писать, я послушалась, подпись дала. Все всгалчилися... Тришкина свадьба... Аж страшно. Пенсию сулят большую, сотня... Да никто им не рад. Получала шестьдесят рубликов, трудилась, и все у меня было. Сам знаешь, любила я, чтоб чисточко. Халатик новый куплю, платок, чирики. В своем ли магазине, на станцию перекажешь. К празднику, ко Святой, например, любила я обновку в дом принести: занавески, клеенку новую. Ситчик-то был полтора рубля. Гости приедут, бабка Лелька их встренет как положено: внукам конфетки да печеники, сынку да зятям бутылочку. А ныне — все, отконфетилась и отбутылчилась бабка Лелька. Где такую денежку взять? Пенсию другой месяц лишь обещают. Халат в магазине — четыреста рублей, печеники — сто рублей. Господня страсть...

Подошедший сосед, Иван Бочков, встрял в разговор:

— Чего об вас, старых, гутарить. Вас — под яр. Тут вроде еще в силах, работаешь, а получишь получку — и не знаешь, куда ее прислонить. Раньше я семьдесят рублей зарабатывать. Конечно, мало. Но я мог пойти в наш магазин и на эти деньги одеться с ног до головы. Костюм за сорок рублей, болгарский, праздничный, мне купили за шестьдесят, так он до смерти. Рубашка — пятерка. Полуботинки десять — двенадцать рублей. Еще и на кепку хватит. Ныне я триста рублей отхватил. Костюм магазинный — тысяча девятьсот. Об нем и думать нечего. А ныне я и вовсе без работы, бензину нет, стоим.

— На черный день да на смерть всю жизнь копейку сбивали. Другие таятся, а я гордилась: три тыщи на книжке, — приосанилась мать Лелька. — Где теперь моя денежка? Родная дочь корит, говорит: ты, мать, глупая, чем копить, купила бы нам по ковру, а ныне подотрись своими тыщами. Так-то вот...

Одна ли ты, мать Лелька, руками разводишь? Мой земляк, лучший чабан в округе, Бувашов, Герой Труда, всю жизнь провел в голой степи на чабанской точке. Отработал свое, скопив 25 тысяч «на книжке». «Купим домик возле людей, будем с бабкой жить». Пока собирался — грянуло. Теперь удивленно разводит руками: «Где мои 25 тысяч?» Спасибо совхоз ему «домик» строит за былые заслуги. Иначе бы без угла остался старый чабан, как остались на Дальнем Севере мои читатели, от которых получил я письмо. Тридцать лет отработали. Накопили 50 тысяч на машину и дом в России. А тут новые времена. 53 тысячи стоит заказ одного контейнера для вещей. А куда их везти? «Так и останемся, словно мамонты, в вечной мерзлоте». Матушка моя и сестра ее, тетя Нюра, скопили себе на похороны по тысяче, отрывая от пенсий, весьма небогатых. Тетя Нюра успела помереть. Ее схоронили на эти деньги и помянули на сорок дней и на годовщину. Материнской тысячи теперь не хватит и на дешевый бумажный венок.

Народ, для народа... — языки истрепали наши высокие радетели. Грязные свары их, нескончаемый дележ, взаимные упреки. Не моей ли бедной матери да матери Лельки за трудную жизнь заработанную копейку никак не поделите вы?

Стоял я на берегу речки, глядел на развороченные муравьиные гнезда, думал о нынешнем и вчерашнем, о чужом и своем, о людях и о муравьях тоже. Муравьи не ведали, что по приказу хозяйки провожу я улучшение прибрежного луга. Для них это было разор и беда. Не ведали и люди, земляки мои, что проводится реорганизация сельскохозяйственного производства да и жизни прежней. Им казалось — света конец. И слепо пытались они куда-то брести, бежать, тащить, спасаясь и спасая, словно вот эти муравьи у меня под ногами.

Мир сельский, мир гудящий, человеческий, растревоженный улей, что с тобой?

Моя нынешняя поездка, разговоры с людьми — стремление не столько понять и осмыслить, сколько лишь услышать и донести до читателя мало-мальски достоверную правду. Все-то правды нам век не узнать. Она, говорят, лишь у Бога.

\* \* \*

Колхозные ли, совхозные боги не в красном углу — они не иконы. На хуторе главный бог — управляющий отделением, бригадир ли. В его руках техника, хлеб, корма, дрова и прочее, чем жив человек на селе.

А ныне Виталий Иванович, клейменовский управляющий, сам ничего не поймет. Он уверен лишь в одном: колхозы решили уничтожить.

— Да, уничтожить, — говорит он. — Всеми средствами. Налог колхозы платят дурачий, а фермеры — освобождены. Процент по кредитам: колхозу — восемьдесят три процента, фермерам — четыре. Людям вовсе перестали платить. У меня пятьсот рублей оклад, шоферу — триста, главному специалисту колхоза — девятьсот. А жена в магазин пошла, на двести рублей принесла товару — в одном кармане халата все уместилось. Платить перестали, значит, указывают: не работайте в колхозе, глядите на сторону. Бегите туда. Вон на Долговском хуторе фермеры набрали кредитов и горя не знают: женам накопили бархатных платьев, а сами на бугре водочку пьют. Да что Долговка, в нашем колхозе, в Мартыновке, фермеру — пятьсот га земли, а наши паи — по девятнадцать. Им «Волги» по госцене продали, они их по миллиону на бирже загнали. Чем не жизнь? Другой фермер, тоже на нашей земле, новой техники закупил и поставил ее, бережет на случай. А землю ему колхозные трактористы на колхозных тракторах обрабатывают за магарыч. Тут и слепому ясно: уничтожить хотят колхозы!

Виталий Иванович всю жизнь бригадирствует. Меняются в колхозе председатели, течет время, а он — на месте. Роста высокого, с крупными чертами лица, большерукий, сильный. Хозяйка моя, Елена Федотьевна, долгие годы работала под началом Виталия Ивановича и всегда говорит о нем с уважением:

— Делучий... Что трудяга, то трудяга. Уважительный. Лошадь ли надоб, трактор — всегда поможет. Лишь пьяницы его огорчают. Он, бедняга, иной раз аж криком кричит... За шкуру их, как котят, и кидает. Он же вон какой сильный.

Виталий Иванович немногословен, обстоятелен. Дом построил большой, хороший сад посадил, сеник соорудил возле сараев — словом, готовился на хуторе доживать, когда придет время уйти на пенсию. Но теперь он растерян. Да и только ли он...

\* \* \*

Началось все в конце 1991 года. Два правительственных документа: указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27 декабря и постановление правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов». Там было много всего:

«Колхозы и совхозы обязаны провести реорганизацию...

Местной администрации организовать продажу земель фонда по конкурсу...

Земли передаются или продаются... на аукционах гражданам и юридическим лицам...

Предоставить крестьянским хозяйствам право залога земли в банках.

Разрешить с 1 января 1992 года гражданам, владеющим земельными участками на правах собственности, их продажу...

Невыкупленные участки земли продаются на аукционе...

Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля и подлежат ликвидации и реорганизации в течение первого квартала 1992 года».

Указ и постановление были опубликованы в газетах в начале января. За ними последовали разъяснения. Министр сельского хозяйства В. Н. Хлыстун: «Мы будем настойчиво рекомендовать изменить форму хозяйствования... Принятие указа Президента РФ и постановлений правительства следует воспринимать... как создание механизма для быстрее реформирования сельского хозяйства». Правительство: «Мы твердо поддерживаем фермерское движение, рассматриваем его как нашу опору и будущее сельского хозяйства».

Согласимся, что было от чего кругом пойти голове не только у клейменовского бригадира Виталия Ивановича, тем более что колхоз давным-давно был в долгу как в шелку.

Короткие заметки с февральского совещания в райцентре. Народу немного: председатели колхозов, директора совхозов, руководители района, агропрома. Вопрос один: что делать? Сначала, чтобы дать направление разговору, руководящее:

— Как сказал один из руководителей агропрома, сев будем вести в другой формации. Давайте задумаемся над тем, что даже испытанные и проверенные командармы колхозно-совхозного производства Штепо и Попов (дважды Герой и Герой Социалистического Труда. — Б. Е.) не голосуют сегодня двумя руками за старое... Пошел необратимый процесс.

И разговор пошел:

— Колхоз — все там условно. Это образование эффективно не работало и работать не будет.

— Если валить, то шустрее. Дров много. Давайте до сева поделимся, чтобы потом с саженью по хлебам не бегать.

— Работа по разделу не страшит, — бодро доложил главный землеустроитель района. — Участвовал в укрупнении колхозов. Теперь пришла пора делить, будем делить. Штат распирен, справимся.

— С разделом будут трудности. Уже находятся чудачки, которые достают из сундуков или из-за икон документы о сдаче их отцами в колхоз молотилки, сеялки с веялкой. Теперь пойдти найди, где та молотилка, та веялка.

— Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, — философски произнес председатель райпо. — Хорошо бы не пороть горячку. Федоров нас уже накормил.

Знаменитого Федорова здесь знали все. Кто и не видал, так был наслышан. Федоров — первый фермер района, хозяин 112 гектаров земли.

Объявился он в Калаче летом 1990 года. Ростом невеликий, метр с кепкой, по профессии механик бытовых машин, волгоградский житель. Просил землю: «Хочу работать на земле. Согласно новому времени...» — и так далее. За словом в карман не лез. Поглядели на него, посмеялись, сказали: «Будь здоров. Езжай, холодильники ремонтируй». Через неделю звонок из области: «Почему препятствуете? Человек хочет работать. У вас в районе ни одного фермера». Пытались объяснить: «Этот человек сроду земли не видал. Ездить умеет лишь на троллейбусе с водителем».

Уж чего-чего, а показуху устраивать мы научились. Отрапортовать, доложить, прибавить пару-другую ноликов. Головокружительная карьера Махарадзе, чуть не за год взлетевшего с должности директора стеклотарного заводика в райцентре до российского вице-премьера, тому подтверждение. Ко всему прочему Махарадзе, став председателем облсовета, вовремя доложил, что фермеризация Волгоградской области идет успешно, сообщил цифру с ноликами.

Одним из этих «ноликов» и стал первый калачевский фермер Федоров. Когда привезли его на поле, он упал на землю, картинно обнимая ее, кричал: «Моя родная земля-кормилица!» «Кормилица» потом зарастала бурьянами год и другой, пока ее не забрали.

К февралю 1992 года в Калачевском районе было зарегистрировано 54 крестьянских хозяйства с 2806 гектарами пашни. Лето 1991 года было уже позади. Федоров на своей земле вырастил бурьян. Семья Найденовых, тоже волгоградская, имея 4,5 сотни гектаров, на 100 гектарах посеяла просо, но получила тоже бурьян. Сам Найденев — пенсионер, бывший юрист, сыновья, на погляд крепкие, деловые, жили в городе, работали на производстве. Во-первых, за двумя зайцами, во-вторых, крыловская басня про пирожника и сапожника — словом, и у них не вышло.

Из 54 крестьянских хозяйств района всерьез можно было говорить лишь о двух: Чичеров и Ляпин — на 103 гектарах земли, Хлиманенко — на 127. Причем говорить всерьез не о какой-то отдаче, а лишь о том, что землю свою обработали, урожай собрали, подчеркну — с доброй помощью тех совхозов, откуда вышли. К этим людям мы еще вернемся не раз, любопыествуя, как живется им, как работается.

А теперь снова к тому совещанию в райцентре, где собрались директора совхозов, «сельские бароны», как принято их называть в «демократической» прессе, люди пожившие и повидавшие много чего.

— С семнадцатого года сельхозорганы претерпели уже двадцать девять реорганизаций, — сообщил один из «баронов». Сам ли он подсчитал, в газете ли вычитал, не знаю. Есть такие сборники, они выходили за томом том: «Решения партии и правительства по сельскому хозяйству». Ежегодно таких решений принимался не один десяток: «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства» или «О природных сенокосах» и прочее, прочее.

Совхозные руководители хорошо знали еще и иные цифры: в районе около 150 тысяч гектаров земли, 40 тысяч голов крупного рогатого скота, почти 100 тысяч

овец. Это реальная продукция. А для селян — работа, а значит, плохое ли, хорошее, но реальное житье. А для страны (про страну «бароны» не забывали) это реальные хлеб, мясо, молоко на каждый день. Раньше получали поболее. Сейчас началось снижение. Причина: падение дисциплины снизу доверху — от тракториста и скотника до директора совхоза. Прежде утром директора совхозов и управляющие долго не спали. Уже в пять, в шесть утра может на ферму с внезапной проверкой приехать «хозяин» из райкома, проверить кормление, дойку. Так что не позорюешь. Нынче — свобода.

Но около 150 тысяч тонн хлеба и 33 тысяч тонн молока, 6,5 тысячи тонн мяса район ежегодно дает. И поэтому лучше всего погодить. Новая метла, горячие молодые головы — все это понятно. Головы поостынут, метла изотрется... Надо годить. Чтобы тот спад, который идет в совхозах, не превратился в обвал. Потому что убыточный совхоз «Голубинский» все же дает мясо, шерсть, хлеб. А посади на его земли сотню федоровых и найденowych — получится бурьян.

Высокому начальству перечить нельзя. Велит президент проводить реорганизацию колхозов и совхозов — будем проводить, составим график. Но в постановлении написано: «...по 1 января 1993 года». Сколько воды за год утечет, сколько будет перемер. Не надо спешить. Поставим срок выполнения... 26 декабря, например, или 25. А кто очень спешит, пусть к 23 декабря реформируется. А главное, нужно готовиться к севу (техника, горючее, семена) и зимовку скота завершить. Но в то же время, выполняя указ президента, создать районные и внутрихозяйственные комиссии, которые будут проводить реорганизацию хозяйств по графику, по плану. Какую реорганизацию? А такую, какую захочет народ.

Уже в начале марта калачевская районная газета под рубрикой «Пути приватизации» на первой полосе объявила: «Землю — крестьянам». Заголовок был набран крупными буквами, а внизу, помельче, сообщалось, что во всех хозяйствах района, «как и предполагалось, абсолютным большинством голосов участники собраний высказались за владение землей на коллективной основе, то есть по-прежнему, как и раньше, лишь вывеску изменив на современную. В совхозе «Калачевский», например, знатный механизатор, ветеран труда Н. Ф. Ткаченко прямо сказал о том, что люди на селе не готовы работать на земле индивидуально. Для этого в стране просто нет условий: селяне привыкли трудиться сообща».

Значит, по-старому все. Не скажите...

Московское начальство день за днем повторяет: «Колхозы отжили. Страну спасут фермеры». Большинство газет, телевидение, радио о том же шумят. Из редакции журнала, где я работаю, пришел наказ: дать зримо шаги фермерства, первые результаты.

Областное начальство внушает: «...земельная реформа затрагивает интересы колхозов и совхозов, а те настроены так, что не подходи и не трогай, у них-де все решено. Ничего там не решено. Хорошие фермеры уже в минувшем сезоне получили со своих земельных участков в 1,5 — 2 раза больше продукции».

Вчерашний директор совхоза, дважды Герой, заявляет: «Колхозы-совхозы гибнут на глазах... Жрать что будем?» И вот уже другой председатель, но работающий, тоже Герой Труда, вздыхает: «До осени бы дожить... и поделиться».

Колхозные да совхозные специалисты, те, что помоложе, начинают прикидывать вслух: «Можно взять хотя бы свиноферму. Кредит получить, выкупить. Разогнать лодырей, оставить людей работающих и работать».

В фермеры пошли серьезные люди: бывший секретарь обкома партии, секретари райкомов, директора совхозов. Пока немного их, но имена известные, сами за себя говорят.

\* \* \*

Владимир Федорович Гришин — в прошлом секретарь обкома партии, ведавший сельским хозяйством, позднее председатель областного комитета народного контроля. В шестьдесят лет уйдя на пенсию, он взял землю, стал работать на ней. Сейчас у него 800 гектаров пашни под озимой пшеницей, подсолнухом, кукурузой и гречихой. Работают с ним сыновья. Старший — инженер-механик по сельхозмашине, младший — бывший военный, связист. Гришин хозяйствует два года. До встречи с ним стороной от людей разных слышал я о нем и хорошее и худое. Утверждали, что сам он лишь командует, нанимая совхозных трактористов для работ.

И вот я приехал. Новоаннинский район, совхоз «АМО». Земли богатые, чернозем. На окраине села — два вагончика, кое-какая техника, внуки да жена одного из сыновей.



— В поле, — ответили на мой вопрос о мужчинах.

Поехали в поле, на стан. Здесь, рядом с землей, должны были встать два дома. Но пока лишь груда кирпича. Младший сын возится с комбайном, готовя его к жатве. Поле озимки уже бронзовеет.

— Культивирует, — ответил сын на мой вопрос об отце.

На счастье не только мое, а и всех земледельцев, собрался и закапал дождь, первый почти за два месяца. Тут и подъехал Владимир Федорович. Спрятались мы под крышей недостроенного склада, беседовали.

Когда заходит разговор о таких хозяйствах, как у В. Ф. Гришина ли, В. И. Штепо, бывшего директора совхоза «Волго-Дон», дважды Героя Труда, слышишь порой раздраженное: «Конечно, они нахватили по блату техники. Теперь живут...» Что же, Гришин действительно купил достаточное количество техники по ценам сносным. Но разве в одной технике дело? Ведь наша страна по производству тракторов да комбайнов давно всех перегнала. А проку? У Гришина техника работает. В первый год он произвел по 40 тонн зерна на работающего, во второй — 150 тонн. Землю получил засоренную. Бодяк — выше человеческого роста. 12 — 14 культиваций провели за сезон. Работали по четырнадцать — восемнадцать часов. «Подремлешь часок-другой в кабине — и поехали», — вспоминает Владимир Федорович.

Неделю спустя встретил я Виктора Ивановича Штепо, от него услышал те же слова:

— Пятнадцать — восемнадцать культиваций. Страшно засорена земля. Бодяк, осот, горчак... Ну ничем не возьмешь...

А ведь у Гришина земля опорно-показательного хозяйства сельхозинститута. Показательные земли — хозяина нет. Новоаннинский район, Михайловский, Урюпинский — черноземы. А средняя урожайность за двадцать лет — 15 — 17 центнеров с гектара. Считай, такая же, как в южных районах, на песках. Хозяина нет — товар плачет.

Нынешний хозяин Гришин ночует в кабине «КамАЗа» на своем полевом стане. Сторожит технику да кирпич, который уже воровали. Приходится продукты из города возить. Словом, нет райской жизни, есть лишь тяжелая работа. А ради чего? Вчера — секретарь обкома, нынче — за рычагами трактора по десять — двенадцать часов. В шестьдесят с лишним лет. Показатели советского благополучия (квартира, дача, машина) у него были и есть — так зачем такая ломка в жизни? В двух строках и с налета ответить не могу. Лишь обещаю вернуться к таким людям, как В. Ф. Гришин. Сейчас же прошу ответить хозяина, хорошо ли ему живется при новом деле.

— Плохо, — ответил он. — И если бы я заранее знал, что так все обернется, то в это дело не полез бы. Ельцин обманул нас. На словах он за фермерство. Но что проку от его слов, если отбирают у нас шестьдесят — семьдесят процентов нами заработанного: десять процентов — за хранение, двадцать восемь процентов — всем известный коэффициент, тридцать процентов — госзаказ. И все кажется мало. Весной районный Совет постановил шестьдесят процентов сдирать с нас. И еле-еле отбрыкались. Да еще не до конца. А где гарантия, что завтра сельский Совет не потребует девяноста процентов? Что мы имеем от этой жизни кочевой? И от работы? В прошлом году на каждого для прожития взяли по двадцать пять тысяч. Значит, по две тысячи в месяц. А главное — не видим определенности, перспективы. Что завтра правительству в голову придет — как угадать? Я сыновьям говорю: «Давайте быстрее рассчитываться с кредитами. Иначе завтра грянет их индексация — и мы пойдем по миру». Сидим без электричества. Линию электропередачи поставили за сутки. А подключают: три провода накинута — второй месяц. В Волгоград, в Урюпинск, в Филоново уже раз двадцать ездили. Бумаг — кипа, света нет. И так во всяких мелочах. Не работа страшит, а такая вот дурь. Вот почему говорю: знал бы, не полез в это дело.

Опять к В. И. Штепо вернемся, у него те же слова:

— Не пробьешь... Тонешь в пустой волоките... Кологитесь как об стену...

И кто это говорит! Гришин — прошедший путь от агронома, председателя колхоза до секретаря обкома. Штепо — дважды Герой Труда, директор одного из лучших в стране совхозов. Это не просто люди. Это — «бульдозеры», «тяжелые танки», «генералы» с могучей энергией, хваткой, способностями, связями, высокими знакомствами. С именем, наконец: Штепо! Гришин! Такое имя любые двери откроет. Они жалуются. Говорят: невозможно работать. А что же делать простому Ване, Пете, вчерашнему трактористу, ныне полноправному хозяину 20 ли, 50 гектаров?

Ранним утром на Алексеевском грейдере подвез я попучика, механизатора. Спросил о фермерстве.

— Было желание, — ответил он. — Пошел к председателю, он говорит: техники нету. Поехал в район: тоже нету. В область поехал: там нас и вовсе не знают. Прижал хвост.

Самому Гришину в свое время помогал встать на ноги глава областного агропрома. Так-то вот...

Дождь кончился, не оправдав наших надежд. Гришин, наскоро перекусив, сел на трактор и повел его в борозду. Поехали и мы. Мимо двух взгорков, на которых белели кирпичные невеликие кучи. А должны были стоять два дома, ведь начал Гришин свое дело в 1990 году. Позади остался наполовину собранный склад-ангар. Другую половину разворовали в дороге, пока везли из областного центра.

Когда проезжали хуторской улицей мимо жилья устроенного быта, думал я о том, что ни один человек из совхозных работников земли не взял, в новое дело не пошел. А ведь Гришин у них на виду, на пригорке. Поля его отсюда хорошо видать: зеленый подсолнушек, кукуруза, бронзовеющее поле озимой пшеницы.

Может, именно поэтому, что — на виду?

\* \* \*

На той же волгоградской земле почти у самого Дона — поля совхоза «Мариновский». Земля здесь много хуже — песок да суглинок. Другая земля, а вот жизнь та же самая — лето, год 1992, смутное время. Июль месяц. Уборка.

Судьба совхоза «Мариновский». Организован пять лет назад на месте глухого села (150 работников да фермы-развалюхи). За эти годы много построено: 60 квартир, крытые тока, картофелехранилища, дороги. Механизировали фермы, удои намного выросли, люди пришли, теперь их 350 человек. В школе было 43 ученика, сейчас 120. Думали кирпичный завод поставить, заняться шубным делом. И ведь долгов у них не было до последнего времени. А потом, как по всей стране, обвал, переход на картотеку — и теперь уже вроде и не совхоз, а что-то принадлежащее Волго-Донскому судоходному каналу. Советское хозяйство рухнуло. Что впереди? А впереди то же самое — наша жизнь.

Амплеев Виктор Николаевич, механизатор, звеньевой арендного звена, один жизненный «обвал» оставил уже позади. Родился и вырос он в далеком казахстанском совхозе. Пришлось уехать.

— Русским там жизни не будет, — говорил он. — Сейчас еще Назарбаев их держит, но худшее впереди. У нас сорок семей сразу уехало. Самые крепкие специалисты.

Два года Амплеев живет в «Мариновском», получив квартиру, устроившись. Теперь вот новое испытание. О нем разговор.

— В прошлом, девяносто первом году тоже работал в арендном звене, заработали вроде неплохо, — вспоминает Виктор Николаевич. — Но деньгами, бумажными. А зерна получили лишь три тонны. А надо больше. У меня трое детей, держу двух коров, телят, свиней, птицу. С сеном совхоз плохо помогает. И вообще в звено идут люди неохотно. Тут работа от темна до темна. На свое хозяйство времени не хватает. Выгодней работать где-нибудь с восьмью до пяти. Чем получать бумажные рубли, лучше вырастить лишних свиней, бычков. Это ведь и семье прокорм и настоящие деньги.

Амплеев за весь 1991 год заработал 22 тысячи рублей. Ежедневным трудом механизатора «от темна до темна».

Мясо, говядину и свинину, в январе 1992 года на рынке в райцентре оптом скупала кооперация по 70 рублей за килограмм. Значит, один хороший откормленный бычок, проданный на рынке, дал бы Амплееву денег больше, чем его годовой заработок. Простая и горькая арифметика. Сразу понятно, кто умный, а кто дурак.

— О фермерстве я думал, — говорит Виктор Николаевич, — но не решился. Трех детей надо поднимать. В совхозе есть гарантия, что без заработка не оставят. А фермер... он ведь с протянутой рукой. У меня под боком сосед — взял земельный пай, завел немного скотины. Мучение, а не жизнь. Надо сено косить, а нечем. Ходил в совхозе выпрашивать. Пока выпрашивал, сено перестояло. Одни будылки. Надо бы с осени озимку посеять. Землицы-то немного, а трактора нет. Опять проси. Казнь господня... Глядеть на него и то мука.

Амплеев в свободные хозяева уйти не рискнул. Тем более была еще причина: он лишь недавно приехал сюда, совхоз его встретил хорошо, квартиру дал, помог обустроиться.

— Неудобно бросать совхоз... Перед директором неловко.

Тоже резон понятный, человеческий.

Амплеев остался в общем хозяйстве. Но уже сегодня, отработав полгода, не знает он, что выйдет из трудов его. Какие цены на зерно, на горючее? В колхозе «Возрождение», о котором уже шла речь, заработал опытный механизатор Клейменов за месяц посевной... 500 рублей. Вот тебе и весенний день год кормит. Прокормит ли он семью колхозного тракториста Андрея Клейменова? Конечно, нет. Кормить будут хряк да телушка с личного подворья.

Рядом с «Мариновским», в колхозе «Россия», от Тамары Андреевны Перфиловой услышал я те же речи, когда о фермерстве завел разговор:

— Какое фермерство... Одна легковая машинешка во дворе, ей ума не дашь, не знаешь, как раз в неделю на базар съездить. То горючего нет, то еще чего. Муж в колхозе месяцами на ремонте стоит — нет запчастей. А если самим начать хозяйствовать, тогда сразу — конец.

Замечу, что не труда боится семья Перфиловых. У них три коровы, телята, козы, овцы, свиньи и птица, большой огород. К труду им не привыкать, как и другим. Но из 993 колхозников в «России» забрал земельный пай лишь один человек. Плохой он, хороший — это другой разговор. Но лишь один, а других не видно.

В «Мариновском» из 350 работников — три фермерских хозяйства. Одно из них — самое крепкое крестьянское хозяйство Юрия Геннадьевича Чичерова и Анатолия Григорьевича Ляпина. Первый — бывший главный экономист совхоза, второй — опытный механизатор. Размах тут не гришинский, земли — 103 гектара, из которых 60 пашни, причем 22 гектара с орошением. 47 гектаров пашни не свои, арендованные у совхоза.

Объединенное, на две семьи, хозяйство официально называется «Луч». Шутливая расшифровка: Ляпин у Чичерова. А если всерьез, то объединила их необходимость друг в друге. Чичеров с высшим экономическим образованием, работал в хозяйствах, в райкоме партии. У него и теперь осталась в лице, фигуре, повадке некая вальяжность «главного специалиста», хоть и подсушила его работа «на технике», и загар теперь не конторский. Ляпин — типичный механизатор: жилистый, дочерна загорелый, взрывной.

— Один я землю взять не мог, — признается он. — Работать — пожалуйста, день и ночь. А вот банк, кредиты, проценты — не мое. И к тому же характер шумоватый. Поэтому объединились с Чичеровым.

— Я человек сельский, — говорит Чичеров. — Работал на земле с детства. И потому переход из конторского кабинета в кабину трактора трудным не был. Работая в райкоме, в совхозе, я видел, куда мы идем. В прежней системе работать уже невозможно. Раньше колхозную систему держал кнут. Его убрали. Рано ли, поздно все развалится. Поэтому как только появилась возможность взять землю, я взял ее. С Ляпиным потому, что он хлебороб, специалист, без него было бы трудно.

Ляпин и Чичеров взяли землю в 1991 году и осенью сдали совхозу согласно договору 88 тонн зерна по 24 копейки за килограмм, практически ничего на этом не заработав. Себе оставили 15 тонн. Весной 1992 года продали его уже по нормальной цене, почти по 10 рублей за килограмм.

Легок ли путь их? Может быть, легче, чем у других, потому что Чичеров работал главным экономистом и с директором совхоза М. Н. Титовым жил и живет в ладу. Директор выходу из совхоза не противился, помог техникой, дал землю в аренду, не отказывает в помощи и теперь. Чем может выручает: сеялку ли, культиватор пусть хоть на ночь, но в срок давал в горячее посевное время. Горючее, бензовоз, ремонтная база — все совхозное, но отказа ни в чем нет.

Но и при таких довольно добрых с хозяйством отношениях проблем у Чичерова и Ляпина выше головы. Первая забота — земля. Добивались ее непросто, и теперь о ней голова болит, потому что 100 гектаров на двух хозяев — это очень мало. Да еще взрослые сыновья Ляпина — отслуживший в армии Юрий и будущий агроном Валерий. Земли нет и пока не предвидится. А она нужна, еще бы 4 — 5 сотен гектаров, а может, и больше. Ведь четверо мужиков, да с техникой! Толковые головы, умелые руки. Но «добрый директор» Титов земли не даст. И земельный комитет района тоже не даст. Фонд перераспределения исчерпан. А совхозу тоже без земли не жизнь. У него 350 работников. У него животноводство. Раздай землю, а сам иди с протянутой рукой?

Экономист Чичеров говорит:

— Продавать землю нельзя и бесплатно раздавать ее нельзя. Пусть государство дает в аренду тем, кто лучше работает, больше заплатит. Я — плачу, совхоз — пусть платит. Посмотрим, кто победит.

Но это лишь мечты. И хотя в 1992 году у Чичерова с Ляпиным все шло нормально — подходят озимая пшеница, горох, гречиха, будут помидоры, — положение их

не назовешь прочным. Предположим, что завтра директор совхоза Титов уйдет или просто передумает и заберет 47 гектаров арендованной земли. Это ведь в его власти. Сейчас Чичеров с Ляпиным работают вполсилы, а тогда и вовсе им делать нечего.

Пока они довольны своим началом, считают, что в сельском хозяйстве другого пути нет. Хотя и признают:

— Большинство людей, живущих в селе, к фермерству не готовы. Они привыкли жить не рискуя, не пытая судьбу. Люди боятся. Ведь ясно, что кто-то разорится, у кого-то хорошо пойдет. Это жизнь. Один разорился, другой думать будет. Легко идут на фермерство городские люди. Они думают, что калачи сразу растут, и у них есть куда отступать — снова в городскую квартиру. А наши сельские семь раз примерят. В совхозе — гарантированная плата. Здесь — риск. Но кто хочет ехать быстрее, все же покупает машину, хотя есть риск разбиться.

Из признаний (или полупризнаний) директора совхоза:

— Дал им все по-дружески... Вроде по благу. Конечно, другим того не дам, потому что сам с пустыми руками оставаться не хочу. Ведь их двое. А у меня целый совхоз.

— Мы рискуем, потому что быстрее ехать хотим, — сказал Ляпин.

Три года назад приехал я к знакомому председателю колхоза. Человек он умный и грамотный, работает давно.

— Я знаю, — огорошил он меня, — разогнать вы хотите колхозы...

Сроду никого и никогда не хотел «разгонять». Но человеческая боль председателя была мне понятна: жили мы, жили, сначала похуже, потом получше, — и вдруг... Вчера я председатель колхоза, исполкома ли, главный специалист, — а завтра кто? Гришин, Чичеров потому и известны нам, что редки. В пятьдесят лет очутиться у разбитого корыта несладко.

Никого не хотел я «разгонять», но сказал председателю:

— Знаю все ваши нехватки — техника, стройматериалы и прочее. Но предположим, что завтра все это будет у вас. На сколько поднимете вы удои, привесы, урожай? Ведь с тринадцатью центнерами да с двумя тысячами литров мы никогда людей не накормим. Нужно шестьдесят центнеров и семь тысяч литров.

Председатель честно ответил:

— Сможем за год поднять на семь-восемь процентов.

Я молча развел руками.

И прежде и сейчас говорю: способы и методы хозяйствования должны определять работающие на земле специалисты. Но «разгонять» и «загонять» — дело опасное. Об этом сказал и Ляпин, нынешний фермер, пожизненный механизатор: «Если в новое дело загонять кнутом, получится хуже коллективизации». Не кнут, а пример Чичерова, Ляпина, Гришина должен убедить. Но пока он не убеждает.

У Гришина хоть куча кирпича лежит на облюбованном месте. У Чичерова с Ляпиным и того нет. Вагончики, керосиновый фонарь и мечты, которые исполнятся ли. Мечтали об электричестве. Его нет и вряд ли будет. Мечтали о домах. Но пока не осилили даже проекта их. Просят еще земли, им не дают.

Отыскать «врага» и указать на него пальцем — старый прием. Искали и находили раньше. Находим и теперь. Раньше — «враги народа», сегодня — «партократы». Вот и в «Мариновском» не дают землю Чичерову. Кто виноват? «Партократ» директор Титов Михаил Николаевич, работавший прежде и в райкоме и в исполкоме. (Как, впрочем, и Чичеров, а Гришин из обкома ими руководил.) Но ведь у Титова, кроме трех фермерских хозяйств, еще 350 работников со своими семьями, со своей жизнью, где школа, детский сад, поселковый водопровод, земля, техника и худые финансы. Проще всего представить его врагом. Но он не враг. Он дал Чичерову и Ляпину все что мог — землю, технику. И он ведь прав, когда говорит: «Если все раздам, то с чем хозяйствовать, что другим людям останется?».

Чичеров и Ляпин говорят твердо: «Большинство людей к фермерству не готовы. Они привыкли жить по-иному».

Как по-иному? Давайте разберемся. Тот же колхоз «Россия», хутор ли Камыгни, Ильевка. Если на подворье колхозника стоит до 5 коров, до 50 коз, свиней до 20 голов, их ведь нужно кормить. А кормят эту экотину не только руки хозяина, но и колхозная техника, колхозная земля. Платит он за это весьма условно или вообще не платит. Оторвы это личное подворье от колхоза — выживет ли оно? Нет!

«Привыкли жить по-иному». По-колхозному, уточняя я. Колхозный автобус возит школьников. Спортивная школа в колхозе бесплатная. Путьки в санатории,

на курорты даже при нынешних ценах полностью оплачиваются колхозом, и даже оплату проезда, нынче не дешевого, берет на себя колхозный профсоюз. Причем отказа в путевках никому нет, приходится их даже навязывать. Бесплатный подвоз топлива, газовые баллоны по 40 рублей (остальное за счет колхоза), значительную часть затрат на газификацию берет на себя колхоз. В колхозном детсаде на каждого ребенка расходуется в месяц 1000 рублей, родители платят в 10 раз дешевле. Похороны, наконец. О них сейчас много говорят и пишут: непосильны они. Колхоз и эти расходы берет на себя. Все это и многое другое, всего не упомнишь, потому что складывалось годами, десятилетиями, вошло в обычай и часто не замечается. Потому что сжились. Плохо это или хорошо, но приросли к колхозу. Оборви — кровь пойдет. Таких людей большинство.

И куда же теперь, я спрашиваю, девать это большинство? Не героев, не первопроходцев, а русских мужиков, которые за век свой — короткий ли, длинный — навидались и наслыхались всяких перемен, на своих боках чужа каждую. Ведь «паны дерутся — у холопов чубы трещат». И жить-то люди стали давно ли не впроголодь. Оделись, обулись, поселились в новые дома. У них вчера коровенку последнюю отбирали, шарили на базу, считая коз да свиней: не завел бы лишнего. Нынче лозунг иной.

Но проклятая память сильна. Шолоховскому герою Титку Бородину тоже родное государство приказывало: «Расширяй хозяйство до невозможности». Он поверил. Грыжу от работы нажил. И через короткий срок раскулачили его и увезли далеко-далеко, откуда не возвращаются.

Людская память сильна. Тем более в газетах да по телевизору властители то и дело пугают: опасность нового путча! опасность переворота! «Правого» да «левого», а мужику все равно, красные ли, белые его будут грабить.

Людскую горькую память победят не лозунги, а обычная жизнь. Может быть, такая, как у братьев Анатолия и Николая Епифановых, о которых следующий рассказ.

\* \* \*

Задонье. Невеликая речка Чир, мелеющая год от году. Займищные перелески с вербой да топодем. Озера в камышах. Луга. Выжженная солнцем холмистая степь. На песках — полынь да чабер. Время летнее. Лебеди на воде. Посвист утиных крыл по утрам, вечерами. Днем жаркий степной ветер.

Это земля Епифановых — Анатолия Степановича, Николая Степановича, их детей и внуков. Братья — близнецы. Но Анатолий появился на свет божий первым. Может быть, поэтому и из совхоза ушел раньше Николая, весной 1990 года. Взял в банке кредит, выкупил у совхоза 100 лошадей, при которых работал конхозом, получил 280 гектаров пашни и 50 гектаров пастбищ.

Анатолий Епифанов — коннозаводчик. Сейчас у него 200 лошадей буденновской, англо-буденновской и английской пород, среди них чемпионы области, призеры России. Он строит закрытый конный манеж размером двадцать один метр на шестьдесят. Здесь можно будет проводить конные соревнования любого масштаба, вплоть до международных. Рядом с манежем — конюшни, хлебный склад, неподалеку просторный дом.

Николай Епифанов весной 1991 года вышел из совхоза «Суровикинский», где проработал скотником двадцать лет. Земли ему дали 50 гектаров да сыну Михаилу — 17,5 гектара. Скотником Николай в совхозе был, коровами и стал заниматься. Просил в хозяйстве на имущественный пай коров ли, телок, но ему отказали. Начал искать сам. В своем районе, в соседних. Для счета поголовье ему не было нужно. Он искал породистых, племенных, молокастых. 10 голов удалось купить на опытной станции сельхозинститута.

Летом 1992 года у Николая Степановича было 50 дойных коров. На молочный завод ежедневно он отвозит полтонны молока. Каждый месяц вносит по 20 тысяч рублей в банк для погашения кредита. Брал он 500 тысяч на покупку скота, техники, на строительство.

Семья Николая Степановича — жена Людмила, сын Михаил — живет на своей земле, в двух вагончиках, но для коров уже построена ферма, рядом склад фуража. Свой дом, в котором раньше жили, оставили на хуторе. Послушаем Николая Степановича:

— Мой отец, мой дед, как выпьют да разгутарятся про старые времена, всегда говорят: «Кто не ленивый, тот жил». А у нас, Епифановых, ленивых не было. Своевольные — да. Но работающие. А я в колхозе с малых лет. Всегда у скотины.

Передовик, а зарплата то семьдесят рублей, то сто. Приду в контору и спрашиваю у бухгалтера: почему у меня снег, и дождь, и навоз по колено, и руки в музьях, как копыто, а зарплата нет, она у вас, у конторских? Мне в ответ: учиться надо. А вот чему учиться, не говорят. Решил я уйти из совхоза. Отпускали трудно. Был бы пьяница, лодырь, легко бы отпустили. Но мы, Епифановы, всегда трудяги. Но ушел, землю дали, хотя и маловато... В совхозе я отработал двадцать лет. Каждый год в День животновода везут людей на праздник. Там — самодеятельность, автолавки, подарки. Кого везут: бухгалтеров, зоотехников, профсоюз и начальника химзащиты, а если из нашего брата, то тех, кто начальству улыбается да быстрее других руку на собрании поднимает. Меня за двадцать лет ни разу не взяли. А теперь — проработал я хозяином лишь год — меня пригласила на праздник районная администрация, и за мой труд (я до шестнадцати тонн в месяц молока сдаю) наградили бесплатно холодильником... Двадцать лет отработал как спуганный. Оглянешься — самого себя жалко: ни выходных, ни отпусков, работал день и ночь — и был вором. Сено воровски коси в какой-нибудь балочке и трясись, чтобы тебя не поймали. Вези и опять трясись. С зерном та же песня. Семью ведь кормить надо, на сто рублей не проживешь. А начальству это выгодно — вор да пьяница слова поперек не скажут. Работай, воруй и гляди на колхозный бардак. Начальников — туча черная, и все с машинами и с шоферами. Учетчик на грузовом «ЗИЛе» ездит, на персональном. Вот он куда вылетает, мой труд.

А нынче я — вольный, никого не боюсь. Коровки — мои, земля — моя. Правда, ее маловато. Лошадки есть. Две машины за год купил. На этом бугре будешь мой дом стоять. А на том бугре — дом сына. Этот пруд мы вычистим, углубим и заведем карпа. А вон там племянник с семьей построятся. Везде наша земля, Епифановых... Перед тем как из совхоза выйти, мы с сыном ночью сидели, обсчитывали, что и как. Жена с дочкой сомневались. Но мы доказали: должно получиться. Правда, наши расчеты полетели к чертям при новых ценах. Они нас били влет, подранили, но не навозом подшибли. Они нас обозлили. Все равно можно работать. Молочко идет. Корма заготовили. Патока есть. Есть уже телочки свои, племенные. Работать мне сейчас много тяжелее, чем в совхозе. Там наука одна: не твое! не суй нос! не командуй! отпас — и сопи! А теперь я — хозяин, работник, строитель, прораб, агроном, зоотехник, бухгалтер, да еще своей жене муж, внуку дед. Но это настоящая жизнь, дорогая работа, которой еще и еще хочется. Радуюсь, что на волю вышел, и жалею тех, кто в совхозе, они — спуганные. Меня на десять — пятнадцать лет еще хватит. Вылезем из долгов, построимся. А когда помру... Я уже детям сказал: помру, никуда меня не везите, схороните здесь, на моей земле, на земле Епифановых.

Когда говорил я о хозяйствах Чичерова и Ляпина, Гришина, то огорчался, не видя вокруг них молодой доброй поросли, которая и поможет при случае, и поучится у первопроходцев. У Епифановых по-иному. Рядом с Николаем Степановичем взял землю и начал заниматься молочным хозяйством его племянник, тоже Николай. И еще один племянник, Анатолий, по специальности зоотехник, тоже вышел из совхоза, поставил вагончик для жилья, базы, ищет коров, чтобы заняться тоже молочным производством. Из того же совхоза «Суровикинский» вышел Владимир Коновалов, его земля рядом, коровы пасутся рядом. Образуется новый «колхоз», «епифановский», в котором каждый при своем деле, при своем интересе, но связаны родством и всегда придут друг другу на помощь.

Рассказывая о Епифановых, я предвижу упреки в пристрастии. Слышу голоса: «Экономический анализ покажет... Завтрашний день прояснит...» Многие будут правы.

Я приехал к братьям Епифановым раз и другой. Приеду еще, потому что это новая жизнь, от которой не отмахнуться. О ней много судят да рьят, а здесь — вот она! Здесь та жизнь, о которой я лишь слышал от старых людей да читал. Вспомним еще раз шолоховского Титка Бородина, который после войны и крови вцепился в работу и землю, «как голодный кобель в падлу». Не в гульбу, а в работу. Перечитайте роман, это было.

Тетья Нюра Крысова, сестра моей бабушки, имела в хозяйстве 12 коров. Спала три-четыре часа в сутки. Грудного ребенка кормила так: падала на пол, вынимала грудь, пока он сосал, спала. Там же в Забайкалье, в Самаринском Затоне, Кочмариха, хозяйка земли и лошадей, пешком шла пять километров вечерами домой, а по утрам на себе несла работникам харчи в кожаных торбах через плечо. «Лошади должны отдыхать, — говорила она. — Им работать». Она приходила на поле, становилась рядом с наемными жнищами и работала день-деньской. А вечером снова пешком. «Лошади должны отдохнуть, чтоб потом хорошо работать».

Титок с книжных страниц и живые тетя Нюра Крысова, Кочмариха с семейством, миллионы других ушли одной и той же горькой дорогой — на высылку. Они ушли, и все рухнуло. И когда теперь возродится? И возродится ли? До этого далеко-далеко. Но добрый костер, который согреет наши тела и души, начнется с малого огонька. Не он ли перед нами? Мы все его так ждем. И потому простите меня, легковерного, за то, что радуюсь. И говорю единственное: Господи, помоги им, Епифановым, — Анатолию, Николаю, Любе, Людмиле и другому Николаю, Олегу, Степану, Михаилу, и совсем малому Степану, и Аленке, и всем, кто рядом с ними. Помогите им, Господи, и ты, Россия.

\* \* \*

Свободное крестьянство ли, фермерство — дело новое. Идут туда с расчетом или просто с надеждой — всякий народ. «Они думают, калачи сами растут», — сказал опытный механизатор, бывший звеньевой полеводства Ляпин. «Они хотят жить в Париже, а земля у них будет рожать», — усмехнулся агроном, бывший председатель колхоза Гришин, намекая на одного из соседей своих, нового хлебороба.

Всякие есть. Из наших калачевских свободных земледельцев «первого призыва», получивших наделы в 1990 — 1991 годах, кроме Чичерова и Ляпина, слежу я за Федоровым (тот, метр с кепкой, волгоградский механик по холодильникам, который на землю кидался: «Родная моя...»), Найденовыми, Шахановым.

Эпопея Федорова закончилась нынешним летом. Два года простояла его земля в бурьяне, непаханая. Ее изъяли. Федоров на банковский кредит «под землю» успел купить большегрузную машину, бульдозер. Техника работала в городе. Здесь все ясно.

Когда Найденовы, отец с сыновьями, предстали перед комиссией, вопросов было немного. Сыновья на вид крепкие, рукастые, желание есть — дело пойдет. На земле Найденовых я бывал, она в Задонье, у Фомин-колодца, место известное. Два раза приезжал, хозяев не было. Вагончик стоит, возле него — кое-какая техника, сторожевая собака и работник из местных, Голубинской станицы. Показывал он землю, посева. Глядеть особо не на что было: земля не больно хороша и обработана, засеяна кое-как. Это не Гришина, не Штепо, не Чичерова — не хозяйские посева. Здесь работник трудился. Там же, возле вагончика, — металлическая сетка в рулонах, корморезка. Я прежде слышал, и работник подтвердил, что собирался Найденов заняться откормом скота. Но как? Когда? Все это пока вопросы. Не суди в три дня, говорят у нас, суди в три года. Подождем и вернемся к Найденовым через год...

\* \* \*

Еще один новый землепашец — А. К. Шаханов. О нем, наверное, стоит рассказать подробнее.

В районном центре Калаче-на-Дону Александр Константинович Шаханов человек известный. Прежде он работал экономистом на заводе, преподавал в техникуме, в шумную пору «волгоградских митингов» избирался депутатом районного Совета, где был очень активен. Сторонник здорового образа жизни — бега трусцой, лыж, русской парной. Шаханов всегда жизнерадостен, улыбчив. Руки у вчерашнего преподавателя стали крестьянскими — мозолистые, потресканные, и намертво въелась в них земля. Встретил его недавно бывший сослуживец и охнул: «Ты чего, Константинович, так похудел? — И сам же догадался: — Земля тебя сосет...»

Дело в том, что молодой пенсионер, шестидесятитрехлетний бывший экономист А. К. Шаханов с 27 апреля 1991 года является владельцем 3,3 гектара земли на месте уже забытого ныне хутора Бугакова рядом с Бугаковским озером. Три гектара на первый взгляд мелочь по сравнению с крестьянскими хозяйствами в 50, 100, 800 гектаров. Но недаром сказал Шаханову председатель колхоза «Россия» В. Ф. Попов: «Если справишься с этой землей, памятник тебе поставим». Он знал, что говорил: ведь не зерновые культуры собирался сеять Шаханов на своем клочке земли, а овощи. В коллективных хозяйствах нагрузка на одного овощевода — один-два гектара. Но работает на него колхозная техника, а помогают городские помощники. И все равно тяжкий труд. Шаханов же остался со своими гектарами один на один, без радетелей и подмоги. Давайте посмотрим, что получилось из этого, на мой взгляд, невольного, но очень показательного эксперимента. Стоит ли сооружать Шаханову памятник? Злые языки говорят, что надо соорудить не памятник, а завод репейного масла, потому что новый земледелец репьями зарос. Как очевидец, живой свидетель, вдоль и попереж обощедший землю Шаханова, утверждаю, что репьев там

нет. Сорняк, конечно, имеется, о нем разговор ниже. Но репейник пышно растет на соседних участках.

Дело в том, что «подвиг» свой Шаханов начинал не один, а в компании сотоварищей. В одиночку он бы не решился. «Лишь земли добейся, Константинович! — уверяли его сотоварищи. — У нас все в руках: электричество, тракторы, машины, вода». Он добился. Землю весной 1991 года дали всем шестерым друг возле друга: Шаханов, Борисов, Полянский, Горшенин, Марченко, Криштопа. Но «колхоз» не получился. Вместе кое-как землю вспахали, кое-как засеяли бахчевыми, пошли сорняки. Шаханов с семьей начал прополку. Сотоварищи медлили, но говорили, что «урожай будем делить поровну». Все поняв, Шаханов оставил напрасный труд. «Прополку» вела лишь чужая скотина. И делить оказалось нечего. Тогда и понял Шаханов, что коллективное хозяйство вшестером нежизнеспособно. Он ушел в единоличники, имея 3,3 гектара земли, собственные руки и желание работать.

Новоявленный фермер не был восторженным юнцом, он понимал трудности, которые ждут его. Обманувшись в «колхозе», он надеялся на государство, которое обещало помощь деньгами, техникой, организацией. Шаханову положена была ссуда в 30 тысяч рублей. В райцентре обещали организовать предприятие по обработке земли мелким крестьянским хозяйствам. Идея отличная. Подает заявку — и вспахают. Надо прокультивировать — сделают. Лишь плати. Ведь и в самом деле, иметь при трех гектарах машинный парк незачем. А еще было много постановлений московских, президентских указов о помощи фермерам. Им поверил Шаханов.

Поверил, но, не дожидаясь манны небесной, взялся за лопату. Осенью 1991 года он начал ставить ограду вокруг своих трех гектаров: вкапывал столбы, натягивал проволоку. Вручную вырыл шестиметровый колодец. Вручную углублял полузасохший пруд на краю участка. Он понимал, что без воды — гибель. Той же осенью и тоже вручную посадил 600 саженцев: яблони, груша, вишня, слива, грецкий орех, абрикосы, смородина, виноград. Завез навоза. Готовился к новой весне.

От государственной власти новый хозяин помощи не дождался. Ссуду получил поздно. Единственную технику, мотоблок МБ-1, купил в конце сезона. А значит, все лето работал на трех гектарах лопатой, мотыгой, воду носил ведрами на коромысле. На свой участок ушел он жить постоянно в конце апреля. Дневал здесь и ночевал, соорудив плетневый шалаш, плетневые же туалет и будку для собаки.

Пройдем вместе с хозяином по участку. Позади долгое знойное наше лето, сухое, почти без дождей. Посажено было 20 соток картошки. Она не уродилась. Нужен полив. Ведрами воды не натаскаешь. Тем более на Дону не было тогда половодья. Уровень воды упал. Колодец и прудок обмелели. 15 соток капусты тоже не порадовали. Ручной полив — двести метров до пруда. Словом, с капустой не получилось. 8 соток огурцов — вовсе никакие. Помидоры достались трудно. Первая рассада померзла, вторую сгубили прорвавшиеся на участок коровы. Но все же поднялись кусты, а плоды мелкие. И тут воды не хватило. Подсолнух сгубил жаркий сухой вет. Сахарная свекла вовсе не взошла из сухой земли. Тыква и та не уродилась.

Словом, выручил Шаханов за свою продукцию — арбузы да помидоры — около двух тысяч рублей. А еще обеспечил свою семью на зиму. Это в доход. А расход — все немалые затраты: огорожа, саженцы, семена, навоз да еще немереный тяжкий труд все долгое лето с утра до ночи. Лопата, мотыга, ведро на коромысле. Вся пенсия уходит сюда. Последние деньги со сберкнижки сняты. «Умру — не на что похоронить», — признается Шаханов. А на что он надеялся? Ведь не мальчик же. Да вдобавок экономист. Считать умеет. Надеялся, что в пруду и колодце будет вода. Надеялся, что лето будет не такое знойное. Надеялся, что купит небольшой трактор «Т-40» или «Т-25». Но все надежды оказались пустыми. Даже мотоблок удалось купить слишком поздно. И ожидаемого дохода с земли новый крестьянин не получил. Ко всем бедам добавил анализ почвы, который лишь теперь сделан волгоградской лабораторией по заявке земельного комитета. Вывод специалистов достаточно суров: «0,5 процента гумуса... пригодна для пастбища и орошаемого сенокоса». А ведь Шаханов занимается овощами и садом. Он и сейчас мечтает:

— Здесь будут ореховые деревья стоять, защита от ветра. Здесь — виноградник. Вдоль ограды — черная смородина.

Но молодые деревца приживаются плохо, многие засохли. Воды не хватает. А он не сдастся:

— Трагедии нет. Тржусь с утра до вечера. Стыдно перед семьей, перед внуками, перед знакомыми. Но не отчаиваюсь. Попробую еще один год. А там...

Честно сказать, он не похож на крестьянина XX века, тем более на заморского фермера, скорее на Робинзона Крузо или Генри Торо. Был такой в прошлом веке в Америке чужак философ, который поселился и жил на земле, доказывая, что любой



человек способен себя прокормить от земли. Вот и хозяйство Шаханова не из нынешнего века: лопата, мотыга, ведро на коромысло, вручную выкопанный колодец. Посмеяться над ним? Позлословить про репейное масло? Не могу. Тяжкий и долгий труд на плечах этого человека. Труд честного земледельца. Он не сам туда пришел, на сгнувшийся хутор Бугаков. Его позвали новые времена. Он им поверил. А теперь не может даже положенного бензина для мотоблока получить на нефтебазе. Дело понятное... Вдалеком Калаче-на-Дону свои президенты, тем более на нефтебазе Им никто не указ.

На землю нашу пришли новые времена. Как ни крути, а треснутый горшок не склеишь. А и склеишь — недолгая ему жизнь. А коли это признать, то в новой системе сельского хозяйства должно быть всему место: и выжившим колхозам, и тысячегектарным хозяйствам Гришина, Шестеренко, Штепо, и саду-огороду Шаханова на трех гектарах. Шаханову не нужно памятника, ему бы раздобыть тракторишко. Вдвоем они потянут. И может быть, на месте ушедшего хутора Бугаков на бугре, где стояла казачья усадьба Ушаковых, раскулаченных и сосланных, возродится жизнь. А уйдет Шаханов, тогда — снова репейник. И горький пример для других.

\* \* \*

Хутор Клейменовский. Пора отъезда. Как всегда, иду к речке через старый одичавший сад. Вот она — береж, на которой зорил я муравьиные кучи. Но неистребима жизнь, муравьиная тоже. На тропинке передо мною черно от муравьев. Это вылет у них. Самая пора. Летнее утро: солнечно, тепло. Весь муравейник словно вывернулся наружу. Суета, беготня. Десятки, сотни крылатых самцов и самок, будущих маток, суетятся, лезут по травинкам выше и выше, взлетают, сверкая слюдяными крыльями. Даже рабочие муравьи, бескрылые, тоже стремятся вверх и падают. А крылатым дорога — небо. Вот они исчезают в утренней синеве. От земли в сияющем блеске летят другие. Время вылета, время любви. Большинство этих счастливых погибнет. Но кто-то останется. И нынче ли, завтра в том и другом углу этого просторного зеленого мира молодые самки, сияя ярким хитиновым покровом, опустятся на землю уже матками. Праздник кончился. Обломав теперь ненужные слюдяные крылья, матка начнет работать, пробивая ход в землю. Основательнице нового рода на первых порах будет очень трудно. Жвала и ножки ее будут стираться, выкрашиваться, потускнеет сияющий хитин на груди и брюшке. Тяжкий труд никого не красит. Самка пробивает ходы, строит камеры — все в одиночку. Не каждой это удастся. Снова из сотен выживут единицы. Самые сильные, самые стойкие. Не вдруг, а через долгие месяцы появится подмога, потомство, работники. Потом новое гнездо — молодая семья начинает свой путь...

1992—1993 гг.

*Люди старшего поколения несомненно помнят новомирские очерки Валентина Овечкина 50 — 60-х годов. По нынешним временам эти очерки не произвели бы никакого впечатления: подумаешь, спорят два секретаря райкома КПСС, один чуть передовой, другой чуть отсталый, оба партийные ортодоксы, — смешно! («Районные будни») По тем временам было не смешно, а настолько серьезно, что очерки эти открыли новую страницу русской словесности, страницу «деревенской прозы» — под таким названием вошли в мировую литературу (нисколько не преувеличиваю) произведения многих и многих писателей.*

*Нынче не так, нынче и реализм подается через фантастику, нынче жизнь наша действительно настолько усложнена, что писатель не справляется с нею и находит выход в том, чтобы выдать за сложность и непостижимость жизни собственную сложность и непостижимость: и я не льком шит, попробуйте-ка меня понять — по зубам или не по зубам? Все это говорится без иронии, литературу создает время, это его требование, но вот в чем дело: пройдут годы, люди захотят понять, чем же все-таки была «перестройка», и вот тут-то они и потребуют реализма как такового, типа овечкинско-новомирского времен Твардовского, и, наверное, я не ошибусь, если скажу — типа екимовского. Вот мы и договорились с Борисом Екимовым, что он будет присылать нам свои очерки (зарисовки, дневниковые записи) из Калачевского района Волгоградской области. Полагаю, что это дело необходимое, что литература попросту не имеет права мимо такого материала пройти, миновать его.*

Сергей ЗАЛЫГИН.

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## «ЖИЗНЬ... ВЫЗЫВАЕТ МЕНЯ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО»

Из публицистического наследия В. И. Вернадского

Универсальная одаренность нашего великого соотечественника Владимира Ивановича Вернадского (1863 — 1945) общеизвестна и общепризнана. Убедительно и наглядно еще раз это продемонстрировали прошедшие в марте минувшего года в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России Дни В. И. Вернадского, посвященные 130-летию со дня его рождения. Очевидно, нам и нашим потомкам еще многие годы и десятилетия предстоит заново открывать для себя огромный интеллектуальный континент по имени Вернадский.

Однако белых пятен на этом континенте остается еще достаточно много, и едва ли не одно из самых значительных — общественно-политическая публицистика Вернадского. Рассеянные по многочисленным газетам и журналам либерального направления, издававшимся в 1904—1920 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Ростове, Екатеринодаре, Симферополе и других городах, заметки, статьи, очерки Вернадского на злобу дня ныне практически недоступны массовому читателю. Более того, далеко не все еще из опубликованного Вернадским публицистом выявлено и учтено. Поиск продолжается, и нет сомнения, что на этом пути нас ожидает еще немало радостных открытий...

Тяга к публицистике пробуждается у Вернадского на первых курсах Петербургского университета, а его гимназические дневники становятся как бы преддверием на пути к осознанию этой потребности. 80—90-е годы — это период, если можно так сказать, инкубационного развития Вернадского как публициста. По архивным материалам явно видно, что публицистическая жилка была дана ему от Бога. Многочисленные письма друзьям, жене Н. Е. Вернадской, дневниковые записи часто живо напоминают миниатюрные публицистические очерки.

Однако дебют Вернадского-публициста состоялся без малого полтора десятилетия спустя. Статьей «О профессорском съезде» сорокалетний профессор Московского университета громко заявляет о себе на всю Россию и сразу становится вровень с такими признанными публицистами либерального крыла российского освободительного движения, как П. Н. Милуков, П. Б. Струве, Ф. Ф. Кокоскин, А. И. Шингарев...

В. И. Вернадский продолжает выступать как публицист и в последующие годы. Его публицистика тесно связана с его гражданской, политической деятельностью. Еще на рубеже веков он оказывается в числе активных представителей земского движения, рука об руку с Л. Толстым участвует в помощи голодающим крестьянам. В 1905 году Вернадский — участник I съезда конституционно-демократической партии (партии «народной свободы»). Позже на всех ее съездах вплоть до 1917 года он с редким единодушием избирался в состав ее ЦК. В том же 1905 году Вернадский оказывается одним из основателей Академического союза, объединившего преподавателей высших учебных заведений России в борьбе за университетские свободы. В 1911 году в знак протеста против реакционной политики министерства народного просвещения он с группой профессоров и приват-доцентов подает в отставку, покидая Московский университет после двадцатилетней преподавательской и научной деятельности в его стенах...

Безоговорочно приняв февральскую революцию, Вернадский входит в состав Временного правительства. Он возглавляет сельскохозяйственный ученый комитет министерства земледелия, является товарищем министра народного просвещения и председателем комиссии по ученым учреждениям и научным предприятиям этого министерства. В демократической печати в эту пору часто появляются его публицистические статьи.

Решительно отвергнув октябрьский переворот, Вернадский вместе с избежавшими ареста министрами и товарищами министров Временного правительства переходит на нелегальное положение. 16 ноября 1917 года вместе с другими членами правительства Вернадский подписывает воззвание «Ко всем гражданам Российской республики», в

---

Публикация, предисловие и примечания И. И. МОЧАЛОВА.

котором Временное правительство объявляло о своем вынужденном самороспуске и призывало народ к сопротивлению самозванным захватчикам власти. «В уверенности, что усилиями народа будет положен конец господству насильников в самом близком будущем, Временное правительство призывает всех граждан в эти дни великих испытаний сплотиться вокруг Учредительного собрания для осуществления своей воли», — говорилось в воззвании, опубликованном столичными газетами демократической ориентации 17 ноября. В этот же день появилось постановление Временного правительства об открытии 28 ноября 1917 года Учредительного собрания в Петрограде в Таврическом дворце.

В день публикации этих последних документов Временного правительства Петроградский военно-революционный комитет принимает постановление об аресте всех подписавших воззвание членов Временного правительства и препровождении их «под надежным караулом в Кронштадт». Вернадский скрывается, меняя места проживания, и в канун принятия Совнаркомом подписанного Лениным, Троцким, Сталиным и другими большевистскими лидерами декрета, объявлявшего партию «народной свободы» партией «врагов народа», выезжает из Петрограда на Украину...

В конце 1918 года, однако, решительно разойдясь с антикрестьянской и великодержавной политикой поправешего руководства конституционно-демократической партии в аграрном и национальном вопросах, Вернадский выступает в газетах Киева с заявлением о выходе из партии и ее ЦК. В 1920 году, находясь в Крыму, где он продолжал научную и педагогическую работу, Вернадский отвергает поступившее от Британской ассоциации наук, членом которой он состоял, предложение переехать вместе с семьей в Англию. Он надеется на лучшее, верит в будущее России, хотя обстановка мало располагает к этому. 17 марта 1920 года Владимир Иванович писал в дневнике:

«Наблюдая современную жизнь развала, поражаешься одной явной аномалией. На поверхности, у власти и во главе лиц, действующих, говорящих, как будто задающих тон, — не лучшие, а худшие. Все воры, грабители, убийцы и преступные элементы во всех течениях выступили на поверхность. Они разбавили идеологов и идейных деятелей. Это особенно ярко сказывается в большевистском стане и строе. Но то же самое мы наблюдаем и в кругу добровольцев и примыкающих к ним кругов. И здесь теряются идейные, честные люди. Жизнь выдвинула на поверхность испорченный, гнилой шлак, и он тянет за собой среднюю массу. Но что внутри?»

Жизнь моя сталкивает меня с огромным количеством людей, голос которых не слышен сейчас — но которые являются здоровым элементом будущего. Несомненно, они есть во всех группах и во всех течениях, и в примыкающих к большевикам и к добровольческим слоям. Много из них гибнет жертвой долга и случайности, и эта гибель гораздо страшнее смерти тысяч безразличных людей или всего того шлака, который вымыл сейчас на поверхность. Но эти ростки будущего, которые не связаны ни с одним строем, дают мне ясную и глубокую надежду на быстрое возрождение. Несомненно, переживаемая революция дала большему числу и этих людей выйти на поверхность, как только создадутся условия для гибели шлака. А долго он существовать не может, так как он сам себя истребляет и уничтожает и скоро становится невыносимым всем» (Архив РАН, ф. 518, оп. 1, ед. хр. 161, л. 47).

Вернадский-публицист всегда обращался к самым жгучим темам дня. Это были вопросы борьбы за академические свободы, в защиту требований студентов и профессоров, против административного произвола в науке и высшей школе, за полную отмену смертной казни, против красного и белого террора, черносотенных погромов, за равноправие нации и народностей, дружбу народов России и Украины, за справедливое, в духе требований крестьянских масс, разрешение аграрного вопроса... 2 июня 1905 года он писал своему ученику Я. В. Самойлову: «Мне было очень приятно иметь Ваш отклик на мои — довольно для меня неожиданные — попытки публицистической работы. Жизнь заставляет, и теперь она не дает уйти в тихую научную и философскую работу, к которой все влечет меня, и вызывает на общественное дело. Приходится мириться...»

Но с утвердившимся в стране после октябрьского переворота гнетом Вернадский не мирился никогда и ни при каких обстоятельствах, как не мирился он ни с каким тоталитаризмом вообще и в частности, независимо от того, в какие одежды — красные, черные или коричневые — тот рядился. Принцип свободы в его у н и в е р с а л ь н о м выражении являлся для Вернадского незыблемым, ему он следовал до конца.

Борясь, по его словам, «с жандармской советской цензурой, которая много хуже царской», доходившей до таких диких нелепостей и варварства, как, например, вырезание целых статей или замазывание тушью «избранных» мест из зарубежных научных журналов, Вернадский, как он говорил, «доходил до верхов», обращаясь в Совнарком, Главлит, президиум АН СССР и иные инстанции. В этой борьбе он нередко оказывался победителем, хотя силы были явно неравными. «Право свободы мысли для меня пред-

*ставляет одно из необходимейших условий нормальной жизни, с отсутствием чего я никогда не мог примириться», — писал в 1942 году Вернадский начальнику Главлита Н. Г. Садчикову.*

*Слова В. И. Вернадского в письме сановному советскому цензору как бы продолжают мысль, высказанную им значительно раньше: «Историю нельзя повернуть назад. Народ, в невероятной обстановке развивший мировую литературу и мировое искусство, ставший в первых рядах в научном искании человечества, не может замереть в полицейских рамках плохого государственного управления. Он может терпеть поражение, — но в конечном итоге он останется победителем». Это сказано еще в период, связанный с эпохой первой русской революции, когда ученый, как уже отмечалось выше, особенно активно выступал как публицист по целому ряду волновавших его проблем общественной жизни. Многие из них не утратили актуальности и поныне.*

### О профессорском съезде

**П**рофессора высших учебных заведений — университетов и технических институтов — нигде в цивилизованном мире не поставлены в настоящее время в столь униженное положение, как у нас в России. За последние десятилетия XIX в. только положение преподавателей в университетском пережитке, в забытом схоластическом университете Филиппинских островов могло быть сравнимо с правовым положением профессоров великого русского народа.

Одинаково, — как отношение к ним государственной власти и администрации, так и определенное уставами положение их внутри академических учреждений, — находится в полном противоречии с тем местом, которое должен занимать профессор в жизни своего народа, резко нарушает живые государственные потребности страны.

Русский профессор находится под особым полицейским надзором. Каждый его шаг и каждое неосторожно сказанное им слово могут вызвать и не раз вызывали полицейские и административные возмездия, в результате которых являлось прекращение профессорской деятельности, стеснение, а иногда многолетнее ослабление его научной работы. Если профессор не вошел в состав бюрократической машины, не присоединился к тем силам, которые активно поддерживают полицейский бюрократизм, губящий нашу страну, вся его жизнь может пройти в душных тисках специального полицейского надзора; он не может быть уверен, что по произволу администрации и по неизвестным ему причинам он в один прекрасный день не будет устранен от дорогой ему деятельности. И это устранение может произойти в самой грубой и униженной форме, без всякой возможности выяснить и понять случившееся. Стоит вспомнить из недавнего прошлого «истории» московских профессоров В. В. Марковникова и Ф. Ф. Эрисмана<sup>1</sup>. В течение последних лет бывали года, когда даже полное отстранение от всяких попыток проявить свою личность в академической жизни, удаление в область чистой науки ставилось в вину, так как область чистой науки есть удел академиков, а профессор обязан в своей деятельности выражать и проводить взгляды правительства, не может и не должен стоять от него в стороне. Он не только ученый, но и звено бюрократической машины. Такую теорию развивал, например, Н. П. Боголепов<sup>2</sup>.

В последней четверти XIX в., когда формы академической жизни в Западной Европе, Америке и даже в Азии, в Индии и в Японии, получили новое развитие, когда там вырабатывались новые, неизвестные прежним временам ее проявления, когда свободное, издревле и неизбежно свойственное университетам самоуправление широко и могуче охватило всю академическую жизнь, — на нашей родине университетам выпала тяжелая доля пережить разрушение автономии, профессорам пришлось заботиться о том, чтобы спасти и сохранить в тяжелые времена реакции хотя немногое из академической организации. Почти в тот самый год, когда французское правительство убедилось в пагубности для развития науки и знания административной опеки университетов и решительно приступило (в 1885 г.) к восстановлению прежних свободных академических организаций, на русское просвещение наложил свои тяжелые оковы университетский устав 1884 года<sup>3</sup>, пагубное значение которого бесспорно выяснено в единогласных отзывах советов всех русских университетов в 1902 г. в ответ на запросы П. С. Ванновского<sup>4</sup>.

При таких условиях понятно, что русским профессорам в конце XIX и начале XX веков приходилось переживать времена, которые для их западных товарищей давно отошли в область туманной, далекой истории. В многовековой хронике

мировой академической жизни в это время только у нас, в России, могут быть отмечены постоянные изгнания нередко выдающихся ученых из организаций, выговоры, административные взыскания и расследования в связи с направлением академической деятельности или научной работы профессора. Только у нас десятки лет не может установиться нормальная академическая жизнь и приходится прибегать к резким мерам усмирения. Каждая такая мера долго болезненно чувствуется и оскорбляет чувство справедливости.

Не ругаясь за полноту, остановимся на печальной хронике прошлого академического года. В Горном институте в Петербурге шесть талантливых преподавателей вынуждены были выйти из института вследствие грубого нарушения основных принципов академического самоуправления. Еще более резкий разгром постиг Харьковский технологический институт: здесь шести преподавателям было предложено подать в отставку, так как они в вполне законной форме указали на незаконные и странные действия директора Шиллера; вслед за ними, летом 1904 г., нашли для себя невозможным оставаться в институте при таких порядках еще тринадцать преподавателей. В Харьковском университете один из молодых преподавателей был удален за лекцию, которая признана была недостаточно патриотичной. Аналогичные дела возникали в Юрьевском университете, но окончились благополучно. В Киевском политехникуме происходило дознание о двух профессорах, из которых один в частном доме выражался недостаточно «патриотично», а другой напечатал статью в подцензурном журнале, показавшуюся неудобной. Дело в конце концов окончилось выговорами или угрозами. В Варшаве поднималось дело в связи с легальным заявлением нескольких профессоров в совете по поводу действий ректора, казавшихся им незаконными, и т. д. Едва ли есть университет, где бы так или иначе не возник аналогичный вопрос, иногда доходящий до резкой развязки, иногда замирающий в какой-нибудь промежуточной стадии. В этом последнем случае он заносится бюрократией в счет будущего, не проходит бесследно. Так, в Московском университете летом текущего года был удален без прошения молодой ассистент агроном А. П. Левицкий за его деятельность в Обществе сельского хозяйства; в числе указанных ему вин было и участие его восемь лет назад в студенческих беспорядках... Оно было в свое время занесено в его личный счет и при случае вспомнуто... Такое бесправное и поднадзорное положение русского профессора вполне отвечает и тому месту, какое отведено ему в организации академических учреждений.

В университетах это место определено уставом 1884 г. Он весь проникнут полицейским духом, основан на недоверии к профессорам, безгранично открывает двери административному вмешательству во все области университетской жизни. Достаточно сказать, что согласно этому уставу ректор и попечитель «в исключительных случаях» имеют право принимать все меры, какие они найдут нужными, ничем не стесняясь. Для характеристики этого законодательного памятника и выяснения соответствия его потребностям жизни достаточно вспомнить условия его выработки.

Министр Делянов<sup>5</sup>, представляя его в Государственный совет и делая указания на состояние вверенных его попечению учебных заведений, ссылаясь исключительно на результаты особой министерской комиссии 1875 г., очень напоминающей всем памятные комиссии Штюрмера — Зиновьева 1903 года<sup>6</sup>. Таким образом, в 1884 г. при выработке законодательного акта принимались во внимание только условия существования девять лет раньше... Очевидно, ни о каком соответствии этого устава с требованиями жизни не могло быть и речи. Он вызывался соображениями иного порядка. К нему должна была приспособляться академическая жизнь, а не он был вызван ее потребностями. Нам показалось бы немислимым действовать в 1904 году на основании фактов и событий давно прошедшего времени — 1895 года. И, однако, на основании таких фактов проведен в жизнь важный государственный акт, оказывавший глубоко вредное влияние на все высшее образование России в течение двадцати лет. Такая форма выработки закона возможна лишь при полном отсутствии гласности и при полном отстранении общества от законодательной деятельности, как это было в 1884 году...

Устав 1884 г. не мог быть целиком проведен в жизнь, постоянно видоизменялся административными распоряжениями и разъяснениями. Он имел характер чисто разрушительного революционного декрета, явился орудием для проведения в университетах узкопартийных взглядов того кружка лиц, который держал в 1884 г. власть в своих руках.

Разрушение было быстро сделано, но в университетах нужно было жить и работать, а формы закона были для этого плохо приурочены. И жизнь создала что-то промежуточное, несуразное, не отвечающее и даже противоречащее

закону\*. Создалось положение, еще более тяжелое и более вредное для государственной жизни, чем сам закон 1884 года, так как еще шире стали царить произвол и усмотрение — иногда благожелательные, временами усмирительные.

За последние годы в университетах стало легче жить, но эта большая легкость жизни связана с еще меньшим исполнением закона, с еще большим противоречием законодательной воли с ее исполнением. Дело в том, что моральное значение устава 1884 г., — не только в той форме, в какой он вылился в законодательном акте, но и в тех его применениях, какие сложились с 1884 по 1901 г., — совершенно уничтожено. В течение года в эпоху Ванновского советы всех университетов, профессора диаметрально противоположных политических мнений подвергли критике университетские порядки, выработали проекты нового университетского устройства. В этих обсуждениях на многолюдных советах находились лишь единичные голоса, которые считали возможным частные поправки к уставу 1884 г.; подавляющее большинство решительно указывало на пагубное его значение для развития университетской жизни, безусловно высказывалось против принципов, положенных в его основу. К этому пришли советы всех университетов, то же проводилось в петербургской комиссии выборными их делегатами. Но все труды советов, отдельных профессоров и комиссии Ванновского были положены под сукно, затерялись в петербургских канцеляриях, начали покрываться пылью забвения.

Проекты — произведения пера — можно было спрятать, скрыть от глаз человеческих. Но нельзя вычеркнуть из человеческой души пережитое и передуманное. У сотен профессоров русской земли окрепло глубокое убеждение в непригодности и пагубности для России тех университетских порядков, среди которых им приходится жить и действовать. Это убеждение было высказано даже теми самыми лицами, которые по закону обязаны поддерживать этот бесповоротно осужденный университетский строй. Легко представить себе, какое ложное, не соответствующее государственным интересам положение создано в университетах.

Одновременно окрепло и окончательно установилось другое сознание. Стало несомненным, что и по своему умственному уровню, и по сути вещей профессора должны быть хозяевами в том учреждении, в котором они являются ныне лишь бесправными, поднадзорными работниками. Сделалось непреложным, что этого требует их нравственное чувство учителей молодежи, их достоинство самостоятельных научных работников, этого требует их гражданский долг перед родиной. Без этого университетский вопрос не получит правильного решения. И это убеждение, охватившее сотни людей, вытекает из сознательного ознакомления с прошлым, не может быть спрятано в петербургских канцеляриях. Оно ищет выхода. И при его наличности еще болезненнее и острее чувствуется унижительное положение русского профессора.

Но какой может быть теперь найден выход? Как добиться правильного решения университетского вопроса? Советы всех университетов, отдельные профессора и даже министерская комиссия, где выборные делегаты советов были в меньшинстве, высказали почти все, что нужно дать университетам. Но их голоса оказались голосом вопиющего в пустыне; de jure все осталось по-прежнему. И идти вновь этим старым путем, переделывать снова старую работу немислимо, ибо доверие в ее целесообразность и осуществимость потеряно.

Надо искать новых средств. Авторитетность и сила университетских заявлений должны быть увеличены.

Прежде действовали отдельные университеты и институты; они шли в одиночку. Теперь они должны идти к той же самой цели сообща и вместе. Сила находится в единении, как это давно признано.

Для такого единения у нас нет готовых, выработанных жизнью форм. Но они давно уже указаны новейшей историей западноевропейских академических организаций, на них неуклонно наталкивает окружающая русская жизнь.

В германских университетах образовались съезды ректоров, которые обсуждают вопросы текущей академической жизни и сговариваются для совместной деятельности университетов. Ректоры выбираются ежегодно, так что составы съездов постоянно меняются. Конечно, ректоры немецких университетов не имеют ничего общего с нашими назначенными ректорами. Съездам немецких ректоров могут отвечать в России только съезды профессоров или выбранных делегатов советов.

---

\* Еще более резко, может быть, это сказалось на положении Высших женских курсов в Москве. Здесь организация дела и требования закона решительно противоречат друг другу. При точном применении закона нельзя было бы вести преподавание!

В истории французских университетов в достижении ими автономии важную роль сыграла Ассоциация для изучения положения высшего образования. В нее вошли все друзья академической свободы. Она подготовила общественное мнение, и этим путем были побеждены давившие французские университеты могущественные традиции государственной централизации.

Надо идти тем же путем, надо создать единение профессорских коллегий организацией профессорских съездов, созданием «Ассоциации для достижения академической свободы и для улучшения академической жизни». Идея съездов на каждом шагу вызывается современной русской жизнью. Съезды земцев, адвокатов, городских представителей проложили путь, по которому должны пойти профессора, если они хотят, чтобы нужды их были услышаны, чтобы положение их стало более достойным и правильным, чтобы университетские порядки были улучшены. Мысль о профессорском съезде уже давно носится в академической среде, о ней толковали в комиссии Ванновского, но она замерла и заглохла в тенетах бюрократической мглы.

Но время идет. В грозные и ответственные дни, в которые нас поставила история, пробудились живые силы русской земли. И теперь наш голос может быть услышан. Съезды должны быть осуществлены. Будет ли это съезд отдельных профессоров, которые чувствуют необходимость обсудить совместно вопросы академической жизни, или это будет съезд выбранных делегатов советов — перед ним неизбежно и раньше всего встанет вопрос об общих условиях, мешающих правильному развитию академической жизни, о невозможности академической свободы в условиях русской действительности.

Разрешение университетского вопроса, как и всех других вопросов нашей государственной жизни, возможно лишь при существовании в стране гарантий элементарных прав человеческой личности. Но наряду с этим вопросом, совместно с ним, должны быть обсуждены вопросы об Ассоциации, о положении и подготовке студентов, о способе выработки и проведения в жизнь нового университетского устава. Съехавшись с разных концов русской земли, профессора создадут единение, путем которого университетская жизнь будет выведена из тисков бюрократической рутины.

Мы живем в ответственное и трудное время. С неумолимой ясностью перед мыслящими русскими людьми вскрылись язвы и болезни родной земли. Страстно и горячо, всеми фибрами души ищется выход из запутанного, серьезного положения. Этот выход может быть найден только тогда, когда в творческой государственной работе станут участвовать все живые силы страны, когда каждый русский человек сознает в себе гражданский долг, который лежит на нем в этот ответственный исторический момент.

Этот долг не позволяет молчать, заставляет русского профессора активно добиваться правильного и быстрого изменения строя русских академических организаций. Для этой цели профессорский съезд должен явиться могучим созидательным орудием. И, так или иначе, он неизбежно состоится в тот момент, когда сознание важности гражданских обязанностей и чувство исторической ответственности перед родиной и народом охватят широкие круги профессорских коллегий.

Не наступил ли этот момент?<sup>1</sup>

*«Наши дни», 20 декабря 1904.*

### По поводу разгрома

Одно поражение следует за другим. В течение всей войны ярко и неопровержимо для всех выяснилась полная неподготовленность русской армии и русского флота к исполнению тех задач, которые им ставились. Огромные, колоссальные жертвы, понесенные русским народом для создания флота и армии, оказались напрасными; то, что создано на эти средства, не отвечает своему назначению.

Вполне выяснилось, что причиной поражений является не состав русского флота и русской армии — а вся система, положенная в их основание. На арену борьбы XX века Россия выступила с государственной организацией, годной лишь для войны первой половины XIX столетия. Обветшавшая система государственного управления и хозяйства, война, вызванная не государственными интересами России, а политикой, руководимой людьми неосведомленными и малообразованными, в полном противоречии с желаниями русского народа и русского общества, невежество и отсталость в

специальной подготовке офицерского корпуса, незнание языка и сил противника столкнулись со стройной и приносившей к новым условиям государственной жизни системой управления и хозяйства Японии, с патриотическим подъемом и ясным сознанием государственного смысла войны японским народом и обществом, с военной организацией, находящейся на высоте современной военной и морской техники, охватившей все последние научные усовершенствования, с поразительным знанием и учетом сил и средств противника. В то самое время как в России внешняя война обострила внутреннюю смуту, разгоревшуюся под влиянием безумной политики покойного министра Плеве<sup>8</sup>, желавшего воспользоваться войной для торжества в стране реакционных мероприятий, и правительство встретилось в лучшем случае с индифферентным отношением к войне народа и общества, — в Японии народ и правительство являются единым целым и мысль всех направлена на исполнение лежащей перед ними серьезной и важной государственной задачи.

Результат борьбы стал очевиден после первых столкновений более года назад. И с тех пор с поразительным фатализмом, ничему не научившись и ничего не изменив, бюрократия упорно и неуклонно шла по прежнему пути, ожидая чуда — перемены военного «счастья», — не понимая, что против этих старинных элементов борьбы давнего прошлого — XVIII века — противник выступает во всеоружии науки и знания, с подъемом мысли всего народа — этими элементами всякой победы XX столетия!

Постепенно и шаг за шагом бюрократическое правительство разрушало и разрушает государственную мощь России, созданную вековым трудом русского народа, русских государственных деятелей.

И теперь мы стоим перед новым несчастьем. Русский флот погиб, и резервы почти не существуют. Робко и постыдно малодушно печать решалась предупредить об этой ясной и неминуемой опасности при отправлении эскадры адмирала Рожественского. Громко и с ужасом говорилось об этом в обществе, говорили об этом те лица, многие из которых нашли теперь смерть в далеких волнах океана. Но голос их и голос общества не мог быть услышан, не мог повлиять на ход событий. Для этого не было форм в системе государственного управления. Бестрепетной рукой эскадра — Балтийский русский флот — была отправлена на верную гибель.

Что делать теперь? Продолжать равнодушно смотреть на дальнейшую гибель русских сил? Ждать и молчать, пока наконец новые поражения — неизбежные последствия всей нашей государственной системы — не приведут страну к новым ужасам, которые не позволят наконец идти прежним, безумным путем? Нам кажется, что теперь патриотический долг не позволяет молчать. Надо прямо и смело смотреть в глаза опасности. Новое несчастье налагает тяжелые обязанности, еще острее ставит перед нами неотложность коренной государственной реформы. Надо спешить.

Ибо без нее немислимо в настоящее время государственное развитие и даже целостность России. Власть не может оставаться в руках кучки безответственных чиновников, имена которых нам чужды и неведомы и которые решают судьбы всего русского народа и всей России путями и способами, никому не известными. Стране нужен мир для широкой реформы внутреннего обновления, необходимо прекратить бесполезную трату денег на эту злосчастную, для России не нужную войну, перестать лить кровь, нести страдания в сотни тысяч семей. Надо стремиться к а к л ю ч е н и ю м и р а.

Но мир не всегда может быть принят. И если бы оказалось, что условия мира, предлагаемые победителем, не отвечают интересам России, — страна должна знать это, понять и почувствовать. В глубинах русского народа таятся великие силы, и государственные средства России не истощены. Война должна тогда получить новый облик. Ее не избежит и необходимость для блага России тогда будут признаны и шансы борьбы будут иные... В сознании неизбежности бедствия подымется русский народ, воспрянет русское общество.

Ждать нельзя. Надо спешить. Необходимо энергичными, быстрыми мерами поднять государственную силу России, задавленную случайными условиями государственного управления. Большое несчастье требует решительных и быстрых средств исцеления.

Таким средством является немедленный созыв народных представителей, свободно и правильно выбранных. Народные представители должны решить вопрос о войне и мире, обсудить — принять или отвергнуть те условия мира, которые предлагаются. Они должны реформировать центральную государственную власть, следить и контролировать за ходом государственной обороны России. В их руках, а не в руках нового бюрократического учреждения должна находиться эта оборона.



В эту тяжелую и ответственную минуту правительственная власть не может не сознавать лежащую на ней обязанность. Она не может не созвать немедленно народных представителей, свободно и правильно выбранных. Она должна выяснить условия мира для передачи их на заключение народных представителей.

Медлить с этим нельзя, ибо всякое промедление грозит еще большими опасностями России, сделает еще труднее переход к неизбежному, новым условиям жизни. С каждой новой неудачей все глубже и шире увеличивается отчуждение между русским народом и русским правительством. И в такую эпоху государственной опасности это разобщение должно быть прекращено самими быстрыми, энергическими и решительными мерами. Иначе оно будет неизбежно прекращено ходом событий, характер и последствия которых свергнут страну в новые потрясения и бедствия.

*«Московская неделя», 24 мая 1905.*

### Официальная публицистика

В «Правительственном вестнике» появилось официальное сообщение о происшедших 24-го и 25-го апреля 1905 года в городе Житомире беспорядках.

Это сообщение было перепечатано во всех газетах, разнесено телеграфом по всему миру. По своей форме и содержанию оно сразу вызывало, однако, недоумение и сомнение, так как в резкой и яркой форме, односторонне освещало печальные события. Оно являлось обвинительным актом, категорическим и далеко не беспристрастным, против пострадавшего еврейского населения, — обвинительным актом, написанным раньше, чем в Петербурге могли дать точные и подробные официальные сведения, а на месте могло быть произведено требуемое законами строгое расследование. И в то же время, указывая виновных, оно тем самым оправдывало и защищало тех, кого общественное мнение могло считать пособниками, подстрекателями и попустителями преступления.

Сообщение было опубликовано в выражениях, не оставлявших места никакому сомнению. И в то время как в Житомире предавались земле тела несчастных жертв кровавой расправы, когда еще не закрылись раны у оставшихся в живых, сообщение «Правительственного вестника» оповещало всему миру, что пострадавшие евреи являются сами виновниками пережитых ими ужасов, и делало это на основании сведений, «которые имеются в министерстве внутренних дел».

Эти сведения были опубликованы, и через несколько дней, несмотря на суровые условия русской цензуры, не позволяющие всесторонне и беспристрастно освещать житомирский погром (см. «Сын отечества», 1905, № 73), в печать проникли категорические опровержения, которые указали на неверность по крайней мере некоторых, если даже не всех официально опубликованных сведений. Так, волынский губернатор опубликовал официальное сообщение, противоречащее данным «Правительственного вестника», а в местной газете «Волынь» появилось сообщение, что местная администрация просит министерство об опровержении; точно так же опровергает правильность правительственного сообщения один из указанных в ней пострадавших из евреев (г. Корант). Появились коллективные частные опровержения (см. газеты «Волынь», «Право», № 19-й и т. д.).

Все эти опровержения оставлены «Правительственным вестником» без возражения. Русская печать безгласна и не может подвергать дальнейшей критике текст правительственного сообщения; но за пределами, охваченными тисками русской цензуры, в свободных условиях общественного мнения культурных стран, это сообщение встретило достойную и унижительную для нас оценку. В общественном сознании человечества нанесен новый удар чести и достоинству России, оберегать которые есть первая обязанность всякого русского правительства.

На этом факте нельзя не остановить общественного внимания. За последнее время механизм нашей государственной машины даже в отдельных своих частях отказывается исполнять свои функции. Те или иные его части захватываются тайными котериями, группами или кружками и используются не в целях государственных, а в целях личных или партийных. Так, еще недавно опубликование Высочайшего манифеста 18-го февраля 1905 года<sup>9</sup> произошло в «Правительственном вестнике» с нарушением всех законов и установленного порядка, в интересах одной из групп, борющихся за власть в Петербурге. Тогда редактор «Правительственного вестника» получил выговор, объявленный в газетах. Теперь тот же «Правительственный вестник» публикует антисемитскую прокламацию в унисон с многочисленными

подпольными и надпольными произведениями «черной сотни». В этом отношении «Правительственный вестник» идет по стопам субсидируемой официозной печати, — идет за «Московскими ведомостями», тамбовскими, уфимскими, пензенскими, харьковскими и другими «Губернскими ведомостями», которые по всей земле русской — на казенные средства — натравливают одни классы русского населения на другие, проповедуют насилие и разрушение, организуют самосуд подонков населения над несогласномыслящими.

И проповедь эта нашла благодарную почву. Кое-где при поддержке или попустительстве полиции и местной администрации произошли кровавые избиения или дикие насилия. Всюду внесены тревога и недоумение в среду обывателей, распространялось полное недоверие к органам власти, обязанным поддерживать внешний порядок и спокойствие; неудержимо растет стремление к самообороне, т. е. к замене правительственной охраны порядка охраной, находящейся под контролем общества, так как доверие общества к власти теряется.

Местные органы власти и подведомственные им органы печати забывают о своем служении всему государству и действуют не как представители правительства, а как тенденциозные сторонники кучки людей, захвативших в свои руки правительственную власть. С разрешения и без разрешения цензуры всюду по стране разносится клич к насилию и к преступлению; он раздаётся даже с церковных кафедр. Трудно исчислить весь тот материальный вред, всю ту анархию, которая вносится в страну такой разрушительной деятельностью, происходящей на казенные средства. Отсутствие безопасности парализует промышленную и торговую инициативу, болезненно отзывается на всей жизни страны. В пылу партийной борьбы местные органы власти и казенная субсидируемая печать забывают про интересы России.

В настоящее время к сонму таких подпольных и надпольных деятелей присоединился и «Правительственный вестник» — орган, находящийся в руках и распоряжении центральной петербургской бюрократии. Благодаря этому правительство лишается органа печати, к сообщениям которого общественное мнение как нашей страны, так и всего цивилизованного мира должно было бы, при правильной постановке дела, относиться с серьезным вниманием.

Дезорганизация государственной машины неудержимо распространяется дальше, и узкая партийная политика фанатической ретроградной группы безжалостно и не ведая, что творит, разрушает все части государственного механизма, необходимые для жизни всякого современного государства. В ее руках официальная печать превращается в орудие разрушения, а правительство теряет последнюю возможность дать обществу и народу сообщения и разъяснения, которые бы были встречены с доверием.

Кому выгодны и кому нужны такие действия? Для чего с этой целью тратятся народные средства?

*«Русские ведомости», 31 мая 1905.*

## Новое бедствие

### I

Надвигается новая гроза на Русскую землю. Неурожай хлебов, озимых и яровых, охватил огромный район Европейской и отчасти Азиатской России, захватил более или менее сильно 20 — 25 губерний. Это бедствие, которое чувствительно и серьезно для культурных стран Запада, принимает у нас еще более острую и ужасную форму — форму голода.

«Голод», — страшное бедствие Средних веков, обычное явление государственной жизни в эпоху сложения новых европейских государств, — давно исчез из памяти культурного человечества. В правильном и закономерном государственном строе европейских стран, при широком развитии общественной инициативы, под могучим контролем общественного мнения, государственная власть не позволяет неурожаю принимать форму голода. Там вошло в сознание всех, что если не урожа́й есть стихийное бедствие, которое еще не поддается окончательно силе науки и техники, то голод как его следствие есть явление общественное, которое может, которое должно быть заранее предвидено и не допущено. И если все-таки неурожай превращается в голод, это есть не только великое бедствие для страны, но и грозный симптом, указывающий на коренное расстройство всего государственного механизма, на необходимость самых быстрых и решительных мер государственного обновления.

В голоде ответственно не одно правительство; в этом грозном и мрачном беспорядке земли, в страданиях голодающих народных масс, в жертвах смерти и болезней, им вызванных, виновно все общество, весь народ, допустившие в наше время повториться ужасам давно прожитого прошлого, не сумевшие правильно направить работу своих правительственных сил. И это сознание, это не подлежащее сомнению элементарное требование общественной нравственности вошло в плоть и в кровь мыслящего образованного общества западноевропейских стран. Голод там немислим. И он не повторялся на памяти современного поколения.

Но это сознание и это великое чувство ответственности не проникло вполне в Русскую землю. У нас неурожай превращается в голод. Нашему поколению приходилось переживать, и не раз, тяжелые картины несчастий и страданий, которые давно отошли в область преданий, известны только из книг и отдаленных сказаний европейцу Запада. И потому, когда широкий неурожай охватывает огромный район нашей страны, невольно сжимается сердце, охватывает ужас при мысли о том, чем грозит это стихийное бедствие у нас, при дезорганизации государственной власти, при относительно малом сознании общественного долга в русском обществе.

## II

Я хорошо помню грозный 1891 — 1892 год<sup>10</sup>. В душевной и тяжелой атмосфере бюрократического режима заглохло русское общество. Все спало, и было тихо. Снаружи был блеск внешних успехов; средства правительственных органов все росли, они поражали своими размерами далекого наблюдателя. Они черпались откуда-то из глубины, из неведомых и безмолвных народных масс. Они казались неисчерпаемыми. Но что делалось внутри, в народных глубинах, это не сознавалось и не понималось вполне ни русским правительством, ни русским обществом.

И вдруг страшный удар — неурожай, охвативший все наиболее плодородные области, потряс всю страну до основания. Вдруг стала всем ясной ужасающая картина народного разорения, внешнего блеска, безумных трат, угнетения общества и народа, полного нерадения к самым безотложным нуждам населения. И впервые, после многих лет, заговорило русское общество. Сперва попытки земств и частных лиц обратить внимание на надвигающуюся грозу были заглушены. Министерство внутренних дел думало замолчать бедствие, совершенно не рассчитало и не поняло подъема общественного чувства, глубины поразившего страну несчастья. Отдельные администраторы принимали для этого героические средства, отзывавшиеся глубокой стариной Московской Руси; один из них даже окружил заставами свою губернию.

Время было упущено, и лишь когда неурожай превратился в голод, скрывать и замалчивать стало нельзя. Началась лихорадочная деятельность правительственных органов; земства получили нужные средства, и им были развязаны руки; впервые широко и сильно проявилась частная инициатива. Частные люди собрали огромные средства, тысячи добровольных работников устремились по мере сил и умения помочь народной беде. И если, несмотря ни на что, не удалось вполне предотвратить голодание и разорение, если, как следствие недоедания и ослабления организма, в «голодный год» повысилась общая смертность страны, то вызвано это упущенным временем, поздним отрезвлением власти, невозможностью быстро найти формы деятельности для живых сил страны, в архаическом строе местного управления нашей родины. Но все же было сделано много...

Безропотно и терпеливо переносил народ страдания и разорение, но не бессознательно переживал он несчастье. Он стал иным после «голодного года». Это был год перелома. Впервые после многих лет проявилась сила общественного мнения, выяснилась общественная воля, так как под их направляющим влиянием в эту годину несчастья вынуждено было идти правительство. Впервые общество почувствовало свою силу. И будущий историк увидит здесь начало не прерывающегося с тех пор освободительного движения русского общества. «Хождение в народ» в голодный год внесло в русское общество жизненное, живое понимание государственных нужд, народных страданий. Общественная мысль обратилась к экономическим вопросам, но уже не только теоретически и отвлеченно. В это же время зародились первые частные съезды земских деятелей, началась медленная работа общеземского общения.

Русское общество стремилось тогда не к коренной государственной реформе. Необходимость широких и смелых экономических и аграрных реформ, борьба с народным невежеством, переход к той или иной форме общеземского или государственного страхования от неурожая, предоставление широкой возможности общест-

венной и частной инициативе в этом деле, в создании мелкой, свободной, бессловной земской единицы — вот те конкретные, совершенно ясные государственные реформы, которые проникали общественную мысль, привлекали внимание русского общества, требовали серьезного изучения и быстрого разрешения...

Но жизнь судила иначе. Голодный год кончился, и властная бюрократия направила свои усилия на подавление начавшегося общественного движения. Она не могла стать на путь выставленных обществом реформ, ибо она понимала уже тогда их неосуществимость без коренного преобразования государственного управления. Это было еще неясно тогда русскому обществу. В ближайшие годы последовательно и энергично был принят ряд мер и распоряжений, имевших целью всецело устранить общественный контроль и общественное влияние в этом деле. Частная инициатива и помощь были подавлены и совершенно устранены: их заменил Красный Крест со своей бюрократической организацией; продовольственное дело было отнято от земств и почти всецело передано в руки земских начальников; печать была лишена возможности свободного и серьезного обсуждения этих вопросов.

И в то же время страну постигали частые неурожаи один за другим. Они разрушительно действовали на народное благосостояние, поднимали нервное, напряженное настроение народных масс. Они превращались в голодовки, так как организация продовольственного дела все ухудшалась. Голодовки прикрывались покровом канцелярской и полицейской тайны, но свое разрушительное дело они делали. В течение 13-ти лет после 1892 года не было сделано ни одной серьезной попытки столь необходимых экономических или аграрных реформ. Благосостояние населения падало, полицейский гнет неуклонно усиливался, бремя налогов увеличивалось. В то же время в населении все росло сознание своего невыносимого положения.

И вот, в связи с неудачной войной, вся общественная жизнь России расстроилась; вся страна пришла в движение; настало время «великой смуты», нами переживаемой. Всюду льется кровь, раздаются призывы к насилию; вера в законность и в охранительную деятельность правительства быстро теряется. Страна неуклонно стремится к новым рамкам жизни. Но бюрократия упорно защищает каждый шаг. Конец кризиса еще не виден.

И в это время на политическом горизонте появляется новое грозное событие: вновь настал тяжелый неурожай, который в близком будущем во многом грозит повторить ужасы и бедствия страшного голодного года...

### III

Ни события внутренней жизни, ни интересы войны не могут и не должны отвлекать наше внимание и наши силы от борьбы с этим новым, надвигающимся на нас, несчастьем. От нас, от усилий нашей воли, от высоты нашего гражданского чувства зависит, чтобы оно не превратилось в бедствие голода. И горе нам, горе нашей стране, если теперь ко всему переживаемому присоединится новый голодный год, ибо теперь условия жизни иные.

Продовольственное дело организовано много хуже, чем в 1892 г., когда оно, хотя и не вполне, было в руках земских людей. Общественное внимание и частные силы не могут быть всецело сюда направлены, как это было в 1891 — 1892 гг. Государственные средства отвлечены войной, а имперский продовольственный капитал всецело истрачен. Наконец, настроение народных масс повышено, и они не будут переносить так безропотно и покорно страдание и разорение, как это было раньше, и в то же время они не имеют в своем распоряжении никаких легальных средств воздействия на правительство и общество. К тому же правительственная машина дезорганизована несравненно сильнее, чем в 1892 г.

Все это делает положение страны много серьезнее, чем оно было 14 лет тому назад. При данных обстоятельствах опасен и страшен даже относительно небольшой неурожай, если он охватит широкий район, но грозен тот, который теперь выясняется.

Теперь нельзя допустить без крайней опасности для государства перехода неурожая в голод. Усилия всех граждан должны быть на это направлены. Конечно, тяжело и досадно, что в такую серьезную историческую минуту, когда живые силы русского общества целиком захвачены разработкой и борьбой за новые формы государственной жизни, на них налагаются еще новые тяжелые и неотложные обязанности, — но изменить это положение не в нашей власти. История не идет логически ясным и простым путем. Русское общество может завоевать себе новые, исторически неизбежные права и

иное, более его достойное положение в государстве не только путем приобретения юридического акта, в котором эти права и это положение определены, — оно может добиваться их путем фактического удовлетворения своих нужд. Оно не может отложить все вопросы жизни до лучшего будущего, когда в руках его будет правильное народное представительство, будет находиться осуществление законодательной власти.

Неурожай наступил... В борьбе с ним русское общество немедленно должно осуществлять свободную общественную инициативу и самодеятельность, фактический контроль и регулирование деятельности правительственных органов.

#### IV

Каковы же те меры, которые обязано и может принять в настоящее время русское общество? Как можно предотвратить переход неурожая в голод?

1) Несомненно, одной из первых мер должна быть передача всего дела народного продовольствия в руки тех органов управления, которые находятся под более живым, свободным и непосредственным общественным контролем, т. е. в руки земских учреждений. Как ни несовершенны эти учреждения и как ни требуют они коренной и широкой демократической реформы, все же их государственная продуктивность, их гибкость и приспособляемость к сложным делам народной жизни не может быть даже сравниваема с деятельностью мертвых местных органов бюрократии. Для этого нечего ждать особых законодательных распоряжений. Уже теперь, — вопреки прямому и точному смыслу закона 1900 года, — продовольственный вопрос обсуждается во всей полноте в уездных и губернских земских собраниях; он обсуждается так, например, даже в Тамбовской губернии, местная администрация которой является одним из самых послушных орудий партий «Гражданина» и «Московских ведомостей»<sup>11</sup>. Жизнь берет свое. Шутить с грозной бедой нельзя, и несостоятельность для государственной деятельности Продовольственного Устава 1900 г. ясна всякому.

Для ведения дела необходимы средства и люди. Для их получения необходима совместная деятельность земств всей России, ибо только при этом условии с ними будут принуждены считаться, их голос будет быстро услышан в правительственных сферах; только этим путем можно быстро добиться отмены циркуляров, мешающих притоку людей, можно быстро получить средства. Необходимо, далее, чтобы центральное заведование земской организацией этого дела стояло вне влияния местных администраций, состав которых сильно понизился даже по сравнению с 1891 годом.

В настоящее время такой орган совместной деятельности русского земства имеется в виде общеземской организации помощи раненым на Дальнем Востоке. Эти готовые кадры земской организации должны быть направлены на борьбу с голодом. Эта мысль уже теперь ширится в земской среде; ее высказал московский съезд; к ней начинают присоединяться земские собрания (например, моршанское). Эта организация позволит собрать необходимый фонд для начала деятельности путем ассигнований отдельных земств, пожертвований частных лиц и общественных учреждений; ей должны быть целиком переданы государственные средства для борьбы с неурожаем. Она может иметь большой авторитет в русском обществе в настоящее время, так как ее деятельность на войне идет на глазах у всех, в общем оказалась вполне целесообразной, успешной, заслужила всеобщее доверие.

2) Но наряду с органами управления борьба с неурожаем должна вестись самим русским обществом. В среде русского общества есть теперь организованные живые силы в виде профессиональных союзов. Их задачей должна являться организация помощи на местах. В совместной работе их с земствами может осуществляться живой и свободный общественный контроль над делом народного продовольствия. С помощью местных органов профессиональных и иных союзов общественная помощь может быть организована теперь лучше, чем в 1892 г. Циркуляры, явные и тайные, не могут остановить движения, если только русское общество сознает глубину и серьезность грозящего ему несчастья.

3) Но для всего этого необходимы средства. Они могут достигать нескольких миллионов и даже, как в голодный год, многих миллионов. Очевидно, ни частные или общественные средства, ни земские ассигнования для этого недостаточны. По самой сути вещей помощь должна быть доставлена государством, но распределена и израсходована обществом и под живым общественным контролем. Дело общест-

ва — получить нужные средства своевременно, не дать им прийти поздно, как это было в 1891 году. И несмотря на тяжести войны эти средства должны быть найдены. Вопрос идет о сумме, которая тратится в течение двух, много трех, недель войны.

Очевидно, голод не менее, если не более пагубен для страны, чем война. Ясно для всякого, что раз война ведется — деньги на нее, так или иначе, должны быть найдены. Неурожаем и голод — та же война, и средства для них так же неотложно должны найтись. Это обычно забывается бюрократией; уже теперь рассылаются земским начальникам циркуляры о необходимости особенно бережного определения размеров нужды, так как государство отягощено войной. Однако было бы пагубно и безумно делать здесь экономию, как пагубно и безумно во время войны экономить в вооружении или продовольствии войск. Средства нужны, их надо найти; общественное мнение должно в этом отношении оказать давление на государственную власть.

4) Наконец, необходимо выяснить степень и распространение нужды. Здесь мы сразу сталкиваемся с противоречием между наблюдением на местах и различными официальными сведениями. Так, еще на днях «Торгово-промышленная газета» (30-го июля 1905 г., по агентским телеграммам) дает вполне успокоительные сведения об урожае, а ранее опубликованные ею официальные сведения в некоторых случаях не совпадают с действительностью: например, в ближе мне известной Тамбовской губернии. В то же время опубликованные сведения министерства внутренних дел дают иную, более близкую местным впечатлениям картину.

Необходимо быстрое и точное выяснение размеров неурожая, местной обеспеченности населения. Конечно, очень много здесь может сделать печать, но она одна не даст быстро общей картины несчастий. Проще всего получить ее в течение 1 — 2-х месяцев посредством авторитетной анкеты, путем публичного опроса нескольких тысяч местных людей. Такая анкета может быть произведена правительственной комиссией, заседания которой должны быть гласными и публичными. Это тем более необходимо, что неурожай охватил губернии, в которых нет земства и местное самоуправление которых слишком рудиментарно и несовершенно, чтобы выяснить размеры бедствия.

\* \* \*

Перед нами три-четыре месяца, в которые надо быть вполне готовым к продовольственной кампании. В эти месяцы надо не только выяснить размеры нужды, добыть средства, — нужно организовать дело. Эта организация — дело трудное и во многом неясное. Как помочь скоту? Как добыть топливо в местностях, которые отапливаются соломой, которой относительно еще меньше, чем зерна? Как оказывать помощь: в форме ссуд, как делалось раньше, или в форме безвозвратной помощи, что, по-видимому, является с государственной точки зрения более правильным?

Эти и многие другие вопросы требуют общественного внимания, обсуждения и решения. А между тем они совсем не столь просты и ясны, а русское общественное мнение занято совершенно другими вопросами.

Но серьезность положения требует общественной работы в этой области. К ней надо приступить немедленно и спешно, так как время не ждет, гроза надвигается, надо к ней готовиться. Русское общество должно сознательно, разумно и мужественно отодвинуть новую опасность, грозящую стране: оно должно помнить, что голод в наше время общественного и народного возбуждения, дезорганизации власти грозит не тем, во что вылился страшный голодный 1891-й год.

«Русские ведомости», 4 августа 1905.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Марковников Владимир Васильевич (1837 — 1904) — химик, профессор Казанского (с 1869), Новороссийского (с 1871) и Московского (с 1873) университетов; в 1871 г. ушел из Казанского университета в знак протеста против увольнения профессора П. Ф. Лесгафта. Эрисман Федор Федорович (1842 — 1915) — врач-гигиенист, профессор Московского университета (1882 — 1896); в 1896 г. в связи с выступлением в защиту студентов медицинского факультета, арестованных полицией, был уволен из университета и переехал в Цюрих.

<sup>2</sup> **Боголюбов** Николай Павлович (1846 — 1901) — государственный деятель, юрист, профессор римского права в Московском университете, ректор университета (1883 — 1887, 1891 — 1893), министр народного просвещения (1898 — 1901).

<sup>3</sup> В 1884 г. был принят новый устав, по которому университеты лишались автономии, отменялась выборность ректора, деканов, профессоров. Устав порвал связь между профессорской коллегией и органами университетского управления, поставив профессоров в положение чиновников. Профессора назначались попечителем учебного округа, за ходом преподавания был установлен надзор, отменялся университетский суд и учреждалась должность инспектора для надзора за студентами, назначавшегося министерством народного просвещения, со специальными штатами и полицейскими функциями. Увеличивалась плата за учение, студентам запрещалось издание научных трудов.

<sup>4</sup> **Ванновский** Петр Семенович (1822 — 1904) — государственный деятель, генерал (с 1883), военный министр (1881 — 1898) и министр народного просвещения (1901 — 1902).

<sup>5</sup> **Делянов** Иван Давыдович (1818 — 1897) — государственный деятель, директор Петербургской публичной библиотеки (1861 — 1882), министр народного просвещения (1882 — 1897), член Государственного совета (с 1874).

<sup>6</sup> **Штюрмер** Борис Владимирович (1848 — 1917) — государственный деятель, директор департамента общих дел министерства внутренних дел (с 1902), член Государственного совета (с 1904), председатель Совета министров (1916). **Зиновьев** А. Д. — петербургский губернатор, шталмейстер, член Государственного совета.

<sup>7</sup> Эта статья В. И. Вернадского, как и опубликованная несколько ранее статья К. А. Тимирязева «Академическая свобода» («Русские ведомости», 27 ноября 1904), вызвала в профессорской среде широкий резонанс. Вскоре в газете «Наши дни» было напечатано «Письмо в редакцию» за подписью ряда видных петербургских профессоров (А. С. Лаппо-Данилевского, Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, П. Ф. Лесгафта, И. П. Павлова, М. А. Шателена и других), в котором решительно поддерживались выступления Вернадского и Тимирязева («Наши дни», 22 декабря 1904). В течение оставшихся дней декабря 1904 г. эта газета опубликовала еще несколько аналогичных заявлений и писем в редакцию (большой группы профессоров Юрьевского университета, профессоров И. М. Гревса, А. С. Ломшакова, С. С. Салазкина и других). «Ваше предложение о съезде профессоров найдет горячее сочувствие», — писал Вернадскому Н. К. Кольцов 26 декабря («Генетика», 1968, № 4, стр. 148). Статья Вернадского стала важной вехой на пути к созданию весной 1905 г. Академического союза, объединившего наиболее передовую и сознательную часть преподавателей высших учебных заведений России.

<sup>8</sup> **Плеще** Вячеслав Константинович (1846 — 1904) — государственный деятель, директор департамента полиции (с 1881), сенатор и товарищ министра внутренних дел (1884 — 1894), министр, статс-секретарь по делам Финляндии (с 1899), министр внутренних дел и шеф жандармов (с 1902). Убит эсером Е. С. Созоновым.

<sup>9</sup> Имеется в виду рескрипт Николая II на имя министра внутренних дел А. Г. Бульгина 18 февраля 1905 г. «В нем указывалось на распространяющееся в стране забастовочное движение, на вред, наносимый им делу вооруженной борьбы с внешним врагом, и на необходимость решительной борьбы с ним всеми доступными власти способами и ни одним словом не упоминалось о доверии к обществу и не возвещалось никаких реформ» (В. Н. Кокцов. Из моего прошлого. М. 1992, кн. I, стр. 71).

<sup>10</sup> В 1891 — 1892 гг. В. И. Вернадский принимал активное участие в помощи голодающим крестьянам Тамбовской губернии, где было расположено его имение Вернадовка. См.: В. И. Вернадский, «Отчет о помощи голодающим некоторых местностей Моршанского и Кирсановского уездов Тамбовской губернии в 1891 — 1892 гг.» (в кн.: А. А. Корнилов. Семь месяцев среди голодающих крестьян. М. 1892). С 1892 г. и далее на протяжении почти четверти века Вернадский участвует в земской деятельности в качестве земского гласного Моршанского уезда Тамбовской губернии, гласного Тамбовского губернского земского собрания.

<sup>11</sup> Петербургская и московская газеты правой ориентации.

ИРИНА СУРАТ

\*

## ПУШКИН КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА

Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

1 Кор. 12. 4 — 6.

**Е**сли кому-то из читателей проблема «искусство и религия» покажется надуманной, праздною, напомним тому о судьбе Гоголя. В нашей истории именно Гоголь обречен был «перетащить на себе» этот «последний вопрос» — и не вынес, погиб под его тяжестью. Трагическая коллизия предстала перед ним в форме выбора: творчество или церковь, Пушкин или отец Матвей. (Как известно, отец Матвей Константиновский, взявший тогда на себя духовное водительство Гоголем, потребовал от него во спасение души отречься от художества вообще и от Пушкина как язычника и грешника<sup>1</sup>.) Та же дилемма и Льва Толстого уводила от Пушкина в последний период его жизни, когда он сделал выбор между искусством и проповедью. Вопрос о взаимных отношениях религии и художественного творчества оказался едва ли не центральным в философии, эстетике, литературе «серебряного века», и вновь он обращен был к Пушкину — ведь Пушкин воплощает само искусство без примесей, саму поэзию в ее онтологической сути. По слову Гоголя, «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт <...>, что такое в существе своем поэт»<sup>2</sup>. Поддержал эту мысль Вл. Соловьев: «Самая сущность поэзии, — то, что собственно ее составляет или что поэтично само по себе, — нигде не проявлялась с такою чистотою, как именно у Пушкина...»<sup>3</sup> Потому суждение о Пушкине как эстетическом феномене часто имеет универсальное значение, распространяется на поэзию в целом. Поэзия же, и особенно лирика, в свою очередь как нельзя лучше представляет вообще искусство в разговоре о его духовной природе и духовных возможностях<sup>4</sup> — выражая непосредственно внутреннюю жизнь человека, она существует в слове, а значит, может успешнее других искусств оспаривать духовное пространство молитвы, проповеди, Священного Писания. Поэзия имеет для таких претензий больше оснований, чем проза. уже сам язык ее в определенном смысле сакрален, отграничен формальными законами от профанного слова и предполагает непрерывный сверткестовый смысл. Если ко всему этому прибавить особый статус литературы в русском сознании и безусловно царственное место Пушкина в русской литературе, то станет понятно, почему последние полтора столетия в России именно Пушкин стягивает на себя всю напряженность проблемы «искусство и религия», которую Н. А. Бердяев назвал «по преимуществу русской проблемой»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> См.: Вересаев В. Гоголь в жизни. М. 1990, стр. 553. (Библиография дается в редакционном оформлении.)

<sup>2</sup> Гоголь Н. В. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность (Собрание сочинений в семи томах. М. 1978, т. 6, стр. 345).

<sup>3</sup> Соловьев В. С., «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М. 1991, стр. 319).

<sup>4</sup> В. А. Жуковскому принадлежит мнение, что «все другие художества не иное что, как поэзия в разных видах» (Жуковский В. А. Эстетика и критика. М. 1985, стр. 332).

<sup>5</sup> Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Изд. 2-е, доп. Париж, 1985, стр. 286.



Наше время религиозного брожения обнажило остроту многих старых проблем, в том числе и той, что обозначена выше. И сегодня, как прежде, ее обсуждение невозможно без Пушкина. За период господствующего позитивизма мы не утратили ощущения духовной наполненности пушкинского слова, но хотим это ощущение объяснить себе, обосновать. Не устарели слова Достоевского, что Пушкин «унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»<sup>6</sup>. Вопрос, однако, в том, где, в какой области искать разгадку — в области искусства или вне ее. Сейчас, когда многие хотят видеть Россию вновь страной православной, мы и тайну Пушкина все больше соблазняемся свести к формуле «Пушкин — православный поэт».

Несколько лет назад, при переменах в официальной идеологии, стали появляться в нашей печати публикации — пик их приходится на 1990 — 1991 годы, — из которых постепенно вырисовывался новый для нас образ благочестивого Пушкина<sup>7</sup>, принесшего великое покаяние в грехах митрополиту Московскому Филарету, с юности обладавшего (при некоторых заблуждениях) православным сознанием и главное — воплотившего это сознание в стихах. Были не раз перепечатаны массовыми тиражами речь митрополита Антония (Храповицкого) «Пушкин как нравственная личность и православный христианин» (1929) и брошюра митрополита Анастасия «Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви» (1937) — заглянем в эти брошюры, посмотрим на Пушкина глазами иерархов. Митрополит Антоний: Пушкин был «христианским моралистом» и мечтал окончить свои дни в монастыре, как свидетельствует его стихотворение «Монастырь на Казбеке»<sup>8</sup>. Митрополит Анастасий: Пушкин «свято исполнял» установления церкви (а шутки его по этому поводу объясняются особой целомудренной скрытностью), его душе был близок «высокий подвиг монашества», и вообще он был «подлинно великим национальным православным поэтом»<sup>9</sup>. В недавно изданной (тоже массовым тиражом) книжке бесед оптинского старца Варсонофия со своими духовными детьми (1907 — 1912) читаем, что Пушкин был «великим полувером», «но на него имели большое влияние речи Митрополита Филарета, заставляя его вдумываться в свою жизнь и раскаиваться в пустом времяпрепровождении». Дальнейшее стоит привести полностью: «Однажды Митрополит Филарет служил в Успенском соборе. Пушкин зашел туда и, скрестив, по обычаю, руки, простоял всю длинную проповедь, как вкопанный, боясь проронить малейшее слово. После обедни возвращается домой. — «Где ты был так долго?» — спрашивает его жена. — «В Успенском». — «Кого там видел?» — «Ах, оставь», — отвечал он и, положив свою могучую голову на руки, зарыдал. — «Что с тобой?» — тревожилась жена. — «Ничего, дай мне скорее бумаги и чернил». — И вот, под влиянием проповеди Митрополита Филарета, Пушкин написал свое дивное стихотворение («В часы забав иль праздной скуки...» — *И. С.*), за которое много, верно, простил ему Господь». Хочется плакать, но что-то мешает. На память приходят непрошенные в таком контексте анекдоты Хармса: «Однажды Гоголь переоделся Пушкиным...» или «Лев Толстой очень любил детей...». Но продолжим цитировать: «Пушкин был мистик в душе и стремился в монастырь, что и выразил в своем стихотворении «К жене» («Пора, мой друг, пора!..» — *И. С.*). И той обителью, куда он стремился, был Псковский Печерский монастырь. Совсем созрела в нем мысль уйти туда, оставив жену в миру для детей, но и сатана не дремал и не дал осуществиться этому замыслу»<sup>10</sup>.

От таких примеров нельзя отмахнуться как от курьеза: слишком уж эта история близка к тому, что мы сегодня то и дело читаем и слышим о Пушкине, — а он легко дает себя использовать, иллюстрировать собою наши убеждения. Если раньше мы находили в его стихах достаточно оснований, чтобы говорить о его политическом радикализме и вольтерьянстве, то теперь с не меньшим успехом находим доказательства его благочестия. Скажут: вы ссылаетесь на сочинения непрофессиональные и устаревшие. Но ведь недаром именно эти тексты тиражируются сегодня —

<sup>6</sup> Достоевский Ф. М. Пушкин (Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л. 1984, т. 26, стр. 149).

<sup>7</sup> Используем удачно найденное С. Г. Бочаровым выражение «благочестивое пушкиноведение» (Обсуждение книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». — «Вопросы литературы», 1990, № 10, стр. 79).

<sup>8</sup> Митр. Антоний (Храповицкий). О Пушкине. М. 1991, стр. 19, 29.

<sup>9</sup> Митр. Анастасий. Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви. М. 1991, стр. 12, 17, 30.

<sup>10</sup> «Беседы схи-архимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми». СПб. 1991, стр. 47 — 48.

они оказались востребованными, они отвечают сегодняшнему моменту в развитии нашего культурного и религиозного самосознания, они способствуют формированию нового мифа о Пушкине. В недавней статье «Пушкин, русская литература и христианство» о. Валентина Асмуса (филолога по образованию) читаем вновь о том потрясении, какое испытал Пушкин под влиянием митрополита Филарета, о том, что «созвучность православию» «составляет вечную ценность его поэзии» и что пушкинская традиция, продолженная Тютчевым, Гоголем, Достоевским, состоит в осознании «дела литературы» «как особого служения православию»<sup>11</sup>. Образ «православного Пушкина» наплывает на нас отовсюду — из радио- и телепередач, из легковесных журналистских статей — и закрепляется в профессиональной пушкинистике высоким авторитетом таких исследователей, как В. С. Непомнящий, который, по существу, открыл советскому читателю 70-х — первой половины 80-х годов глубокую духовную проблематику в Пушкине, но в работах последних лет, развивая эту проблематику, все чаще говорит о Пушкине языком проповеди.

Все упомянутые нами авторы придают особое символическое значение стихотворному диалогу Пушкина с митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) в январе 1830 года. Напомним, что пушкинская приятельница Е. М. Хитрово ознакомила митрополита со стихотворением «Дар напрасный, дар случайный...», и владыка, перелицевав пушкинские стихи, написал их как бы заново от лица Пушкина: «Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога мне дана...» — вот как ты должен писать.

Получив послание Филарета, Пушкин как поэт не мог не восхититься поэтической выразительностью этого жизненного сюжета — именно такая реакция слышится в его записке Хитрово (когда он еще не видел текста послания): «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это право большая удача». Он принял вызов и извлек из этой «удачи» максимум ее поэтических возможностей: ответил (как поэт не мог не ответить) вдохновенной стилизацией «В часы забав иль праздной скуки...» — посланием, пафос которого, как и других пушкинских посланий, больше идет от адресата, чем от автора, и которое теперь принимаем за покаянную исповедь. Действительно ли Пушкин был «потрясен» стихами Филарета, как утверждает о. В. Асмус? Действительно ли, как считает В. С. Непомнящий, «слово Филарета оказалось точкой опоры, которая помогла перевернуть ставший было на голову мир»<sup>12</sup>? П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу в апреле 1830 года: «Ты удивисься стихам Пушкина к Филарету: он был задран стихами Его Преосвященства...»<sup>13</sup> «Потрясен» или «задран»? — вещи, согласитесь, разные. Потрясенный Пушкин написал «Пророка», написал «Дар напрасный, дар случайный...» — глубина породившего их потрясения узнается в п о д л и н н о с т и этих стихов. В пушкинском ответе Филарету — другая мера подлинности, уж по крайней мере недостаточная для того, чтобы придавать этим стансам такое громадное значение в духовном развитии Пушкина<sup>14</sup>. Мы часто стремимся услышать от Пушкина что-то заранее нам известное — и в таких случаях перестаем его слышать вообще.

\* \* \*

Разговор о религиозности поэта таит в себе ряд опасностей. Одна из них — недостаточное различие биографического и эстетического, а то и подмена одного другим. Что имеется в виду, когда нам говорят о православном Пушкине: его религиозное сознание или религиозный дух его поэзии? Одно с другим может находиться в сложных, даже парадоксальных отношениях. В 1983 — 1984 годах в нескольких номерах «Вестника Русского Христианского Движения» развернулась показательная во многом полемика на тему «Был ли А. А. Фет атеистом?». Все аргументы для отрицательного ответа на этот вопрос нашлись в поэзии Фета<sup>15</sup> и столь же веские аргументы в пользу «атеизма» нашлись в его высказываниях и

<sup>11</sup> «Досье». Приложение к «Литературной газете». 1990. Июнь («Мир Пушкина», стр. 14).

<sup>12</sup> Непомнящий В., «Дар» («Новый мир», 1989, № 6, стр. 259).

<sup>13</sup> Цит. по: «Пушкин. Письма». Ред. Б. Л. Модзалевский. М. — Л. 1928, т. 2, стр. 360.

<sup>14</sup> Сказанное нами отнюдь не отменяет важности малоисследованной темы «Пушкин и митрополит Филарет». См. последнюю работу об этом: Н. Н. «Апокалипсическая песнь» Пушкина. М. 1993.

<sup>15</sup> См.: Струве Н. А., «О мировоззрении А. А. Фета: был ли Фет атеистом?» («Вестник Русского Христианского Движения», 1983, № 139); Струве Н. А., «Был ли Фет атеистом? Ответ на письмо проф. Е. Эткинда» («Вестник Русского Христианского Движения», 1984, № 141).

письмах, в свидетельствах близких людей<sup>16</sup>. Результат спора, таким образом, может быть подытожен фразой Я. П. Полонского, который писал Фету-человеку о Фете-поэте: «Ты все отрицаешь, а он верит!..»<sup>17</sup> Примерно то же относится и к Тютчеву, который был далеко не церковным человеком, но поэзия которого представляет собою великое духовное откровение.

Религиозное сознание человека, если только он не проповедник, не клирик и не святой, остается, в конце концов, его личным делом. У художника это сознание в одних случаях сложнейшим образом отражается на духе творчества, в других никак не отражается — Пушкин и Фет здесь, пожалуй, антиподы. Исследователь ради проникновения в творческий замысел, в тайну зарождения стихов, может, привлекая жизненный контекст, найти, чаще угадать личностно-биографические импульсы эстетического создания. Но обратная операция сомнительна; на основе художественных мотивов делать выводы о личных побуждениях и пристрастиях поэта, и тем более о его религиозном сознании, значит пренебрегать спецификой художества, игнорировать то таинственное и необратимое превращение жизненного материала, которое составляет сугг творческого процесса. Такое чтение поэзии как биографического свидетельства приводит к нелепостям вроде той, что в стихотворениях «Монастырь на Казбеке» и «Пора, мой друг, пора!..» Пушкин поведал о своем желании уйти в монастырь.

Основу поэзии составляет личный духовный опыт, не осевший в душе, а только становящийся в ходе творчества, и потому она не может в тематике своей прямо воплощать завершенное конфессиональное сознание. Это противоречит самой природе лирики, которая не терпит готовых смыслов, заданных идей, которая рождается в недрах личности из индивидуального внутреннего события. Если смысл стихотворения существует до его создания в виде определенного религиозного, равно как и политического, убеждения, знания, то тем неизбежно уничтожается самый акт творчества. «Религиозная тенденция в искусстве такая же смерть искусству, как и тенденция общественная или моральная. Художественное творчество не может быть и не должно быть специфически и намеренно религиозным»<sup>18</sup> — это суждение Н. А. Бердяева, кажется нам, применимо к поэзии больше, чем к другим видам искусств. (Оговоримся: речь у нас идет, во-первых, о большой поэзии, поэзии в собственном смысле слова, во-вторых, о лирической поэзии, и в третьих — о светской. Совсем особый род творчества, о котором мы здесь говорить не будем, представляет собою поэзия, религиозная по своему служебному предназначению, — духовные гимны, церковные песнопения и подобное.)

Истинная поэзия по определению устремлена к Высшему Смыслу, она обладает имманентной, органически ей присущей глубинной религиозностью и потому меньше всего нуждается в религиозной теме. Поэзия сама по себе есть род метафизики, собственными средствами она осваивает область религии — отношения человека с Богом и миром. Искусство, писал С. Булгаков, «чувствует себя залетным гостем, вестником из иного мира, и составляет наиболее религиозный элемент внерелигиозной культуры. Эта черта искусства связана отнюдь не с религиозным характером его тем, — в сущности, искусство и не имеет тем, а только знает художественные поводы, — точки, на которых загорается луч красоты. Она связана с тем ощущением запредельной глубины мира и тем трепетом, который им пробуждается в душе...»<sup>19</sup>.

Религиозная тема в стихах зачастую только компенсирует по видимости недостаток цельного поэтического мироощущения, а иной раз мешает выражению личного религиозного чувства. Вспомним пушкинское «Отцы пустынноики и жены непорочны...», стихотворение каменноостровского цикла 1836 года, — оно замечательно передает великопостное душевное состояние, но развитие лирического чувства оказывается в какой-то момент пресечено, как будто зажато включенным в стихи переложением молитвы Ефрема Сирина. Молитвенная практика предполагает, что личное религиозное чувство должно быть текстом традиционной молитвы направлено в верное русло. Но тут и пролегает граница между собственно молитвой и лирической поэзией, персоналистичной по самой своей суги. Пушкин попытался слить одно с другим — и поэзия проиграла, да и молитва Ефрема Сирина в пушкинском варианте потеряла свою первородную простоту и силу.

<sup>16</sup> См.: Эткинд Е., «О мировоззрении Фета и культуре полемики» («Вестник Русского Христианского Движения», 1984, № 141).

<sup>17</sup> Письмо от 25 октября 1890 г. Цит. по: Фет А. А. Вечерние огни. М. 1979, стр. 554.

<sup>18</sup> Бердяев Н. Смысл творчества, стр. 284.

<sup>19</sup> Булгаков С. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. Сергиев Посад. 1917, стр. 381 — 382.

С пушкинским «Отцы пустынноики...» соотносима лермонтовская «Молитва» 1839 года:

В минуту жизни трудную  
Теснится ль в сердце грусть:  
Одну молитву чудную  
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная  
В созвучье слов живых,  
И дышит непонятная,  
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,  
Сомненье далеко —  
И верится, и плачется,  
И так легко, легко...

Тема этих стихов та же, что у Пушкина, — сила молитвы, но текста молитвы у Лермонтова нет, есть только слова о ее воздействии на душу. И за ними ощущается столь глубокое внутреннее событие, что сами эти стихи по мере развертывания превращаются в очистительную молитву — стихи о молитве становятся молитвой в стихах. Легко увидеть даже на этом примере, что духовная наполненность поэтического создания меньше всего зависит от наличия в нем узнаваемых религиозных мотивов.

Творчество побуждается интуицией, а не готовым знанием, для которого нужно подобрать соответствующую форму; оно предполагает нераздельность и одновременность самозарождения формы и смысла, которые «совместно образуют сущность поэтического творения»<sup>20</sup>. Поэзия на заданную религиозную тему может быть сколь угодно одушевлена религиозным чувством автора, но трактуя смыслы, рожденные вне творческого акта, она приближается к переводу и теряет свойство изумляющей первозданности и новизны — первые признаки творчества. Когда искусство пытается служить не только Богу, но и религии, оно уходит в сторону от творчества, изменяет своей природе.

\* \* \*

В судьбе Пушкина невозможно без ущерба разделить личное и творческое, его поэзия теснейшим образом связана с жизнью, если понимать под жизнью не эмпирическую биографию, а внутреннюю жизнь художника. У разных поэтов эта связь различна, но, по нашему наблюдению, поэт чаще тяготеет к пушкинскому типу, а не к фетовскому. В таком случае может возникнуть проблемная напряженность между исповеданием веры в церковно-обрядовых формах и поэтическим творчеством. Эта напряженность отражена, скажем, у позднего Полонского, писавшего в стихах на 900-летие крещения Руси:

Жизнь без Христа — случайный сон.  
Блажен, кому дано два слуха, —  
Кто и церковный слышит звон,  
И слышит вещий голос Духа.

«Два слуха» — выразительная формула раздвоения в духовном мире поэта, идущего к Богу сразу двумя параллельными путями: путем церкви, где он слышит Христа, и путем творчества, где он слышит Духа. Эти «два слуха» не безмятежно уживаются, но как бы соперничают друг с другом — человек церковный заглушает поэта:

Но жизнь и смерти призрак — миру  
О чем-то вечном говорят,  
И как ни громко пой ты, — лиру  
Колокола перезвонят.

Без них, быть может, даже гений  
Людьми забудется, как сон...

(«Вечерний звон», 1890)

<sup>20</sup> Ф р а н к С. Живое знание. Берлин. 1923, стр. 204.

Вл. Соловьев восклицал по поводу этих стихов: «Откуда, однако, это соперничество? И зачем подходить слишком близко к колокольне? Пусть поэт слушает колокола на том расстоянии, на котором их звон трогает, а не оглушает, и пусть его лира поет о том же вечном, о чем звенят и они. Между духом, говорящим в лучших произведениях Полонского, и голосом истинной религии, конечно, нет никакого противоречия, и наш славный поэт может с доброю совестью благословлять вечерний звон, с которым так хорошо гармонирует его неослабевающее вдохновение»<sup>21</sup>. С точки зрения высших ценностей противоречия действительно нет, но в жизни художника есть несовпадение, раздвоение, есть проблема выбора пути. К нашему счастью, Пушкин не успел оказаться перед этим выбором (хотя, пожалуй, близко подошел к нему в 1836 году), а вот Гоголь — оказался. Итог известен. Творчество легче совмещается с конфессиональным безразличием, чем с конфессиональной последовательностью. «Духовная жажда», утоленная в церкви, уже не томит и не требует выхода в творчестве, вера, облеченная в форму обряда, не ищет уже другой формы для себя, какой являются поэтические звуки и образы. В примирительном комментарии Соловьева есть элемент утопизма: «два слуха» не вполне естественны, трудны для поэта — именно об этом поэтическое свидетельство Полонского. А уж для Пушкина с его органическим единством жизни и поэзии такое раздвоение вообще вряд ли было бы возможно. Ставить вопрос о конфессиональной принадлежности Пушкина и судить о нем с этих позиций — значит пренебрегать главным в его судьбе. Пушкин был только поэт, во всем поэт — и к высшей Истине он был причастен как поэт. По точному выражению о. С. Булгакова, «Он знал Бога», но особым знанием художника. «Очевидно, не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегла основная магистраль его жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и особый удел — предстояние пред Богом в служении поэта»<sup>22</sup>.

\* \* \*

Не только искусство, но и церковь знает о несовпадении творчества с путями церковными — отсюда традиционно преобладающее в ней недоверие к искусству как к области искушений, уводящих с истинного религиозного пути (такое отношение подкрепляется этимологией русского слова «искуство»). Но искушения, как известно, подстерегают человека везде — в ту меру, в какую ему дарована свобода; они есть и в церкви и на путях аскезы, которая может быть замешена на гордыне. Конечно, в творчестве, основанном на свободе по преимуществу, искушений немало (например, властью искусства можно сделать зло прекрасным — «Лолита» Набокова), однако этим ли определяется его духовная природа?

Существовало и существует в рамках церкви и другое отношение к творчеству. Открытое христианство, не проводящее резких границ между церковью и миром, признает за искусством великие возможности богопознания, богообщения, духовного откровения. «Задача искусства, — писал в середине прошлого века русский богослов архимандрит Феодор (Бухарев), — в том, чтобы художник в чем бы то ни было, действительным или возможным, своим так называемым творческим дарованием сколько-нибудь ощутил силу и державу любви Отца, на все в Сыне простирающейся и всему приемлющему во Св. Духе удобосообщимой, и чтобы отобразил это в своем создании, хотя бы совсем бессознательно, хотя бы так, как солнце отражается в капельке воды. Такая задача относится к художникам даже неверующим и язычникам, только бы они имели истинный талант художников: потому что в самой природе человека творческие силы и идеи в своем существе составляют не что иное, как ответ того же Бога Слова...»<sup>23</sup> Этот взгляд на творчество вовсе не противоречит христианскому богословию, он находит свои основания в учении о Боге-Творце и человеке как Его образе и подобии, в пневматологии — учении о действиях Святого Духа, в христологии и христианском персонализме<sup>24</sup>. Из русских духовных писателей нашего времени об искусстве как об откровении высшей

<sup>21</sup> Соловьев В. С., «Поэзия Я. П. Полонского» (Соловьев В. С. *Философия искусства и литературная критика*, стр. 529).

<sup>22</sup> Булгаков С., «Жребий Пушкина» («Пушкин в русской философской критике». М. 1990, стр. 278, 279).

<sup>23</sup> Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). *О духовных потребностях жизни*. М. 1991, стр. 94.

<sup>24</sup> Об этом см., напр.: Булгаков С., «Догматическое обоснование культуры» («Вестник Русского Студенческого Христианского Движения», 1930, № 7); Эконотцев И., игумен. *Православие. Византия. Россия*. М. 1992, стр. 179—182 (о концепции творчества у св. Григория Паламы).

Реальности говорили архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), протоиерей Александр Шмеман, протоиерей Александр Мень. Недоверие к искусству и другим проявлениям свободного человеческого духа характеризует в большей мере охранительные тенденции в церкви, чем творящего человека в его богостремительном порыве и труде.

Разрыв между историческим православием и путями творчества был остро пережит русской религиозной мыслью конца XIX — начала XX века в двух ее направлениях — в философской эстетике символизма и в философии соловьевской школы. Эти две различные ветви объединялись общими идеями размыкания церковных стен, религиозного оправдания внецерковной культуры, семьи — всей полноты существования человека в мире. Вопрос о трансцендентной природе и религиозных задачах искусства работами Д. С. Мережковского, Вл. Соловьева, Вяч. Иванова, Н. А. Бердяева был вынесен на первый план в разговоре о содержании новой религиозной эпохи. И Пушкин оказался этой эпохе не просто созвучен — он оказался вместе с Достоевским опорой для создания новой философии творчества. Именно в это время, на рубеже веков, родилась та традиция постижения Пушкина как духовного феномена, которая впоследствии была искусственно прервана в России, в 30 — 40-х годах набрала силу в философской критике русского зарубежья и которая теперь снова так актуальна для нас. Первым Мережковский, за ним Соловьев, В. В. Розанов в небольших заметках, по-своему М. О. Гершензон открыли огромный, непостижимый по своей метафизической глубине духовный мир пушкинских творений. Если говорить точнее, мир этот ощущался, угадывался и до них, он жил в русском сознании, во всей послепушкинской русской культуре. Но многое было не названо — не было того системного языка религиозно-философской мысли, на котором творчество Пушкина могло быть описано как откровение высшей Реальности. Когда В. Г. Белинский говорил, что «в поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля»<sup>25</sup>, это было больше метафорой, чем точным определением главной особенности пушкинской поэтической религии. Когда Н. Н. Страхов писал, что в Пушкине «отзывается вечная красота души человеческой»<sup>26</sup>, слова «вечная красота» вряд ли несли у него мысль о богоподобии человека, а имели скорее эмоциональное значение. Философы и литераторы «серебряного века» взглянули на Пушкина *sub specie aeternitatis*, и стало видно, что, будучи абсолютным поэтом, он воплотил в полноте и совершенстве религиозные возможности искусства. Поэзия Пушкина была рассмотрена как цельное метафизическое знание о мире, Боге, человеке, как откровение божественной Красоты в тварном мире, она помогла обосновать взгляд на творчество как особое религиозное призвание, особый путь к Абсолюту.

\* \* \*

В первой речи о Достоевском (1881) и в статье «Общий смысл искусства» (1890) Вл. Соловьев напомнил об изначальном синкретизме искусства и религии, о том, что поэзия родилась из храмового действа, из молитвы. Синкретизм впоследствии был невозвратно утрачен, поэзия шагнула с алтаря в мир и обрела в нем самостоятельное бытие, но не для того, чтобы оторваться от Бога, а напротив — чтобы Бога нести в мир. Исторически в развитии искусства, в том числе и словесного, были разные моменты, его захлестывали и захлестывают демонизм, человекобожество, формализм, идеология — однако истинная поэзия поверх всех исторических метаморфоз сохранила память о своем происхождении и верность высшему предназначению. Эта память настойчиво прорывается в стихах Пушкина о поэте — кажется, что не пушкинская память, а память самой поэзии, говорящая в Пушкине. В трех стихотворениях, которые мы привыкли рассматривать как выражение поэтического самосознания Пушкина — «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), — появляются мотивы жреческого служения, упоминаются атрибуты дельфийского храма Аполлона: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон...», «Но, позабыв свое служенье, / Алтарь и жертвоприношенья, / Жрецы ль у вас метлу берут?», «И глеют на алтарь, где твой огонь горит, / И в детской резвости колеблет твой треножник». Эти мотивы отражают изначальное единство поэтического и жреческого служения — в дельфийском храме поэт и жрец существовали в одном

<sup>25</sup> Б е л и н с к и й В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая (Собрание сочинений в трех томах. М. 1948, т. 3, стр. 405).

<sup>26</sup> Страхов Н. Н., «Нечто о Пушкине, главном сокровище нашей литературы» (С т р а х о в Н. Н. Литературная критика. М. 1984, стр. 82).

лице, жрец, верша обрядовое действие, стихами возвещал пророчества пифии, поэзия не служила религии, а сама была ею. Жреческие образы определенно говорят и о статусе пушкинского поэта, и о характере его призвания. Можно возразить, что это только метафора. Да, метафора, но поверим ей — ведь для поэта метафора сверхреальна, через нее он прорывается к миру сущностей. Приходилось встречаться и с другим толкованием: на основе этих стихов делался вывод, что Пушкин по вере был язычником и исповедовал Аполлона. В таком случае не верил ли он также в Аллаха («Подражания Корану») и Иегову («Пророк»)?

«Нас мало избранных, счастливых праздных, / ...Единого прекрасного жрецов» («Моцарт и Сальери»). «Единое прекрасное» — вот чему служит поэт, вот открывшаяся ему теофания, и это бесконечно далеко от самодовлеющего эстетизма, который когда-то приписывали Пушкину, опираясь на заключительные стихи «Поэта и толпы»: «Не для житейского волнения, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновения, / Для звуков сладких и молитв». Вяч. Иванов в «Заветах символизма» (1910) показал, что здесь пушкинский Поэт отстаивает перед «непосвященными» не самоценность искусства, а его религиозную миссию: «Пушкин изображает Поэта посредником между богами и людьми <...>. Боги «вдохновляют» вестника их откровений людям; люди передают через него свои «молитвы» богам; «сладкие звуки» — язык поэзии — «язык богов». Спор идет не между поклонниками отвлеченной, внежизненной красоты и признающими одно «полезное» практиками жизни, но между «жрецом» и толпой, переставшей понимать «язык богов», отныне мертвый и только потому бесполезный. Толпа, требующая от Поэта языка земного, утратила или забыла религию и осталась с одною утилитарною моралью. Поэт — всегда религиозен, потому что — всегда поэт; но уже только «рассеянной рукой» бряцает он по заветным струнам, видя, что внимающих окрест его не стало»<sup>27</sup>.

Пушкин определил «цель искусства» как «и д е а л» и назвал это «истиной неоспоримой» («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...», 1836). Что разуметь под этим словом? Думается, не только совершенство воплощения, но и то Абсолютно Прекрасное, что открывается в искусстве и чему искусство служит.

Момент осознания высшего призвания поэта отражен в «Пророке» (1826). Много было споров вокруг этого бездонного стихотворения и много еще будет. Но основной вопрос всегда сводился к одному: говорится ли в нем о призвании поэта, является ли оно «прямым поэтическим самосвидетельством»<sup>28</sup> — или это свободное переложение 6-й главы Книги Исаии и речь в нем идет о библейском пророке? Вопрос этот имеет принципиальное и широкое значение, определенное о. С. Булгаковым: «В зависимости от того, как мы уразумеваем «Пророка», мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать (пишется в 1937 году. — И. С.). Или же Пушкин описывает здесь то, что с ним самим было, т. е. данное ему видение божественного мира под покровом вещества?» Ответ на этот вопрос Булгаков находит в собственном ощущении — как нам кажется, верном: «Таких строк нельзя *сочинить*...» И дальше: «Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророке, и сам ими призван был к пророческому служению»<sup>29</sup>. Такое понимание «Пророка», идущее от Вл. Соловьева, подробно обоснованное им в статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899), заставляет с особой серьезностью относиться ко всем сакральным аллюзиям, неизменно сопровождающим тему поэта и поэзии у зрелого Пушкина. Кроме уже упомянутых нами стихов укажем на послание «Гнедичу» (1832), где варьируются мотивы 34-й главы Книги Исхода и вновь возникает образ поэта-пророка, на отрывок «Зачем крутится ветер в овраге?» в двух его вариантах (1833, 1835), связанный с парадоксами библейской Книги Иова<sup>30</sup>, наконец — на «Памятник» с его евангельскими ассоциациями<sup>31</sup>. «Святая лира», «божественная лира», «божественный посланник», «священный дар», «священные напевы» — таковы характерные определения искусства, поэзии, поэта у Пушкина: за ними стоит «сознание абсо-

<sup>27</sup> И в а н о в Вяч. Собрание сочинений. Брюссель. 1974, т. 2, стр. 595.

<sup>28</sup> Соловьев В. С., «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (С о л о в ь е в В. С. Философия искусства и литературная критика, стр. 332).

<sup>29</sup> Булгаков С., «Жребий Пушкина» («Пушкин в русской философской критике», стр. 282, 283).

<sup>30</sup> См. об этом: Б о ч а р о в С. Г. О художественных мирах. М. 1985, стр. 109.

<sup>31</sup> Подробнее см.: «Новый мир», 1991, № 10, стр. 193 — 196.

лютного религиозного смысла поэзии»<sup>32</sup>. Конечно, это сознание не одному Пушкину свойственно. Перелистаем таких разных поэтов, как Н. М. Карамзин, К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, Д. В. Веневитинов, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, А. А. Фет, — нам встретятся и «поэзия святая», и «божественный певец», и «священный поэт», и «святое песнопенье», и «жрец искусства»... Литературная традиция, объединяющая здесь поэтов, восходит к общему для них ощущению причастности творчества к высшей Реальности.

Н. М. Карамзин посвятил этой теме стихотворную аллегорию «Поэзия» (1787); в ней рассказывается, как Поэзия родилась в раю, когда первый человек ощутил величие, премудрость и благость Божию и излил свои чувства в гимне Творцу, как она проходит через всю земную историю человечества и возвращается к Богу вместе с душою умершего поэта. Обратим внимание прежде всего на миф о происхождении поэзии: она родом из Эдема. Это хорошо знают поэты — знают как духовную реальность, с которой они соприкасаются в творчестве; то же чувствуем и мы — читатели, исследователи, те, кому поэты открывают эту духовную реальность. Поэзия сошла «из тихой сени рая» (С. Я. Надсон), она служит «тайственной отчизне» (А. К. Толстой), напоминает людям «об отчизне» (В. К. Кюхельбекер). Пушкин как-то в шутку назвал музыкантов «представителями рая небесного» (письмо А. А. Дельвигу от 16 ноября 1823 года), но в «Моцарте и Сальери» слова художника о гении, который «несколько занес нам песен райских», звучат уже всерьез — ведь именно на вертикали, восставленной к Небу, расположен весь конфликт этой «маленькой трагедии». Творчество «более всего напоминает призвание человека до грехопадения»<sup>33</sup>, «состояние творчества гения есть чувство райского блаженства человека, для которого не стоит препоны между ним и миром, с него совлекаются «кожаные ризы», и он сознает себя в своей божественной первозданности, как дитя Божие»<sup>34</sup>, через творчество человек возвращается «в покинутый или потерянный рай»<sup>35</sup>.

Конечно, искусство бывает всяким, его райская природа искажается в той мере, в какой искажена высшая природа в самом человеке. Блоковское «искусство есть *Ад*»<sup>36</sup> дает обильную пищу для сопоставлений и размышлений, но не о природе искусства, а о его исторических путях.

У Пушкина, о чем бы ни писал он, райское начало творчества представлено с особой чистотой; он обладал исключительной интуицией Царства Божия, данной ему в абсолютном эстетическом и нравственном слухе и воплощенной в целостном мире его художественных созданий. В. В. Розанов, призывая в 1912 году возвращаться к Пушкину, сравнил эту потребность с тоской об утраченном рае: «Мы должны любить его, как люди «потерянного рая» любят и воображают о «возвращенном рае»...»<sup>37</sup>

\* \* \*

Лирика не только исторически выросла из молитвы, но и онтологически, по сути своей она соприродна молитве — художник оформляет в ней свое трансцендентное мироощущение и трудится над своей душой. Пушкин никогда бы не мог сказать, как Блок, что стихи «надо писать как бы перед Богом»<sup>38</sup>, или признаться, как З. Н. Гиппиус: «Стихи я всегда пишу, как молюсь»<sup>39</sup>. Его религиозное мироощущение было органичным и выразилось непосредственно в творчестве, а не в торжественных формулах самосознания, фиксирующих какую-то избыточную для поэта, внепоэтическую рефлексию. В пушкинской лирике нет обращений ко Всевышнему, и при этом неосознанное, неявное молитвенное начало присутствует в таких разных по тематике его стихотворениях, как «Я помню чудное мгновенье...»

<sup>32</sup> Франк С., «Религиозность Пушкина» («Пушкин в русской философской критике», стр. 390).

<sup>33</sup> Бердяев Н. А. О назначении человека. М. 1993, стр. 121.

<sup>34</sup> Булгаков С., «Жребий Пушкина» («Пушкин в русской философской критике», стр. 276).

<sup>35</sup> Федотов Г. П., «Святость и творчество» (изложение доклада) («Новый Град», 1936, № 11, стр. 143).

<sup>36</sup> Блок А. А. О современном состоянии русского символизма (Собрание сочинений в шести томах. Л. 1982, т. 4, стр. 148).

<sup>37</sup> Розанов В. В., «Возврат к Пушкину» (Розанов В. В. Сумерки просвещения. М. 1990, стр. 367).

<sup>38</sup> См.: Кузьмина-Караева Е. Ю. Избранное. М. 1991, стр. 372.

<sup>39</sup> См.: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924 — 1974). Париж — Нью-Йорк. 1987, стр. 34.



(1825) и «Воспоминание» (1828), «На холмах Грузии...» (1829) и «Безумных лет угасшее веселье...» (1830), «Дар напрасный, дар случайный...» (1828) и «Вновь я посетил...» (1835). Молитвенное начало непосредственно ощущается, передается в воздействии этих стихов на душу, но выявить и проанализировать его чрезвычайно трудно. Особая заслуга в этом отношении принадлежит С. Л. Франку, который в статьях «Религиозность Пушкина» (1933), «О задачах познания Пушкина» (1937), «Светлая печаль» (1949) проник в разборе отдельных пушкинских стихотворений глубже их образно-тематического и эмоционального уровня и показал, как в них проявляется «скрытый, глубинный слой духа Пушкина»<sup>40</sup>. Эти разборы Франка убеждают нас, что поэзия настолько поэзия, насколько она молитвенна — не по теме и даже настроению, а по сути, по связи художника с «верховным источником лиризма»<sup>41</sup>.

Но как рождается эта связь? В какой мере она зависит от воли художника? Что первично в творчестве: дарованное свыше вдохновение или «свободный почин самого человека», как писал Н. А. Бердяев в знаменитой, вызвавшей бурю споров книге «Смысл творчества» (1916)?<sup>42</sup> Является ли художник творцом своих творений, или он только медиум, воспринимающий и передающий услышанное? — вспомним А. К. Толстого: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! / Вечно носились они над землею, незримые оку». У Пушкина тоже есть «самосвидетельство» «невольности, пассивности творчества» — так определил Вл. Соловьев стихотворение «Эхо» (1831)<sup>43</sup>, но оно дает лишь небольшой фрагмент картины. В целом же творчество осознано Пушкиным как сложное взаимодействие свободы и послушания, личности и Бога, труда и вдохновения. Свобода у него не просто условие или качество творчества, но сама его стихия, его природа и суть, — надо ли выстраивать хрестоматийный ряд примеров, где муза, песнь и лира сочетаются с волей, свободой? Творчество у Пушкина почти приравнено к свободе, однако оно не самочинно. «Пушкин твердо знал, что поэзия приходит с высоты, и вдохновение — „признак Бога“, „дар божественный“»<sup>44</sup>. Но дар этот не только благодать, он — требование, зов, на который надо идти, долг, который выполняется беспрекословно. В «Пророке», кажется, впервые появляется этот высший императив, звучащий с истинно библейской силой и требующий безусловного послушания: «Исполнишь волею моею»<sup>45</sup>; тема продолжена в «Поэте»: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон...» — «Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется...»; и, наконец, «Памятник», последнее пушкинское слово о поэзии, завершается высшим велением и ответным послушанием: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...» Пушкин не сразу нашел эту окончательную формулу отношений поэта с Богом, вначале пробовал: «Призванью своему, о Муза, будь послушна...», «Святому жребию, о Муза, будь послушна...» — и затем расшифровал «жребий» и «призвание», добрался до сути. Призвание понято в точном, буквальном смысле слова — п р и з в а н и е свыше, на которое поэт должен откликнуться, или, как афористически выразился Жуковский, «вызов от Создателя вступить с Ним в товарищество создания»<sup>46</sup>. Поэтический дар оказывается у Пушкина прежде всего даром исключительной восприимчивости, а творчество — встречей художника со Всевышним. Такая встреча только один раз им описана, в «Пророке», и огненная сила этих стихов — свидетельство их богодухновенности, реальности стоящего за ними духовного события.

Замечено, что в пушкинской философии творчества особое место занимает образ ветра, свободной стихии, которой уподоблено свободное поэтическое вдохновение: «Как ветер, песнь его свободна...», «Таков поэт: как Аквилон, / Что хочет, то и носит он...». С. Г. Бочаров, обративший внимание на эти образы, увидел в них «не только сравнение из природного мира», но поэтический эквивалент Святого Духа и Его действия в природе и творчестве»<sup>47</sup>. Свойства Духа передаются поэзии,

<sup>40</sup> Франк С. Л., «Светлая печаль» («Пушкин в русской философской критике», стр. 476).

<sup>41</sup> Г о г о л ь Н. В. О лиризме наших поэтов (Собрание сочинений в семи томах, т. 6, стр. 216).

<sup>42</sup> Б е р д я е в Н. Смысл творчества, стр. 130.

<sup>43</sup> Соловьев В. С., «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (С о л о в ь е в В. С. Философия искусства и литературная критика, стр. 367 — 368).

<sup>44</sup> Булаков С., «Жребий Пушкина» («Пушкин в русской философской критике», стр. 280).

<sup>45</sup> Как будто ответом на эти слова звучит позднее пушкинское «Но Твоя да будет воля, / Не моя» («Чудный сон мне Бог послал...», 1835), отсылающее к гефсиманской молитве.

<sup>46</sup> Жуковский В. А., «О поэте и современном его значении» (Ж у к о в с к и й В. А. Эстетика и критика, стр. 333).

<sup>47</sup> Б о ч а р о в С. Г. О художественных мирах, стр. 108 — 109.

Дух вдохновляет поэта, говорит через него. Пушкин чувствовал это, но мыслил он не в богословских категориях, а в поэтических образах, другие же поэты прямо говорили о поэтическом вдохновении как наитии Святого Духа. Д. В. Вeneвитинов: «К Тебе, о чистый Дух, источник вдохновенья»; А. Н. Майков: «Вдохновенье — дуновенье / Духа Божья...»; вспомним и Я. П. Полонского, приведенные нами стихи про «два слуха», а также лермонтовское «Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой...».

В русской философии начала XX века идея связи творчества с действиями Святого Духа получила популярность в соотнесении с концепцией «трех Заветов», трех эпох мировой истории, последовательно раскрывающих ипостаси Божественной Троицы (Ветхий Завет — откровение Отца, Новый Завет — откровение Сына, третий Завет — откровение Святого Духа). Эту концепцию, разработанную Иоахимом Флорским (XIII век) и восходящую к каппадокийскому тринитарному богословию (IV век), воскресил теоретик «нового религиозного сознания» Д. С. Мережковский и развил Н. А. Бердяев, утверждавший, что именно творчество человека составляет содержание эпохи третьего Завета: «Творчество — последнее откровение Св. Троицы, антропологическое ее откровение»; «Творчество не в Отце и не в Сыне, а в Духе, и потому выходит из границ Ветхого и Нового Завета»<sup>48</sup>. В более поздней, зрелой книге «О назначении человека» (1931) Бердяев дал разъяснение, что «подлинное, бытийственное творчество всегда в Духе, в Духе Святом, ибо только в Духе происходит то соединение благодати и свободы, которое мы видим в творчестве»<sup>49</sup>. На категоричную бердяевскую эксклюзивность есть свои возражения<sup>50</sup>, но нельзя не увидеть в этих идеях соответствий с тем, что знают сами художники о природе и свойствах вдохновения.

Нам давно уже слышится возражение тех, кто отделяет творчество от путей Истины: по аналогии с известным признанием Паскаля, что открывшийся ему Бог — не бог философов и ученых, можно утверждать, что и у поэтов, художников свой бог, другой, не Тот. На это отвечает за нас Писание: человек создан Творцом по Своему образу и подобию — и тем уже призван к творчеству, к раскрытию Божьего замысла о себе и мире. Подобие Небесному Художнику закреплено в поэте самим его именем: русское слово «поэт» пришло к нам от того греческого, каким назван в Символе веры «Творец неба и земли» — Ποιητής (делатель, творец, создатель). Именно в этом смысле слова «человек есть существо «пиитическое» <...>, т. е. творчески действующее в мире»<sup>51</sup>.

\* \* \*

Творчество носит характер богочеловеческий, «синергийный». Человеческое начало не менее активно в творчестве, чем начало божественное, — и здесь коренятся многие опасности и искушения. Художник не чистый дух, «божественный глагол» встречается в нем со всеми чертами его тварности, со всеми несовершенствами его человеческой природы. Высший дар никак не связан со справедливостью — Бог не выбирает в гении наиболее достойных. Пушкин передал это отстраненно, через чуждое сознание — его Сальери, не знающий благодати, возмущен «несправедливостью» и «нерациональностью» Провидения в распределении даров:

— О небо!  
Где ж правота, когда священный дар,  
Когда бессмертный гений — не в награду  
Любви горящей, самоотверженья,  
Трудов, усердия, молений послан —  
А озаряет голову безумца,  
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Все мы знаем, какие парадоксы бывают в сфере творчества. Часто художник кажется нам недостойным своего дара, удивляет контрастом высоких поэтических созданий и житейского поведения. Пушкинское об этом стихотворение «Поэт», прямолинейно истолкованное, дало повод для идеи «двух планов» в жизни поэта,

<sup>48</sup> Бердяев Н. Смысл творчества, стр. 143. 130.

<sup>49</sup> Бердяев Н. А. О назначении человека, стр. 121.

<sup>50</sup> См., напр.: Экономцев И., игумен. Православие. Византия. Россия, стр. 185.

<sup>51</sup> Булгаков С., «Догматическое обоснование культуры» («Вестник Русского Студенческого Христианского Движения», 1930, № 7, стр. 8).

для разрыва и противопоставления планов житейского и творческого<sup>52</sup>. Эта концепция проста и удобна, но она недалеко нас уводит в познании искусства. Если относиться к творчеству как к роду духовной работы и в судьбе поэта усматривать особый религиозный путь, то связь и зависимость между его жизнью и творениями представляет повышенный интерес и вырастает в серьезную проблему.

Художник очень близко подходит к сердцевине бытия, заглядывает в его самые опасные бездны — без этого бесстрашия он вряд ли способен оставить миру то, что будет в течение столетий «глаголом жець сердца людей». Он сильно рискует, идя навстречу искушениям, тайнам, стихиям. Г. П. Федотов в замечательном этюде-исследовании «О Св. Духе в природе и культуре» (1932) писал о художнике: «Он самый беззащитный из детей мира перед напором стихий. По отношению к ним он весь слух, весь порыв. Оковы долга и закона бессильны над ним. Вот почему песни поэта часто оказываются песнями греха, а личная судьба его — трагедией. Быть растерзанным стихиями — участь стольких поэтов. Но в стихийных силах души действуют не безличныя потоки: демоны прорываются сквозь них и искажают священные источники вдохновения. Искусство часто оказывается демоническим, но это не лишает его божественного происхождения. Дьявол — актер, стремящийся подражать Богу. Лишенный творчества, он надевает творческие личины. Всего лучше он внедряется в подлинное, т. е. божественное, творчество, чтобы мутными примесями возмутить чистые воды. Музой является только Св. Дух, но гарпии похищают и оскверняют божественную пищу»<sup>53</sup>.

Страсти, которым предает себя художник, могут не только прорываться непреобразованными в творчество, но и подменять собой высший источник вдохновения. Примеров такой подмены немало найдем, скажем, у Цветаевой, которая сама это знает и, рассуждая о природе творчества, то Бога поминает, то дьявола («Искусство при свете совести», 1932). Про Пушкина мало сказать, что он был человеком страстным. Кто всерьез исследовал его поведение, знает, что в душе его бушевали мощные стихии, сшибались грандиозные потоки, но в его зрелых поэтических созданиях сила этих потоков таинственным образом преобразалась в гармонию.

«Серебряный век», опьяненный эстетическими идеями Ницше, порой искал дионисийства в пушкинской поэзии, искал в ней темных иррациональных бездн, из которых воздымаются глубинные стихии человеческого естества. В мае 1899 года вышел из печати пушкинский номер «Мира искусства» со статьями В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, Н. М. Минского, Ф. Сологуба; он был замыслен и прозвучал как коллективная эскапада против юбилейных торжеств, и все же много высказалось в нем серьезного — наглядно и отчасти неволью явлен был контраст между художественным миром Пушкина и новыми течениями русской литературы. Если Минский увидел у Пушкина «победу инстинкта над рассудком» и «победу эстетического идеала над этическим»<sup>54</sup>, то Розанов, наоборот, сетовал на излишнюю пушкинскую «трезвость», на его недостаточную для нового времени глубину, на отсутствие в его творчестве оргазма и «всемирного пифизма»<sup>55</sup>. На эти попытки вместили Пушкина в ницшеанскую бинарную схему искусства (взаимодействие аполлонического и дионисийского начал) горячо отозвался Вл. Соловьев; он заключил, что искание у Пушкина «оргазма» и «пифизма» говорит больше о Розанове, у которого «вдохновляющая сила идет <...> откуда-то *снизу*», а у Пушкина «сохранилось слишком много вдохновения, идущего *сверху*, не из расщелины, где серные, удушающие пары, а оттуда, где свободная и светлая, недвижимая и вечная красота»<sup>56</sup>. Дионисийские страсти оставались в пушкинской жизни, в поэзии же они очищались и преобразались — но без них поэзия была бы невозможна. В «Судьбе Пушкина» (1897) Вл. Соловьев писал об этом: «Сильная чувственность есть материал гения. Как механическое движение переходит в теплоту, а теплота — в свет, так духовная энергия творчества в своем действительном явлении (в порядке времени или процесса) есть *превращение* низших энергий чувственной души. И как для произведения *сильного* света необходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного творчества (по закону здешней, земной жизни) пред-

<sup>52</sup> В е р е с а е в В. В двух планах. Статьи о Пушкине. М. 1929, стр. 130—172.

<sup>53</sup> «Вопросы литературы», 1990, № 2, стр. 208.

<sup>54</sup> Минский Н., «Заветы Пушкина» («Мир искусства», 1899, № 13-14, стр. 25).

<sup>55</sup> Розанов В., «Заметка о Пушкине» (там же, стр. 8).

<sup>56</sup> Соловьев В. С., «Особое чествование Пушкина» (С о л о в ь е в В. С. Философия искусства и литературная критика, стр. 307—308). Еще раньше Соловьев говорил о слепоте «новейших панегиристов пушкинской поэзии», которые «прикидывают к этому здоровому, широкому и вольному творчеству ломаный аршин ницшеанского психопатизма» (там же, стр. 288).

полагает сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного *преодоления* могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты»<sup>57</sup>.

Индивидуальность художника, его так называемая личная жизнь, любовь и ненависть, противоречия, страсти, порывы, заблуждения, падения — все живое и человеческое в нем составляет то сырье, которое сгорает в очистительном пламени вдохновения. Конечно, страсти не источник, а только материал искусства, но когда нечему гореть, нет и творчества, ибо «космос творится из хаоса»<sup>58</sup>. Недоверие к искусству с позиций религиозного благочестия сводится в основном к тому, что оно «замешено на блуде». Да, искусство живет в здешнем мире и замешено на всех его несовершенствах, но силою Духа Божия, действующей через художника, ценою приносимых им жертв искусство преодолевает несовершенство этого мира, приносит в него свет высшего Совершенства.

Бердяев предположил, что «если бы Пушкин занялся аскезой и самоспасением, то он, вероятно, перестал бы быть большим поэтом»<sup>59</sup>. На эту тему имеется интересное рассуждение самого Пушкина: сравнивая два сборника стихотворений Сент-Бёва — Делорма, он приходит к выводу, что благоприятная нравственная эволюция автора не лучшим образом отразилась на поэзии:

«В прошлом году Сент-Бёв выдал еще том стихотворений, под заглавием «Les Consolations»<sup>60</sup>. В них Делорм является исправленным советами приятелей, людей степенных и нравственных. Уже он не отвергает отчаянно утешений религии, но только тихо сомневается; уже он не ходит к Розе, но признается иногда в порочных вожделениях. Слог его также перебесился. Словом сказать, и вкус и нравственность должны быть им довольны. Можно даже надеяться, что в третьем своем томе Делорм явится набожным, как Ламартин, и совершенно порядочным человеком.

К несчастью должны мы признаться, что, радуясь перемене человека, мы сожалеем о поэте. Бедный Делорм обладал свойством чрезвычайно важным, недостающим почти всем французским поэтам новейшего поколения, свойством, без которого нет истинной поэзии, т. е. *искренностью вдохновения*. Ныне французский поэт систематически сказал себе: *soyons religieux, soyons politiques*, а иной даже: *soyons extravagants*<sup>61</sup>, и холод предначертания, натяжка, принужденность отзываются во всяком его творении, где никогда не видим движения минутного, вольного чувства, словом: где нет истинного вдохновения. Сохрани нас боже быть поборниками безнравственности в поэзии (разумею слово сие не в детском смысле, в коем употребляют его у нас некоторые журналисты)! Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав. Но описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так, как анатомия не есть убийство; и мы не видим безнравственности в элегиях несчастного Делорма, в признаниях, раздирающих сердце, в стесненном описании его страстей и безверия, в его жалобах на судьбу, на самого себя» («Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. Les Consolations, poésies par Sainte Beuve»<sup>62</sup>, 1831).

От поэта не стоит ждать благочестия, поэзия не благочестием живет, а всюю полнотою человеческого. В пушкинском «Поэте» Аполлон «гребует» героя «к священной жертве» — задумаемся над привычными словами: о какой жертве идет речь? Кажется, ответ на этот вопрос можно найти в «Пророке»: «И вырвал грешный мой язык, / И празднословный и лукавый...», «И он мне грудь рассек мечом, / И сердце трепетное вынул...», «Как труп в пустыне я лежал». По требованию свыше на жертвенный алтарь искусства приносится все живое, личное, человеческое — «сердце трепетное». Все это сгорает в процессе творчества, превращаясь в универсальное, прекрасное, вечное. Жизнь умирает в художнике, чтобы дать жизнь поэзии.

<sup>57</sup> Там же, стр. 276.

<sup>58</sup> Вышеславцев Б. П., «Вольность Пушкина (Индивидуальная свобода)» «О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья». М. 1990, стр. 400).

<sup>59</sup> Бердяев Н. А. О назначении человека, стр. 120.

<sup>60</sup> «Утешения» (франц.).

<sup>61</sup> Будем религиозными, будем политиками... будем сумасбродами (франц.).

<sup>62</sup> «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма. Утешения. Стихотворения Сент-Бёва» (франц.).

Тема горения, сгорания в поэтическом огне звучит у поэтов разных времен — вновь перед нами метафора, отражающая некоторую духовную реальность в деле творчества. Приведем лишь один пример. Размышляя о стихах А. А. Ахматовой «Тяжела ты, любовная память! / Мне в дыму твоём петь и гореть...», В. Ф. Ходасевич писал: «...здесь с совершенной точностью определено отношение жизни поэта к его творчеству, „человека“ к „художнику“». Человек сгорает в пламени своего переживания, — в данном случае, у Ахматовой, это переживание есть любовь; оно может быть иным, но, каково бы ни было по существу, соотношение останется тем же: внутреннее сгорание — и „песня“ как его результат. „Священная жертва“ его — он сам. Сам над собою заносит он жертвенный нож и знает, что если ему не „гореть“, то и не „петь“» («Бесславная слава», 1918)<sup>63</sup>. Ходасевич не случайно опирается на Пушкина в своих рассуждениях — Пушкин являет собою чистый пример полного сгорания и преображения чувств в творческих созданиях. «Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать»<sup>64</sup>. Обратим внимание на найденные Гоголем слова: сгорают «вещества» — остается «благоуханье», в человеке сгорает здешнее — в поэзии остается духовное и восходит к Небесам, как дым от алтаря.

Но жертва приносится не единожды, она требуется от поэта каждый раз, составляет содержание творческого процесса в каждый его отдельный момент. Это и есть поэтический труд, второй элемент пушкинской «двусоставной формулы творчества»<sup>65</sup> — «труд и вдохновенье». Слово «труд» у Пушкина часто прилагается к делу поэта, этот труд — его ответ на Божий зов, его усилие навстречу вдохновению. Работая над стихом, художник работает над своей душой, стремясь к художественному совершенству, он силою духа претворяет душевный хаос в гармоничное поэтическое создание и тем преображается сам. Творчество, если оно всерьез, есть напряженное самоуглубленное духовное делание, соответствующее традиционным формам религиозной жизни — молитве, посту, исповеди, причастию. Не об этом ли знаменитое стихотворение Е. А. Баратынского, построенное на основных религиозных понятиях:

Болящий дух врачует песнопенье.  
Гармонии таинственная власть  
Тяжелое искупит заблужденье  
И укротит бунтующую страсть.  
Душа певца, согласно излитая,  
Разрешена от всех своих скорбей;  
И чистоту поэзия святая  
И мир отдаст причастице своей.

\* \* \*

Пушкин не раз называл дело поэта подвигом. Это слово объемлет собой те усилия и жертвы, которых требует «служенье муз», оно выражает в пределе форму, способ служения поэта, обреченного на полную самоотдачу. Как видим, Пушкин закрепил свою цельную философию творчества в раз найденных и затем повторяемых ключевых словах — наиболее важные из них собраны вместе в заметке на выход Гнедичева перевода «Илиады»: «...когда поэзия не есть благоговейное служение, но только легкомысленное занятие: с чувством глубоким уважения и благодарностизираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительно труду, бескорыстным вдохновением, и совершению единого, высокого подвига» («Илиада Гомерова...», 1830). Выделенные нами слова фиксируют самое существенное для Пушкина в деле поэта: «благоговейное служение» — суть поэтического призвания, «вдохновение» — Божие присутствие, без которого невозможно творчество, «труд» — встречные усилия художника, «высокий подвиг» — качественная мера этих усилий.

<sup>63</sup> Ходасевич В. Л. Колеблемый треножник. Избранное. М. 1991, стр. 516.

<sup>64</sup> Гоголь Н. В. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность. (Собрание сочинений в семи томах, т. 6, стр. 346).

<sup>65</sup> Определение С. Г. Бочарова (см. «Вопросы литературы», 1990, № 2, стр. 193).

В творческом подвиге поэта, в его самоотвержении и самораспятии есть нечто подобное аскетическому подвигу. Этим оправдано дерзкое соположение путей гениальности и святости, предложенное Бердяевым. В книге «Смысл творчества» он обратил внимание на то, что Пушкин и Серафим Саровский, будучи современниками, «жили в разных мирах» и ни разу не соприкоснулись. Но с точки зрения религиозного делания, по мнению Бердяева, их пути сравнимы: «Для божественных целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима»<sup>66</sup>. Бердяевское сопоставление шокировало многих и при этом было подхвачено, развито другими религиозными мыслителями<sup>67</sup>. Можно иначе, чем Бердяев, смотреть на соотношение этих путей, но почва для сопоставления, несомненно, есть. Гений в творчестве искупает свою грешную природу, осуществляет в полноте Божий замысел о себе, служит спасению мира.

Гоголь приписал Пушкину значимую фразу: «Слова поэта суть уже его дела»<sup>68</sup>. Не будем сейчас углубляться в трудноразрешимый вопрос, кому она принадлежит в действительности; так или иначе, в ней оформлена мысль о высшей ответственности поэта за слово, принимающее характер деяния. Словом поэт предстоит перед Богом, словом отвечает за дар жизни, и в слове стоит искать суть и разгадку его судьбы. Человек в поэте растворен, не существует вне творчества и не может быть судим в отрыве от творчества. Режет слух нашумевшая статья Вл. Соловьева «Судьба Пушкина», в которой Пушкину-человеку предъявлены серьезные обвинения с позиций христианской морали. Прежде всего поражает (и тогда поразила многих) какая-то непонятная, не свойственная Соловьеву нравственная глухота в «разборе строгом» вредуэльного и двульного поведения Пушкина. «И как было не войти в мир той взволнованности, того смятения чувств, которое пережил поэт...» — отвечал ему В. В. Розанов<sup>69</sup>. Но главное даже не это. Главное — суд над Пушкиным в отрыве от того, что, собственно, и есть Пушкин, в искусственном отсоединении человека от поэта. Мы вовсе не призываем оправдать, узаконить имморализм художника — и все же хочется вспомнить пушкинское «он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе» (письмо П. А. Вяземскому, ноябрь 1825 года). Поэт живет и н а ч е, и в его судьбе действует другая сотериология — сотериология творчества. Душа поэта неотделима от «заветной лиры» — через нее и приобщается к жизни вечной.

\* \* \*

Герой «Пророка», преображенный, наделенный даром тайнозрения и тайнослышания, отправлен высшим повелением в мир, к людям. Как религиозный путь, творчество в равной мере устремлено внутрь и вовне, в глубь собственной души и в мир. Что несет художник миру? Как влияет на него? Каковы мера и граница этого влечения? При обсуждении проблем творчества в философских дискуссиях начала XX века этот вопрос коснулся и Пушкина: к нему было применено понятие теургии — религиозного творчества, создающего новое бытие, продолжающего божественное дело миротворения<sup>70</sup>. Трудно представить себе что-либо более чужеродное Пушкину, чем это понятие, выдвинутое Соловьевым и развитое символическими. У Пушкина совершенно не было дерзания за рамки искусства, равно как и бегства dahin, столь характерного для романтического сознания в его разных исторических формах. Пушкинская поэтическая религиозность основана не на дуализме земного и небесного, как у романтиков и символистов, а на любви к этому миру, в котором он видел отблеск высшей Красоты, печать высшей Истины — и открывал свое видение средствами поэзии. Такое видение Бога в мире представляет собой более глубокое и органичное религиозное мироощущение, чем романтическая тоска по идеалу, чем порыв за пределы этого мира, свидетельствующий об уже утраченной связи художника с источником жизни.

Пушкин не от земли рвался к Небу, а Небо сводил на землю. Вспомним еще раз Белинского: «В поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля».

<sup>66</sup> Бердяев Н. Смысл творчества, стр. 206.

<sup>67</sup> См., напр.: Федотов Г. П., «Святость и творчество» («Новый Град», 1936, № 11); Ильин В. Н., «Гений и святой в их творческой и житейской судьбе» («Вестник Русского Студенческого Христианского Движения», 1952, № 2).

<sup>68</sup> Гоголь Н. В. О том, что такое слово (Собрание сочинений в семи томах, т. 6, стр. 197).

<sup>69</sup> Розанов В. В., «Христианство пассивно или активно?» (Розанов В. В. Религия и культура. М. 1990, стр. 197).

<sup>70</sup> См.: Иванов Вяч. Заветы символизма (Собрание сочинений, т. 2, стр. 595).

Белинский кажется нам более точным, чем Розанов, писавший, что Пушкин пришел «полюбить эту прекрасную землю и <...> скорее вознести ее к небу»<sup>71</sup>, но при видимой противоположности они, по сути, говорят об одном и том же: у Пушкина Бог живет в мире и открывается поэту в человеческой душе, истории, природе, в каждой детали творения. Поэтому в пушкинском мире нет иерархии, в нем все предметы «равно исполнены поэзии»<sup>72</sup>, или одухотворены, если мыслить в понятиях религиозных. Не зря Пушкин настаивал на праве поэта нисходить долу в творчестве, избирать любые, в том числе и «низкие», предметы для своих вдохновений — наиболее отчетливо это выражено в программном отрывке «Поэт идет — открыты вежды...» (1835). За нисходящей динамикой этих стихов о творческой свободе стоит кенотическое самоумаление поэта перед лицом мира, в котором «Дух дышит, где хочет», — обыкновенно это именуют реализмом. Именно реалистическое искусство несет в себе особые религиозные возможности, так как художник в нем не пытается подменить открытие высшей Реальности в мире своим субъективным дерзанием<sup>73</sup>.

Прежде всего через красоту открывалась Пушкину высшая Реальность, религиозное восприятие красоты составляет основу его художественного мировидения — в этом сходятся все серьезные исследователи нашей проблемы<sup>74</sup>. Пушкин религиозно поклонялся красоте в ее различных формах; «благоговевя богомольно перед святыней красоты», он не разделял сакральное и эстетическое, слово «божественный» часто было у него синонимом «прекрасного», а слово «прелесть» в эстетическом значении применено к Евангелию<sup>75</sup> («„Об обязанностях человека“. Сочинение Сильвио Пеллико», 1836). Неразделимость красоты и святости имеет свое символическое воплощение в лирике Пушкина — это тема и образ Мадонны в балладе «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829, 1835) и в сонете «Мадона» (1830)<sup>76</sup>.

Красота — превыше всего в пушкинском мире, гармония у него — «выше мира и страстей» и «поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело». «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона» (маргиналии на статье П. А. Вяземского о В. А. Озерове, 1825—1827) — важно правильно понять это выразительное пушкинское высказывание. Поэзии противопоставлен морализм, «цель искусства есть и д е а л, а не н р а в о у ч е н и е», но воплощенный идеал обладает спасительной и очистительной нравственной силой, пробуждает «чувства добрые». Как писал Вл. Соловьев, «красота сама по себе, по самому существу своему, по внутренней природе своей, есть о щ у т и т е л ь н а я форма истины и добра»<sup>77</sup>.

Пушкин наделен был даром гениального прозрения и воплощения Красоты, определившим его судьбу, его путь поэта. Искусство в Пушкине остается искусством — религиозным по своей природе и сути, но не совпадающим с конфессиональными путями. Взгляд на Пушкина дает нам возможность представить пути искусства и религии как две параллели, устремленные к общей точке в ином, неземном измерении.

*От редакции. «Новый мир», и прежде охотно уделявший внимание пушкинской теме, с 1994 года будет обращаться к ней систематически, соучаствуя таким образом в подготовке к 200-летию поэта. В одном из ближайших номеров будет опубликована статья Ольги Муравьевой «„Вражды бессмысленный позор...“ (Ода „Клеветникам России“ в оценках современников)».*

<sup>71</sup> Розанов В. В., «О Пушкинской Академии» («Пушкин в русской философской критике», стр. 178).

<sup>72</sup> Б е л и н с к и й В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая (Собрание сочинений в трех томах, т. 3, стр. 396).

<sup>73</sup> Об этом см.: Соловьев В. С., «Три речи в память Достоевского» (Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика, стр. 231—232); И в а н о в В я ч. Две стихии в современном символизме (Собрание сочинений, т. 2).

<sup>74</sup> См.: Иванов Вяч., «Два маяка»; Булгаков С., «Жребий Пушкина»; Франк С. Л., «Религиозность Пушкина» («Пушкин в русской философской критике», стр. 252, 280, 391—392).

<sup>75</sup> То же и у Лермонтова — «святая прелесть» молитвы.

<sup>76</sup> Подробно см. в нашей книге «Жил на свете рыцарь бедный...» (М. 1990).

<sup>77</sup> Соловьев В. С., «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика, стр. 348).

---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## ДОМ, ГДЕ СКЛЕИВАЮТ СЕРДЦА

**К**уда ни взгляну, по казенной, личной ли надобности, только и толков что о Шишкине. Об его пространным, историческом — без исторического героя! — романе «Всех ожидает одна ночь».

В «Знамени», где напечатали.

В «Общей газете», где хотят рецензировать, в срочном порядке, вне очереди, отодвинув «букерят».

В издательстве «Слово» («Slovo»), где подготовлен (уже!) однотомничек вчера еще никому не известного, молодого, тридцатилетнего, автора.

И везде, с пристрастием, спрашивают: читала? Читала, отвечаю, и не сейчас, давненько. (Прежде чем зацепиться и осесть в «Знамени», фолиант сей долго бродил по редакциям. Побывал и в «Согласии», и пока там колебались да прикидывали, раздосадованный отсутствием энтузиазма, М. Шишкин рукопись «увел».)

Не вызвала у меня восторга шишкинская стилизация «под девятнадцатый век» и при повторном чтении. И не потому, что стилизация. Тут я ни с Есениным: «словесная мертвенность», — ни с Владимиром Турбиным: «словесное и нравственное чудо XX века», — не согласна. Стилизация, то бишь воспроизведение иной, не своей эпохи способом подражания ее «словесной походке», — чем бы ни вызывался «заказ» на нее: приливом или упадком литературных сил, — требует и виртуозного владения приемом, и абсолютного слуха.

Ни тем, ни другим Михаил Шишкин, при всей его — несомненной — одаренности, не обладает. В эпизодах описательных (аракчеевские военные поселения, холера в Казани, домашний быт русских помещиков средней руки и т. д. и т. п.) он еще (художественно) держит фасон и среднюю линию. Но как только в романном пространстве, обставленном по моде миновавшего века, появляются населенцы, текст начинает дребезжать, подпрыгивая на бульжниках и колдобинах «новояза». Про своего ротного, к примеру, герой-повествователь сообщает, что тот *обещание* сделать из первогодков Дворянского полка хороших солдат *«претворял в жизнь с помощью карцера»*, а про батальонного, полковника из малороссии, замечает, что был он *«невероятный заика»*, *«страшно заикался»*, *«ужасно стеснялся этого своего недостатка»*, зато на плацу чувствовал себя *«как птица в полете»* и часами *«упоением»* командовал «экзерсисами»...

Согласитесь, золотая половина девятнадцатого века на таком бедном, запштампованном бытовом русском не изъяснялась.

Но почему же я все листаю и листаю дважды читанный роман, это литературное сочинение, столь похожее на литературу, что можно спутать? Эпизод за эпизодом перечитываю и никак не могу отделаться от мысли, что неожиданный (для меня) успех Михаила Шишкина — явление, в своем роде, замечательное, что в этом тексте, в художественном отношении почти заурядном, содержится тем не менее какой-то чрезвычайно важный не литературный смысл современного обращения к историческому материалу.

Да, мы явно охладели к урокам отечественной истории. Так явно, что даже Вл. Маканин, самый историчный из летописцев империи периода упадка, заявляет без всякого сожаления: «Истории скажите бай-бай». Ему вторит Владимир Потапов, с не меньшей категоричностью: не люблю-де уроков истории и хотел бы жить вне ее.

И это, убеждена, — не их, одно на двоих, лично-капризно-поперечное мнение. Документально-исторический бум, забивший и наши умы, и наши книжные полки блистательной исторической документалистикой, вдруг, в одночасье, не то чтоб иссяк (свидетельства очевидцев продолжают издаваться и пользуются спросом,



правда, лишь в узком полупрофессиональном кругу) — но как бы сам сдвинулся в книжный угол.

Может, мы попросту переели? Отпробовав от всех блюд разом? Сегодня на завтрак — Деникин, на обед — Амальрик с Распутиным, на полдник — дневники Николая Романова, на ужин, допустим, двойной Авторханов. А назавтра — полная перемена блюд и даже кухни.

Объелись и заработали индигестию?

Не без этого, думаю. Но и не только поэтому. Вот ведь даже от вождя, долгожданного «Красного Колеса» и то отворачиваемся, хотя Солженицын, словно предчувствуя трудности «пищеварения» (после полувековой строгой диеты), за нас, для нас — самое трудное для усвоения самолично «пережевал», садаптировал, неважное от важного отделив. Кушайте, господа хорошие, пищу для размышлений!

Не кушаем, ковыряемся, давимся, и где это наши вчерашние аппетиты разгуливают? Да мы, сдается, и самого Александра Исаевича — за необходимость сдавать экстерн-экзамен по новейшей русской истории по его «Колесу» — невзлюбили! Дескать, только прикидывался хлебосолом, а на самом-то деле — Учитель истории, гневный, настырный, вскидчивый, в одной руке указка, а на ней полатыни — теа суфра, а в другой плетка-семихвостка и на рукоятке — тот же девиз угрожающий. Да и зачем нам, скажите на милость, солженицынский Учебник по У з л а м шгудировать? Если и так, без него, знаем: сами, сами во всем виноваты, без вины, с виной, но ответственные. Своими руками разрушили и пожгли-растасили, в прах обратили и прах отрясли!.. И про то, что письма, отправленные-неотправленные, из всех веков прежних: бронзового-золотого-серебряного, — в наш, железобетонный, не нам писаны, — догадались!

Но различив историю — как урок и опыт, мы тут же влюбились, нежно, страстно, самозабвенно, в о о б щ е в П р о ш л о е, Б ы л о е, н е т е п е р е ш н е е, а пуще всего в вещественные доказательства его существования. Лихорадочно роюсь в отсутствующих родословиях: а нет ли среди отдаленных предков персоны не подлого званья? Даже Рудкой, вице, говорят, обнаружил, что по происхождению он — боярин! И по пепелищам чуть ли не ползаем — собираем осколки, останки... Не попадется ли ложечка-вилочка с подходящей — «фамильной» — монограммой?.. Бешеные деньги за антиквариат выкладываем, не торгуясь, не за музейные шедевры, как в годы былые, — за вещи, вещицы, предметы разоренных домашних очагов. И склеиваем черепки, и храним, и любуемся. Не вещицы они — для нас! — а пенаты, божи домашние, вид вещи принявшие. И смотрим с надеждой, и оглаживаем — сердцем: это надо же — прочнее, вернее, надежней и людей сгинувших, и идей, без вести пропавших...

Конечно, и прежде случалось подобное. На нынешнюю нашу влюбленность в красу былого похожее, не совсем, нет, но все-таки сопоставимое.

Год 1969. Андрон Михалков-Кончаловский. «Дворянское гнездо». С юной Ириной Купченко и еще молодой-молодой Беатой Тышкевич. Ах, как все это было красиво! Даже в разоре и запустении! И как мерцало-светилось! Сквозь слезы на глазах и сквозь туман души... А сердце-то как щемило от узнаванья-приятности: далекое — да, но и близкое, а уж родное какое!

И длилось сие романтическое, платоническое, с восторгами, любование Об-разом, весьма, кстати, необременительное, довольно долго. Пожалуй, до начала 80-х, когда поворот к классике и вообще всякий полуоборот назад приобрел оттенок слабо выраженного диссидентского синдрома.

Любители зрелищ фрондировали, осаждая Театр Пикуля.

Публика потоньше переместилась сердцем в сельцо Михайловское. Семен Гейченко на этой волне на берегах Сороти гостевой дворец возвел — истинно имперских, н е в с к и х, объемов строенье: во-о-от такой широты, во-о-от такой высоты!

Ну а труженики пера, те мысленно переместились в кабинеты высоких своих собеседников. При свечах и огне каминном — чувств и мыслей размен. Рубль неразменный — в копилку-шкатулку, а медную мелочь — в издательство «Книга». Авторы серии «Писатели о писателях». Достославные путешественники в область истины... И то, что странствия эти, за немногими исключениями, были, увы,

путешествиями дилетантов, никого не смущало. Все, мол, идущие и плывущие заблуждаются, но ведь что-нибудь и открывают!..

Короче, каждый ловил свой кайф и уют.

Пятилетка гласности от углых уютов и щепочки не оставила. Пять долгих лет мы не жили, а давали показания на Судае Истории. То как свидетели, то как обвиняемые. Поначалу с яростью и в охотку. Ярость, однако, вскорости выдохлась и охотка тоже прошла.

А что теперь?

А что потом?

Вроде как жизнь жить надобно?

Но

чтобы жить —

не надо вспоминать?

И вообще: разве э т о жизнь, а?

Владимир Маканин со свойственной ему жесткостью предложил вот какой эскиз к портрету нашего нынешнего гражданского состояния:

«Слова уплощены, необъемны идеи. Все характеристики жизни (зато!) наверху... Жилье, Еда, Одежда и единица их измерения Деньги — вот что нас волнует, тесня одну за другой как былые, так и новые наши идеи» («Квази»).

И далее там же:

«Русские обрели наконец быстро движущуюся поверхность жизни. Русские обрели безобъемную меру. А с ней и известную горечь (ах, где она — наша глубина!)».

Верен ли сей портрет и диагноз?

И да, и нет. Потому как удержаться на быстро движущейся поверхности «новой жизни» сумеют наверняка немногие — ну разве что те, кого мы уклончиво именуем «новыми русскими». А остальные, побарахтавшись, — соскользнут. Некоторые уже соскользнули. А соскользнув — приготовились к бегству. Вот тут-то и подоспел-подвернулся Михаил Шишкин со своим целительным, душеспасительным, психотерапевтическим вариантом! Переделал музей отечественной истории в уютно-убежище для беженцев.

Без проклятых русских вопросов.

Без героев и пророков.

Без славы, кровью купленной.

Словом, в дом, из которого господ-хозяева (бывшие) не выгонят нас (новых бывших) взащей. Дом, в котором можно просто жить. И прожить свою отдельную, частную жизнь. Счастливую ли, несчастную — это уж как повезет, как на роду написано. Рядом с Большой Историей. Но — вне ее.

Алла МАРЧЕНКО.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Предварительные итоги XX века

МАРИНА НОВИКОВА

\*

### МАРГИНАЛЫ

**Р**ассынается Россия.

На куски, на клочья, на лоскутья. Территориально, политически, национально, культурно. Раскаляются ее границы, и не только с иными государствами, а и внутренние. Вологда шалит, Урал грозит, Сибирь бунтует. На «пограничье» (по песне М. Исаковского) беспокойно. Да и социальные маргиналы, «люди околицы», «пограничья», вчерашние люмпены и изгои литературы, заняли в ней чуть ли не ведущее место.

Во времена холодной войны излюбленным полужупелом-полушуткой западной прессы был крик: «Русские идут!» Теперь в пору россиянам и русской литературе нешуточно закричать: «Маргиналы идут!»

А если не кричать? Если испытать это явление на анализ? И вместо публицистической жестикюляции попытаться построить — хотя бы контурно — историко-культурную модель? Модель-то может пригодиться и для прогноза на будущее, а жестикюляция — разве что для истерики.

Давным-давно, когда не было ни Советского Союза, ни Российской Федерации, ни Российской империи, ни Украинского гетманата, ни Великого княжества Литовского, ни Киевской Руси, слагалась одна из древнейших оппозиций общемировой культуры. Она, эта оппозиция, старше пирамид и зиккуратов — и она же стреляет ныне из «стингеров» и «калашниковых» по всему потрясенному белу свету. **С в о й — ч у ж о й.**

Самый алфавит «человеческого», стержень будущих мифов и ритуалов, нащупывался и оформлялся через отмежевание космоса (понимаемого как «свой» мир) от хаоса (истолковываемого как «внемир» или иномирие, «чужой» мир). Человек — это лишь «свой» человек; всякий иной — нечеловек или недочеловек. С этим исконно языческим стереотипом мы столкнемся в мириадах перипетий последующей истории.

Что общего, скажем, у этнонимов «алеут», «ненец», «эвенк», «мордва», у самоназвания чеченцев «нах», у многих иных самоназваний народов, племен, этносов? Общее — что все они переводятся идентично: «человек» («люди»). Название «своих» и есть «звучащее гордо» имя Человека вообще. Тогда, значит, верно и обратное? Разумеется. Не только у восточных славян жители Германии сделались «немцами», «немыми» (ибо не разумели «нашего», «человеческого» языка и не умели говорить «по-человечески»). Пойдем, вопреки остороженью К. Чуковского, погулять в Африку, а там Гвинея — а что такое Гвинея? Это (по данным современных лингвистов) искаженное европейцами берберское слово «немые». Кто же тут-то, у берберов, «немцы»? А все те же: иноплеменные соседи, чернокожие южане, которые в берберском ни бербера не смыслили.

Оно бы и смеяться, да смех получается вполрта. Ибо вот свежие газеты — украинские, белорусские, прибалтийских государств. С неизменно повторяемым эпизодом из недавних лет: как слышали «местные» в трамвае (троллейбусе, автобусе и т. д.) один и тот же возглас «мигрантов»: «Да говорите же вы по-человечески!..»

Горько? Еще бы. А немцам про «немцев» слышать? А негрекам от античных греков — «гугнявые» («варвары»)? А неграм от берберов? А...

Довольно. Ситуация ясна. Горько, оскорбительно, унизительно — и «нормально», «естественно», простоудно. Одно дело про «нас» — и другое про «них».

Слышать такое о себе, «человеке», члене своего народа, — или говорить о нем себе, «не совсем человеке» «не совсем народа» (вариант: с о в с е м не народа). А кого же? Да просто аморфных «варваров».

Сколько лет проходят русские школьники «Грозу» А. Островского. Многим ли из них удалось услышать от учителя ответ (или хотя бы задать самим себе вопрос), отчего это волжская странница Феклуша так диковинно представляет себе зарубежье? «В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они... надо всеми людьми, и что ни судят они, все неправильно. И не могут они... ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен...» Ну, старушка темная; сама, «по своей немощи, далеко не ходила»; рассказы пересказывает баснословные; но отчего рассказы-то именно т а к о в ы?

Не надо навешивать на старушку русский шовинизм. У старушки есть, между прочим, иностранные единомышленники, и весьма внушительные. Отец греческой истории Геродот, к примеру. И у него за границами античной ойкумены народы обитают какие-то нечеловеческие: аримаспы с одним глазом, птицеподобные грифы и так далее в том же духе. И все воюют друг с другом. Да и Гомер поселил в «зарубежье» одноглазых циклопов, а уж им-то сам Зевс велел быть «неправильными» и «неправедными»: они не знают ни законов, ни ремесел, ни земледелия, едят сырое мясо и даже пожирают людей. Или слагатели и перелазатели иранского эпоса (в их ряду — великий Фирдоуси). Кем были для них цари туранцев (прототюрков)? Злыми колдунами, вероломными агрессорами, земными служителями владыки мрака и лжи, повелителя преисподней Ахримана. Даже Ветхий Завет (уникальный феномен мировой религии, сохранившей в себе немало, притом сердцевинное, от религии родоплеменной) полон инвектив против «чужих»: нечестивых и злоречивых — огненных ветхозаветных эпитетов не исчерпать. «Чужому» нет места в «завете» (союзе) Человека с Божеством, а стало быть, нет места в перспективе Священной истории.

Черта оседлости, межевая полоса, «чур», через который нельзя перепрыгнуть «чужому», агенту Хаоса и резиденту Зла, метят собой весь исторический путь человечества. Тут мы все, от семитов до квакутлей, от «имперских» до «порабощенных» народов, близнецы-братья. Возможности, пределы и способы ужесточения границ у разных народов и культур в различные периоды были неодинаковы. Но без этой черты между «нами» и «не нами» ни один народ и ни одна культура не существовали.

Человечество начинало с границы. Но и — с великой символики Центра.

Когда она сложилась, не могут с точностью ответить даже археологи и палеоантропологи. Богословие утверждает: «от центра» начиналась не только история человека, не только его культура, но и «физика» нашей вселенной. В до-времени и до-пространстве «того света» (мифологического рая) все было во всем и все было в единении с центром — в Боге. Летние 1993 года телевизионные проповеди еп. Василия (Родзянко) подробно развивали эту мысль.

Не стану углубляться в богословие, но в земной истории и культуре возникновение символики центра — самого влиятельного и с в я щ е н н о г о места Космоса — резко перестроило символику границы. Центр стал не самым «своим» местом: тут как раз все не так-то просто. Если центр — средоточие сакрального и «божественного», то запросто в нем не пропишешься. Допуск в него — даже для язычества — требовал невероятных усилий: подвига героя, «исступления» пророка, аскезы посвящаемого, отрешенности мудреца. Для христианства же слияние с таким центром «по сю сторону» жизни вообще достижимо лишь «в духе».

Однако священность центра так или иначе сделала профанной, «бесчудесной» именно границу. И человека границы, маргинала. Маргинал оказался не просто чужим, но и словно бы «не вполне реальным», «не совсем существующим», а отсюда уж этически «нечистым» — по той простой причине, что благодатная аура центра до него не доходит или доходит слабо.

Когда сегодня жители краев и окраин России жалуются даже не на скверное финансирование, а на общее пренебрежение «верхов», «центра» (знаменательно совмещение этих понятий!) к ним, «периферии», они вряд ли вспоминают, что они не первые. И что это не «русский» и даже не «имперский» синдром. Из Назарета может ли быть что-то доброе? — спрашивали иудейской поговоркой, слышав о некоем проповеднике из захолустья (который окажется Иисусом Христом). Из-под города Мурома, из села Карачарово может ли явиться рыцарь-богатырь? — насмешничает двор Владимира Красна Солнышка при виде нового лица, «деревенщины» (который зовется Ильей Муромцем).

Соответственно — через эпохи и века — реагировала «окраина». Чтобы не ощущать себя неполноценной, «недействительной», она стремилась оформить себя в политике, в религиозной жизни, в культуре, в литературе не как «край», а как самостоятельная «малая вселенная». Со своим центром, своим и святынями и ценностями. Новгород именно так противопоставлял себя Киеву, Тверь — Москве, Сибирь — Центральной России. Центр же «маргиналы» склонны были рассматривать как «чужой», или «самозванный», или утративший былую священную силу, отживший свое. Словом, как псевдоцентр.

Вот красочная картинка X века. Официальная делегация от германского императора (Священной Римской империи) прибывает в столицу Византии. Византийцы демонстрируют «варварам» весь блеск державы ромеев — прямой наследницы античных Афин и Рима и в то же время оплота христианского мира. Это — с и х точки зрения.

А хронист германцев, Лиутпранд, со своей точки зрения пишет, так сказать, отчет о командировке. И не щадит красноречия и сарказма, повествуя о никчемности, нищете и старческой мании величия константинопольского двора. В резиденции, отведенной послам, дуют сквозняки! Император является перед подданными в пышной процессии, но в каких-то роскошных обносках: то в одеянии, «от долгого употребления зловонном», то «взятом с плеча предшественника». А на язвительный укол главы Священной Римской империи: «Вы не римляне, а лангобарды» (читай: варвары и провинциалы) — посол парирует: а мыде, лангобарды, саксы, франки, лотаринги, бавары, швабы, бургундцы, так презираем римлян, что нет у нас крепче ругательства, чем «римлянин»...

Однако — прошу читательского внимания — не это главное. Главное — точка отсчета. Германский двор. Германский государь. Германская (мы бы сказали) «цивилизация» — истинная, а не мнимая опора и вершина христианского мира. Словом, если столица германцев еще не претендует на звание третьего Рима, то уж сами-то германцы безусловно ощущают себя не «третьими» римлянами, даже не «вторыми» (как ромей, откуда и название их), а п е р в ы м и — сильными и, основное, блистательно цивилизованными «сыновьями» рядом с безнадежно «промотавшимся отцом» — Константинополем.

Чем показателен этот эпизод для нашей темы? Конечно, наложение убийственного. Так (именно так, заверяю) сегодня докладывают делегации и депутаты из ближнего зарубежья своим руководителям о поездках в Москву. В том числе (или в особенности) делегации писательские, да и вообще культурные. Достаточно пролистать подшивки республиканских литературных газет периода последней — столь красноречиво не состоявшейся — попытки собрать какой-никакой съезд каких-никаких писателей из какого-никакого, но все го б ы в ш е г о СССР.

Однако это на поверхности лежащая «злоба дня». А злоба дня никогда не бывает истиной во всей ее полноте. Истина же в этой сшибке «маргиналов» и «метрополийцев» была в том, что и те и другие очутились в положении собеседников из старого еврейского анекдота. Каждому из них история могла бы сказать одинаково: и ты тоже прав.

Франция, как и Германия, как и вся средневековая, новая и новейшая Западная Европа, просто не с о с т о я л а с ь б ы без Византии. Хотя бы по одной причине: Европа восточнославянская только после принятия христианства (а приняла она его из Византии) получила новую систему ценностей. В свою очередь именно ради спасения этой новой системы ценностей она и встала щитом, перегородившим «нашествие иноплеменных» с Востока. При всех частных интересах битва шла не за что-либо иное, а за «святую Русь», понимаемую в едином для восточного славянства смысле.

Но и византийское духовное и культурное наследие погибло бы без своих «маргиналов». Ведь погибла же сама Византия как государство. В чем, кстати, восточнославянские православные мыслители усматривали не «конец света» (пускай света христианского), а конец только, и именно, одного государства. Причем конец, попущенный свыше как раз за вырождение духовного сознания византийцев — не только «верхних» политиков, но и «масс». С другой же стороны, конец этот рассматривался как н а ч а л о нового этапа православия, а в дальнейшем и европейской истории. И в недрах этого «Нового Света» лелеялось сверженное византийское духовное ядро. Мало того: только при наличии этого «Нового (маргинального еще совсем недавно) Света» получала надежду на державное и национально-культурное воскресение дочь Византии — Греция.

Маргинал всегда вторгается на историческую авансцену в «сезон циклонов»: при потрясениях духовной атмосферы, перепадах бытийных температур. Однако бывают маргиналы, перемещающие центр. Они как западный ветер в оде Шелли, «крушитель и хранитель». Круто меняя видимые адреса и формы священного центра, они на самом деле заново утверждают и укрепляют его полномощное переживание. И тем самым сохраняют сверхсмыслы, сверхценности, сверхцели земного бытия.

Бывают иные маргиналы — крушащие, чтобы крушить. Посягающие на сам этот центр, чтобы то ли «присвоить» его, то ли вообще «отменить».

Иван Грозный и его царство метят собой конец русского средневековья — и сразу на сцену политическую вырываются маргиналы-опричники, а на сцену литературную через некоторое время выходит «Повесть о Горе-Злочастии». Б. Успенский замечательно откомментировал самый термин «опричники» («кромешники»). Возник он, конечно же, как обозначение «людей ниоткуда», сделавших карьеру о п р и ч ь, к р о м е традиционной земщины. Но (напоминает Б. Успенский) опричник, «кромешник», — это, по народной этимологии, еще и фигура из «кромешного», геенского пространства (ср. «а д к р о м е ш н ы й»)<sup>1</sup>. Иначе говоря, для благочестивого средневекового человека опричник вынырнул из какого-то жуткого *анти*пространства или даже *вне*пространства: из хаоса. Отсюда дьявольские хари-личины опричников, их скоморошьи ухватки, их нравственный, религиозный, политический запредел. Отсюда же и апогей Хаоса («ада кромешного»): жгучая потребность в к о щ у н с т в е.

Когда Иван Грозный со своей новой «политической командой» плясал на пиру под срамные песни в подобию монашеских головных уборов, современники ужасались, но едва ли удивлялись. Так оно и должно было быть. Сатана — лишь пародия на Вседержителя; его ритуалы могут быть лишь «богослужением навыворот»; зло не имеет собственного лика и бытия — оно ворует их у добра и перелицовывает. Пушкин и вывел опричника в образе прежде всего кощунника (стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий...»). Пушкинский «кромешник» даже если скачет на любовное свиданье, так непременно под виселицей. Под трупом одного из тех, кого одни слуги грозного царя топтали копытами, а другие потом сажали на кол, варили в смоле или вешали... Конь опричника и тот сопротивляется, не смеет проскакать «в столбы»; человек наслаждается именно поприемом святынь. Притом сразу двух вечных святынь бытия: любви и смерти.

И практически в ту же (по большому историческому счету) пору, лишь немногим позднее (XVII век), возникает «Повесть о Горе-Злочастии». Повесть, где весь «безумный, безумный, безумный мир» увиден и оценен как сплошная маргинальность, тоскливый и бесприютный Хаос, владения демонического Горя. Спаситесь от него можно лишь в монастыре. А инок всегда уподоблялся в христианстве умершему «для мира сего»; постриг, монашеская одежда повторяли обряд погребения и особое, «неземное», одеяние мертвеца.

Так выстраивается модель «перестройки» наших дальних пращуров. На одном полюсе — кощунство: антисвятость как святость, «кромешность» как высший сан, «запредел», вползший в самую сердцевину мира. На другом — спасение «за пределами» всего «своего», привычного, земного. Обыкновенное жите-бытие становится невозможным. Центр, духовная опора в с я к о й культуры, занят «кромешниками». И тогда этот священный центр (подобно граду Китежу) уходит на окраины. К а к б ы исчезает. Зато соответственно теперь он не спокойно задан человеку, а мучительно человеком взыскуем.

Недаром сюжет о маргиналах-опричниках и об их царе так пришелся ко двору другого маргинала. Семинариста-недоучки, сделавшего атеизм государственной религией. «Не совсем грузина», сперва объявившего бой «национал-уклонистам» и под этим лозунгом истребившего цвет и грузинской, и всякой иной интеллигенции всех республик СССР, а затем, начиная с Великой Отечественной, попытавшегося обвенчать «новую державность» (ср. военное и послевоенное возрождение государственной символики и атрибутики: орденов, знаков отличия, мундиров, парадов) с «новым русским патриотизмом». Оно и не диво. Маргинал более всего лынет к системе, которую сам же и взрывает. И льстят ему паче всего старые символы и эмблемы, которые он же — но сначала, только сначала! — ниспровергал.

<sup>1</sup> Успенский Б. А., «Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен» (в сб.: «Художественный язык средневековья». М. 1982, стр. 213).

А что же наша литература, наше искусство времен «новых кромешников»? А они откликнулись на новоявленную «тень Грозного» творениями, которые сами по себе могут рассматриваться как эмблема и парадигма. Имею в виду среди других и прежде других фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный» и «дилогию о вожде» — пьесу об оправдоме Иване Васильевиче и роман о римском прокураторе М. Булгакова.

Фильм (выговорим наконец по правде и по совести) начинался с апологии «великого Иоанна». Притом апологии, не заказанной свыше (или не только заказанной), но и выношенной изнутри. Слишком титаничен фильм даже в первой части, чтобы явиться лишь плодом соцзаказа. Тут иное: восторг перед маргинальной стихией, отвердевающей в государственную, централистскую бронзу. Я бы дерзнула сказать: никогда еще до этого фильма сатанинская мощь «державных маргиналов» и почти гипнотическая мистика «маргинальной державности» не воплощались в нашем искусстве так сокрушительно. И вот, чем дальше, тем явственней, из сокрушительного фильм становится сокрушенным. Держава Антихриста — такова даже не формула, таков в о з д у х второй части фильма. Покаяние без раскаяния, антихристово маета — таков теперь лейтмотив Н. Черкасова — Ивана Грозного.

Однако и М. Булгаков отдал дань черной чаре «маргинального государя». Оставим неразбериху на самых верхних, сакральных, этажах его «евангелия от Воланда»; ан и на историческом, «социальном» (историко-метафизическом все-таки) этаже что-то неладное делается. Гниющий заживо император, безусловное зло, — где-то там, вдали от ершалаимских событий, вблизи же — «амбивалентный» Пилат. С его «сталинской» бессонницей, «сталинским» одиночеством и охраной, «сталинской» беспощадностью, «сталинским» инородчеством, но и... что дальше? Умом — чьим? Надрывом — чьим? Непризнанным, так сказать, гением — чьим? Умением по-цветаемски-пугачевски «всех казнить, тебя миловать» (или хоть пытаться; или хоть мстить за навязанную казнь Иешуа)?

А все же есть еще одно, уже веселое (злобно-веселое), квитанье М. Булгакова с Иваном и Иосифом. Управдом в роли царя — и царь в роли управдома. При том, что образ «государства как дома» известен от истоков самого государства. А управдомы (домовладельцы также) у Булгакова имеют к тому же сильную склонность превращаться в нелюдь или нечисть...

С демоническим хохотом ломились маргиналы в русскую, а затем советскую историю; хохотом их пробовали изгнать, заклясть, усмирить; хохот-хрип, смех-плач, восторг-издевка-ужас то чередуются, то сплетаются в литературе, вникавшей в развертывающийся перед ней марш-парад маргиналов.

Есть что-то жуткое и автопророческое в том, какие две вещи фланкируют «царские врата» в новое — послевоенно-послереволюционное — светлое будущее у И. Бабеля. Это — «Конармия». И это — «Закат». По-своему оба шедевры — шедевры многоцветного распада, разложения, дезинтеграции, вненормативности (и просто вненормальности).

В «Закате» рушится патриархальная, чадолюбивая, набожная иудейская (а не этнически еврейская только) семья. Ибо «Закат» — об этом, а не о поздней любви старого одесского богатыря-биндюжника к украинской девушке. Потому что и украинской девушки там нет. Если Крик-старший не еврей, а для не своих «жид», для своих маргинал, то и возлюбленная его, гулящая шалава, истинная дочка своей мамани, рыночной торговки, не украинка, а «хохлуцка».

Осколки семейных традиций, дребезги профессиональных устоев, суржик взамен языка, «чистка» утробы вместо продолжения рода, синагога, по которой уже бегают крысы... Таковы многонациональные «картинки с натуры» в «Закате». Заметьте, читатель: натура дореволюционная. Добольшевицкая. Дограждансково-енная. А дальше, вестимо, исторический путь к «Конармии». Где «авторский» герой с маргинальной радостью самоутверждения (но и с простецкой откровенностью, еще не одетой до конца во френч «государственного строительства») повествует о том, как разложил он таки, трахнул изящную, строгую, чистую женщину, вдову царского офицера, к которой определили его на постой. Ну, не насильно трахнул, а «по-хорошему»; а там и снова в поход, снова труба зовет; вдова, знамо, брошена — и молодое счастье н а с т у п л е н и я распирает грудь.

И еще один рассказ — о том, как вселяются «маргиналы» (среди них и рассказчик) в Ипатьевский монастырь, откуда только-только вычистили «служителей опиума». Ничего погромного в рассказе нет. (А помнит, помнит же автор апокалиптические, «шеольные» — от древнееврейского «шеол», «бездна» — эпизоды

еврейских погромов своего николаевского детства!) Погромов теперь нет; но вы вчитайтесь в эти описания опустелого, ободранного храма, при всей слепящей пластичности бабелевского письма. Богородица (естественно, с маленькой буквы) — «худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки». Святые — «гробовые угодники». Господь Бог (понятно, снова с маленькой) — «закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения». И священник, бродящий «вокруг своих трупов...».

Какой штатный атеист последующих десятилетий не позавидовал бы этому сочному отвращению, этому таланту ненависти и азарту «попрания святынь»? А если мне скажут, что православный храм для героя Бабеля святыней никогда и не был, то я снова отошлю читателя к синагоге с крысами. Вон оно как — через этносы и конфессии — аукнулось. Не православной святыни нет — никакой нет. Ч у в с т в а «животворящей святыни» (А. С. Пушкин) нет: отбито, атрофировано. З а д о л г о до «боя кровавого, святого и правого» — единственной, кажется, «святыни», которая и осталась в наличности. А скоро уже, при дверях, 30-е годы, когда и эта тотальная «кровавая святыня» смертоубийства десакрализуется: будет поставлена на конвейер и включена в разверстки, планы, ну и, само собой, перевыполнения планов.

А хотите, читатель, увидеть верх кафкианства? Пик маргинального безумия? Получайте. Автор «Заката» и «Конармии» буквально на пороге собственной трагедии едет (на полном серьезе! с исключительным сознанием ответственности!) в Кабардино-Балкарскую АССР. Господи, туда-то зачем? А вот зачем: помогать кабардинцам и балкарцам строить новую, социалистическую культуру.

...И кое-кто сегодня плачется над внезапным (!) распадом того, что так прочно стояло (!! ) и так крепко связывало (!!!) все наши народы?..

Бравый солдат, но не Швейк, а красноармеец Гусев из «Аэлиты», и «глядящий в Наполеоны» (или скорее в мировые «фюреры») инженер Гарин А. Толстого дали еще один из первых моментальных снимков нового, постреволюционного маргинала. Маргинала с «этой» и с «той» стороны. Из некогда народного, а ныне уже псевдонародного, перекаати-полем несущегося «низа» (Гусев) — и некогда интеллигентного, а теперь уже тоже квазиинтеллигентного «верха» (Гарин). В дальнейшем Гусев—Гарин сомкнутся воедино в романе «Петр Первый». И не только (и не столько даже) в облике самого Петра — хотя и он от макушки до пят «маргинальный» царь, — сколько в двух авторских любимцах, подлинных героях романа: в Алексашке Меншикове и Саньке Волковой. Двое высших государственных деятелей, сиятельных и неотразимых, — с поротыми плебейскими задницами и замурзанным, бескорневым, бездуховным детством. Но это-то и важно и приманчиво для автора: вот она, «путевка в жизнь». Вот они, фавориты не просто государя, но э п о х и. Маргиналы, чье время (вневременно? межвременно? безвременно?) наконец-то пришло!

Были рабыни — стали богини. Так в романе. Кто был ничем, тот станет всем. Так в гимне эпохи, роман породившей. Ренессансные характеры! — восторгалась романом советская критика. Не ведавшая, что она говорит и насколько в е р н о она проговаривается. Ренессанс — это «эпоха титанов», развалившая до основания «богоцентричный» космос средневековья, заменившая всезрящее Провидение слепой Фортуной (ключевой символ Ренессанса). И Ренессанс же — времен «королей-свиней», объявлявших себя главами церкви (английский Генрих VIII), конкистадоров, пиратов, бастардов и «выдвиженцев» — золотой век маргиналов. Но сам-то А. Толстой, перебежчик «нового Ренессанса», цвабринский тип, после смерти М. Горького уже примеривавший на себя бармы «царя» советской литературы, в отличие от своих критиков ведал, что он творит.

Иные не ведали — трагически.

Скорбя над елабужским финалом М. Цветаевой, до недавна (от оттепели до перестройки) принято было относить этот финал на черный счет «властей». Позже — на счет тоталитаризма как политической и идеологической системы. Так оно и есть — извне. А изнутри?

Мало кто, кажется, размышлял над тем, что цветаевская Елабуга уже запрограммирована в цветаевских же статьях и стихах отнюдь не советского периода. «Двух „Лесных царей“» читатель помнит? «Пушкина и Пугачева» помнит? «Моего Пушкина»? А помнит ли устрашающую цепочку, протягивающуюся через эти статьи?

Обожаемые Цветаевой бесы в «Бесах» Пушкина, согласно ее французскому переводу, — в о л к и с огненными глазами. Пугачев по-цветаевски — в о л к,



в темный лес ягненка поволокший — любить. А это уже заодно прямой цветаевский пересказ баллады «Лесной Царь» Гёте: «жгучий демон» с «львиным хвостом», не элементарно удущающий мальчика, как оно мнилось профанам, а волокущий его в темный лес — любить. И в ответ Цветаева упоенно, восхищенно, самозабвенно подталкивает в объятия «волка», «бесса», «демона» («...готова была горько плакать, что Гринев не понимает» этого демонического зова: «...как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу, а ты бы этой лапы — не принял»).

Цветаева — приняла («домой», «в тот лес!»). Для Пушкина «дом» — это Гринев и особенно Маша Миронова: тихая, неброская, но духовно безупречная, не поддающаяся ни злу-соблазну, ни злу-насилию. Маша, столь не любимая Цветаевой, и не просто женски ревниво, но надменно-брезгливо; как бросит через плечо поэтесса: «пустое место всякой первой любви». Между тем у Пушкина и сам-то Пугачев тянется к Гриневу, к Маше как к своему несостоявшемуся «дому». А «лес» (эксцесс) объединяет Пугачева вовсе не с Гриневым (как хотелось бы Цветаевой), но со Швабриным. Демоном, рассыпавшимся мелким бесом. Двойным предателем: сперва своей дворянской чести, потом своей присяги «русскому бунту». Швабриным — маргиналом в квадрате, расчетливым перебежчиком из системы в стихию, из «верхов» в «низы», совершающим эту перебежку именно и только тогда, когда «низы» получают шанс стать «верхами», а «злые волны» мятежа готовы отлиться в бронзу новой государственности.

Возвращаясь домой, Цветаева была внутренне готова ко многому самому худшему, может быть, до личной гибели включительно. Чего она явно не предполагала, бросаясь в объятия Лесного Царя, торопясь «в тот лес», так это того, что ее там встретит не маргинал Пугачев, а маргинал Швабрин.

Одна из значительнейших и наиболее драматических разновидностей маргинала — «человек двух культур», бикультурал.

Как правило, бикультурал — также жилец «окраины». Порубежья или зарубежья — державы, этнической территории, культурного региона. Уже по одному этому своему положению (а от него — и по воспитанию, и по культурному самочувствию) он редко принадлежит к стопроцентно «своему», монокультурному миру. Его «образ мира» под давлением соседних начинает сдвигаться, терять четкие границы. То, что крупно «там», в метрополии, глазами одной культуры, «тут», на окраине, уменьшается в масштабах; то, что «там» есть ценность бесспорная и, скажем так, единственная, «здесь» есть ценность уже лишь дополняющая, или альтернативная, или дискуссионная.

Нынешний «региональный бунт» в России (а он, конечно же, имеет причины и будет иметь последствия далеко не только политические, но и духовные, культурные, литературные) — это, бесспорно, бунт не просто регионалов, но и би(поли-)культуралов.

Бикультурал воспринимается «своими» подозрительно, чтобы не сказать хуже — как пятая колонная «своего» мира. Недостаточно «свой» и избыточно «чужой». Это хорошо иллюстрирует самый элементарный случай двукультурности: билингвизм и полиглотовство.

Знание чужого (чужих) языков от седых времен трактовалось как завидное умение. И даже не умение — приобретенный навык, а умение — дар свыше, знак отмеченности. Владеть иноязычием — значит познать иномирие, а «познать» его — значит, в свою очередь, овладеть им (ср. древнее единство эротического и интеллектуального значений глагола «познать»). Волхвы, маги, кудесники, шаманы, жрецы — первые «двуязычники», первые «переводчики»: с языка природы на язык культуры (приметы, гадания); с языка богов или духов на язык людей. Из их круга выдвигались и первые собственно переводчики — посредники и спутники вождей, князей, царей, отнюдь не мелкая «узкопрофессиональная» сошка в глазах архаического человека.

Но билингвизм, полиглотовство и пугали. Нам памятен эпизод из Деяний апостольских, когда, вдохновленные ниспосланным свыше Духом, апостолы внезапно обратились к сбегавшейся толпе, к каждому на его родном языке. Это «чудо со знаком плюс». Но в Библии глоссолалия (вещание на незнакомых, непонятных языках), как и чревовещание («другой» голос внутри человека), — это нередко и «чудо со знаком минус»: беснование, обуянность «силой черной». Да и в язычестве темный язык пифий, исступленное камлание шамана — ситуация не «лингвистическая», а духовная: общение с иномирием. Тот, кто умеет говорить с этим иномирием, вхож в опасные сферы.

Шаман, жрец, переводчик — служители *и* «центра», *и* «порубежья» (если не «зарубежья»). А стало быть, тоже одним краем маргиналы, люди эксцесса. В Толедо в эпоху войны с маврами сложилась прославленная школа переводчиков с арабского; показательно, что состояла она в изрядной степени из евреев — «изначальных» маргиналов как для христианства, так и для ислама, поликультуралов и посредников. Толедская школа донесла до «варварской» раннесредневековой Европы многие творения древнегреческой науки и философии, которые напрямую — после гибели античности — до нее бы просто не дошли. Но эти же творения подложили в западноевропейскую христианскую культуру и мину античного языческого мировидения — мину, которая взорвется много позже, к концу средневековья и началу Ренессанса.

Кстати, именно к этому концу и началу, к этой очередной «перестройке» в Западной Европе широко взялись за изучение иностранных языков. И кто же? Из сословий прежде всего купцы (маргиналы феодального общества). Из институций — университеты: первые «маргиналы образования», светского, мирского, а потому, в координатах теоцентричного средневековья, полузаконного и подозрительного. Тогда же складывается народная легенда о Фаусте, знатоке черной магии, иностранных языков и университетском «докторе». Что в тогдашнем восприятии одинаково недвусмысленно указывало на демоничность Фаустовых знаний.

Билингвы, бикультуралы, люди «порубежья», навсегда сохраняют в истории культуры эту амбивалентность богоданного — демонического. А отношение к ним всегда будет качаться между ксенофобией и ксенофилией. Причем бикультуралу будет достаться вдвойне: в нем слишком мало «чужого» для «настбашащего» иностранца и слишком много для «настоящего» своего.

Как же реагирует на эту двойственность сам бикультурал? Тоже по-разному. Полюса простираются от прилюдного отрясения праха «чужой» культуры, покаяния в своей ущербности, от свирепого (ибо постоянно проверяемого) патриотизма до шеголеватого космополитизма (европеизма и т. д.), презрения ко всему узколобому и замкнутому.

Поэтому не надо думать, что бикультурал объявился в России сегодня — как наследник и жертва бывшего Союза. Или возник вчера — как детище Российской империи. Или будто это вообще чье бы то ни было у н и к а л ь н о е национальное явление. Бикультуралы были у всех культур и всегда.

О. Сулейменов в книге «Аз и я» расценил все «Слово о полку Игореве» как памятник бикультурный. В равной мере славянский и тюркский (половецкий) «образ мира». Чем и вызвал бурю в славянском филологическом бомонде, отлившуюся самому О. Сулейменову спецпостановлением республиканского ЦК. Крайности в его концепции, разумеется, были; поводы для дискуссий (не для окриков) были; но сама идея скорее добротнo-тривиальна, нежели злокачественно-революционна. Только по отсутствию шума и постановлений как-то не заметили, что точнехонько тот же расклад дает русская и православная «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Где из-под исторического предания и житийного канона просвечивает куда более древний пласт.

Ибо «мудрая дева» Феврония носит явно фольклорные, притом «местные», угро-финские, черты. Рязань, рязанская земля, место действия повести, — переставленное Эрзя (Эрзянь), по имени мордовской народности; аналогично Муром получил название от племени муромь. Дева Феврония не только исторический персонаж, но и местный вариант мифологической «хозяйки леса», повелительницы зверей, матриархальной, без мужа живущей «госпожи». Потому-то встреча с ней юного князя происходит в лесной избе, где вокруг Февронии скачет, увеселяя ее, заяц. А ткацкий стан, за которым сидит Феврония, связан с мифообразом «нити судьбы». Это, как и умение героини загадывать-разгадывать загадки (а они тоже — «испытание судьбы»), явно показывает, что перед нами еще и архаическая «хозяйка судьбы» типа скандинавских норн, античных парок и т. п. Так что сюжет этой повести — о бикультуралах. О браке не только двух людей, а и двух миров: славянского и неславянского, патриархального и матриархального, православного и языческого, государственного и родового.

Хорошо, но кто же все-таки бикультурал — «положительный» или «отрицательный» герой культурного процесса? Хотя бы для своей культуры?

И то и другое. Но и ни то, ни другое. Он — герой динамический. И динамизирующий. А следовательно, меч обоюдоострый. Какой стороной его повернет, зависит от историко-культурной ситуации, но еще более —

от вектора духовного устремления культуры на данный момент. К центру — или от центра. К «собираению» себя — или к «расточению».

Да, скифы мы, гремел когда-то А. Блок ликующе. Ликование и самоотжествление это («мы») основано на множестве недоразумений. Во-первых, реальные скифы, индоевропейский народ, «азиатами» в полном смысле не были, а уж «раскосыми очами» не обладали ни в коем разе (на что Блоку указывали уже его современники). Во-вторых, даже символическим, поэтическим «скифам» (читай: варварам, маргиналам, людям эксцесса) он, Блок, и вся его поэзия, вплоть до грядущих «Двенадцати», были как раз совершенно чужды. Для «скифской» стороны Блок был и остался не «мы», а «они»: «недоскифом», человеком культуры, традиции, а не стихии. А в-третьих (и, пожалуй, в главных), исторические скифы с эллинами, конечно, воевали, но и на контакт с эллинской культурой охотно шли. Если не все, то почти все «золото скифов» Причерноморья изготавливалось греческими мастерами. Самое примечательное: «золото» это было не дорогостоящими побрякушками, а материальной фиксацией наиболее священных скифских мифосюжетов, персонажей, символов. Проще говоря, греки творили скифские святыни, запечатлевали скифский «образ мира». При скудости уцелевших письменных источников (тоже по большей части греческих) без этого «эллинского» перевода мы мало что знали бы сегодня о «книге бытия» тех самых скифов.

Для Эллады скифы-заказчики были маргиналами; для Скифии мастера и путешественники-эллыны (вроде Геродота) были тоже маргиналами; но для м и р о в о й и с т о р и и, включая религию и культуру, и те и другие были сообщающимися сосудами, перемещающимися и взаимодействующими центрами, в м е с т е создававшими эту самую историю. Ибо есть маргинал — и маргинал. Маргинал б е з традиции, со взорванной, или забытой, или «отреченной» традицией, — и мнимый маргинал, на самом деле человек с традицией д р у г о й. Блоку скифы мерещились первым вариантом. В действительности первый вариант своим демоническим фиолетовым крылом задел самого Блока; скифы же относились к иному варианту — второму.

Мне уже приходилось писать о «парадоксе Достоевского». Кому не известно: он наиболее отчетливо сформулировал и вдохновенно провозгласил тезис о всемирной отзывчивости русской культуры, о ее мессианском значении и предназначении. Не будем сейчас касаться очень конкретной (и весьма неоднозначной) историко-политической подоплеку этой видимой импровизации (речи на торжествах при открытии памятника А. С. Пушкину). Посмотрим на самого импровизатора: да ведь это же снова бикультурал! Польско-белорусские корни Достоевского исследовались скудно и бегло. Почему — понятно: все то же промежуточное положение; для русских филологов докапываться до «полесского» или «католического» слов в культурном и религиозном мышлении Достоевского было не с руки; деятели же нынешнего белорусского возрождения на мое предложение такого толка отвечали резко: «Берите с е б е своего Достоевского!..»

Не сомневаюсь: завтра Достоевского признает своим (или хотя бы писателем двойного культурного подданства) и Беларусь. Как это уже сегодня происходит на Украине с Н. Гоголем (см., например, недавние работы Ю. Барабаша). Но решает дело не внешнее признание, а внутренний состав и температура писательского мира. И здесь обоженная русскость Достоевского (как и — в другом контексте — не слишком тактичные его реплики в адрес «полячишек») — сигнал безусловной бикультурности. Тянущейся к монокультурности. Порывающей свою «полноценность» показать, доказать, отстоять — может быть, и от самой себя.

Схожий парадокс не так давно повторился в лице В. Распутина. Писателя обостренно русского и декларативно православного. Что и наводит на размышления.

Земля, на которой стоит распутинская Матёра (а Матёра — квинтэссенция других распутинских деревень), обжита в культуре, в культурной п а м я т и далеко не сегодня. И не только русскими. Пусть читатель откроет работы А. Ф. Анисимова или, для доступности, хотя бы энциклопедию «Мифы народов мира» и перечитает описания «образа мира» эвенков (по-дореволюционному «тунгузов»). Будет там и великая река, связующая миры духов, мертвых предков и живых людей. И будет в эвенкийской мифологии «шаманское дерево», тоже соединяющее упомянутые миры, только по вертикали. И будет лиственница как символ «верхнего» мира, где живут души людей, возвращающиеся потом в «средний» мир и тем самым обеспечивающие бессмертие роду людскому. И будет дом (чум) как модель человеческого «среднего» мира.

Узнаете распутинскую реку? Распутинский листвень посреди деревни и его сожжение? Деревенское кладбище и разговоры распутинских старух с предками; грядущее затопление кладбища как конец света и родового бессмертия? Дом (избу) бабки Дарьи, место сходок, «земной» центр жизни Матёры (как листвень — центр «космический»)?

Критике показался ненужным довеском «хозяин острова», полудух-полужверек, промелькивающий по территории романа. Критика трудно понимала (хотя безошибочно чувствовала) какие-то странные, «не совсем православные» обертоны этого русского мира. И «не совсем русские» этого мира православного. А тем временем в углу избы Дарьи (и романых событий) сидел живой ответ на эти недоумения: старуха Тунгуска. Самый безропотный, ибо самый безъязыкий персонаж. У житель Матёры отбирали прошлое, веру, деревню как малый космос. У Тунгуски все это было отобрано давным-давно — вплоть до родного языка. Сын Дарьи еще испытывает вину перед миром Матёры; следующие поколения («Пожар») и ее утратят; но ведь даже памятливые, эпические, «космические» старухи Матёры не ощущают вины перед Тунгуской. Между тем экологическая и этическая катастрофа Матёры, «конец» ее «света», — серия уже вторая. В первой серии был «конец света» Тунгуски.

Чего и сам Распутин не замечает. Умом не замечает. Сознанием. А только чует — «бикультурными» глубинами, сибирским подсознанием своим, своей художественной интуицией. Ибо и он, Распутин, пронизан скрытыми токами «местной» сибирской культуры.

Бикультурал-маргинал — большая совесть метрополии. Как Гоголь с его Петербургом, в котором доброму, чистому сердцем человеку не л ь з я ж и т ь. Как Булгаков, у которого Москва в «Мастере и Маргарите» — место, где не л ь з я ж и т ь. И не надо заслоняться доводом, что-де Гоголь разоблачал Петербург чиновничий, а Булгаков — Москву обывательскую. У Пушкина чиновничьего Петербурга предостаточно, однако есть и другой, где «задумчивые ночи», где «оград узор чугунный», где «ходит маленькая ножка, вьется локон золотой». У А. Островского куда как много Москвы едящей, пьющей, сплетничающей; но как по-человечески об и т а е м а, как п р и г о д н а д л я ж и з н и эта Москва рядом с Москвой булгаковской. Потому что у Пушкина, у Островского разные ракурсы видения, но единый мир. Порой тяжкий нестерпимо, но с в о й. А у Гоголя, у Булгакова («киевскими» глазами на Москву глядящего) само зрение двойное. И мир «не совсем свой». «Свои» для Булгакова в Москве только подвал-убежище Мастера да пряничные маковки церковей, тоже, впрочем, зафиксированные в финале романа отстраненным, «иномирным» взглядом Воланда.

Бикультурал — бытийный дозорный, вечно проверяющий «центр» на прочность, первым сигнализирующий о трещине, болезни, внутреннем опустошении.

Там, где является «герой эксцесса», взрываются храмы, попираются устои, горят рукописи, переворачиваются нормы. Но — ненадолго. Ибо и в истории и в культуре есть полосы эксцесса. К у л ь т у р ы э к с ц е с с а нет.

Оттого всегдашнее будущее у «эксцессного» маргинала — или гибель, или адаптация. Или роль мавра, сделавшего свое дело, — или роль блудного сына, достаточно быстро перетекающего в сына старшего, «правоверного». Так ушли мавры 10-х годов, серебряного века, погибшие кто на фронтах гражданской войны, кто на ее обоюдосторонних допросах, а кто попозже, зачастую на самой страшной, не гражданской, но духовной войне — с самими собой. Так ушли мавры 20-х — теми же путями, с такими же вариациями. (Едва ли не последний из них — А. Фадеев.)

Но еще знаменательней вторая группа — уцелевшие. Большинство из них вернулось не то что в традиционализм, не то что в норму, но в нормативность. В предписанные классики. Скажем, ранний Н. Тихонов «Браги» и «Орды» и поздний Н. Тихонов почетных президиумов — это вовсе не два разных Тихонова. Нельзя всю жизнь провести в «орде» и с «брагой» (то есть в эксцессе). Точнее, можно — тем, кто умер молодым. Остальные должны были куда-то встраиваться. Тем паче, что сам исторический эксцесс, революция, начал тоже трансформироваться в систему (не будем банально описывать в какую).

Недавно в связи с юбилеем В. Маяковского прошла анкета в «Литературной газете». Среди вопросов был и такой: что, по-вашему, стало бы с Маяковским, доживи он до 1937 года? Наиболее мудрые (на мой взгляд) отвечали: у истории нет «если бы...». все ее события имеют свою смысловую приуроченность. Другие

добавляли: коль уже не вписался Маяковский даже в «красные 20-е», то в «красном 1937-м» его бы поджидало известно что... А поджидало его, между прочим, еще горшее: посмертно, императивно стать советским классиком. Модель сработала; «человеческий материал», правда, сопротивлялся — что ж, тем безотказней модель сработала после, уже без «материала».

Трагичность же этой модели состоит даже не в том, что эксцессы бунтари притихли (или получили укорот свыше). Подлинная трагедия в том, что за большинством из них не оказалось того самого центра — центра притяжения, центра высшего оправдания, центра спасения.

В сущности, та же ситуация начинает повторяться с московско-ленинградскими пятидесятиниками, республиканскими и областными шестидесятиниками (туда оттепель добиралась медленней и тяжелей). В оттепельных маргиналов летят уже не только камушки, но и плевки; хорошо, правда, чтобы плюющие загодя позаботились о своем завтрашнем дне. Ибо не социальный, так эстетический «революционаризм» восьмидесятников-девяностников уже готовится заплывать постперестроечная генерация.

Плевки — занятие малопродуктивное. Сейчас пора бы не плевать по очереди, а сверить «модели судьбы» маргиналов всех поколений — оттепели тоже.

Что же может статься с «героями эксцесса» в обозримом будущем? Это зависит от типа их эксцессности. А он в свой черед определяется упоминавшейся выше целью эксцесса: центросберегающей (пусть сильными, необычными и даже крайними средствами) или же центроуничтожающей.

Как всегда, часть «людей эксцесса» умерла (или умрет) рано — потом окажется, быть может, за в д н о рано. Эти станут символами ушедшей эпохи. Так было с шестидесятником В. Высоцким; так уже стало с восьмидесятником В. Цоем. Беру как пример поэтов-бардов, ибо они наиболее «модельная» часть поэзии. А поэзия — наиболее «модельная» часть литературы.

Символизация, впрочем, тоже не вечна. Времена, когда изо всех окон по вечерам гремели песни Высоцкого, прошли; времена, когда все подземные переходы исчерчивались надписями «Цой жив», проходят. Если взять драму, стихла демонстративно маргинальная мода на А. Вампилова; если прозу — аналогичная мода на В. Шукшина. И слава Богу: все названные (и не названные, но подобные им) художники только теперь стали для публики художниками, а не идолами. Позже возможна вторая волна, ретро-мода. (Нечто похожее лет семь-восемь назад обрушилось на бардов первой русской эмиграции, от А. Вертинского до фигур помельче.) А еще позже все они войдут в историю культуры. Сделаются элементами ее духовно-исторического процесса, а не миражами сопровождающего эксцесса. Уменьшатся при этом в размерах? Кто как. Исчезнут из поля зрения? Кто как. Иные, может, только там и увидятся в ясном свете.

И возможно, тогда же неподдельно драматичный путь и В. Высоцкого, и А. Вампилова, и В. Шукшина будет определен перифразой из М. Пруста: в поисках утраченного центра.

Но не все же «герои эксцесса» умирают молодыми. Есть и другие варианты. Например: они уедут (уехали). Чем проблема маргинальности не снимается, а лишь оттягивается. Классический тому пример — И. Бродский.

Героем эксцесса его сделали насильно; честь и хвала его холодной реакции на попытку сегодняшних журналистов воскресить по судебным стенограммам и документам КГБ «драму Бродского». Драма была не тогда — драма разворачивается теперь; выбор был не тогда (тогда было как раз его отсутствие) — выбор появился теперь. Язык сменить можно — при том, что позиция Бродского в этом пункте напоминает мне украинское присловье «робити з вади чесноту» (примерно: «делать из ущерба достоинство»), а заодно и марксистский тезис о свободе как осознанной необходимости... Язык сменяем; но «сменить культуру» одному и тому же человеку ментально и духовно невозможно.

Так что писать Бродский может и по-английски (на «иностранном» английском, как Рильке пробовал себя на французском). Выступать может и по-английски (хотя в Польше его комментарий на сей счет — мол, русский язык может вызвать у поляков нехорошие воспоминания — заставляет спросить: а не вызовет ли у поляков английский язык другие нехорошие воспоминания — о роли «отстранявшейся» Англии в предвоенном разделе Польши?). Однако место Бродского в культуре и в истории культуры будет в конечном счете определяться «здесь», а не «там». Чему доказательство — судьбы национальных культурных диаспор.

Еврейский уже прошедший и еще продолжающийся «исход», массивно надвигающийся русский (я бы сказала: весь эсэсэсэровский) исход интеллигенции — драма воистину Шекспирова. По сравнению с ней «сюжет Бродского» или «сюжет Аксенова» лишь небольшие эпизоды. Но и тут не надо мании величия, пусть трагического. Не мы одни такие, и не только сейчас это переживают народы и культуры. Есть почти вековой, огромный в процентном отношении украинский «исход»; есть армянский «исход»; теперь выяснилось, что и белорусский и иные тоже не малы. Было уже все: и «медленные» исходы, и «залповые». В любом случае б у д у щ е е к у л ь т у р ы национальных диаспор уже смоделировано дотошными американскими социологами.

Исследуя проблему акультурации (это так вежливо говорят у «них» и про «них»; у «нас» говорят жестко — ассимиляция), американцы установили некий закон четырех поколений. Или по-другому — феномен тигля. Выглядит он так. Если церковь, школа, община в зарубежье (лучше — совместно с тамошними государственными инстанциями) не поддерживает с п е ц и а л ь н о культуру иммигрантов, то первое поколение остается монолингвами (одноязычниками) и монокультуралами (носителями одной, исходной, культуры). Второе поколение превращается в билингвов и бикультуралов, но явно тяготеет к культуре «старой», материнской. Третье — тоже бикультуралы, но уже с противоположной тягой: к культуре «чужой». Наконец, на четвертом поколении превращение завершается: это уже монокультуралы, дети новой культуры, носители иного языка.

Только наличие «священного центра», культурного «дома», хотя бы живущего в мечтах и национально-религиозных «заветах» (как это было с иудейским народом), обеспечивает к у л ь т у р н у ю н е у м и р а е м о с т ь любым «эмигрантам», от национальных групп до отдельных людей.

Наконец, еще один вариант для «людей эксцесса» и «эпох эксцесса» — это восстановление «храма». Возвращение в норму — при том, что п о с л е э к с ц е с с а норма сама не может не претерпеть изменений. Изменений, неходящих, однако, до оборотничества и перемены самой своей «священной сути».

Каким будет земной адрес этого священного центра национальной духовной жизни, вопрос не к политикам, а к инстанциям куда более высоким. Когда в лоб задают «страшный и последний» вопрос: может ли погибнуть Россия? — хочется встречно спросить: а что вы понимаете под Россией? Государство? Тогда какое? Ивана Калигы, Ивана Грозного, Петра Первого, Николая Второго, Бориса Ельцина? Русскую Церковь? Тогда какую? Духовную, горную, незримую и непобедимую, как град Китеж? Или Церковь «административную» — тогда снова какую? Ведь у этой, «земной» и «дольней», Церкви есть своя, «дольняя», история (у т о й — нет). А в истории — свои «венцы славы», но и свои мрачные бездны. Культуру? Но что вы подразумеваете под культурой? Язык? Систему образования и просвещения? Сумму «литературных» (и иных) «памятников»?

Или — систему повелительнейших ценностей и высших смыслов? То, о чем простой человек: с этим жить не стыдно и умирать не страшно?

Если так, тогда воистину «последний» вопрос: а откуда эти ценности у человека и у народа берутся? Тут-то и оселок, пробный камень, он же камень преткновения и размежевания.

Потому что ежели высшие ценности и смыслы — это н а д с т р о й к а над социально-экономическим фундаментом, то ответ на предыдущий «последний» вопрос следует автоматически. Да, Россия может погибнуть. Больше того: Россия н е и з б е ж н о погибнет. Не насильственно, что вы, что вы! — нынче же мир цивилизованный. А просто в ходе социально-экономического и политического развития. Ибо вечных государств отродясь не бывало. И церковно-административных устройств тоже. И языков также. И хозяйственно-бытовых укладов тем паче. И этносов — ну, тут и доказывать нечего. Тогда погибнет в древнем языческом смысле: «превратившись». Обратившись во что-то совсем иное.

Но ежели «надстройка» — именно все социальные, хозяйственные, административные, идеологические и даже культурные устройства и уклады, системы и нормы, а фундамент — нечто другое, не ими порожаемое, а их порождающее, тогда ответ выглядит иначе, ибо иначе ставится вопрос. А ставится он уже не так: внесли ли этот народ, это государство, эта культура вклад в мировую культуру? Вклады вносили все. «Маленький» (в XIX — XX веке), а некогда большой кетский народ внес в культуру Сибири вклад настолько весомый, что ни по яркости, ни по стройности кетская мифология, кетский «образ мира» не уступят балтийской, или славянской, или германской мифологии. Но кетов как народа уже нет. (За что

следует «поблагодарить» наш век, наше общество, лично нас с вами — ибо умирал кетский язык и кетский этнос у нас на глазах: последние записи делались в 1960-е годы.) Уж не говорю о том, что нет аттеков, нет хеттов, нет трипольцев.

Будем честны. Красота в ее сугубо культурологическом ракурсе не спасала, не спасает и не спасет не то что мир — даже собственный народ. Поэтому вопрос о спасении — это вопрос не о красоте (все культуры прекрасны на свой лад), а о цели. Высшей, не утилитарно-политической и не отвлеченно «эстетической» цели существования разных народов.

Мы и тут не уникальны. Один из наиболее глубоких ответов на так поставленный вопрос находим в Книге книг, Библии: в истории сотворения Вавилонской башни.

Отец А. Мень трактовал Вавилонскую башню как прообраз любых «империй, подчинявших себе людей путем насилия. Сплочению человечества в Боге и через Бога строители «Вавилона» противопоставляют единение внешнее, на чисто человеческой основе» — попытку «устроиться без Бога на земле»<sup>2</sup>. И более того — самим, самовольно и самочинно, построить профанный эквивалент священного центра: злополучную башню...

Но не только это замечательно в библейской притче. А и другое. Рассеивая строителей башни, Бог, однако, «примешивает» каждому из народов особый «сар». Что это такое? «Сар» истолковывается современными библеистами как «божественная часть», вошедшая с тех пор в сердцевину каждого народа: и его земного своеобразия, неповторимого исторического пути, и его особенного «канала» духовных связей. «„Сар“ сообщает народной душе свое, отличное от других духовное переживание: свое особенное чувство ближнего (что и есть самочувствие народной души) и свое особенное... переживание Высшего Начала, Бога»<sup>3</sup>. Иными словами, «многоязычие» человеческих культур, по Библии, — не только печать проклятия, но и залог спасения. Народам дается санкция свыше на то, чтобы, оставаясь разными, они несли в себе неотторжимую, неотнимую долю причастности к общему сверхмыслу, к единой цели: выходу через историю в вечность.

«Сар» — это присутствие святыни, связь со священным центром, перенесенная извне в нутрь судьбы и «души» любого из народов.

Понятие «центр» и «окраина» тоже поворачиваются при этом новой гранью.

Одна ситуация — нашествие «людей с окраины», маргиналов на центр ради потрясения этого центра или его истребления. Другая ситуация — перемещение его ради спасения. «Бегство в Египет», легенда о Китеже, уход на поиски «блаженных земель» или в монастыри — прецедентов не занимать; в достаточной мере любая эмиграция, внешняя или внутренняя, осмысляет себя как «Китеж», хотя бы скрытый «на дне души» (М. Волошин). Третья ситуация — признание наличия других центров, множественности центров (библейские «сарим» различных народов). Тогда то, что мнится нам сегодня «разбегающейся Вселенной», расколом уже не советского, но русского культурного и духовного пространства, на самом деле означает нечто иное.

Что именно? Что единого центра — в высшем смысле — и не было. Что Малороссия, Юго-Запад изначально были Украиной, Северо-Запад — Беларусью; что Север никогда не забывал своего внесмоковского происхождения. (И не только в политике; в религиозном плане он не зря был цитаделью старообрядцев, с одной стороны, кузницей «ересей» и «сект» — с другой.) Что русский Урал, Север, Поволжье, Алтай, Сибирь имеют в своей подоснове не только православие, но и местное язычество, на которое вдобавок наложились где ислам, где буддизм. Что и сама «русская православная» империя, растекаясь вширь, не только впитывала в себя «местные» иноверческие традиции, но и оживляла спавшее (лишь дремавшее!) в ее собственных недрах древнеславянское язычество. И, таким путем, чем шире делалась «страна моя родная», чем централизованней политически, тем полицентричней или бесцентричней она становилась духовно.

Первая ситуация («маргиналы идут!») остро небезопасна, однако — в «мета-историческом» плане — не безнадежна. С. Франк<sup>4</sup> отлил эту мысль в афоризм почти парадоксальный: на земном уровне божественному Провидению отнюдь не

<sup>2</sup> Светлов Эммануил (Мень А.). В поисках Пути, Истины и Жизни. Часть II. Магизм и единобожие. Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей. Брюссель. 1971, стр. 443.

<sup>3</sup> Мардов И., «Вавилонское грехопадение» («Наука и религия», 1991, № 5, стр. 20 — 21).

<sup>4</sup> Франк С. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. Париж. 1949, стр. 185.

гарантирован прямолинейный и непрерывный внешний успех: «непобедимое» не означает обязательно «победоносное». Туг нам остается ждать. Ждать, но твердо помнить, что с в я т ы н я м и ни родимые правительства, ни иностранные разведки, ни партии, ни тайные общества (коиими нас пугают) управлять не в силах. И ничьи маргиналы, ни единокровные, ни чужеплеменные, ничего со святынями не поделают, если... если м ы с а м и от них не отречемся.

Вторая ситуация упирается, по существу, в то же самое. Уйти можно хоть на Аляску, хоть в Египет; важно, унесет ли народ в н у т р и с е б я свою святыню, свой сплачивающий духовный центр.

Третья ситуация испытующа, разломна в наибольшей степени. От многих иллюзий она нас уже избавила. (А питали их совсем недавно мыслители и писатели далеко неординарные — хотя бы А. Солженицын, «не отличивший» Россию от Украины и Беларуси.) Стерильно русской, стерильно православной России (даже в культуре) никогда не было; только вот вчера можно еще было об этом «забыть» — сегодня настал час самоиспытания и самоопределения. Меня не слишком отшатывает (и ничуть не поражает новизной) «сибирская Россия» — идея, чьи контуры уже уплотняются у нас перед глазами. Куда больше, больней и актуальней, по-моему, другой вопрос: а Р о с с и я ли это будет (включая духовное «навешные» этого вопроса)? Совсем же печально, что, кажется, именно об этом мало кто из сибиряков всерьез задумывается. Материалисты же мы! Политика, экономика — это у нас первым делом; остальное можно оставить на потом. Вот только на потом может остаться не «сибирская Россия», а «сибирская Америка» под именем России. Или «новый СССР» со всем наследством «старого». Или что-то еще. И тогда впереди замаячит не новое сплочение, а новый развал, не новое место центра, а новое бесцентрие. И новые «маргиналы» (прежде всего — нерусские культуры Сибири) законно заявят, что никакие они не маргиналы, а с в о я ойкумена, с в о я вселенная, со с в о и м и святынями.

Гадать, что будет, бесполезно и неуместно. Осознать же место самих себя и «не своих», но со «своим» сопряженных народов и культур — самое время. Завтра будет поздно. А осмыслить это место можно только в отсчете от священного центра.

Его можно восстановить, перенести, открыть в себе и вокруг себя. Но Рим погиб, когда ему стало н е ч е г о спасать как свою высшую и абсолютную святыню — когда он весь сплошь обернулся государством маргиналов. Но западноевропейское средневековье погибло, когда пошло о т в о е в ы в а т ь святыню (гроб Господень) силой оружия и денег: экипируясь с помощью «маргиналов средневековья» — ростовщиков, а тем самым порождая своего могильщика — банковские дома.

Русская литература, русская культура большого калибра недаром находится сейчас в состоянии своеобразной «бытийной паузы». Это не трусость, не растерянность, не капитуляция. (Есть и то, и другое, и третье, но — не на тех этапах.) Просто самоотчет и выбор, которые ей предстоят, — не сугубо литературные и не специфически культурные.

Соглашаясь с пафосом и эпитафиями статьи В. Непомнящего о «русском человеке через двести лет после Пушкина»<sup>5</sup>, хотелось бы уточнить только один эпитафия — ахматовский. Мы все еще п л о х о знаем, что «ныне лежит на весах». И все еще м а л о залаем себе труда помыслить — не умом, а душой, — «что совершается ныне». Ибо нет сегодня «проблемы маргинализации» России. Есть — не проблема, а тайна, а задача самоосознания ее священного центра.

<sup>5</sup> Непомнящий В., «Пушкин через двести лет» («Новый мир», 1993, № 6).



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## Политика и наука

### ГРАНИ УТОПИИ

Р. А. Гальцева. Очерки русской утопической мысли XX века. М. «Наука». 1992. 207 стр.

Публике, не чуждой философским интересам, памятна публикация статей Р. А. Гальцевой, посвященных Николаю Бердяеву, Льву Шестову и отцу Павлу Флоренскому. Появление каждой вызывало смущение умов, порождая бурные споры, достигавшие полемической остроты, порой неотличимой от скандала. При чтении озадачивал критический, если не сказать обличительный, настрой, неожиданный у автора, вызывавшего застарелую неприязнь у блосотителей марксистской ортодоксии. Было трудно взять в толк, что покушение на властителей дум столичной интеллигенции совершал человек, отнюдь не склонный искать поддержки у официальных властей.

В пору оттепели и на заре застоя занятия русской религиозной философией переживались как приобщение к свободе, как опыт прозрения и духовного возрастания. Если неопита не защемляло между Марксом и Гегелем (освобождающий рывок к Канту, расчищавший горизонты философствования, в среде «неомарксистов» удавался немногим), то обычным был интерес к русской мысли. Поколение, тщательно вываренное в щелоке агитпропа, попирая скрижали наставников, от Николая Островского восходило к Николаю Бердяеву и от Павки Корчагина — к отцу Павлу Флоренскому.

Вместе с тем обретение русского наследия совершалось в условиях рукотворной утопии людьми, ею же возвращенными. Усвоение философских прозрений русских мыслителей не всегда вело к размыванию утопических наслоений, отягчавших душу советской интеллигенции. (Внутреннее изживание утопии, имманентно сформировавшей сознание, затруднено тем, что в опыте рефлексии «утопия» — «место, которого нет», — предметно не опознается. Это ускользающее «ничто» утопически ориентированного сознания утверждает себя в произволе, в господстве негативной свободы. В конечном итоге условием преодоления утопии становится обуздание своеволия, что утопически ангажированными авторами клеймится как усечение творче-

ских потенциалов, форма крайнего, метафизического «соглашательства».) В советской России знакомство с трудами Бердяева, Флоренского и Шестова нередко завершалось не духовным освобождением, а утопической ассимиляцией их идей, не чаемым освобождением от утопии, а ее радикализацией (инфильтрацией утопии на высшие онтологические уровни).

Что стояло за этим буйством утопии — узурпация ею русской философской мысли или же исторически неизбежное самообнаружение утопических доминант русских религиозно-философских исканий? Р. А. Гальцева глубоко убеждена в последнем: собрав воедино свои публикации 70—80-х годов, «спровоцированные» Бердяевым, Шестовым и Флоренским, она свела под одной обложкой аргументацию, призванную раскрыть утопические соблазны русских мыслителей.

Общеизвестно, что новоевропейские утопии сложились в ходе секуляризации традиционных иудео-христианских воззрений на историю. Изведаясь в ожидании нового неба и новой земли, человечество в одиночку, на свой страх и риск дерзнуло созидать Царство Божие. Обычно утопические учения побуждают своих ревнителей не обустривать, а заново творить бытие, обретая на путях жизнетворчества новый порядок сущего. В XX столетии это слияние жизни и творчества приобщило утопические начинания миру авангардных поисков, снимавших условность (конечность) художественного произведения, прямым смыканием зазора между искусством и жизнью. Эта общность стремлений, опознанная Р. А. Гальцевой, дала ей повод трактовать утопические увлечения ряда русских мыслителей как одну из разновидностей авангардизма.

Двумя образующими христианской истории являются грехопадение, лишившее прародителей райского блаженства, и венец времен — Страшный суд, замыкающий перспективу спасения. Между ними простирается собственно история, испытывающая человека как стяжанием благодати богосыновства, так и вольным отвержением Творца и Спасителя. Вы-

деленной точкой исторического континуума почитают пришествие Христово, явившее тварному миру полноту Истины, хранимой Церковью. Как правило, утопические передержки касаются трех ключевых моментов: падения, жизни Церкви и спасения (прорыва в новый эон). Мыслители, привлечшие внимание Р. А. Гальцевой, каждый в своей манере, были сосредоточены на этих темах: грехопадение преимущественно занимало позднего Шестова, Тайна Церкви — отца Павла Флоренского и новое небо — Николая Бердяева. В изъяснении разновидностей утопии, олицетворенных этими именами, усматривает свою цель автор «Очерков...».

Обличение бердяевского утопизма — занятие, не требующее особой изобретательности. Исконная безответственность «революционера духа» — истина хрестоматийная. Рассуждая об «объективации», сковывающей дух, Бердяев прозревал в мире объектов онтологический минимум, точку омертвления свободы, приемля языческую интуицию, связывающую падение духа с господством дебелости (из бердяевского умозрения то и дело выпадало, что дух может пасть «ниже» материи). Превозмогая в творческом усилии объективированный мир, признанный мэтр русского религиозного ренессанса не стяжал дара испытания духов, различения хромоты Иакова и хромоты беса. Попытки же наряду с откровением утвердить учение о бездне как онтологически значимом источнике человеческой свободы, «творчески» отрицающей объективированный мир, превратили бердяевскую философию в опыт христианизации нигилизма, в революционный соблазн о Боге. (Репутация консерватора и реакционера, сложившаяся о Бердяеве в советских изданиях, — рефлекторный, почти по Павлову, плод невежества, пневматологические дерзания дворянского сына потрясали «слева» мир социальной утопии Маркса.) Р. А. Гальцева справедливо полагает, что, «рассвобождая волю субъекта» и «подгоняя его рвать все «путы» и «беспощадно» очищать свои пути», философ (в том числе из «крайней левой русской религиозной мысли») должен «быть готовым признать плоды провоцируемого им разрушительства...».

Если Бердяев мнил себя причастником «восьмого дня», то внимание позднего Шестова (второго героя антиутопии Р. А. Гальцевой) было приковано к иному событию: грехопадению. В уяснении «тайны» греха, рокового соблазна, обуявшего прародителей, опознавал свой удел вкушивший изгнания философ. На прямой вопрос: что привело к падению человека? — Шестов отвечал с предельной внятностью: пробуждение разума. Присущая умозрению печать разума знаменует,

по Шестову, печать греха. Если обратиться к набившей оскомину, но не утратившей значения оппозиции «слушать — созерцать» (иудейская традиция «вслушивается», греческая — «созерцает»), то Шестова впору признать образцовым иудеем — читая его поздние работы, трудно отделаться от мысли, что они написаны незрячим человеком. Философу, старательно вгонявшему клин между Афинами и Иерусалимом, было чуждо наследие христианского эллинизма, мистически ответственное постижение типов рефлексии, действий разума, вписывающихся в икономно спасения. Борясь с гатю и его соблазнами, Шестов искоренял грех в духе Лютеровой порчи Святого Писания: *Sola fide*. Назойливая экстремальность шестовской мысли, ее метания между гноищем Иова и Авраамом, занесшим нож над своим чадом, в какой-то момент убеждают, что вопреки внушениям Шестова подвиг веры не сводится к перманентной готовности резать Исаака (хрестоматийный повод для фрейдистских интерпретаций поздних творений Льва Исааковича). Радикально противопоставляя веру и разум, Шестов терял чувствительность к полноте тварного состава человека; надсадные движения веры, сопряженные усечением разума, венчают шестовские выкладки не преображением, а повреждением человеческой природы (заключающей разумное начало в единстве тела, души и духа). С поправкой на корень греховных соблазнов, в философском облике Шестова временами проступают черты полярного «двойника» Оригена. Выводу Р. А. Гальцевой: «...философия Шестова — это не столько философия веры, сколько философия борьбы с мышлением и его императивами, борьбы с разумом (во всех его видах, включая логические законы)» — безусловно не откажешь в резоне.

Раздел «Очерков...», посвященный отцу Павлу Флоренскому, представляет собой ступок бушующей страсти. Автор «Столпа...» («Вся натура его ползучая» — В. В. Розанов о Флоренском) не принадлежит к числу мыслителей, близких Р. А. Гальцевой. Ни для кого не секрет, что у Флоренского был дурной вкус, что неумные восторги иноком Серапионом (Машкиным) отложились в трудах отца Павла своеобразной «машкинианой» — глубоко провинциальными упражнениями на тему «гений околотка», — что интерпретации философской классики, скрепленные перлам Флоренского, чудовищно своеобразны. Но в целом инвективы Р. А. Гальцевой, отчасти питаемые позднейшей «конкретной метафизикой» Флоренского, оставляют впечатление «вторичного упрощения» полемики, запоздалого дописка к критическим высказываниям Н. А. Бердяева. кн. Е. Н. Тру-

бецкого и о. Г. Флоровского, вдохновленным предреволюционными творениями отца Павла. Испытание мысли Флоренского связкой «утопия — авангард» завершается Р. А. Гальцевой менее успешно, чем в очерках о Бердяеве и Шестове. Причина коренится в том, что авангардизм, трактуемый как преодоление условности (конечности) художественного творчества, снятие границы между искусством и жизнью, знает один абсолютно удавшийся авангардный опыт — Воплощение Христова, евангельское «и Слово плоть бысть». По суги, Христова Церковь является единственным аутентичным памятником авангарда, на фоне которого любые авангардные дерзания, сущие вне Церкви, превращаются в нечто вторичное, изначально противоречащее своему понятию. Используемая Р. А. Гальцевой формула «утопия — авангард» внутренне недостаточно дифференцирована, возле церковных стен философский камень «Очерков...» теряет свою силу. Менее эффектно, но точнее говорить об экклесиологических вывихах русского духовного ренессанса и в этой связи выяснить, насколько симво-

лизм Флоренского, редуцирующий историю, созвучен православному учению о спасении.

(Впрочем, вторичная символистская стилистика Флоренского, подчас балансирующая на грани едва ли сознаваемой автопародии, раскрывает известную авангардную перспективу, не без оснований акцентированную Р. А. Гальцевой.)

Завершает «Очерки...» краткое эссе об «угопической попытке мышления обосновать бытие...» — предельно сжатое описание «судьбы идеи бытия» в европейской философии.

Оставаясь заметным свидетельством 70 — 80-х годов, «Очерки...» Р. А. Гальцевой не утратили злободневности. Лишившись идеологических опор, изрядная доля бывших насельников СССР занята поисками новой идеологии (не важно, какой окраски), усвая себе на потребу наследие русской мысли. Будем надеяться, что публикация книги Р. А. Гальцевой окажет терапевтическое действие, удерживая своих читателей от угопических транскрипций стоящих перед Россией задач.

В. МОРОВ.

\*

## ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ДНЕВНИК» СУВОРИНА...

А. Суворин. Дневник. («Голоса истории») М. «Новости». 1992. 494 стр.

«— М не жаль затравленного зверя (революцию). Не то чтобы я жалел его острых зубов, его хищного наскока, его безумной ярости — помилуй Бог! Мне жаль улетевшей красоты этого единственного в своем роде русского медведя, столь много обещавшего и столь мало давшего. Мне жаль моих ожиданий, моей грусти, моих восторгов, моей веры и ошибок, жаль пролетевшей, как сон, молодости. Подкрадывается что-то старое, склизкое, корявое. Перед зрелищем затравленной революции я испытываю что-то среднее между тошнотой и раскаянием. Смелость сознавшей свою силу и отвагу задорной юности, наглость реакции, наглость торжествующей, злобно-старострастной, импозантной, но похотливой энергии старости».

Кто же это с такой интимной проникновенностью размышляет о вечно драматичном движении российской истории? Неужели Алексей Сергеевич Суворин (1834 — 1912), чье имя на памяти нескольких поколений иначе и не упоминалось в печати как в сопровождении самых уничижительных определений?

Да, почти семьдесят лет пришлось дожидаться повторного издания «Дневника» А. С. Суворина — одного из выдающихся деятелей отечественной словесности и журналистики, публициста, дра-

матурга, театрального деятеля. Хотя значение этой незаурядной личности в истории русской культуры чрезвычайно многогранно, в нашем сознании она накрепко связана лишь с одной стороной обширной деятельности — с руководством и изданием газеты «Новое время» — столь же популярной и влиятельной в России, сколько и одиозной в общественном восприятии.

Всякую возможность объективной оценки и исследования этой газеты в свое время исключили резкие характеристики, данные ей и ее издателю Лениным в его статьях «Карьера» и «Капитализм и печать». С этих статей началось и злоупотребление насмешливой кличкой, приставшей к газете с легкой руки: Н. Щедрина (М. Е. Салтыкова): «Чего изволите?» Ни один писавший о Суворине не упустил возможности повторить эту кличку, трактуя ее как обвинение в пресмыкательстве перед властью предрержавшими, совершенно забывая, что Н. Щедрин в свое время насмеялся над... либеральным изданием. В зависимости от этих характеристик рассматривалось и участие в «Новом времени» знаменитых русских писателей. А. П. Чехову его великодушно прощали как ошибку молодости, которую он якобы впоследствии исправил. В. В. Розанов<sup>1</sup> мстительно

ставили в вину, радостно клея ему политический ярлык нововременца. В длинный список прегрешений нововременский период записывался и А. В. Амфитеатрову.

Но, так или иначе, Суворин действительно самый заметный и непреходящий след оставил в отечественной журналистике. Даже долгодетие делает А. С. Суворина уникальной фигурой в ее истории. Подумать только: в молодые годы, как он сам вспоминает в дневнике, воспитывался на фельетонах барона Брамбеуса (то есть Осипа Сенковского, литературного противника Пушкина), а жизнь закончил в канун первой мировой войны и пережив уже первую русскую революцию, современником Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького...

Ценность дневника такого человека сама по себе велика, даже если бы он не обладал умом, талантом, смелостью суждений, присутствующих Алексею Сергеевичу Суворину. Тем более что этот дневник еще и ключ к его непростой личности, вокруг которой еще при жизни стал складываться миф о беспринципном делеге, скупом, бессердечном человеке, культивирувавшем в журналистике лакейство и приспособленчество. Некоторые страницы «Дневника» свидетельствуют, насколько болезненно воспринимал его А. С. Суворин и как пытался его постоянно опровергать: «Вчера рассердился на заметку о праздновании 20-летия газеты. В заметке названы подарки, поднесенные мне, а ни слова нет о том, что я дал 5000 рублей в кассу наборщиков и 10 000 рублей в кассу сотрудников».

Конечно же, дыма без огня не бывает. Современников раздражало богатство А. С. Суворина, пусть и нажитое им, как говорится, своим горбом. Положение богача, хоть и вкладывающего постоянно деньги в отечественную культуру (в журналистику, в издательское и театральное дело), его тяготило. В припадке самобичевания он записывал: «Я прекрасно вижу, что я — мешок с деньгами и ничего больше».

В дневнике он порой бывает циничен. Падок на сплетни. Их он записывает в большом количестве и с видимым удовольствием. Так появляются эпизоды забавные, но часто далеко не лестные для многих известных людей: Н. С. Лескова, А. К. Толстого, Д. В. Григоровича... Эта страсть, несомненно, связана с общительным характером театрала и острослова. И за это многие его недолюбливали.

Характерен случай, когда в Александринке на премьере «Чайки» А. П. Чехова, которую А. С. Суворин сам не очень одобрял, считая, что писателю следовало более поработать над пьесой, он, однако, бросился грудью защищать ее от Д. Мережковского: «Мережковский, встретив

меня в коридоре театра, заговорил, что пьеса не умна, ибо первое качество ума — ясность. Я дал ему понять довольно неделикатно, что у него этой ясности никогда не было».

Сегодняшнего читателя «Дневника» А. С. Суворина не может не поражать удивительная современность его оценок. Не приводит ли на ум известную главу набоковского «Дара» такое воспоминание: «Чернышевский говорил бойко, много, самоуверенно, с тою авторитетностью и как будто хвастливостью, которые к нему располагали, ибо думалось: „Вот он какой молодец!“».

А какой удивительно меткой является его характеристика Тургенева: по словам А. С. Суворина, «он создавал образы мужчин и женщин, которые оставались образцами. Он делал моду. Его романы — это модный журнал, в котором он был и сотрудником, и редактором, и издателем. Он придумывал покров, он придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались...»

«Дневник» А. С. Суворина сохранил для нас массу глубоких и ценных мыслей Чехова, Толстого и других его литературных собеседников. Многие хрестоматийно известные высказывания писателей именно отсюда начали путь в многочисленные книги и исследования, чаще всего без указания источника. Как, например, широко известное толстовское: «(Леонид) Андреев все меня пугает, а мне не страшно», сообщенное А. С. Суворину малоизвестным писателем П. А. Сергеевко, близким к кругу Л. Н. Толстого.

При частой остроте и резкости суждений А. С. Суворин бывал мягок и внимателен к людям, даже снисходителен. Нежно относился к А. П. Чехову, неизменно благоговел перед Л. Н. Толстым. Но вот Викгор Буренин, которого мы сегодня помним разве что по расхожей эпитаграмме: «По улице бежит собака, / За ней Буренин, тих и мил, / Городовой, смотри, однако, / Чтоб он ее не укусил», — остроумный и злой Буренин, начинавший еще в «революционно-демократической» курочкинской «Искре» и в «Новом времени», не всегда бывавший неправым в острых и метких фельетонах, получает в «Дневнике» Суворина совсем уж неожиданную характеристику:

« — Какой Буренин мягкий и приятный человек. Я с удовольствием говорил с ним, — сказал мне Киреев.

Я ему рассказал, какой он действительно добрый человек. Злой в критике, но необыкновенно добрый и деликатный человек в жизни. Я много раз это испытал».

Однако В. Буренин был верным нововременцем, а А. Амфитеатров, для которого Суворин немало сделал доброго, оказался ренегатом. Поведение Амфи-

театрова при уходе из «Нового времени» было не совсем благородным по отношению к бывшему патрону, на что и пеняет ему Суворин в письме, включенном им в «Дневник»: «Выругать хозяина, которому задолжал, обидеть хозяина смертельно, которому обязан, чтоб перейти к другому, — это русская черга, одна из самых худших». Но стоило Амфитеатрову начать издание «России» (той самой газеты, где он опубликует своих сенсационных «Господ Обмановых»), как Суворин залюбовался его талантом, и все простил, и признает превосходство «конкурента» на журналистском поприще: «Читал «Россию». В ней есть что-то свободное и искреннее. «Новое время» заплесневело, замучено, серо. Так мне кажется, и думаю, что не ошибаюсь».

Последние строки очень важны для понимания личности Суворина и сложного отношения его к издаваемой им газете. Он никогда не ставил знак равенства между собой и «Новым временем». Критически высказывался он и о газете, и вообще о возможности прессы в условиях постоянного надзора и вмешательства властей. Вот что он пишет в 1893 году: «Читал «Новое Время». Дрянно и бесцветно ужасно». Через восемь лет: «Говорить прямо и открыто невозможно. Газета становится противною... Газета меня угнетает. Я боюсь за ее будущее».

Почему же А. С. Суворин, талантливый публицист и организатор журнально-газетного дела, умный и глубокий человек, не считал возможным в полной мере отвечать за позицию своей газеты (а она действительно временами бывала непристойной, как в деле Бейлиса), за ее качество и репутацию? Да, оказывается, по тому же самому, почему этого не могли один из его антагонистов в будущем — редакторов советской газеты или журнала, будь он семи пядей во лбу и разнаипрогрессивнейший по своим убеждениям.

По «Дневнику» можно установить необычайное, детальнейшее сходство взаимоотношений печати с властью в царское, дореволюционное, и в советское время. «Положение «Нового Времени» никогда не было лучше других газет. Это была мука, никогда, бывало, спокойно не унешь и чуть сомнение — бежишь в типографию... Правительством разгуливали по газетам с ножом и резало кого хотело и за что хотело». Стоит почитать подробное описание того, как министр Горемыкин распекал Суворина и поучал его журналистскому делу, или рассказ о визите начальника Главного управления по делам печати Соловьева, как тут же возникают безусловные и стойкие ассоциации со Старой площадью и Главлистом. Разве не о нашем с вами недавнем прошлом такая, например, запись Суворина, сделанная... в 1896 году:

«Соловьев, главный начальник по делам печати, велел сказать Шубинскому, что „Павел I может быть сумасшедшим для него, Шубинского, но не может быть таким для публики“. Пришлось в ноябрьской книжке „Исторического Вестника“ перепечатать 3 страницы. Шубинский хотел идти объясниться к Соловьеву, но Коссович ему сказал: „Если он в таком же настроении, как в эти три дня, то лучше не ходите. Мы даже боимся ходить к нему“».

Но вот здесь как раз и самое неожиданное для тех, кто привык к однозначным характеристикам А. С. Суворина. Находясь в равных условиях с нашими современниками в части произвола властей над печатью, он явно превосходил их в моральном отношении. Пожалуй, стоит привести цитату из дневника А. С. Суворина за 1904 год. Это рассказ о том, как маститый журналист прореагировал на попытку правительства наградить его орденом:

«Сегодня С. С. Татищев приходил ко мне от Плеве. Государь согласился принять депутацию журналистов на условиях: чтоб не было евреев и чтоб был Суворин. „Государь полюбил Вас, — говорил Татищев. — Он читает Вас. Вы тронули его сердце. Императрицы тоже читают, и Плеве вторит государю. Дело идет о том, чтобы наградить Вас. Хотят Вам дать „Владимира“ на шею“».

Я вскопчил как ужаленный. „Как, мне орден? Да это, значит, убить меня, закрыть мне рот навсегда. Я откажусь от ордена, если мне его дадут. Ничего другого мне не остается“».

Так А. С. Суворин отстаивал хотя бы призрачную независимость журналиста от власти, к которой он относился весьма трезво и без всяких иллюзий. «Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих «государственный людеи», которые, в сущности, государственные недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя, и на свое холопство, которое нет возможности скинуть». Опять та же тема «тошноты и раскаяния», красной нитью проходящая через весь «Дневник».

Тошнота подступает к горлу Суворина каждый раз, когда ему приходится говорить о власти: «...она не стоит того, чтоб ее поддерживать». Людям, увлеченным модным и внеисторическим, розовым взглядом на дореволюционную Россию, стоит прочесть страницы «Дневника», посвященные Ходынке, антисемитизму Александра III, пессимистические характеристики нового царя Николая II: «государь окружен глупцами или прохвостами», «государь сидит между стульями очень неловко», «Александр III русского коня все осаживал. Николай II запряг клячу. Он

движется и не знает куда». Есть выражения и покрепче: «Можно спросить: есть ли у правительства друзья? И ответить совершенно уверенно: нет. Какие же могут быть друзья у дураков и олухов, у грабителей и воров».

Мы долго смотрели на историю отечественной журналистики, словесности и вообще культуры одним только глазом и привычки к однообразной плоскости исторического пространства. Сейчас мы только начинаем учиться воспринимать его объемно. Дневники А. С. Суворина на этом пути — хорошее подспорье. Почти одновременно с ними вышли мемуары Е. М. Феоктистова. Хорошо бы какому-нибудь из наших издательств выпустить хотя бы репринт одной из дореволюционных объективных биографий М. Н. Каткова — премного обогатившего и недооцененного деятеля русской журналистики. Помнится, в самом начале перестройки пришлось мне перелистывать изданную в годы первой русской революции брошюру «М. Н. Катков о печати» и удивляться, насколько пресловутый «махровый реакционер» в своих взглядах на гласность прогрессивнее «перестроечного» идеологического секретаря Вадима Медведева...

Говоря о ранее поминавшихся только лихом деятелях российской консервативной печати, нельзя не вспомнить два соображения, высказанные В. В. Розановым. Как-то, объясняя свой переход в консервативный лагерь журналистики, он назвал две очень важные причины. Во-первых, это тематика, мимо которой дружно прошла вся «революционно-демократическая» печать и которую В. В. Розанов обозначил как

«Христос»,  
«Христианство»,  
«История»,  
«Человечность».

Во-вторых, свидетельствовал В. В. Розанов, «консервативные журналы и газеты никогда себе не позволяли вмешиваться в личность автора-сотрудника, никогда от них не требовали во *всем* с собою согласия, беря лишь *общее сочувственное направление*; и далее: «Ни малейшему *унижению*, никакому *прижиманию* душа ни одного сотрудника там не подвергалась, и это было до того «общим правилом», что *обратного* — нельзя себе представить».

Но, наверно, самое важное в значении для нас опыта консервативной печати, что это был опыт не разрушения, не осмеяния или пригвождения, а опыт созидания, реальной работы на благо России, опыт, донельзя сегодня необходимый нашей давно утерявшей его журналистике.

И на этом, вероятно, можно было и закончить рецензию на переиздание «Дневника» А. С. Суворина, если бы не

печальная необходимость еще раз напомнить издателям, что есть такой термин «культура издания» и что с ней-то у нас в последнее время дело обстоит все хуже. Если бы «Новости» просто выпустили репринт издания 1923 года, с них, как говорится, были бы и взятки гладки. Хотя и репринтные издания принято снабжать новым справочным аппаратом. Вначале я принял за чистую монету утверждение издателей, будто (цитирую) «текст печатается по: Издательство Л. Д. Френкель, Москва — Петроград, 1923». Однако иллюзия рассеивается, как только внимательно просмотришь «Указатель имен». Там среди примечаний, явно составленных для книги 1923 года, читателя ожидают сюрпризы. 30 мая 1907 года Суворин записывает такую строчку: «Чуковскому 23 года, жена, двое детей. Талант, и искренний». К этому упоминанию о молодом критике, еще раз доказывающему доброе отношение Суворина к талантливым людям, с изумлением читаем такой комментарий: «Чуковский Корней Иванович (1882 — 1969) — писатель, литературовед, доктор филологических наук, автор классических произведений для детей».

А вот довольно забавный ляп, допущенный еще в издании 1923 года и дополненный историческими датами уже безымянным комментатором издательства «Новости»: «Чемберлен Невилл (1869 — 1940) — глава английского кабинета министров (1937 — 1940), лидер консерваторов». В «Дневнике» упоминается речь Чемберлена, вызвавшая большую тревогу в России в 1898 году, когда Невиллу Чемберлену было всего двадцать девять лет и еще двадцать девять лет отделяли его от правительственной карьеры. Нет никакого сомнения, что речь идет о совсем другом Чемберлене — Джозефе, министре колоний Великобритании в 1895 — 1903 годах, одном из видных идеологов британского колониализма. Словом, редакционное вмешательство «Новостей» в текст прежнего издания несомненно. Жаль, что оно не направлено на улучшение его качества.

Именной указатель явно неполон и не может служить серьезным справочным материалом для читателя. На первых же сорока пяти страницах находишь массу имен, к которым нет никакого пояснения: Чижов, граф Строганов, Столыпин, «Монго», граф Ферзен, Петр Петрович, Ньюра и т. д. Далее оказывается, что в списке имен нет даже многократно упоминаемого Снессарева, бывшего нововременца и автора разоблачительной книги о «Новом времени», которую подробно пересказал Ленин в статье «Капитализм и печать» (с не очень понятным, впрочем, доверием к фактам, изложенным проворовавшимся Снессаревым,

мстящим выгнавшей его с позором редакции).

Сам текст «Дневника», изданного во время нэпа частным издателем, чрезвычайно сомнителен с текстологической точки зрения, на что в свое время указывалось на страницах «Вопросов литературы». Уже в цитате, приведенной в начале рецензии, мне пришлось исправить явную грубую опечатку. Подготовивший издание 1923 года М. Кричевский делает довольно странное признание: «Большое место в «Дневнике» отведено чисто семейным делам, которые были очень запутаны и очень часто выводили старика из равновесия, когда он впадал в брюзжанье. Эти записи мы, по мере возможности, выпускали совершенно». И еще: «Отдельные выражения, слишком «вольные», заменены либо другими (?! — *P. T.*), либо точками».

Само это признание о текстологическом произволе в сочетании с вульгарно-социологическими установками предисловия должны были бы насторожить

современных издателей. Но никто не попытался сверить текст и устранить пробелы по рукописи «Дневника», хранящейся в ЦГАЛИ. Между тем уже известны вопиющие искажения авторского текста в издании 1923 года. Вот одно из них, исправленное Н. А. Роскиной в полном собрании сочинений А. П. Чехова (т. 8; М. «Наука». 1986). А. П. Чехов, рассуждая о смерти, говорил Суворину: «Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель». В «Дневнике» издания 1923 года напечатано «сольюсь с вздохами и муками». Видимо, «козявки и мухи» у Чехова показались М. Кричевскому слишком вольным выражением... И вот несмотря на то, что это искажение несколько лет как обнаружено и исправлено, новые поколения читателей опять вынуждены читать «с вздохами и муками».

**Рэм ТРОФИМОВ.**

Рига.



**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
СТАТЬЮ АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО  
«ОГНЬ БО ЕСТЬ  
(СЛОВЕСНОСТЬ И ЦЕРКОВНОСТЬ: К ПОСТАНОВКЕ  
ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО СОПРОМАТА)»**

---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**И. ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН. Кладоискатель. Повести, рассказы. Л. «Васильевский остров». 1992. 153 стр.**

Евгений Звягин, участник легендарных сегодня питерских подпольных альманахов времен застоя («Весы», «Часы», «Обводной канал» и др.), принадлежащий к тому самому — уже полумифическому благодаря стараниям прессы и телевидения — «поколению дворников и сторожей», наконец-то смог выпустить книгу. Наслышанные об отечественном андерграунде читатели не будут обмануты: их и впрямь ожидают встречи с интеллектуалами из бойлерных и котельных, полуподпольные вернисажи, «хипари, торчащие на игле», бомжи, менгты и т. д. А повесть, открывающая книгу, широко известный в некогда узких питерских кругах «Корабль дураков...» («крутой сюр»), метафора абсурда, где обыгрываются приемы и образы из современной европейской литературы), убедит читателя, что перед ним действительно самый авангардный авангард.

Книга Звягина вполне может стать некой иллюстрацией к романтическому штампу о творцах из бойлерных, если читающая публика не пойдет дальше ее андерграундной экзотики и завлекательных сюжетов. Но звягинская проза во многом — проза лукавая. При стремлении Звягина (а он прежде всего о в р е м е н н ы й писатель) к лаконизму, ироничной афористичности, к интонационной упругости и нагруженности повествования подтекстом в его прозе можно почувствовать что-то очень знакомое, заставляющее вспомнить «Белые ночи» или повести князя Одоевского. Под пером Звягина, играющего с самыми разными стилями, не просто кажутся удавшимися, но как бы обнаруживаю свою ограниченность для его дара интонации чуть вальяжного старинного повествования с обстоятельными отступлениями, вставными новеллами, неторопливо и тщательно прописанными пейзажами.

И соответственно этой тональности возникает излюбленный герой Звягина: молодой (или на излете молодости), одинокий, неприкаянный, отнюдь не победительного склада человек — петербург-

ский мечтатель. А постоянным его спутником, или, пользуясь авторской манерой, конфидентом, Звягин делает город. Сквозь жестко написанный советский Ленинград проступает для героя другой город, выглядывающий из глазниц старинных окон, завораживающий кружением своих каналов, томящий молчанием вросших в землю потрескавшихся плит; совсем рядом ощущает он полуфантастическую реальность угонувшего в прошлом Петербурга. И уже непонятно, наяву или в воспаленном воображении героя происходит его встреча с сатаной («Здесь, на Синопской набережной»), с женщиной-вамп («Кладоискатель»), с прелестной Зинаидой из прошлого века, с покойным другом, с упырями и т. д. («Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки, или Напиться на халяву»). Писатель строго соблюдает один из законов романтической прозы: у читателя всегда должна оставаться возможность объяснить невероятное вполне реальными причинами. Способ переброса своего героя из одной реальности в другую мотивирован его андерграундным мироощущением — портвейн молдавский «розовый». Алкоголь для героев Звягина — способ выжить и сохранить себя в социально-психологической атмосфере «застойных лет». Впрочем, для Звягина тема вот этого пассивного «богемного» противостояния господствующей идеологии отнюдь не главная, она только фон.

...Герой повести «Кладоискатель» одержим мечтой найти клад. Ему везет — он получает верные сведения о месте захоронения клада. Более того, т о т дом пуст, освобожден для капитального ремонта. Путь открыт. Но герой постоянно упирается в преграды, природу которых не может понять: случайная встреча с друзьями и неизбежное потом застолье, кружащая вокруг него загадочная, манящая и пугающая незнакомка — то ли искательница приключений, то ли гостя о т т у д а. Что это — случайное стечение обстоятельств не подпускает его к кладу или вмешательство неких тайных могущественных сил? И вот наконец, преодолев последнее препятствие, герой вскрывает заветную шкатулку. Увы! Старые обесцененные бумаги и больше ничего. Потер-



певший очередное поражение герой присоединяется к буйному веселью случайной компании... Ну а все-таки зачем ему был нужен клад? Разбогатеть? Нет. Герою просто нужна удача. Он устал быть неудачником. Его одержимость кладоискательством — это попытка перебороть судьбу. Герой деятелен, энергичен, счастлив только в движении к своей цели. Счастлив настолько, что возникает мысль о его другом — потаенном, может быть, уже и от себя — упоении собой неудачником и о глубоко запрятанном страхе стать «удачником». Может быть, он и сам чувствует, что обретение клада сделает его жизнь пустой. Лишит горьковатой и хмельной радости надежды, избавит от голода по жизни, который, по сути, и есть счастье. Тема старинная, не Звягиным открытая, но исполненная им и самостоятельно и сильно.

Обширная культура, задействованная Звягиным, растворена в его прозе настолько, что замечаешь ее не сразу (исключая разве повесть «Корабль дураков, или Записки сумасброда»). Вот, скажем, герой «Сентиментального путешествия...» совсем было решил на самоубийство, но в последнюю секунду он слышит женский крик и видит, как совсем молоденькая женщина вскакивает на гранитную стойку перил и бросается в воду, — прочитав это, с некоторым опозданием ловишь себя на желании уточнить, а не на том ли самом мосту стоит герой Звягина, на котором в свое время совсем уж было решил на самоубийство Раскольников, но в последнюю секунду очнувшись, услышав крик, и увидел, как бросилась в воду женщина... Звягин не играет здесь с текстами Достоевского, он просто улавливает в петербургском пейзаже с каналом некий как бы растворенный в нем литературный мотив, то, перед чем и он и Достоевский находятся в равном положении.

Прозу Звягина можно было бы назвать петербургской прозой — при всей ультрасовременности ее материала и приемов, она настолько укоренена в старой литературной традиции, что заставляет вспомнить любимое присловье Шергина: «Идущий позади меня всегда оказывался впереди».

## II. АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ. Встреча с Папой Римским. Повесть. «Нева», 1993, № 3.

Повесть Александра Черницкого даже на фоне нашей привыкшей к черноте современной литературы выглядит достаточно жесткой. Жесткой прежде всего в социально-психологическом отношении. Хотя и пишет автор на специфически интеллигентском ироническом жаргоне, как бы и не слишком всерьез,

только вот усмешка здесь — сквозь стиснутые зубы, а от юмора Черницкого становится не по себе.

Содержание повести: две семейные четы, Хватких и Ловких, едут в Польшу на встречу с Папой Римским. Папу они не увидят, да и «не очень-то хотелось». Паломничество — только повод, подвернувшаяся возможность бесплатно, нахалству прокатиться за бугор, вывести свой товар, закупить ихний. Перед нами — «базарные туристы» из первой волны, хлынувшие в ближнюю Европу грязным, потным, чуть ли не на вокзальных скамейках ночующим нашествием новых гуннов. Прошедшие советскую школу выживания с ее навыками обделывать свои дела, обходить законы, ловчить, изворачиваться, с ее представлениями, что можно и чего не можно, тараном прошибают они уже слегка нагулявшую жирок беспечной и сытой жизни Европу; пусть даже в таком ее относительно близком к нашему варианту, как Польша. Эту повесть хорошо бы разбирать по ведомству производственной прозы: написанная в виде чуть ли не почасовой хроники, густо насыщенная технологическими подробностями выколачивания денег из панов, она помогает нам увидеть во весь рост человека в его деле. На редкость откровенно, надо сказать, деле. И самое утрашающее в повести — убедительно показанная атмосфера обыденности и некой повсеместности этого торгово-закупочного шабаша, легкость и естественность, с которой в среднестатистическом советском человеке просыпаются навыки жлоба и хапуги.

«Неужели это мы такие — циничные, мелочные, бесстыдные...?» — восклицается в журнальном врезе к повести. Редакция несколько смущена предложенным ею текстом. Она осторожно ставит вопрос, а не слишком ли сам Черницкий упоен изображаемой им стихией, похоже, что автор «словно бы не замечает нравственных изъянов своих персонажей». Да, этот текст способен покоробить кого угодно. Только не стоит укорять здесь автора. Разумеется, лестно было смотреться в зеркало, которое представляла интеллигентам-аутсайдам Европа лет десять назад. Тогда вырвавшийся на Запад из СССР соотечественник смотрелся в ореоле мученика идеи и борца с тоталитаризмом. И вдруг, глянув на себя в то же зеркало, но уже сегодня, мы увидели в нем харю бесцеремонного, нахрапистого дельца. Согласен, неприятно. Не будем успокаивать себя мыслью, что мы-то с вами, слава богу, э т и м не занимаемся и лицо сохранили. Если бы! Давайте оглянемся, посмотрим хотя бы на ту уже давно непристойную суету вокруг приглашений из западных университетов, суету вокруг фондов, заграничных

поездок, семинаров, стажировок и т. д. и т. д. Чуть поблагороднее снаружи, но сердцевина-то одна.

Ведь герои Черницкого отнюдь не из магазинной подсобки. Один актер, другой литератор, и английскую фразу могут ввернуть, и авангардного и не авангардного поэта процитировать, и товар в газету «Гуманитарный фонд» заворачивают. По всем признакам — из нынешней интеллектуальной элиты. Просто возможности не те, не предложили им контракт на радио «Свобода» или курс лекций-консультаций в славистском центре. И пришлось им крутиться как во всем.

Может быть, самое мужественное в нашей ситуации как раз то, что делает Черницкий, — не жмурить глаза, не делать вид, что этого в нашей жизни нет. Я бы, например, не стал говорить о некоей нравственной глухоте автора. Нет. Пишет интеллигент с нормальной, еще не сбитой шкалой нравственных ценностей; пишет, вполне отдавая себе отчет в том, какой шок способно вызвать изображенное им. Потому и действует так его проза. И уж коль мы не в состоянии вот так сразу изменить свою жизнь, то давайте хотя бы иметь мужество видеть ее во всей красе. Тяжело? Противно? Еще как! Собственно, поэтому и об этом написал Черницкий свою повесть.

### III. ИВАН АЛЕКСЕЕВ. «Мужчина на одну ночь» и другие рассказы. М. СП «Слово». 1993. 207 стр.

О рассказах Ивана Алексеяева в литературных кругах начали говорить еще до их публикации как о прозе талантливого и уже почти зрелого мастера. И вот книга вышла. Действительно. Талантлив — безусловно. Мастер — без сомнений... Особенно поражает последнее: это в наше-то время, когда с падением идеологической цензуры, казалось бы, пала и редакторская, эстетическая цензура и в силу начала входит проза, чуть ли не целиком построенная на лихости новых авторов, которые «двинули» в большую литературу, не особенно утруждая себя литературной выучкой и самодисциплиной?! А тут строгость к себе почти монашеская. Разве что несколько зазывным, фривольным выглядит название книги: «Мужчина на одну ночь». Но сам-то рассказ, давший название книге, действительно очень хорош. Ориентация здесь не на «Эммануэль» и маркиза де Сада, а на Чехова, Трифонова, Маканина; на их умение двумя-тремя короткими штрихами изобразить характер, судьбу персонажа, на их умение передать жест, интонацию, а самое главное, на умение за обыденным, примелькавшимся открыть некое пространство, в котором-то все и свершается. Помните: ничего не проис-

ходит, герои просто обедают, сплетничают, а в это время ломаются их жизни. Это как раз то, что уже умеет делать в литературе Иван Алексеяев. Вот, скажем, его рассказ «Мужчина и женщина». Относительно короткий и относительно традиционный (муж и жена, прожитая обыкновенная, в общем-то, благополучная жизнь, в финале ее у обоих — тягостное недоумение перед протекшим), рассказ этот вбирает у Алексеяева почти романное содержание.

Пересказывать здесь сюжеты или перечислять приемы, которыми пользуется Алексеяев, бессмысленно. Не в материале и не в сюжетах своеобразие писателя. Он берет другим: плотностью письма, умением вымывать из быта бытийное. В последние годы очень и очень немногие входили в литературу с такой великолепной «литературной мускулатурой».

И все же... Почему-то в случае с Алексеяевым вспоминаешь о премии «Оскара» в кино: «Оскар» за лучший сценарий, за лучшую операторскую работу, за лучшую женскую роль, за лучшую композиторскую работу и т. д. и т. д. Была бы такая премия в литературе, Алексеяев получил бы по отдельности добрую половину этих премий, но вот получил ли бы он одну, главную, первую?.. Парадоксальная ситуация: чем шире демонстрирует писатель богатство своих возможностей, тем острее ощущение, что чего-то здесь не хватает. Может быть, той обнаженности боли, той маеты, того напряжения, чем сильна упомянутая выше повесть Черницкого из «Невы»? При чтении рассказов Алексеяева вспоминается проза Петрушевской, Маканина, «корейские» рассказы Кима... И не потому, что проза Алексеяева подражательна, просто очень многое в ней освоено нами у других писателей. «Дни мелькали, как проветры между вагонами нескончаемого скорого поезда» — вот фраза выразительная, пластичная, емкая. Но до тех пор, пока остается непонятно, к чему крепится она в рассказе, на какую общую для Алексеяева интонацию сориентирована, от подобных фраз (как и некоторых сюжетных ходов, интонационных перебивов, кратких характеристик и т. д.) остается ощущение крепко сделанного штучного товара, стилистического щегольства, не более. Ответить на вопрос, где в этой очень культурной прозе сам Алексеяев, пока трудно. Но и сказать, что его там нет, тоже нельзя. Есть, несомненно.

Бывает, мы знаем это из истории литературы, вот такое мучительное неопределенное положение, в котором зависают на время даже самые талантливые писатели. Ближайший пример — Юрий Трифонов. Уже достаточно известный, популярный прозаик («Студенты», «Утоление жажды», «Отблеск костра» и т. д.) для

литературы оставался «одним из талантливых» («наиболее читаемых», «остросовременных» и проч.) писателей. И только появление повести «Обмен» и книги рассказов «Кепка с большим козырьком» заставило читателя понять, с кем он имеет дело. После этих книг он стал не «одним из...», а единственным — Юрием Трифоновым. И потом, перечитывая «Утоление жажды» или его ранние рассказы, читатели удивлялись: как же так, ведь он уже был в этих рассказах, почему не видели?

Возможно, так и мы будем перечитывать завтра алексеевские рассказы. В этом я почти не сомневаюсь, потому что на одних «литературных мускулах», на одном усилии такого мастерства, как у Алексева, не достигают. Остается надеяться, что «инкубационный период» его затянется не слишком надолго и мы уже в ближайшее время откроем для себя нового писателя.

Сергей Костырко.

\*

**ВЕРНОН КРЕСС. Зекамерон XX века.**  
Роман. М. «Художественная литература».  
1992. 429 стр.

Перед нами книга бывшего зека, чье имя, выставленное на обложке, звучит не менее экзотически, чем название книги. В выходных данных читаем подлинное имя автора — Петр Зигмундович Демант, что само по себе интригует, но ничего не проясняет. Биографическая справка, увы, отсутствует. В аннотации читаем: «Автор — австриец по национальности, видит Колыму как бы со стороны, изумленными глазами выходя из Западной Европы». И это все? Да, это все. Недоумение не проходит: как можно смотреть на Колыму «со стороны», будучи колымским зеком? Вопрос не только риторический. Но оставим злосчастную аннотацию. Отсутствующие биографические данные можно восстановить по предисловию Лидии Графовой к двум рассказам Вернона Кресса в «Литературной России» (1989, № 23). Не берусь точно сказать, была ли это первая его публикация, но именно тогда я впервые услышал это писательское имя. И тогда же запомнил его. Итак. Петер Демант. Родился в 1918 году в семье австрийского офицера (значит, только что отметил свое семидесятипятое). Детские годы прошли на Буковине. Окончил там немецкую гимназию, учился в Чехословакии, потом в Ахенском технологическом институте. В 1940 году Буковина стала советской, а Петер Демант оказался советским гражданином. Работал в Черновицком краеведческом музее. Перед войной был арест-

тован. Как бы за национальность — австрийский шпион. Провел тринадцать лет в лагерях. После освобождения долго жил на Колыме, не в силах оторваться от пережитого.

«Зекамерон XX века» был написан в 1969 — 1971 годах. Но рукопись, рассказывает В. Кресс, пришлось на много лет положить в тайник, подальше от назойливых визитеров (безо всякого ордера, уточняет автор). Десять лет спустя вроде бы появилась надежда на публикацию, но, увы, преждевременная. «А сегодня... — пишет В. Кресс, — читатель настолько подготовлен, что может обойтись без объяснения слов «кум», «БУР» или «сексот»...»

Конечно, «Зекамерон XX века» вовсе не роман, как обозначено в выходных данных, что, впрочем, не умаляет его достоинств. Это книга, точнее, три книги рассказов, расположенных в хронологическом порядке. Рассказы в буквальном смысле слова, от глагола р а с с к а з ы в а т ь. Рассказывать о чем-либо, о ком-либо. О послевоенной Колыме. О товарищах по заключению. О лагерной работе. Не испытывая особенной любви к соцреализму, я тем не менее люблю читать о том, как люди работают. Как добывают золото на Колыме (чему в книге В. Кресса посвящено немало интересных страниц). Или хотя бы о том, как варят чифир. Если у Варлама Шаламова, которого Кресс встречал на Колыме, лагерь — своего рода антижизнь, отрицательный опыт, то в «Зекамероне...» лагерь т о ж е жизнь, часть жизни. Тут «Зекамерон...» чем-то близок лагерной книге Евгения Федорова «Жареный петух» (см. о ней рецензию Ю. Шрейдера в «Новом мире», 1993, № 3); правда, у Е. Федорова — великолепная художественная проза, а В. Кресс пишет на первый взгляд бедно, почти без «художества». Он никого не хочет напугать. «Мое состояние было типичным для лагерных придурков, в которые я ненадолго попал по воле судьбы», — откровенно пишет В. Кресс. У меня же создалось впечатление, возможно ошибочное, что на протяжении всей книги он то и дело переходит с одной должности лагерного придурка на другую (если это не так, приношу писателю свои извинения). «Мы жили спокойно, сыто и сравнительно свободно», — начинает он рассказ о жизни на перевалочной базе, и эта простая фраза поначалу даже ошарашивает своей неожиданностью, непредсказуемостью. «Для меня началась очень беспокойная, но интересная жизнь», — рассказывает он о том, как стал маркшейдером с цейсовским теодолитом. Интересная жизнь. Каково? Но ведь и «Зекамерон...» об этом: всюду жизнь. В предисловии автор как бы извиняется за

присутствие в книге своеобразного «колымского юмора» и даже духа «швейкиады». Можно сказать, что если Шаламов пишет о том, как человек в лагере разлагается и погибает, то Вернон Кресс пишет о том, как человек в лагере живет и как — разными способами — выживает. И даже доживает «до счастливого конца» (его подлинное выражение).

Будем честны: после «Колымских рассказов» и «Архипелага ГУЛАГ» книга Вернона Кресса, к тому же запоздавшая на пути к читателю, вряд ли кого-нибудь потрясет. Хотя кто знает. Она, вероятно, будет воспринята как еще одна лагерная книга. Достойная, но именно еще одна. А у кого-то даже вызовет раздражение: ну сколько можно об этом? Я же думаю так: все написанное очевидцами о ГУЛАГе имеет право быть напечатанным. И постепенно должно быть напечатано. Это звучит слишком категорично и вряд ли выполнимо. Но императив должен быть именно таким.

Андрей Василевский.

\*

**МАРИНА ЦВЕТАЕВА В МОСКВЕ. ПУТЬ К ГИБЕЛИ.** Автор-составитель и автор текста Ю. М. Каган. М. «Отечественно». 1992. 240 стр.

Чередой прошли юбилейные торжества — столетиям со дня рождения замечательных поэтов посвящались конференции, книги, статьи, выставки. Кончились славословия. Наступили рабочие будни.

«Не сравнивай: живущий несравним», — писал Мандельштам. Призывал не сравнивать, но все время сравнивают. Иногда даже невольно. Пастернак с Мандельштамом, Ахматову с Цветаевой... И как поэтов, и по тем жизненным обстоятельствам, которые выпали им на долю. Цветаева так открыто, так пронзительно говорила о своей судьбе<sup>1</sup> и сама судьба — поэтическая и человеческая — была у нее такой, что больше читателей сочувствует, сострадает ей, чем трем другим названным здесь замечательным поэтам. На Красной площади около ГУМа, около Исторического музея до недавнего времени изо дня в день собиралось множество желающих участвовать в экскурсии «По цветаевским местам»; книги Цветаевой и о ней неизменно раскупаются. И вот еще одна книга. После известных трудов А. Саакянц, И. Кудровой, М. Белкиной, после работ американских и французских исследователей С. Карлинского, Дж. Таубман, нашей бывшей соотече-

ственницы В. Швейцер, после В. Лосской, кажется, трудно ожидать чего-то совсем нового, однако вот перед нами книга, определенно не похожая на сочинения названных специалистов и насколько с ними не соревнующаяся. Конечно, дело не только в том, что в столь трудное время она издана добротно: в твердом переплете, на хорошей бумаге, с большим количеством хорошо подобранных иллюстраций, многие из которых публикуются впервые. Дело в том, что эта книга создана в каком-то особом жанре, создана как бы самой Цветаевой и теми людьми, которые окружали ее, создана самой этой московской жизнью. В этой книге читателю дается возможность пережить одновременно и документы эпохи (некоторые из них раньше не публиковались), и стихи, и прозаические отрывки, различные суждения, воспоминания о времени, о поэте.

Мы видим родной дом Цветаевой в Трехпрудном переулке, убранство, быт, ощущаем дух серебряного века, дух русской интеллигенции. Видим становление поэта. Потом — странная квартира в Борисоглебском переулке (внимание не может не остановить такая деталь: в квартире было триста квадратных метров!). Видим в ней счастливую молодую Цветаеву, заказывающую кухарке на обед «голову дикого вепря». Видим эту квартиру разоренной, когда, чтобы выжить, все продавалось, даже портрет любимой покойной матери — он был в дорогой раме и его трудно было вынуть из нее. Видим, как мебель красного дерева шла на дрова, как ее тут же рубили, а пол не подметали, мусор не убирали, и с трудом вернувшаяся в Москву Анастасия Цветаева в темноте приняла весь этот мусор за мягкий толстый ковер... Видим Марину Цветаеву, которая пишет: «Я не могу жить в Борисоглебском, я там удавлюсь» — после смерти своей младшей дочери Ирины, о которой и стихов-то почти нет не потому ли, что в страшном этом семейном событии, так тесно связанном с историей страны, невозможно было хоть что-нибудь сколько-нибудь романтически героизировать?... Видим, как много лет спустя замечательно одаренная Ариадна Эфрон — старшая дочь поэта, занимавшаяся у художницы Н. С. Гончаровой, в мастерской Лувра, — после всех своих мытарств, после тюрьмы, лагеря, ссылки заверяет Военную прокуратуру и Военную коллегия Верховного суда в том, что всю оставшуюся жизнь она будет «стараться оправдать оказанное ей доверие»... Надо ли разъяснять весь драматизм и даже трагизм этой ее фразы? Видим благородного, романтически настроенного юного мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона, зачарованного и

<sup>1</sup> Один весьма искушенный в литературе человек сказал: «Просто стирает под кожу!»

замороженного «великим экспериментом», от любви к России превратившегося из белогвардейца в «честного агента советской разведки» и расстрелянного за это теми, на кого работал. Представляем себе жизнь поэта на даче провалившихся агентов в подмосковном Болшеве, арест близких людей и какую-то неотвратимую уже вовлеченность Цветаевой в темные дела государства. При опознании почерка мужа, узнав, она сообщила, что не узнала его. Сообщала, что в последние годы писала С. Я. Эфрону из Франции в СССР, пользуясь дипломатической почтой. Вернувшись в Москву, она уже больше ориентировалась в ситуации, чем живя в Париже: пытаясь спасти мужа, она направила свое заявление непосредственному его начальнику — самому Берии.

Немногословные и очень нужные комментарии автора-составителя входят в книгу совершенно органично. Они далеки от какой бы то ни было навязчивости, и в них нет так свойственных многим нашим изданиям попыток создания культа. Книга сделана с большим вкусом и тактом. Чтобы составить такой сборник, как этот, недостаточно было знать и любить творчество Цветаевой, литературу того времени. Для этого надо было прожить жизнь в обстановке культуры старой Москвы, московской интеллигенции, чувствовать драматизм ее существования, уметь читать трагические ее страницы. Цветаева очень московский поэт. Недаром она писала, что у нее «пятерное» право на Москву, которая ее «вышвыривала», «извергала»: «...право уроженца, право русского поэта, право поэта Стихов о Москве, право русского поэта и право вообще поэта...» (черновик письма В. А. Меркурьевой от 1940 года). «Москвичка с головы до ног. Московская непосредственность. Московская сердечность, московская (сказать ли?) распушенность в каждом движении ее стиха. Но это другая Москва — Москва доОктябрьская, студенческая, арбатская. Поэзия ее похожа на поэзию петербуржанок Ахматовой и Радловой так же мало, пожалуй, как на поэзию «кафейных» поэтов. Это поэзия «душевная», очень своевольная, капризная, бытовая и страшно живучая. Цветаеву очень трудно втиснуть в цепь поэтической традиции — она возникает не из предшествовавших ей поэтов, а как-то прямо из-под арбатской мостовой» — так писал о Цветаевой Д. С. Мирский.

Думаю, что эта книга — своеобразное «введение в цветаеведение». Жаль только, что в ней нет именного указателя и что тираж всего 50 тысяч. Такая книга, конечно, найдет своего читателя, но найдет ли читатель эту книгу?

**М. Кораллов.**

\*

**КАРТИНЫ БЫЛОГО ТИХОГО ДОНА. М. «Граница». 1992. Т. 1, 256 стр. Т. 2, 223 стр.**

Появление на авансцене сегодняшней жизни казаков явилось для многих неожиданностью. Повлияла и непривычная форма, пришедшая как бы из далекой старины, ее некоторая театральность, а главное — попытка воссоздать дух и уклад казачества в нашей современной жизни с ее привычным «подсоветским» атеистическим воспитанием и немножко ернической атмосферой. Журналисты отреагировали прежде всего на эти лежащие на поверхности черты.

Многое в сегодняшнем казачьем движении еще не упорядочено, нет своего устоявшегося лица, нет и эффективной организации, охватывающей разные стороны жизни казаков, как это было в свое время в России. Но вот вопрос: почему люди, стоящие ближе к земле и станку, чем к письменному столу, так живо откликнулись на начавшееся движение?

За прошедшие десятилетия успело смениться уже три поколения, но связь времен, как видим, не распалась, ощущение своих корней не было утеряно до конца. Что же касается архаичности форм, в которые облекается казачье движение сегодня, то причины этого явления очевидны — десятилетия подавления и отсутствие всякой возможности развивать свои традиции.

И очень вовремя, на наш взгляд, издательство «Граница» предложило своим читателям переиздание книги «Картины былого Тихого Дона», впервые вышедшей в 1909 году и имевшей подзаголовок: «Краткий очерк истории войска Донского для чтения в семье, школе и войсковых частях». Научившись в советскую эпоху не доверять официальному печатному слову и не всегда ориентируясь в сложных построениях новейших авторов-историков, современный читатель с большей охотой обращается к старой, дореволюционной книге, как правило, написанной ясно и достаточно кратко.

«Широко, в приволье зеленых степей, течет Дон. Зеркальной лентой блестящего серебра извивается он среди полей, меж белых мазанок станиц, меж зеленых садов, по широкому степному раздолю. И медленно и плавно его течение. Нигде не бурлит он, нигде не волнуется. Зеленые деревья обступили его берега, придвинулись близко к воде, отразились в зеркальной глади широкой реки и будто глядят в нее...» Так возникает первая картина. Вернее, приоткрывается маленький пейзажный фрагмент монументального исторического полотна донского

края. Медленно отодвигая завесу, мы знакомимся с его отдельными деталями, персонажами, событиями.

Читая эту книгу, нельзя, конечно, забывать, к какому периоду наших знаний о прошлом она относится, чтобы разумно воспринимать встречающиеся элементы идеализации и романтизации донской истории. К началу XX века сложилась уже обширная историография донского казачества. На протяжении XIX века постепенно растет интерес к его историческому прошлому. Выходят труды с описаниями военной истории казачества, устройства жизни, этнографии, фольклора. Начинается изучение и публикация документов из архивов центральных органов управления и местной донской войсковой канцелярии.

Автору «Картин...» удалось в полной мере использовать весь арсенал накопленных к началу XX века знаний по донской истории, почерпнуть в уже известных сведениях яркие образы и красноречивые сюжеты. Обилие песен, стихотворных строф, удачно увязанных с предметом повествования, позволяет почувствовать атмосферу жизни Дона, его тихую, немудреную музыку.

Книга содержит множество фактов и сведений о разнообразных событиях и сторонах казачьей жизни. Мы встретим в ней подробное описание вооружения казака, рассказ об устройстве полка и боевой тактике в разные эпохи. Познакомимся с историей становления посе-

лений на Дону, возникновения войсковой столицы, формирования Донского, Терского, Сибирского, Забайкальского казачьих войск. Проследим все основные вехи их участия в исторических событиях России, оценим огромный вклад казачества в укрепление и развитие русского государства. Особого внимания интересующихся историей казачества заслуживают собранные в приложениях ко второму тому исчерпывающие списки войсковых выборных и наказных атаманов, перечень высочайших грамот и регалий, пожалованных Донскому казачьему войску, гвардейским и армейским донским полкам.

Широкий круг источников, привлекаемый автором, делает книгу маленькой популярной энциклопедией по казачьей и военной истории, хорошо представившей взгляд традиционной российской историографии XIX века. В тексте имеется ряд незначительных ошибок и отклонений в некоторых датах и описаниях событий, что связано, вероятно, с недостаточным тщательным редактированием. Однако мелкие грехи не нарушают общего благоприятного впечатления от этой книги.

Современному широкому читателю «Картины былого Тихого Дона» будут интересны и как литературный памятник своего времени, и как самостоятельный исторический источник зпо казачеству.

**А. Макаров, С. Макарова.**



---

---

## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**СИМВОЛ (Париж). 1992. № 27. Июль. 288 стр.; № 28. Декабрь. 294 стр.**

Выходящее при Славянской библиотеке в Париже издание последними книжками на деле демонстрирует ту широту, которую его издатели вкладывают в понятие «журнал христианской культуры». Напомним, что недавно журнал познакомил русского читателя с духовным наследием западного христианства (№ 26 был посвящен жизни и учению Игнатия Лойоллы — см. аннотацию в «Новом мире» /1992, № 10/). Аннотируемые номера представляют материалы, раскрывающие духовный опыт двух других христианских вероисповеданий — православия и протестантства.

Значительный объем июльской книжки занимают текст популярного в России памятника русской православной духовности, известного под названием «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», и два исследования, к нему относящиеся. Редакция журнала, по ее собственному признанию, стремилась данной публикацией «установить своего рода равновесие» — относительно предыдущей книжки — *audiatur et altera pars*. В действительности издатели не ограничились разрешением скромной задачи — предоставить читателю возможность «выслушать противоположную сторону»: подготавливая к печати текст «Откровенных рассказов...», А. М. Пентковский проделал огромную археографическую работу по систематизации списков и печатных изданий этого памятника, позволившую выявить и представить читателям «Символа» наиболее авторитетный список — так называемую Оптинскую редакцию, озаглавленную «Рассказ странника, искателя молитвы». Результаты проделанной работы изложены А. М. Пентковским в статье «От «Искателя непрестанной молитвы» до «Откровенных рассказов странника» (к вопросу об истории текста)». В небольшой, но насыщенной фактами работе И. Басина сделана попытка установить авторство этого произведения, доселе воспринимавшегося как анонимное: согласно выводам исследователя оно было написано архимандритом Михаилом (Козловым) в его бытность насельником Русского Пантелеймонова монастыря на Афоне (1857 — 1874).

Входя за рамки традиционной аннотации, отметим, что для многих несомненно будет отраден сам по себе факт столь серьезного отношения католического журнала к русской православной литературе. Хотелось бы надеяться (хотя мы не настолько наивны), что данная публикация хоть немного сгладит поднимаемую известными общественными и «научными» деятелями волну латинофобии, уже неоднократно прокатывавшейся по России в ее недавней истории.

Почти половина декабрьской книжки отдана работе протестантского богослова и философа XX в. Пауля Тиллиха «Мужество быть», впервые появляющейся на русском языке (пер. О. Седаковой под ред. «Символа»). «Обладание мужеством-быть-самим-собой, — говорится в предисловии «От редакции», — есть то необходимое условие, без которого невозможно избежать бесформенного и бесплодного миролюбия. Такое мужество есть и свидетельство доброй воли по отношению к другому участнику диалога: стремление пойти к нему со всеми богатствами собственной христианской традиции, предложить их ему, если он того пожелает. Обладание мужеством-быть-частью есть безусловное признание всех тех ценностей, которые содержатся, зачастую в значительно большем объеме, в традиции другого, и желание приобщиться им...»

Последние книжки «Символа» содержат и традиционные для издания рубрики «Из истории русской общественной и религиозной мысли» и «Архив», состав которых лишней раз свидетельствует об отсутствии у издателей не только конфессиональных, но и узкоидеологических установок. Прежде всего отметим публикацию второй части книги о П. А. Флоренского «У водоразделов мысли», посвященной хозяйственной деятельности человека. Здесь собраны и сверены по рукописям (архив семьи Флоренских) все неопубликованные и ранее публиковавшиеся разделы книги (подготовка текста и комментарии о. Андроника (Трубачева), С. М. Половинкина и А. Г. Дунаева). Если интерес журнала к творческому на-

следию В. С. Соловьева традиционен (письма философа А. А. Кирееву впервые публикуются по автографам и комментируются А. А. Носовым (№ 27); он же нтыается осуществить реконструкцию 12-го чтения «по философии религии» В. С. Соловьева в следующей книжке), как традиционен интерес к наследию Л. П. Карсавина (его этюд «Святой Августин и наша эпоха» в переводе с литовского, выполненном М. Мажейкисом и И. Савкиным, печатается в № 28), то имя А. Ф. Лосева недавно появилось на страницах журнала. Фрагмент «Первозданная сущность» (№ 27), недавно обнаруженный в архиве мыслителя, является продолжением книги «Диалектика мифа»; другой фрагмент той же книги, озаглавленный публикатором «Миф — развернутое магическое имя», содержит «краткие и самые общие философские принципы оноματοдоксии, или, говоря по-русски, имяславия» (публикация фрагментов А. А. Тахо-Годи).

Журнал безусловно окажется привлекательным для многих отечественных исследователей, ибо не жалеет площади под вводные заметки и обстоятельные комментарии. На высоком научном уровне выполнены публикации, замыкающие последнюю книжку: В. Проскурина представляет неизвестную статью М. О. Гершензона «Нагорная проповедь», написанную в 1922 г. в качестве описания собственной философской системы; Ф. Поляков воспроизводит неизвестный сборник стихотворений Эллиса «Гимны Орфея», извлеченный из архивов библиотеки Pontificium Collegium Russicum (Рим).

Упомянув короткое эссе Р. Темпеста «На чашке чая у Шеллинга» (№ 27), в центре которой — записка немецкого философа князю И. С. Гагарину, мы исчерпаем содержание двух последних книжек журнала «Символ». Завершить же краткий обзор уместно цитатой из редакционного предисловия: «Да ощутит себя наш читатель приглашенным к тому «обеду духовному», на котором «Символ», вопреки всяким конфессиональным перегородкам, предлагает «сущностный» хлеб уму и сердцу каждого человека».

По вопросам подписки в России просят обращаться: 129329 Москва, а/я № 117.

А. Н.

---

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ИРМЫ КУДРОВОЙ  
«ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ  
(ЕЩЕ РАЗ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ  
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ)»**



## SUMMARY



The main prose work in this issue is a new novel by Petersburg writer Alexandre Melikhov, «Expulsion from Eden» (Confessions of a Jew)», a poignant, sometimes shocking, book dealing with the «national problem» in its various aspects and manifestations.

The short story genre is presented by Fasil Iskander's «The Swallow's Nest» and Mikhail Butov's «Lime».

The poetry section contains poems by Olga Postnikova, Elena Akselrod and fragments from a poem of the late Alik Rivin with a foreword by Tamara Khmel'nitskaya.

In the section «Publicistics» under the title «New Russia on the Way to a Common Home» we publish the disputation of several politologists who gathered at the «round table» organized by the Gorbachev Fund.

The section «Sketches of Our Days» opens a series of essays by Boris Yekimov entitled «On the Journey», in which the writer gives a panoramic description of the modern Russian province.

In the section «Publications and Reports» a common title «Life... Calls for Public Action» unites several publicistic essays from the heritage of V. I. Vernadsky (publication of I. Mochalov).

The section «Comments» presents a polemic essay «The House of Glued Hearts» by Alla Marchenko, literary critic...

In the section «Literary Critics» you will find reflections of Marina Novikova, titled «Marginalia», and continuing the large series of articles by different authors, «Preliminary Results of the XX Century».

In «Book Review» V. Morov gives an account of a new book by Renata Galtseva about Utopian consciousness and R. Trofimov writes about a new edition of A. Suvorin's diaries.

In «Briefly About Books» there are three reviews by Sergei Kostyrko about the novelties of the modern Russian prose and also reviews by other authors.

The monthly section «Russian Book Abroad» is introduced by Alexander Nosov.

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

---

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

**Коммерческий директор А. О. Петров**

---

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Пугинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

---

Сдано в набор 29.10.93 г. Подписано к печати 29.11.93 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

---

Тираж 53 000 экз. Зак. 4147. Цена: в России – 290 р., в странах СНГ – 500 р.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- GERMAN AHPPEEB. Обрeтeниe нoрмы (зaмeтки oб эмигрaции);  
 МИХАИЛ АРДОВ. Легeндaрнaя Ордынкa (вoспoминaния);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прoклятo и убитo (рoмaн, книгa втoрaя);  
 В. БОГОМОЛОВ. Алинa (пoвeсть);  
 РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Бoрьбa с лoгoсoм (эссe);  
 БОРИС ЕКИМОВ. В дoрoгe (oчeрки);  
 ДАУР ЗАНТАРИЯ. Енджи-хaнум, oбдeлeннaя счaстьeм (пoвeсть);  
 ИЗ ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА;  
 АНАТОЛИЙ КИМ. Кaзaк Дaвлeт (рaсскaз);  
 ИРМА КУДРОВА. Трeтья вeрсия (ещe рaз o пoслeдних днeй  
 Мaрины Цвeтaeвoй);  
 СЕМЕН ЛИПКИН. В Оврaжнoм пeрeулкe и нa Твeрскoм бульвaрe  
 (из книги «Зaрисoвки и сoбрaжeния»);  
 АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Гoгoль и сoврeмeннaя прoзa;  
 ИВАН ОГАНОВ. Пeснь винoгрaдaря oсeнью (эпoс; чaсть трeтья);  
 ОЛЁГ ПАВЛОВ. Кaзeннaя скaзкa (рoмaн);  
 ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Д\* элeгии (стрoки рaзнoй длин-  
 ны);  
 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Нeиздaннeе рeкoписи. Дoкумeнты к биo-  
 грaфии (из aрхивa М. А. Плaтoнoвoй);  
 БОРИС СЛУЦКИЙ. Из нeoпубликoвaннoгo;  
 БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Дeрeвeнскиe рaсскaзы;  
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Дeвoчки (рaсскaзы);  
 ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ. Одиссeя (рoмaн);  
 АЛЕКСАНДР ХУРГИН. Двeрь (пoвeсть);  
 ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыкaльнeе увeсeлeниe oт Рoму-  
 лa дo нaших днeй;  
 ОЛЬГА ШАМБОРАНТ. Признaки жизни (эссe);  
 ДОРА ШТУРМАН. В пoискaх унивeрсaльнoгo сo-знaния (пeрeчи-  
 тывaя «Вeхи»); Дeти утoпии (вoспoминaния);  
 a тaкжe нoвыe прoизвeдeния АНДРЕЯ БИТОВА, ГЕОРГИЯ ВЛА-  
 ДИМОВА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА,  
 ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ и другoх aвтoрoв.

**СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!**